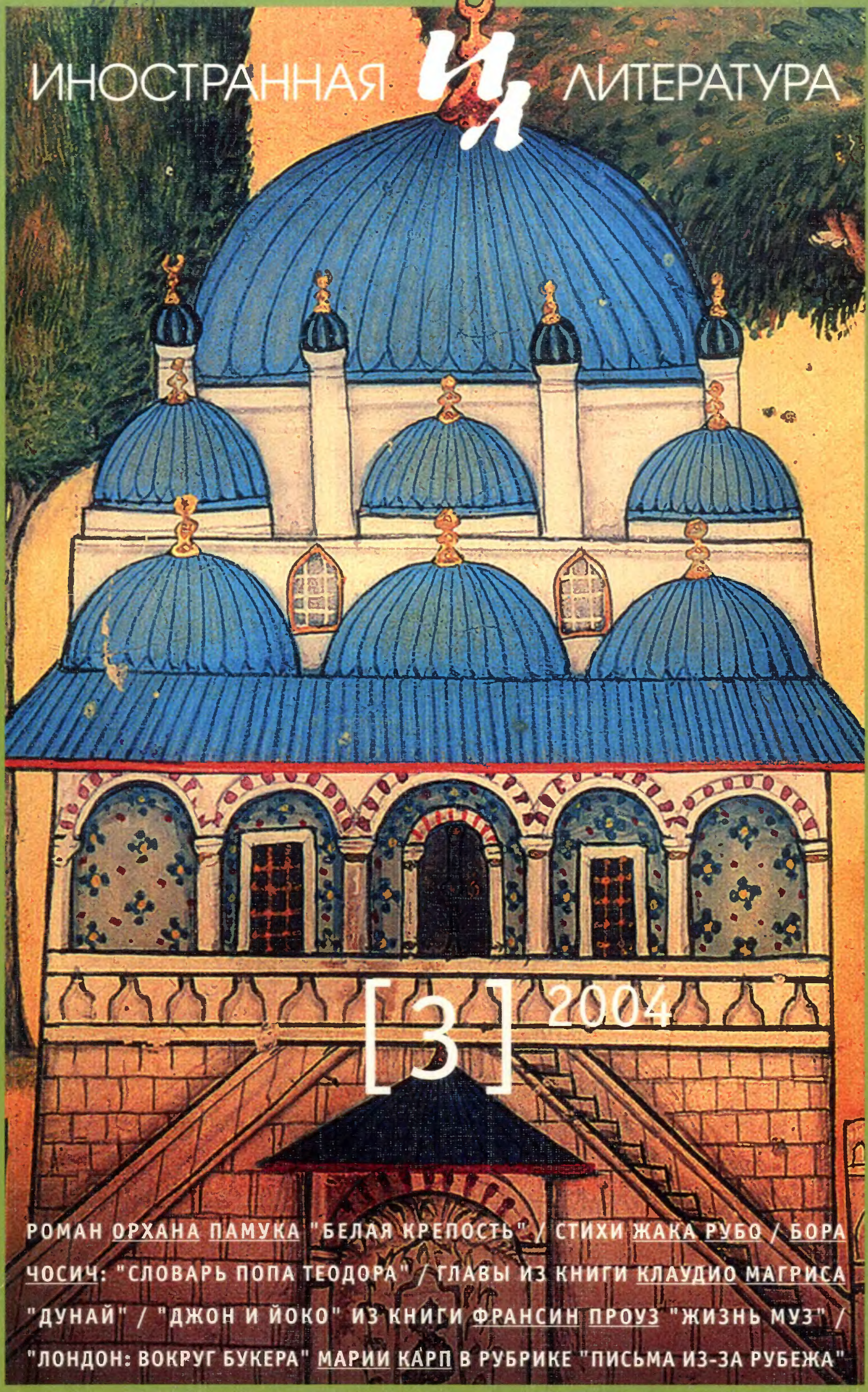
93+83
И68

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[3] 2004

РОМАН ОРХАНА ПАМУКА "БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ" / СТИХИ ЖАКА РУБО / БОРА ЧОСИЧ: "СЛОВАРЬ ПОПА ТЕОДОРА" / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ КЛАУДИО МАГРИСА "ДУНАЙ" / "ДЖОН И ЙОКО" ИЗ КНИГИ ФРАНСИН ПРОУЗ "ЖИЗНЬ МУЗ" / "ЛОНДОН: ВОКРУГ БУКЕРА" МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2002 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
[учредитель — журнал *Иностранная литература*]
присуждена Григорию Кружкову
за выдающиеся заслуги в области перевода зарубежной поэзии

Премия ***Инолит***
[учредитель — журнал *Иностранная литература*]
присуждена Борису Хлебникову
за перевод повести ГЮНТЕРА ГРАССА *Траектория краба*

Премия ***Инолиттл***
[учредитель — журнал *Иностранная литература*]
присуждена Антону Нестерову
за статью *Подлинность* и перевод эссе МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ
Тут вам звонили, а вы... и *Вирджиния Вулф*

Почетный диплом критики ***зоИЛ***
присужден Александру Ливергант у
за перевод романа в письмах ДЖЕЙН ОСТИН *Леди Сьюзен*
и романа МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ *Сокращения*

Премия ***имени Мориса Вакс махера***
[учредители — журнал *Иностранная литература* и
Посольство Франции в Москве]
присуждена Михаилу Яснову
за перевод книги ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА
Гниющий чародей. Убиенный поэт

Премия ***имени Анатоля Леруа-Больё***
[учредители — Посольство Франции в Москве
и журнал *Иностранная литература*]
присуждена Елене Гречаной
за книгу *Литературное взаимодействие России*
и Франции в религиозном контексте эпохи (1797–1825)

Почетный диплом ***программы "Пушкин"***
присужден издательству Языки славянской культуры

Премия ***имени отца Александра Меня***
[учредители — журнал *Иностранная литература*, Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы
им. М. И. Рудомино, Институт истории и географии Тюбингенского
университета и Академии епископата Роттенбург–Штутгарт]
присуждена журналисту Александру Штайнингеру

[3]
2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Бора Чосич. *Словарь попа Теодора.* Перевод с сербского и послесловие Василия Соколова. Андрей Битов. *Порядок слов*

21 Орхан Памук. *Белая крепость.* Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой

100 *"В моем Стамбуле всегда идет снег".* С Орханом Памуком беседует Глеб Шульпяков

108 Жак Рубо. *"Изменяется город быстрей, чем сердца".* Стихи. Перевод с французского и вступление Алины Поповой

115 Энтони Бёрджесс. *Железо, ржавое железо.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян

Статьи, эссе

201 Клаудио Магрис. *Дунай.* Главы из книги. Перевод с итальянского А. Н.

227 Франсин Проуз. *Жизнь муз.* Главы из книги. Перевод с английского Сергея Нещеретова

260 Глеб Шульпяков. *Живот архитектора*

Письма из-за рубежа

276 Мария Карп. *Лондон: вокруг Букера*

Зрительный зал

279 Наталья Старосельская. *Мост через бездну*

Среди книг

284 Борис Романов. *Магический круг.* Дмитрий Дмитриев. *Простые конструкции Меира Шалева.* Михаил Визель. *Гимн повествователю*

БиблиофИЛ

297 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

299

Авторы номера

302

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

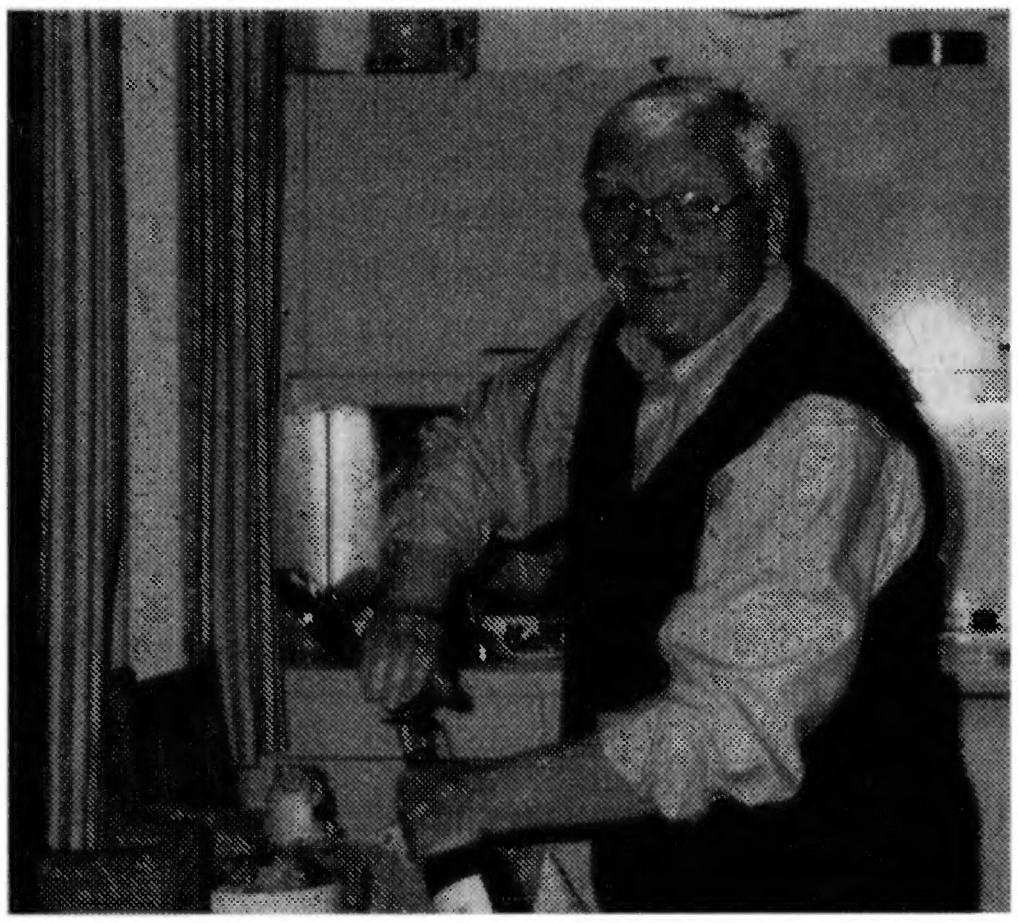
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Бора Чосич



Словарь попа Теодора

Перевод с сербского и послесловие Василия Соколова

Порядок слов

Словарь-вступление Андрея Битова

ЧИТАТЕЛЬ и есть самый сокровенный писатель, не стоило бы ему становиться писателем, лучше было бы оставить литературу для собственного удовольствия.

Мировое звучание Борхеса и Набокова неожиданно: избранное вдруг стало всеобщим. Они — читатели, и не скрыли этого.

Еще недавно откровенность Паскаля или Розанова была для современника почти неприличной.

В старину писатель назывался *списыватель*. С чего?

ПИСАТЕЛЬ списывает то, что нельзя или невозможно сказать.

ПИСАТЕЛИ для писателя делятся вот как: на тех, о ком он слышал и о ком не слышал; на тех, кого он читал и кого он не читал; на тех, кто ему нравится и не нравится.

А те, кто ему нравятся, уже не делятся: нравятся, и все тут.

Но тут же они начинают делиться: на тех, с кем ты знаком лично, и на тех, с кем ты не знаком. Говорят, что с писателем лучше и не знакомиться: достаточно его книг. Но, когда ты сам давно в литературе, правило это разрушается. Тогда писатели начинают делиться на тех, кто ДО тебя, и на тех, кто ПОСЛЕ тебя.
Все хорошие писатели были ДО тебя, и это не мания величия, а условие.

Ну не был я знаком ни с Зощенко, ни с Мандельштамом — не успели они ответить мне взаимностью, — это мне не мешает их любить.

© В. Соколов. Перевод, послесловие, 2004
© А. Битов. Вступление, 2004
Фото Татьяны Бек.

ЛЮБИТЬ — очень не дифференцированный в русском языке глагол. У нас даже мороженое и пирожное любят или НЕ любят. Не любить их даже как-то сильнее звучит, оригинальнее. А вот писателей у нас именно любят или не любят в том же смысле, как любимых людей.

ПРАВИЛО разрушается, когда ты сначала познакомишься с писателем лично, и он тебе понравится, и лишь потом его прочтешь. И если он тебе и тут понравится, то оценка этого писателя непомерно возрастает. И это уже твоя мания величия! "В чужой славе мы любим свой вклад".

В ПЕРВЫЙ РАЗ я полюбил так Гранта Матевосяна в 1967 году.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ — Бору Чосича в этом. Милейший человек — то есть нормальный. А еще и пишет хорошо — вот неожиданность!

УДИВЛЕНИЕ такого рода и есть высокомерие. Кто сказал, что *высокая мера* — это плохо? С удивления и начинается настоящее чтение. Оно побеждает нашу заведомую подозрительность и предвзятость. Не каждому автору это под силу.

ЧТЕНИЕ — это борьба читателя с автором. И если автор выходит победителем...

ПОНАЧАЛУ: ну что тут такого особенного? А потом... а — все! Все удивительно. Ново, свежо. А потом... так ведь все так и есть!

СПИСЫВАТЕЛЬ и есть настоящий писатель. Я читал "Роль моей семьи в мировой революции", изданную "Азбукой-классикой", и удивлялся: как это до Боры Чосича никто не догадался, что можно именно так списать! С того, что знает каждый. То есть с жизни.

ЖИЗНЬ, оказывается, не только неописуема, но и не описана.

АЗБУКА-КЛАССИКА — надо ее похвалить. Азбука ведь это просто перечисление букв. Но никто уже не сомневается, что после А — Б, а не Щ.

Полвека назад мы в Ленинграде шутили про нашего первого писателя, про первого писателя *из нас*, Виктора Голявкина: Гомер-Голявкин. И только наконец на полке "Азбуки-классики" они встали бок о бок, как им и положено, по алфавиту. Это я вспомнил, читая Чосича, на букву Ч.

ЧЕХОВ-ЧОСИЧ — настоящие списыватели. С того, что есть, а не с того, что прошло. Это не пошлые писатели.

СПИСЫВАНИЕ — это последовательность. Последовательность — это перечисление. Перечисление — это порядок слов.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ — иногда может показаться, что инвентаризация — единственный способ описания мира. Кроме Библии, священны только словари и энциклопедии. Тогда Даль и Брэм — великие списыватели.

ВПРОЧЕМ, и в художественных книгах встречаются удачные страницы. Например, чем только не подтирался Гаргантюа! Даже утенком. Или чего только не вывез с затонувшего корабля Робинзон Крузо! Фицджеральд особенно гордился своим списком гостей в "Великом Гэтсби", а Набоков — списком учениц из класса Лолиты.

ПОСТМОДЕРНИСТЫ пусть не задаются, что они первые. Неплохие перечисления встречаются и у Пушкина в "Евгении Онегине", и у Гоголя в "Мертвых душах".

НО! Робинзон бы не выжил со всем своим списком краденого, если бы не одно зернышко за подкладкой, если бы не коза и Пятница. Зернышко надо было прорастить, козу приручить, Пятницу очеловечить. А вот это дело уже только писательское.

БОРА ЧОСИЧ сумел превратить перечисление из удачного и случайного приема в метод повествования, то есть в *историю*.

ИСТОРИЯ — это то, в чем есть и наша роль, наше место.

ЮГОСЛАВИЯ — страна, которой сначала не было, а потом не стало.

Андрей Битов
3.XI.2003

ЦЕРКОВЬ, где служу и все мои предшественники служили, кто лучше, кто хуже, все от народа завися, с которым живем. Первая, которую Адам застал в 1604-м, тут и помер; горела в 1635, 1678 и в 1681-м, при Симеоне. Совсем новую Аким построил в 1693-м, а опять порушили при деде моем Клименте в 1771-м, который опять ее, как умел, построил, отец Аврам кой-чего пристроил, а какая она теперь, сами поглядеть можете.

Я — никто иной и нигде быть не может, один только я Теодор Ускокович, поп, от роду мне 30, женат на Ане Вукович, бездетный, сын пок. Аврама, что от Климента родился, а тот от Савы, который от Акима, а оный от Симеона, что Йосифа сын, которого Адам родил, что в Грунт приехал примерно в 1600 г. и начал виноград садить, лес рубить и службы служить, как и все мы. **Я** — то, что только я один знать могу и что только самому себе рассказать смею. Внутри что-то, что наружу нельзя. Нигде, а во мне только.

ПОП я, как и все мои, и дело мое народу глаголить, а он, ежели пожелает, слушает, а если не хочет, то что я могу сделать. Поп смеет то, что иные никак не могут, особливо когда под чужими властями ходим, пока церковь не порушат или не убьют, что делать никакого права не имеют. Семь дедов тому назад сюда пришли, а может и больше, потому как не записывали там, в Сербии, до 1600-го, откуда кто пришел: может из города Ускоква, а может, наши предки с ускоками[1] породнились, или мы сами из Сербии сюда ускакали. Иные **П.** и пахали, ежели надо было, я же только присматриваю, и указываю, и книги веду, и записываю, что сумею. **П.** евнухом не должен быть, но право имеет и покушать, и выпить, и песню спеть, потому как не статуя он и не портрет. Охвицер там, или из общины кто, или учитель своих слушаться должен, и я только своим подчиняюсь.

УСТА — то, что на голове, куда пищу суешь, питье вливаешь, но и целуешься ими, а главное — ими изнутри говоришь, когда сказать есть что.

ПЕРСТЕНЬ — золота кусочек согнутый на пальце, значит, что ты с Аной повенчанный, причин тому немало было. Потом много чего другого у жены увидал, но помалкиваю.

1. Ускоки — перебежавшие через границу (*серб.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ЗРЕНИЕ – то, чем смотрю, на что пожелаю, но и на то, на что глаза бы мои не смотрели.

РУКА, которой делаешь, работаешь, грозишь, лупишь, просишь и ласкаешь, которой ни у зверя, ни у птицы, ни у рыбы нет.

ПОМНЮ, что давным-давно было, или кто-то кого-то позвал, или число какое-то было, или картинка, или случилось что, или запах, или звук, и я про себя это повторяю, словно только сейчас было, а иные ничего припомнить не могут, ослы настоящие.

САВА ВУКОВИЧ, по сей день забыть не могу, как он двадцать тысяч форинтов подарил на общем школьном собрании в День святого Савы, хотя сам почти совсем слепой был, а мы, ученики, помалкиваем и помним.

ОТЕЦ – пок. Аврам, который меня родил вместе с матерью. Думал, небось, что я как он буду, потому я и взял от него то, что перенять следовало. Когда отцом стану, и я так сделаю, чтобы от отца и дальше что-нибудь продолжалось, но и ему самому что-нибудь свое оставлено должно быть. **О.** не рожает, но что-то ведь через матерь сыну дает своего или что-то похожее. Я в Пожуне был, когда он помер, так что как только письмо пришло, сразу через три недели я на его могилке был, опосля приход принял и все прочее, шесть лет тому уже.

ДИТЯ – малый человек, слабенький, ума особливого нет, а наберется он его или нет – кто знает, хотя и такой смотреть и запоминать умеет.

ЗВАНИЕ – то, что ты есть, что за тобой пишется, и чтобы все знали, о чем ты всю жизнь хлопочешь.

ПОКОЛЕНИЕ – мы, которые здесь; а есть и такие, что раньше нас тут были, потому и говорят, что мы все не так делаем.

НАСЛЕДОВАТЬ то, что от отца останется, а потом либо прогуляешь, либо приумножишь, а если и приумножишь, то, как некоторые говорят, все равно кто-нибудь прогуляет.

МОЛЮСЬ, когда некуда деваться, вот и призываю Бога, чтобы он сказал мне, что и как.

МРАК – в ночи или внутри. Бывает и на душе у человека, который тебя не понимает, когда ему умно и доходчиво говоришь.

ПСАЛТИРЬ – книга, из которой я вслух читаю, а другие не слушают, хотя следовало бы.

ЖИЗНЬ – то целое, что только смерть разбить может, как шкатулка с драгоценностями внутри, а иная шкатулка совсем пустой бывает.

ДЬЯКОН – церковное лицо, куда я, туда и он за мной, как пес, да к тому ж не сильно умный. Звать Стево.

ОТПЕВАНИЕ – то, что над покойниками пою. Отпевал я и старого Лобо, и Лацковича-старика, и дите малое Оршичей, а того, кого бы с радо-

стью отпел, может, и не сумею, может, они сами кого другого найдут, чтобы меня отпеть.

БЛАГОВЕСТ – когда ангел явил Деве, что родить должна, хотя никто ее и пальцем не тронул. Может быть и другая такая же весть, хорошая, но в которую поверить трудно.

ПЕКЛО – совсем не то, что рай, раскардашное, неприбранное, скандальное, плохое, невкусное, враждебное, нахальное, дурное, слюнявое, неразборчивое, нищее, сиротливое, тесное, обтрепанное, хворое, чужое.

ПРОХОДИШЬ, когда хочешь разойтись без долгих разговоров, но всякому чего-нибудь да надо, вот и не получается никак.

СОВЕТ от всего сердца кому-нибудь, чтобы он как надо сделал, а он все равно по-своему.

КРАЕШЕК – там, где бедолага сидит, что в разговор не смеет вступить или во что другое, вот и смотрит оттуда, как это все идет, завидует и расстраивается.

ДВЕРИ дома, в конюшне или церкви, с помощью которых можно войти и выйти, а после этого опять их затворить.

ТОЛПА – с бору по сосенке люди собрались. Что толку от того, что их много, если они слову Божьему внемлить не желают. Галдят вечно, вперед не подумав. Кучей такие слова говорят, что по отдельности никогда б не решились. Бормочут что-то, гудят, а ты гадай, что именно. Встречаются, конечно, и добрые люди среди них, только они среди прочих теряются, так что толку никакого.

НАРОД – все люди до кучи, какие только есть. Есть народ сербы, хорваты, мадьяры, немцы, французы, болгары, румыны, боснийцы, турки, влахи[1], арбанасы[2], цинцары[3], греки, негры, русские, китайцы, краньцы с далматинцами[4], были и иллирийцы, только теперь их больше нигде нет.

ЧОКНУТЫЙ – не совсем дурной, просто у него не все дома, ум за разум заходит, не в себе немного. Мелет все, что в голову придет. Кое-кто таким верит больше, чем мне, особливо когда он говорит то, что им нравится, или если им это выгодно.

ДУБИНА – не только деревяшка сама, но и человек крепкий, тупой и тяжелый, как свинец. Ни тебе растолкать его, ни сподвигнуть на что.

ЦЫГАН – как и все люди, разве что чуть чернее лицом, говорит хитро, шляется повсюду, потому как дома у него нет, врет вечно, говорит, что то знает и это, иной раз приворует, детишек у него много, держит себя смешно, а как кучей соберутся, так все петь принимаются.

1. Зд.: серб-католик.
2. Зд.: человек индоевропейской расы, проживающий в Албании и соседних областях.
3. Зд.: потомок иллирийцев в Балканских странах.
4. Зд.: жители балканских регионов Крань и Далмация.

ДРЕМУЧИЙ – будто в лесу вырос, а потом из него вышел и теперь вот никакого занятия себе найти не может.

УРОД – когда у кого-то чего-то не хватает, чтобы как все был. У кого руки нет, глаза или носа, у кого ума. У нас Йозо урод, вечно в холодной сидит. В мире полно **У.**, вот их везде и показывают: кто ростом велик, по два и больше метра, кто на ладони уместится, у кого нижней части тела вовсе нет, лицо напрочь волосами заросши или кожа у него словно бумага смятая, парочка из одного тела растущая, так что друг друга всю жизнь терпеть должны, бородатые женщины вроде Елены Антонии, человек без рук Матия Бушингер, немец, Магдалена Эмона такая же, Тома Швайкер тоже, Катарина Мазина без ничего внизу, карлики: один – Лобин дед, хотя они это и скрывают, из иностранцев – Клеменц Перко и Игнят Акенхайль, из самых высоких, которым притолока мешает, чтобы пройти, Генри Блакер, волосы совсем белые и глаза такие, что их почти не видать, итальянская графиня Рола, Ханс Кальтенбрунн, немец, у которого из груди целый человек другой торчит, у Миртл Корбин было четыре ноги, из самых толстых Хипполита, Даниэль Ламберт, это только те, которых я сам видел и записать успел, а вообще-то их больше. Говорят точно как мы, некоторые даже умные, просто вот такие они.

ВОНИЩА – смотря что и смотря кому как. Мне, например, конюшня нипочем, мертвец тоже, а вот когда человек не моется – не могу. Есть птицы вонючие, есть жуки, а иную пищу потому только и едят, что смердит она. У иного тело воняет, как у Гаврилы Релковича, хотя он и капитан, у кого-то изо рта несет, как у Стояна Муждеки, когда он рассказывает. Самый вонючий человек в мире Атанасий Шмуц, во время Карловых войн его впереди войска гнали, чтобы неприятель сбежал, а потом его камнями забили, но он и тогда смердел. **В.** из неких жил человеческих исходит, иные говорят, что дураки, чокнутые и непоседы никогда не смердят, а только нормальные и здоровые, что есть истинная правда.

ТОЛКАЮТСЯ локтями люди на базаре, в церкви, лишь бы первыми прорваться, а к чему им первыми быть, сами того не понимают. Будто я что им задарма раздаю или у меня что-то новое появилось.

ЗДОРОВАЮТСЯ, хочешь того или нет, потому как ты старше, и он первый это делает, или он уважаемый, тогда ты сначала, или вы знакомые хорошие, или просто так, и кто только это выдумал, чтоб ему пусто было!

ШТРАФУЮТ иные от лица властей, по книге, в которой все записано, за то, что кто-то дела непотребные делает. Говорят, в ней все в мире записано, так что если кто захочет, то штрафовать начнет за каждый шаг, с утра и до ночи. Хуже всего штраф за вино, когда оно, говорят, скисло, а сами заберут его и вылакают.

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ – тот, что у тебя прямо под носом, так что его и припоминать не надо.

ИНОСТРАНЕЦ – когда человек из других краев придет и понять не может ни где он, ни кто мы, ни как мы беседуем, а только смотрит, удивляется и все что-то записывает.

АПОТЕКАРЬ – приехал из Загреба, "доброе утро" говорит, а сам всякие смеси смешивает для отравления, потому как это его работа.

ПОДЦЕПИТ, это охвицер или оберст где-нибудь на непутевой женщине, после чего к нам приедет и наградит какую ни то нашу уважаемую женщину. Лечить дорого и трудно, только в большом городе, но можно и на ногах перенести.

ПЕРЕМЕНИТЬСЯ – когда из церкви выйдешь хмурый и недовольный людьми и кое-какими происшествиями, а на дворе преобразишься и станешь как птичка Божия. Счастлив тот, кто быстро **П.** может.

ОКРЕСТНОСТИ – все вокруг тебя, и поля, и леса, и села, где твои живут и другие, все это в окрестностях виднеется. Без окрестностей ты обойтись не можешь. И по плохой погоде, и по хорошей. Край родной.

СОЛНЦЕ, пусть иной раз и не греет, но все равно без него ничего другого не разглядеть: поле, дерево, коня вздыбленного или зайца мелкого.

ДОВОЛЬНЫЙ, если имущество хоть какое есть, или когда слово доброе услышишь, или ты в чувствительном обществе, а это куда лучше, чем богатеем быть, королем или владыкой, но *притом* вечно в склоке, мерзости и несчастье. Чаще всего в поле, где все стрекочет, чирикает и никого нет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – как и всякий другой день, разве что я с утра в церкви, а потом уж в поле. Никто бы и не заметил, что день такой, если бы где-то не записано было, а ведь мог бы на его месте и другой день быть. По воскресеньям детей ни за что лупят.

ПРОХОДИТ то, что идет у тебя перед глазами, ты видишь, что оно от тебя уходит, а сделать ничего не можешь.

ПЕРЕКРЕСТОК – там, где две дороги, одна поперек другой проходит, так что выбирай, туда тебе или сюда. В иных местах написано, а если нет, то сам знать должен, куда шагать; так и в жизни.

ЗЕМЛЯ – все, что вокруг, и не ты это своими руками сделал, но с самого начала появилось. Ровная или неровная, чужая или твоя, только по ней шагать можешь и стоять тоже. Все из нее, и все в нее, потому как больше некуда. Испокон века и навсегда. И даже если нет ее, все равно твердь появится. Все на нее падает, потому как больше остановиться негде. Даже птица вечно летать не сможет. Досталось мне ее много, да и прикупил еще, после венчания. Виноградников, леса, пашни и кое-что под сад, все вместе две сотни ютров[1]. С теми 50 вместе двести пятьдесят будет. Виноградник завел еще Йосиф в семнадцатом веке, а после него Симеон. Он же велел докупить слив, груш, яблонь, хотя эти никуда не годятся. Скотный двор пора расширять, потому как выпасов достаточно. Все цветет, хотя и теряется кое-что. Если никто не отнимет, то и пропасть ничего не пропадет.

1. Ютро – примерно 0,5 га.

СОЗРЕВАЕТ – когда жито еще не заколосилось, недолго уже ждать, только чтоб солнца и дождя было сколько надо, то же и про парня или девицу, как и про то, о чем думаешь, пока совсем не надумаешь окончательно.

ЗЕЛЕНЬ – лучше всего та, что вокруг тебя, на земле, на ней глаз отдыхает.

ЛИСТ, словно ладонь на петельке, зеленый, он свет и воду в себя впитывает для всего дерева.

ВЕТКА, что растет из дерева как рука и на которой листья и плоды.

МУХА – букашка ничтожная в воздухе, гадит всюду, где сядет, и на падаль летит. Хотя, если она существует, значит, *нужна* для кого-то или чего-то, или потому что не должно прямо так уж все красивым быть, надо же чему другому появиться.

РАДУЕТСЯ тот, кто песню красивую услышит вдалеке, или дерево какое фруктовое увидит, или знает, что он жив и невредим, или когда какую вещь приятную вспомнит или особу, все это вдруг, а за минуту до того был как всегда и грустный.

КОНЬ – лучшее, самое умное, самое важное животное у человека, почти брат в бою и в мирной жизни, потому его жалеешь, когда состарится, и не ешь его.

ЯГНЯТА – малыши овечьи, так приятно есть их и любоваться ими, говорят, что они самые невинные от Христа до наших дней, но и глуповатые немного, хотя им-то зачем умными быть?

СИМПАТИЧНАЯ – которая так себя поставить может, что ты ее любить вынужден, хотя, в общем-то, и не за что.

ЖВАЧКА – когда скотина после кормежки все назад отрыгивает и весь день в холодке это жует.

СОДЕРЖИТСЯ что-то в чем-то, например, в голове, когда думаешь, или вино в бочке, или вещи какие-то в книгу записаны. Всегда может быть и короче, и лучше. Короче всего, содержательнее и есть лучше всего, только такого достичь ой как тяжко.

СКАЗЫВАЮТ – когда кто другой тебе рассказывает про то, что до тебя было, или ты сам не запомнил. Сказывают вот, что в ту ночь, когда меня мать родила, дед Климент 86 л. преставился точно в ту же минуту, так что даже не знали, что делать – или радоваться из-за меня, или из-за деда расстраиваться.

ПОЛОВИНА – когда целое так поделишь, что обе части одинаковые, разве что только левая и правая может быть, до или после.

ЕЩЕ – если даже много, все равно добавить, хотя бы текло и вываливалось.

ПРАВДА, я – за это, он – за то, и каждый думает, что он прав, а третий нас рассудит, если у него ума хватит. Бывает и так, что правды нет, но

есть сила, которая вместо нее, а бывает так, что совсем ничего не ясно, тогда каждый через то страдает.

ПРИОБРЕЛ – не было его, зато теперь вот оно, тут.

ЗАДУМАЕТСЯ тот, кому что-то не ясно, а так понять охота.

ПОЖАР – когда горит что не надо, или случайно, или со злости.

КРЕСТЬЯНИН – который Бог знает с каких времен, и который всегда будет, и без которого ничего в мире не будет, потому что он то делает, чем прочие все питаются, а ему меньше всех остается.

ВОЛ поесть очень любит, хотя и без того с придурью, с этими своими глазами и вечной жвачкой. На все ему наплевать, потому и страдает. А **В.** он становится, когда деревянным колом его по мошонке бьют или веревкой ее перевязывают, а до этого быком был. Однако сильный и помогает тебе своей силой.

ГУСЫНИ или гусаки, которые ковыляют по селу, перья роняют, гогочут и детей за штаны щиплют, а заканчивают в супе, или жарят их.

ВОРОНЫ – птицы и черные, и гадкие, и вредные, а кроме того, еще и живут долго.

ПРИРОДА – которая всюду вокруг меня и других, только ведь они не понимают, в каком раю живут. Тут Подравина и Меджимурье, там Краньска и Хорватская, внизу Босния, потом Срем и Бачка, Сербия, а вот и Славония, отовсюду течет что-то, или Вука, или Карашица, или Вочинска, а потом Шуметлица, Илова, а в другом месте Сава, Дунай, а то, что возвышается, – Папук, и Крндия, и Диль, еще Иванчица и Слеме, чуть дальше Фрушка Гора, а вокруг нас овца, коза и олень, вол, конь, серна, лошак, осел, свинья и собака, волк, лисица, кошка и рысь, медведь, крот, еж и барсук, куница, хорек, выдра, еще мышь, белка, заяц, птицы, жуки и кузнечики, пчелы и шелкопряды, черви, но куда они без царства растительного, если всюду видишь корень, ствол, ветки и листья, да еще плоды, благодаря чему все это существует. Все это здесь, так что мне думать и смотреть приходится, чтобы не наступить на что и мелочь какую ни то не умертвить ногою, потому как я без всего этого не могу, и для того все оно существует, чтобы в нем быть, им жить и всем наслаждаться.

СЧАСТЬЕ – когда душа горит, потому что все так, как ты задумал. Чего не ожидал – наступает, и наоборот. У кого оно в деньгах, у кого в вине, у кого в умной беседе, у кого в детях, если они здоровы. Больше всего, когда все на своих местах, на земле, в поле, на столе, на картинке, а особливо когда мне кто-то или что-то позволяет самому обо всем размышлять.

РАЙ – вымышленное место, никто не знает, ни где он, ни когда будет, но будет он, когда все плохое закончится. Мог бы он и здесь случиться, если бы только людей не было, хотя бы двух-трех, а еще надо бы скотину отобрать, зверей и птиц, да чтобы все, что посадят и построят, никто не трогал, не ломал, не рвал, не поджигал от глупости и удали. Все время лето, но не слишком жаркое. Ночи не бывает. Вечереет, а потом сразу ут-

ро приятное. Ветерок ласковый. Никто не кричит, не ругается, глупостей никто не болтает. Никто никому не указывает, потому что все умные. Все с руками и ногами, а если у кого чего не хватает, то ему это не мешает, да и не нужно ему оно вовсе. Каждый чего-нибудь хочет, но никаких глупостей. Никому в башку ничего вбивать не надо, каждый свое знает. Писал я Муждеке, что такого никогда быть не может, а он, хотя сам сектант, донес на меня в Пакрац.

МАРА ШЕАТОВИЧ, исполнилось ей 17 л., хотя на вид больше дать можно, лучшее создание здесь и везде, где жизнь есть, вечно босая бегает, напевает что-то, и кажется, что чумная немного, но нет. Не знаю, что это, но как один останусь, так ее и вижу. Для нее поп то же, что и старик, ничего не значит. В церкви всегда в уголке, а когда приходит, то принаряжается как все. Что же у нее такое есть, чего у других нет, даже у самых близких? Перебежит дорогу ровно зверек какой, шагов не слыхать даже. И семья у нее хорошая, а живет как вила.

РАЗВОЛНУЕШЬСЯ – когда одно думаешь, а говоришь другое. И выходит совсем не так, как ты хотел сначала.

РАДИ – когда что-то для чего-то другого делаешь, вместо того чтобы только своего сердца да ума слушаться.

ЗАБАЛТЫВАЕШЬ – когда мысли чьи-то на что другое направить желаешь, только не на то, чего душа хочет, вот и говоришь без конца, обманываешь ее как дитя малое.

ВНУТРЕННЕЕ – то, чего сразу и не разглядишь, пока не откроешь, а иной раз и открыть нельзя.

ЧУВСТВО к Ане было у меня внутри, а сейчас нет его. Больше к дереву, и к птице, и к серне, но все к чему-то такому, к чему и причин-то особых нет. Все делает так, будто оно так и быть должно. Каждый день что-то новенькое, что-то против, и наоборот. Эх, была бы она получше, побольше и повыше. Пес дворовый глядит с верностью и преданностью, а родной жене все бы тебя упрекнуть в чем, лишь бы укорить чем. Всё у меня есть, а радости нет.

ЗАКАПЫВАЮ то, что было на солнце, а теперь под землей, или прячу что, или потому что ему так лучше, или если ему наверху больше делать нечего, или если проклюнулось уже.

ВИЛА – прекрасная девушка, которая все может, но бывает только в мечтах.

РЕШИЛСЯ, когда сказал себе, что не вынесу – и жену, и Пакрац, и Муждеку.

БЛАГОДАТЬ – когда все есть, или когда всюду растет только то, что надо, а то, чего не след, само увянет, или когда люди такие умные, что дальше некуда, или когда войны нет.

СЕМЯ – зернышко малое, из которого большое вырастает, но все-таки оно лучше и сильнее большого, потому как оно еще вырастет, а большое

уже только поникнуть может, увясть или умереть совсем. Из этого малюсенького весь мир настал, мало-помалу.

СРАВНИВАЮ – когда увижу одного и тут же вспомню другого, а потом размышляю, похожи ли они друг на друга и что это меня заставило в первом второго припомнить.

НЕХОРОШО мне, когда вдруг прихватит, а лекарства нет, или когда голова либо живот болит, или когда злых людей много, а их всегда больше. Но только не тогда, когда в карты проигрываю, – потому как игра все-таки. Иной раз именно так и случалось, но все равно **Н.** мне от этого не бывало.

ПРИТЕРПЕЛСЯ – все тебе наушничают, и те и эти, а ты делаешь вид, будто и без них все знаешь.

ДЕРЕВО куда лучше человека, потому как ничего не просит, ты его рубишь, а оно слезы не уронит и ничем тебя не попрекнет. Найди еще хоть одного такого, да не в жизнь!

ЖИВОТНОЕ убить можешь и ответа ни перед кем держать не будешь. Потому у всех у них глаза такие, что с ума сойти можно. Пес тебе руку лижет, а ты его гонишь, или продашь кому, или цыгану отдашь, чтобы он его прибил до смерти, или есть ему не даешь, пока не сдохнет, или в реке его утопишь ни за что. Из самых больших – лев, медведь, которых я не боюсь ничуть, а просто бы с ними поговорил и образумил бы их.

ЦВЕТОК и красивее, и нежнее дерева, дурак ты, если его растопчешь.

НАДЕЕШЬСЯ – когда думаешь, что вырастет другая ветка вместо этой, сломанной, или что у тебя другая собачка появится вместо убитой нынешней, или что найдешь другого человека, который тебя признает, а не как эти, нынешние.

ТЕРПИШЬ все, что у тебя за спиной вытворяют, пока сам не озвереешь и не кинешься на них, и они на тебя тоже.

ОДИНОЧЕСТВО – когда вокруг тебя народа полно, но никто тебя не понимает, будто ты арап какой или китаец.

МЕНЬШИНСТВО – обратное от большинства, когда знаешь, что ты прав, но все прочие совсем другое утверждают, но ты все же не такой дурак, чтобы с ними соглашаться только потому, что их больше. Если бы все всё знали, то ничего бы и не было. Только некоторые знают, а все прочие – нет, даже если ты им оружие в руки дашь, или если они под короной какой выступают, или от имени какого великого народа.

БОЛТЛИВЫЙ – которому любой ценой поболтать с тобой охота, потому что где-то бобылем живет, а тебе бы только помолчать самому с собой.

ПЧЕЛА, каждый знает, как она мучается, пока весь этот мед не соберет, крупица к крупице, хотя что-то ведь ей в этом и нравится, иначе бы пчелы не летали, а сидели бы дома.

ДЕВА, есть она у меня, нарисованная, а сама совсем далеко где-то.

РЕКА – когда знаешь, куда она ведет. Из малых – Пакра, Илова и Шуметица, потом Сава, самая большая – Дунай. Видел я Изар, Рейн, Тису. Может, еще Волгу увижу и еще какую-нибудь. Но никогда – Ганг, еще какие-то в Америке и Африке. Для чего же они на свете созданы, как чтобы не разделить одних людей с одной стороны от других на другой, чтобы друг друга не перебили, но некоторые все же их переходят и потом убивают. То, что по ним перевозят, потонуть может, а бывает, мост построят, чтобы того прославить, чей он, но по нему и переходить можно. Течет, когда ей иной раз и не надо бы, даже подо льдом течет.

ВЫСОТА – где птицы летят, какие-то выше, другие нет, из них кондор выше всех, потом беркут, стервятник хохлатый, орел, канюк, сокол и кобчик, а еще ниже – голубь, ласточка, цапля, журавль, потом обычные утки, вороны, жаворонки, перепелки, попугаи и фазаны. Есть и люди, которые им подражают, или что-нибудь на руки приклеят и прыгают потом с колокольни и шею ломают, или садятся в шар воздушный, пока он у них не прохудится и не упадет на землю, как камень.

СЕВЕР – часть света, которая в сторону Венгрии, Вены, в сторону Германии и Швеции.

ЩЕКА на лице, приятно так зябнет от легкого ветерка.

ТЕМНЕЕТ то, что светилось. Или когда солнце среди бела дня неизвестно куда девается. Говорят, это в нынешнем году будет восьмого октября и что уже было раз в апреле, но никто этого не видел, потому как где-то в другом месте было.

ПАДАТЬ сверху как дождик или снег, или что другое с неба, или в воздух что бросают, а небо его возвращает, потому как оно ему не нужно.

ГРОЗА – когда в ясный и прекрасный день вдруг все почернеет, ветер поднимется и дождь начнется, а что хуже всего – град еще ударит и все вокруг побьет. Где-то в Америке ветер целые дома сносит и все, что в них, где-то в Германии коня вместе с всадником поднял, а где-то только маленького ребенка, которого можно по новой родить. Буря-смерч человека запросто с земли поднимет и бросит его вниз ровно скорлупку. Весь день мотается туда да сюда, так что и не углядишь, как и чем она это творит.

НЕМОЩНЫЙ – когда у кого силы нет. Маленький Перо Оршич, который тебе ничем помочь не может, а ты его выкинуть на улицу не можешь.

ЗЕРКАЛО – стеклянная доска в передней, если в нее посмотришь, то ты в ней как вылитый, только правая рука левой делается, левая точно как правая выглядит, и все прочее тоже. Прямо как живая картинка, только все наоборот. Если шевельнешься, она тоже. Иное дорогое сильно, например венецианское или французское. Наше купил дед Климент в Венеции, лет пятьдесят уже тому, и все еще не разбитое.

НАРИСОВАННЫЙ портрет, отдельно я, отдельно Ана, исполнил Константин Данилович, русский, 1826, зарезали.

МАТЕРЬ, из которой я произошел, Розалия, 60 л., вечно недовольная, ругается и бурчит, все у ней что-то болит. Сноха ей милей дочери, да и ту не очень-то жалует. Все, что от отца унаследовал 6 л. тому назад, — не годится, что виноградник купил у Лобы, а тот у Релковича, а что-то у Шумарского — не годится, что новый посадил в Медаре и Првче — не годится, старый лес выкорчевал и молодых деревьев насадил по Стрмцу — не годится, что прикупил ко всему еще сто двадцать ютров — не годится, что жену взял из богатой семьи — не годится, что колокольню новую поставил и Константина Даниловича привез церковь изнутри расписать — не годится, заставил капитана Гав. Релковича о слепых, убогих и одиноких заботиться и еще кому помочь в болезни его — не годится, что сам своей головой думаю — не годится, что знаю, где какой город и где какой человек живет, — не годится, что письма пишу ученым людям у нас и в другие места — не годится, что ночами книги читаю и рукописи всякие — не годится, что во мне метр и девяносто сантиметров — не годится, что рельсы видел и поезд на них, на пароходе плавал и других людей видел — не годится, что три дома новых построил: обычных и два каменных, четыре скотных двора и сушилку для слив, да еще новую мельницу на Шуметлице, а Миолю ее не продал — не годится, четыре колодца выкопал, вода повсюду, словно в раю, — не годится, цветы посадил, семена которых шлют мне из Загреба, Граца и Суботицы, — тоже не годится, что у нас кони загляденье, все 36, — не годится, что я повозки заказал, езжай куда хочешь и когда хочешь, — и это не годится, что к нам ученые люди отовсюду приходят на обед и на разговоры — и это не годится, что я не косой, не кривой, не сопливый и ногу не приволакиваю — опять ей не годится, что я такой, какой есть, а не какой-то другой — и это, черт бы меня побрал, не годится!

МОРЩИНИСТАЯ кожа у матери, одежда может тоже быть, но это не страшно, а вот на груше кора — это плохо.

ПОПАДЬЯ — жена мне, никак не любит, когда ее так называют, а все только бы госпожой, а я как бы и ни при чем тут.

ПРИДУРЯЕТСЯ женщина, когда с ней все в порядке, а она стонет, что голова болит, потому как гостя твоего видеть не хочет или что другое.

ГОСТИ — что на пир приходят угощаться и веселиться, потому что это и тебя, который их угощает, еще больше радует.

НЕ ВОВРЕМЯ — когда вместо того, чтобы принять их, сготовить что-нибудь и стол накрыть, голову только полотенцем повяжет или в комнате своей запрется.

БУБНИТЬ — когда во весь голос нельзя, а только засесть в углу и поносить всё и вся себе под нос, чтоб не очень слышно было.

ПООЧЕРЕДНО — когда жена и матерь на меня наваливаются, сначала одна, потом другая.

ЗЛОВРЕДНАЯ — которая хочет, чтобы ты в том же аду пребывал, в котором она сама живет, а ты ни в какую.

МОРЩИТСЯ — как только у меня на душе весело станет, она тут же морщится.

ПЛАЧЕТ – кто влагу из глаз испускает от несчастья какого, а кто и просто по глупости или слабости, когда не может того, чего хотел бы.

НЕПОСТИЖИМАЯ – когда я не знаю, чего это́ она на меня набросилась, и думаю, то ли любить ее, то ли ненавидеть. То же и окорок, который высоко к балке привязан, только я его и без стремянки достать могу.

ИЗДЕВАЕТСЯ – когда нарочно с тобой говорит грубо, или грязью тебя поливает, стакан вина не подаст, или грозит, что в колодец спрыгнет из-за пустяка всякого.

ВЕРИЛ, что не совсем еще рассудок потеряла и что хоть когда-нибудь до нее докликаться можно будет, но никак.

НЕСОГЛАСИЕ – когда в дому все что угодно, кроме дружелюбия.

ОВДОВЕЛА, я мертвый, а она – королева, и сразу всему Грунту родней станет.

ОДИНОКИЙ – чистый, без кого другого в себе.

СЛУЖАНКИ – те женщины, которые все, что надо, по дому делают, а главная среди них ни к чему не прикасается.

НАЙТИ то, что дома потеряно, о чем только хозяйка знает где, а сказать не хочет. Найти должен и то, что ответить, когда тебя спрашивают, где хозяйка, которая по своей воле в кладовке заперлась и сидит.

МАНЯТ неразумную живность или что другое, чтобы подошло, а потом им поесть чего-нибудь дают, а потом их режут.

ЯДРО, из него все вырастает, пусть маленькое, но крепенькое, наивкуснейшее и очень памятливое.

ОЩИПЫВАЮТ курицу или что другое от перьев, хотя, говорят, один из Черника петуха с перьями жрет за малые деньги.

ВЫСТРАИВАЮТСЯ солдаты, годы и другие вещи не по собственной воле, а чтобы все в порядке было.

ВЕСЕЛИЕ – когда подумаешь, что сердце у тебя нынче ночью не остановилось, или что паводка не случилось, или что ничего не сгорело, или что конники жито не потоптали и челядь, и что все на своих местах стоит, и птицы еще есть, и пчелы жужжат, и цветы пахнут.

ДРУЖИНА – когда есть их парочка или больше, или когда все вместе дружатся, или вместе грабят честной народ, или вместе собираются, чтобы прокламацию какую издать о том, что завтра будет.

ОСОБЕННЫМ не всегда и вино, и общество, и разговор получается, а если только угадаешь.

ОСОБЕННОСТЬ – когда кто-то такой или сякой, как Романович Г., который толстый, или Муждека испорченный, или А., что вечно злая и

плохо ко мне относится, или матерь, которая всем недовольна, или Е. Л., который душа, а не человек.

УРОДЛИВЫЙ – некрасивый, смотреть противно, хотя иной раз лучше прочих бывает. С носом картошкой, а душа человечья. Она-то и у меня хорошая, а толку?

ПАПРИКАШ, у мадьяров, когда цыпленка или что другое порубят на куски, наперчат сильно и все перемешают, а потом едят с картошкой или с тестом, пока не лопнут. А зовется так по перцу или по паприке, красивому зеленому плоду, который вовсе и не мадьярский, а это мы, сербы, им его принесли примерно три века тому назад, кому-то из наших он понравился еще у лекаря Колумбова, некоего Ханеса, а тот вместе с мореплавателем был там, в Америке, и в той куче, что они из Америки привезли, и паприки семена оказались.

ХВАЛИТ – когда кто-то все, что видит или получает, называет самыми прекрасными именами, потому что или так оно и есть, или тот, кто хвалит, очень любезен и по-другому не обучен.

ВИНО – то, что из винограда давят, и лучше бы подождать, пока оно для питья сгодится. Ничего лучше в мире нет жажду утолять и в хорошее настроение прийти, чем **В.** Тоску разогнать, полечиться, повеселиться, одуреть, стать хуже или лучше, это уже от того, что ты за человек, потому как **В.** и показывает, каков ты есть. Есть его много сортов, и каждый хорош, и не бывает его плохого, если делать умеешь, а голова болит у того только, у кого она и без того дурная, или если перебор очень уж большой случится. Наши – рислинг и оттонел – такими всю жизнь и будут. Кто лозу не бережет и вырубает, у того руки отсохнут.

ВЫПИТЬ – принять в уста текучее, но почему-то все про вино так думают, а не про воду.

ОБ ЗАКЛАД биться любит Ефто Лацкович, что в среду дождь будет, или что на цветке лепестков число нечетное, или что в дом сначала мужчина придет, а не женщина, после чего все время проигрывает, но говорит, что он именно так и думал, а совсем не так, как говорил. После всего этого платит проигрыш, ругается, а все прочие смеются.

УЛЫБАЮСЬ – когда что-то дурацкое замечу, а другой нет, когда кто-то глупости какие несет, когда кто-то что-то наденет, а ему не идет совсем, когда кто-то шагает, будто палку от метлы проглотил, когда кто-то что-то путное рассказывает, когда А. аж пылает, чтобы доказать мне что-то, а сама не права. Лучше всего в поле смеюсь надо всем этим, аж до слез.

ПРИВОРОЖИТЬ парня, а можно и девушку. Или дьявол слабого духом, или царь народ речами своими, или обличьем своим, а потом это перестает действовать, и ты остаешься ни с чем.

АРАП – человек, как и мы, разве что ликом черен и живет в Африке.

ЗНАТНЫЕ люди, если что хорошее в мире сотворили, или наоборот, так что им это все припоминают так или иначе, и которые сейчас еще в живых и я их знаю, из всех писателей прежде всего Гёте, немец, хотя и

другие приметные есть, Клаузевиц генерал, тоже пруссак, Боливар в Южн. Америке, Фарадей, изобретатель, Шуберт, который не знамо сколько песен для детей сложил и для других, Гей-Люссак Жозеф, ученый, Гнейзенау Август, тоже пруссак, фельдмаршал Лафайет из французов, что по Америке воевал, Меттерних, который живых и мертвых преследует, как только ему в голову взбредет.

ВЛАСТЕЛИНЫ – которые могут, что пожелают и с кем угодно, пока у них в голове не прояснится или пока кто другой что не присоветует, но до тех пор понаслаждаться успевают. У англичан Георг IV, а французы имеют Карла X, у нас Франя[1], у сербов Милош, русские имеют Николая, испанцы – Фердинанда VII, папа Лев XII, в Америке Адамс Куинси, у пруссаков Фридрих Вильгельм III, итальянцы имеют Карла Феликса, это сейчас так, а уже завтра все по-другому может статься.

ВОЖДЬ – который превыше всех, и потому, что он говорит, то другие и делают, пока его слушаются, а как перестанут, то свергнут его, после чего другого какого поставят, который им опять прописывать начнет.

НАЛОГИ – то, что тебе определят платить потому только, что у тебя есть, с чего платить, и что ты работаешь, и за счет этого содержишь ты всех тех, что в общине сидят и решают, сколько ты платить должен. Что-то и царю отдают, чтобы он все это поддерживал.

ТОВАРЫ – которые по лавкам продаются, на базаре, а бывает, что украдут сначала, а потом продать поскорее хотят, пока их не поймали. Турки и людей продают.

БУНТУЮТ – когда кому-то что-то не понравится, вот с такими же вместе и соберутся, стреляют, матерятся и убивают, лишь бы только по-ихнему вышло.

ВОЙСКО готовить и людей вооружать. А потом они или войну затеют, или дома сидят и короля охраняют, чтобы его никто не убил.

СОБОР – когда соберется весь народ из округи, просто люди или попы, или другие кто, вот и совещаются, что и как надо бы, но всегда несогласный найдется, вот и совещаются до тех пор, пока его не уговорят или не разойдутся, разругавшись окончательно.

ЗНАМЕНА – куски материи, на которых пишут что-нибудь, или рисунки рисуют, или знак какой, или цвета различные, и означают они, что ты из того и того войска или державы, и под ними ты с другими сражаешься, и права никакого не имеешь, чтобы эти куски материи у тебя отняли.

КУМПАНЬОН – сумасшедший человек какой-то возьмет другого, чтобы вместе делом каким заниматься или чем другим, пока не разойдутся со скандалом и кровью.

ПОПОВСТВУЕТ – который и не поп вовсе, но любит важным казаться, и чтоб его слушали, а сказать-то ему и нечего.

1. Имеется в виду Франц Иосиф.

ОТКЛАДЫВАЕШЬ – когда подходящего времени ждешь, чтобы ему сказать, что он жулик, а не прямо здесь, пока он за твоим столом сидит, а ты его своим вином и своей едой потчуешь.

НАПИВАЮТСЯ всегда Гавро Романович, Богдан-математик, Неофит Айдукович. Другие больше придуряются.

ПРОДОЛЖАЮТ – еще раньше про это и про то говорили, а потом пришел кто-то, при котором нельзя про это, а когда он уйдет, опять про то же начинают.

ВОСПИТАТЬ – приказать, чтобы ребенка вырастили как надо, или хотя бы собаку, если тебе так уж хочется. С женой так не получится, потому как она уже по-своему воспитана, и все тут. Чему-то научить, чтобы таким был, а не другим.

СМЕЛИ со стола все, что было, а потом сидят и на скатерть смотрят.

СТОШНИТ тебя, если чего-то много, или еды, или событий, или людей.

ЯВЛЕНИЕ в небе странное, когда видно три дуги сразу, или круг вокруг солнца или месяца, а потом говорят, что война будет, чума или царь умрет, видят его больше испанцы или немцы, а потом записывают все и рисуют. Есть еще звезды падающие, метеоры и свет чудесный на небе, в разных краях по-разному, а потом разъясняют, что будет то-то и то-то. В мадьярской пустоши видят и то, чего не бывает вовсе, дворцы, например, башни, фонтаны и дев, и это мадьяры называют делибаб, а итальянцы фата-моргана, по какой-то принцессе, наверное.

ПОЕДОМ ест тебя жена, да чтоб ты проклят был, что мучишь всех нас своей жизнью, дурными привычками, компанией своей, пьянкой, гулянками, шумом и гамом, а больше всего своим весельем, словами, голосом, в то время как она невеселая, молчаливая и тихая.

ОДР – там, где ляжешь, будь ты живой или мертвый, хотя лучше, если живой.

ОТДЫХ, когда в него погрузишься, ни в коем случае думать не смей о том, что вокруг, и пусть оно тебя не волнует, пока к тебе силы не вернутся и настроение.

ПОКОЙ – когда был человек как все, а теперь покоится в мире.

От переводчика

Не считая нескольких книг, написанных и изданных в достаточно молодом возрасте, Бора Чосич, родившийся в 1932 году, всю жизнь пишет семейную сагу. Начиная с маленьких романов "Роль моей семьи в мировой революции" и "За что боролись" (в русском переводе вышли в издательстве "Азбука", СПб., 2000) и кончая большим эссе "Изгнанники", совсем недавно сочиненным им в эмиграции, он пристально изучает, осмысливает, описывает, высмеивает и боготворит институт семьи и — возьму на себя смелость утверждать — семью собственную.

Бора Чосич блистательно пользуется сербохорватским (именно так меня учили называть этот язык в 60-е годы) словом, многочисленными диалектами и гово-

рами родного языка; он купается в культурах сельских и городских предков — сербов, хорватов, словенцев и немцев, живших сложной семейной жизнью на Балканах, где в мире и войне, в любви и ненависти на протяжении веков сталкиваются православие, католицизм и ислам (именно эти столкновения стали причиной его эмиграции в Германию).

Бора Чосич виртуозно владеет формой: упомянутые уже книги похожи на юношеские дневниковые записи, "Загребский анализ" — серьезное философско-художественное эссе, блистательный роман "Bel tempo" в пятнадцать авторских листов есть не что иное, как комментарий "самой старой телезрительницы Европы" к только что минувшему веку. А составные части огромного труда под названием "Наставники" исполнены то в стихотворной, то в драматической форме, то напоминают дамский роман начала XX века, то состоят из газетных шапок, то воскрешают романтические воспоминания детства и юности, и так далее, и так далее...

Сегодня журнал представляет отрывок из первой части "Наставников". Все столь разные по форме и содержанию части этого произведения озаглавлены подлинными именами предков автора. Переводчик под свою ответственность изменил название самой первой части: в оригинале она зовется "Теодор". Словарь попа Теодора сочинил, конечно, сам Бора Чосич, но этот стилизованный труд — воистину великолепный документ из семейного архива! Поп Теодор, мятущийся характер, крепкий, хозяйственный мужик, прячет глубоко в душе романтическую жилку. Эта мощная, кипучая, интеллектуальная в зародыше натура так и не реализовалась в жизни, но — пришла к нам в лице своего правнука!

"Теодор" Боры Чосича читается и по вертикали: названия "словарных статей" при сквозном прочтении складываются в отдельный рассказ. Добавим союзы и знаки препинания и в полном варианте (он в пять раз больше отрывка!) читаем: "Слово: в церкви я поп, пою устами и языком сколько могу, пока горло не заболит. Ношу перстень и бороду, а также одежду, примечаю и записываю в этих краях все, что вижу и слышу..."

А каково переводить текст, насыщенный местными говорами и неповторимыми оборотами? В телефонном разговоре Бора Чосич с некоторой ехидцей сказал: "Хочется посмотреть, как мой прадед заговорит по-русски!" Вот и пришлось переводить "по системе Станиславского": перевоплотиться в героя и сыграть его на русской литературной сцене... А уж удалось ли — судить читателям. Все-таки я глубоко надеюсь, что читатель полюбит Бору Чосича, а сам писатель приобретет российского издателя.

Орхан Памук

Белая крепость

Роман

Перевод с турецкого Веры Феоновой

Хорошему человеку, хорошей сестре
Нильгюн Дарвыноглу (1961–1980)
посвящается

Что иное это может означать, как не начало любви, если кто-то пробуждает в нас интерес и каким-то неведомым образом вторгается в нашу жизнь и если мы ощущаем, что уже не можем жить без его любви?

Марсель Пруст

Вступление

Э ТУ рукописную книгу я нашел на дне пыльного сундука в 1982 году, когда летом по привычке неделю рылся в беспорядочном "архиве" городских властей в Гебзе[1], набитом фирманами[2], купчими, судебными актами и официальными ведомостями. Изящно обернутая синей мраморной бумагой[3], неясными очертаниями напоми-

© 1994 Iletişim Yayincilik A. S.
© В. Феонова. Перевод, 2003
Публикация Т. Михайловой.
Фото Глеба Шульпякова.

1. Гебзе – город недалеко от Стамбула. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Фирман (*перс.*) – указ шахов Ирана, султанов Османской империи и правителей других стран Ближнего и Среднего Востока.
3. Мраморная бумага – бумага, по структуре напоминающая мрамор.

нающей сны, написанная четким, разборчивым почерком, книга выделялась среди выцветших государственных бумаг и сразу привлекла мое внимание. Чья-то рука, видно, специально, чтобы заинтриговать меня, написала на первой странице название: "Приемный сын одеяльщика". Я быстро и с удовольствием прочитал эту книгу, на полях которой детской рукой были нарисованы люди с маленькими головами в одеяниях со множеством пуговиц. Книга мне очень понравилась, но переписывать ее было лень, и я незаметно сунул ее в портфель, злоупотребив доверием служителя, который относился ко мне уважительно и не наблюдал за мной, то есть попросту украл ее из этой груды, которую даже молодой каймакам[1] не осмеливался называть архивом.

Первое время я снова и снова перечитывал книгу, не зная, как с ней поступить. Мое недоверие к истории все еще не прошло, и меня занимали не столько научные, культурные или исторические стороны рукописи, сколько само повествование. А это заставляло меня думать о ее авторе. Поскольку я и мои коллеги были вынуждены покинуть университет, я вернулся к старой профессии моего деда, который издавал энциклопедии; именно тогда мне пришло в голову вставить статью об авторе найденной мною рукописи в "Энциклопедию знаменитостей", где я был ответственным за историческую часть.

Этому я стал отдавать все свое время, свободное от работы в энциклопедии и пирушек. Я обратился к основным источникам по этому периоду и увидел, что некоторые изложенные в книге события не соответствовали действительности: например, во время пятилетнего пребывания на посту главного везира Кёпрюлю[2] в Стамбуле действительно случился большой пожар, что было отражено в документах, но вот об эпидемии чумы, да еще так широко распространившейся, как было сказано в книге, и, казалось бы, достойной упоминания, в них не было ни слова. Имена некоторых везиров были написаны неправильно, некоторые были перепутаны, некоторые изменены! Имена главных астрологов не совпадали с указанными в дворцовых документах, но на них я особенно не сосредоточивался, посчитав, что это сделано умышленно. С другой стороны, исторические события, отображенные в книге, в основном подтверждались, некоторые даже в деталях: например, убийство главного астролога Хусейна-эфенди было совершено во время охоты Мехмеда IV[3] на зайцев в Мирахоре — угодьях дворца Топкапы[4]; так оно описано и у Наимы[5]. Я решил, что автор книги, который, по-видимому, любил читать и мечтать, пользовался для своей работы подобными источниками, просмотрел уйму книг и что-то потом использовал. Книгу Эвлии Челеби[6], о котором упоминает автор, он явно только просмотрел, но из рукописи было непонятно, знали ли они друг друга. Я старался не терять надежды напасть на след моего автора, но все мои изыскания в стамбульских библиотеках разрушили ее. Ни одного из трактатов и книг, преподнесенных Мехмеду IV в период 1652—1680 годов, я не сумел найти ни в библиотеке дворца Топкапы, ни в других библиотеках, куда, по моему представлению, они могли быть переданы. Единственное, что мне удалось встретить в библи-

1. Каймакам — глава администрации области или района.
2. Кёпрюлю Мехмед-паша (1575—1661) — великий везир при Мехмеде IV.
3. Мехмед IV (1642—1693) — султан (падишах) Османской империи.
4. Дворец Топкапы — султанская резиденция в Стамбуле; ныне музей.
5. Наима (1655—1716) — османский историк.
6. Эвлия Челеби (1611—1682) — турецкий географ, путешественник, автор знаменитой "Книги путешествия".

отеках, — это труды, переписанные писцом-левшой, упомянутым в книге. Я попробовал проследить судьбу этих трудов, завалил письмами итальянские университеты, но оттуда приходили удручающие меня ответы; попытки найти на кладбищах Гебзе, Дженнетхисара и Ускюдара имя человека, написавшего книгу, но не указавшего своего имени, результатов не принесли. Я прекратил поиск и написал статью для энциклопедии исходя из содержания книги. Как я и опасался, статью не приняли, но не потому, что в ней не было достаточной научной обоснованности, а потому, что человек, о котором я писал, не был известен.

Может быть, из-за этого мой интерес к книге еще более возрос. Я даже хотел уволиться, но я любил свою работу и своих товарищей. Было время, когда я каждому встречному рассказывал о моей книге с таким волнением, будто я не нашел, а написал ее. Чтобы привлечь к ней внимание, я говорил о ее символическом значении, о том, что она перекликается с сегодняшней действительностью, что я понял нынешние времена, прочитав ее. После таких слов молодежь, которую больше всего занимают проблемы политики, демократии, отношений Востока и Запада, заинтересовалась книгой, но и эти молодые люди, как и мои друзья, вскоре забыли о ней. Один мой приятель, профессор, просмотревший книгу, по моему настоянию, сказал, возвращая ее мне, что таких историй полным-полно в рукописях, которыми забиты старые деревянные дома в переулках Стамбула. Жители этих домов иногда относились к таким книгам, как к Корану, клали их на высокий шкаф, а если нет, то вырывали по листочку и использовали для растопки печи.

И вот, снова и снова перечитывая книгу, воодушевляемый девушкой в очках, не выпускавшей из рук сигарету, я принял решение опубликовать ее. Читатель увидит, что при переводе на современный турецкий язык я совершенно не заботился о стиле: я читал несколько предложений из рукописи, лежащей на столе, а потом шел в другую комнату к другому столу, где меня ждал лист бумаги, садился и пытался изложить современным слогом смысл прочитанного. Название книге дал не я, а издательство, согласившееся выпустить ее. Наверное, меня будут спрашивать, есть ли особый смысл в посвящении, том, что на первой странице. Мне кажется, болезнь нашего времени — это искать во всем некую связь. Поддавшись общей болезни, я и публикую эту историю.

Фарук Дарвыноглу

1

Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь. У нас было три корабля, а их галерам, выступающим из тумана, не было счета. Наш корабль охватили страх и тревога; гребцы, большинство из которых были турки и магрибцы, радостно засвистели, и нервы у нас начали сдавать. Наше судно, как и два других, развернулось в сторону суши, на запад, но мы не сумели, как другие, набрать большую скорость. Наш капитан из страха, что в случае пленения он будет казнен, не решался отдать приказ хлестать плетьми рабов, сидевших на веслах. Потом я часто думал, что из-за трусости капитана изменилась вся моя жизнь.

Сейчас я думаю, что моя жизнь изменилась именно в тот краткий момент, когда капитан поддался трусости. Жизнь, как известно, не предопределяется заранее, и все происходящее является лишь цепью случай-

ностей. Но даже те, кто знает эту истину, в какой-то миг своей жизни оборачиваются назад и понимают, что пережитые ими случайности были закономерностью. У меня тоже был такой период; сейчас, когда я, сидя за старым столом, пишу эту книгу и вспоминаю цвет турецких галер, выныривающих из тумана, мне представляется, что теперь самое подходящее время для того, чтобы начать и закончить какую-нибудь историю.

Видя, что два других корабля, проскользнув между турецкими галерами, исчезли в тумане, наш капитан воодушевился, осмелился наконец отхлестать рабов, но мы уже упустили время; к тому же и хлысты не очень действовали на рабов, почуявших запах свободы. Разноцветные турецкие галеры, рассекая стену тумана, устремились на нас. Капитан решил бороться, как мне кажется, не столько чтобы победить врага, сколько чтобы справиться с собственной трусостью и замешательством; подгоняя гребцов, он отдал приказ готовить пушки к бою, но поздно охватившее его желание борьбы быстро угасло. Если бы мы немедленно не сдались, наш корабль потонул бы под яростным бортовым обстрелом, и мы приняли решение поднять белый флаг.

Ожидая турецкие корабли посередине спокойного моря, я спустился в каюту, привел в порядок вещи, будто ожидал не врагов, которые изменят всю мою жизнь, а друзей, пришедших в гости; я открыл свой сундучок и рассеянно перебрал книги. Когда я перелистывал страницы книги, которую за большие деньги купил во Флоренции, на глаза навернулись слезы; я слышал крики снаружи, звуки беспокойных шагов, шум, но в голове крутилась мысль, что скоро мне придется расстаться с книгой, которую я держу сейчас в руках, и хотелось думать не о том, что сейчас происходит, а о том, что написано в книге, будто в ней содержалось все мое прошлое, с которым я не хотел расставаться. Я бормотал, словно молитву, слова, случайно попадавшиеся мне на глаза, и хотел запечатлеть в памяти всю книгу, чтобы потом, когда они придут, вспоминать не их и не те испытания, которым они меня подвергнут, а краски прошедшей жизни, повторяя дорогие мне слова книги, которые с радостью заучивал.

Тогда я был другим человеком, и моя мать, невеста и друзья называли меня иным именем. Я до сих пор иногда вижу во сне того человека, которым я был, и просыпаюсь в поту. Это был человек двадцати трех лет, различавший даже блеклые, воображаемые цвета несуществующих стран, выдумываемых нами, несуществующих животных и небывалого оружия; он изучал во Флоренции и Венеции науку и искусство, считал, что разбирается в астрономии, математике, физике и живописи; конечно же, он нравился себе, он усвоил многое из того, что было создано до него, и говорил обо всем этом со снисходительной усмешкой; он не сомневался, что многое может сделать лучше; он знал, что он умнее и талантливее всех; короче, это был обыкновенный молодой человек. Когда мне нужно было вспоминать свое прошлое, меня раздражало то, что я был этим молодым человеком, который говорил с любимой о чувствах, проектах, мире и науке и воспринимал как нечто совершенно естественное тот факт, что невеста восхищалась им. Но я утешаю себя тем, что несколько читателей, которые терпеливо дойдут до конца моих записок, поймут, что тот молодой человек — не я. И, возможно, терпеливые читатели подумают, как сейчас думаю я, что в один прекрасный день рассказ молодого человека продолжится с того места, на котором он прервался, — на чтении его любимой книги.

Когда захватчики вступили на наш корабль, я положил книги в сундук и вышел из каюты. На палубе было столпотворение. Наших согнали в кучу и обыскивали, раздевая догола. Я подумал было, что в этой неразберихе можно прыгнуть за борт, но сообразил, что уплыть мне не дадут — поразят стрелой; к тому же я не знал, на каком расстоянии от берега мы находимся. Сначала меня не трогали. Рабы-мусульмане, освобожденные от цепей, испускали радостные вопли, некоторые хотели немедленно расправиться с надсмотрщиками. Я вернулся в каюту. Через некоторое время меня нашли, стали хватать мои вещи. В поисках золота перевернули сундуки; после того как все мои вещи забрали, появился человек, который взял несколько оставшихся книг, рассеянно перелистал их и повел меня к капитану.

Капитан (позже я узнал, что он был из обращенных в мусульманство венецианцев) отнесся ко мне хорошо, спросил, что я умею делать. Чтобы не попасть на галеры, я сказал, что знаю астрономию и могу ориентироваться ночью, но это их не заинтересовало. Тогда, поскольку у меня осталась книга по анатомии, я назвался врачом. Через некоторое время ко мне привели раненого без руки, но я сказал, что я не хирург. Они рассердились и хотели отправить меня на галеры, но видевший мои книги капитан спросил, знаю ли я что-то о моче и пульсе. Сказав, что знаю, я избавился от участи гребца и спас несколько своих книг. Но моя привилегия дорого мне обошлась. Христиане, отправленные на весла, тут же возненавидели меня. Если бы они могли, они убили бы меня в первую же ночь, когда нас всех вместе заперли в трюме, но они боялись, поскольку у меня установились какие-то отношения с турками. Умер на колу наш нерешительный капитан, у надсмотрщиков над гребцами отрезали носы и уши и в назидание спустили на плоту в море. Когда сами собой затянулись раны у некоторых турок, которых я лечил не столько умением, сколько хитростью, все поверили, что я — врач. Даже некоторые мои завистливые враги, убеждавшие турок, что я не врач, ночью в трюме показывали мне свои раны.

В Стамбул корабли вошли с большой торжественностью. За нами наблюдал малолетний падишах[1]. На всех флагштоках были подняты османские флаги; молодые люди метали стрелы в наши приспущенные флаги, иконы Богоматери и перевернутые кресты. Окрестности содрогались от пушечного салюта. Торжества, бóльшую часть которых я наблюдал с грустью, отвращением и усмешкой, длились необычайно долго; у некоторых зрителей случился солнечный удар. К вечеру мы бросили якорь в Касымпаша[2]. Нас заковали в цепи, чтобы показать падишаху; а чтобы поглумиться над нашими воинами, надели на них доспехи задом наперед, на шеи капитанов и офицеров водрузили железные круги; в таком виде нас с ликованием повели во дворец, сопровождая шествие издевательской игрой на взятых с нашего корабля трубах и барабанах. Стоявший вдоль дороги народ весело и с любопытством смотрел на нас. Мы не видели падишаха, но он отобрал из нас причитающихся ему пленных. Нас провели в Галату[3] и заперли в тюрьме Садык-паши.

Тюрьма была отвратительная, в крохотных темных помещениях гнили в грязи сотни пленных. Я нашел там множество людей для приме-

1. Мехмед IV.
2. Касымпаша — район в европейской части Стамбула.
3. Галата — район в европейской части Стамбула.

нения моей новой профессии, некоторых даже вылечил. Я прописал лекарства охранникам, у которых болели спины и ноги. Поэтому меня опять отделили от остальных и поместили в приличную каморку, куда заглядывало солнце. Я смотрел на остальных и благодарил судьбу за свое положение, но однажды утром меня подняли вместе со всеми и сказали, что мы идем работать. На мои слова, что я врач и понимаю в науке, охранники только посмеялись: паша возводил стены вокруг своего сада — нужны были люди. Утром, до восхода солнца, нас заковывали в цепи и выводили за город. Весь день мы собирали камни, и когда вечером, снова в цепях, мы возвращались в тюрьму, я думал, что Стамбул — красивый город, но жить здесь надо не рабом, а господином.

И все же я не был простым рабом. Я лечил не только погибающих в тюрьме рабов, но и других, слышавших, что я — врач. Бóльшую часть денег, заработанных врачебной практикой, я вынужден был отдавать старшему из рабов и сторожам за то, что меня тайно выводили из тюрьмы. На деньги, которые удавалось утаить от них, я брал уроки турецкого языка. Моим учителем был пожилой добрый человек, который находился в услужении у паши. Он радовался, что я быстро усваиваю турецкий язык, и говорил, что скоро я стану мусульманином. Всякий раз он смущался, получая от меня деньги за урок. Кроме того, я давал ему деньги, чтобы он приносил мне еду, так как я был полон желания заботиться о себе.

Туманным вечером в мою конуру пришел кяхья[1] и сказал, что меня хочет видеть паша. Я удивился и, волнуясь, быстро собрался. Я решил, что, может быть, кто-то из расторопных родственников на родине, может, отец, а может, будущий тесть, прислал за меня выкуп. Шагая в тумане по кривым узким улочкам, я думал, что вдруг я очнусь ото сна и окажусь у себя дома и увижу перед собой родных. Я предполагал, что, может быть, послали кого-то, чтобы спасти меня, туман вот-вот рассеется, я окажусь на корабле, который увезет меня в мою страну. Но мы вошли в особняк паши, и я понял, что мне не удастся легко спастись. Люди ходили здесь на цыпочках.

Сначала меня привели в прихожую, потом ввели в комнату. На узкой софе возлежал небольшой приветливый человек, ноги которого были прикрыты одеялом. Рядом находился другой человек, внушительных размеров. Лежащий на софе оказался пашой, он подозвал меня. Мы стали разговаривать, он спрашивал, я отвечал, что изучал в основном астрономию и математику, но немного знаком и с инженерным делом, а еще понимаю кое-что в медицине и вылечил многих людей. Я рассказывал бы ему и дальше, но он сказал, что, судя по тому, как быстро я усваиваю турецкий язык, я, должно быть, умен, и добавил, что он болен и врачи не сумели его вылечить, он наслышан обо мне и хотел бы испробовать мое искусство.

Паша стал рассказывать о своем заболевании так, будто только он один на белом свете был болен этой болезнью, и заболел он потому, что враги обманули Аллаха, оклеветав его. Но я догадался, что у него известная нам астма. Я подробно расспросил его, послушал кашель, потом спустился на кухню и из найденных там трав приготовил мятные пилюли и микстуру от кашля. Поскольку паша боялся отравы, я при нем отпил глоток микстуры и проглотил пилюлю. Он велел, чтобы я незаметно вышел из его дома и вернулся в тюрьму. Кяхья объяснил мне потом, что он не

1. Кяхья — слуга в особняках знати, выполняющий обязанности дворецкого; управляющий.

хотел вызвать зависть других врачей. На следующий день я снова пошел к нему, послушал кашель и посоветовал те же лекарства. Ему, как ребенку, нравились разноцветные пилюли, которые я высыпал ему на ладонь. Вернувшись в тюрьму, я молил Бога, чтобы паше стало лучше. Через день подул пойраз[1]; в такую хорошую погоду любой почувствует себя лучше, думал я, но никто за мной не приходил.

Месяц спустя меня снова вызвали ночью, паша был на ногах и весьма оживлен. Я обрадовался, услышав, как он, спокойно справляясь с дыханием, делает кому-то выговор. Увидев меня, он сказал, что я его вылечил, что я хороший врач. Чего я хочу от него? Я понимал, что он не может сразу освободить меня и отправить на родину; я пожаловался на тюрьму, на цепи, сказал, что могу быть полезным ему, занимаясь медициной, астрономией, наукой, а меня зря изводят на тяжелых работах. Не знаю, насколько внимательно он меня слушал. Бóльшую часть денег из мешочка, который он мне дал, у меня отобрали стражники.

Через неделю ночью ко мне пришел кяхья, взял с меня клятву, что я не сбегу, и снял цепи. Меня продолжали водить на работу, но надсмотрщики были ко мне милостивы. Еще через три дня кяхья принес мне новую одежду, и я понял, что паша мне покровительствует.

По ночам меня приглашали в особняк. Я давал лекарства старым пиратам, которых мучил ревматизм, и молодым солдатам, страдавшим желудочными болями, пускал кровь чесоточным, тучным людям и людям, страдавшим головными болями. Я поил микстурой сына-заику одного из слуг паши, и переставший через неделю заикаться мальчик прочитал мне стихотворение.

Так прошла зима. Весной меня долго не беспокоили, и я узнал, что паша с флотом отправился в Средиземное море. Жарким летом те, кто видел мое отчаяние и гнев, убеждали меня, что я не должен жаловаться на свое положение, что я зарабатываю хорошие деньги своим врачеванием. Один бывший раб, много лет назад принявший мусульманство и женившийся здесь, посоветовал мне бежать. Они обманывают меня, они никогда не разрешат вернуться на родину рабу, который им полезен. Свободу я получу, только если, как он, приму мусульманство. Я подумал, что он, возможно, вызывает меня на откровение, и сказал, что у меня нет намерения бежать. Хотя не было у меня не намерения, а смелости. Всех беглых ловили достаточно быстро. Их избивали, и потом в камерах я прикладывал мазь к ранам несчастных.

К осени паша вернулся с флотом из похода; пушечными залпами он приветствовал падишаха, старался устроить праздник для города, как в прошлом году, но ясно было, что этот поход не был удачным. И в тюрьму привели очень мало пленных. Потом мы узнали: венецианцы сожгли шесть кораблей. Я искал возможности поговорить с пленными, надеялся получить какие-нибудь вести с родины, но большинство новых пленных были испанцы, они были молчаливы, необразованны и напуганы и были не в состоянии говорить ни о чем, только просили помощи и хлеба. Лишь один из них показался мне интересным: ему оторвало руку, но он не терял надежды и говорил, что такие же испытания выпали на долю одного из его предков, и когда тот освободился, то уцелевшей рукой стал писать приключенческие романы; он надеялся, что его ждет такая же судьба. Я вспомнил этого человека, когда придумывал рассказы, что-

1. Пойраз – северо-восточный ветер.

бы жить, а этот человек мечтал жить, чтобы сочинять рассказы. Через некоторое время в тюрьме вспыхнула эпидемия, унесшая больше половины пленных рабов; я уцелел благодаря взяткам, которые, не скупясь, давал стражникам, поэтому я жил в отдельной каморке и не заразился.

Выживших стали выводить на новые работы. Я никуда не ходил. Вечером пленные рассказывали, что их водили на другой конец Золотого Рога и там они работали у столяров, портных, красильщиков и других мастеров, сооружавших из картона корабли, крепости и башни. Потом мы узнали, что паша собирался женить сына на дочери главного везира и готовил пышную свадьбу.

Как-то утром меня вызвали к паше. Я отправился, думая, что у него осложнение с легкими. Паша был занят, я сидел в комнате и ждал. Через некоторое время открылась боковая дверь и вошел человек лет на пять старше меня, я посмотрел на него и замер от ужаса!

2

Вошедший человек был удивительно похож на меня. Это был я! Так мне подумалось в первую секунду. Будто кто-то, желающий разыграть меня, снова ввел меня в комнату через дверь, находившуюся напротив двери, в которую я до этого вошел; он будто говорил: смотри, ты должен быть таким, вот так ты должен был войти, вот так должны были двигаться твои руки, вот так должен был смотреть на тебя сидящий в комнате! Мы поздоровались, глядя друг другу в глаза. Он, однако, не казался удивленным. Тогда я решил, что не так уж он и похож на меня, у него была борода; я словно забыл, как выглядит мое собственное лицо. Он сел напротив меня, а я подумал, что вот уже год как я не смотрелся в зеркало.

Через некоторое время открылась та дверь, в которую вошел я, и его позвали. Я остался ждать, решив, что произошедшее — не плохо придуманная шутка, а лишь плод моего больного воображения. Потому что в те дни меня все время посещали какие-то видения: вот я возвращаюсь домой, меня все встречают, потом все вдруг исчезают, а я оказываюсь на корабле в своей каюте; все это были утешительные, похожие на сон сказки. Не успел я подумать, что этот человек тоже был из моих сказок, только воплотившихся наяву, как дверь снова открылась и меня позвали.

Паша стоял поодаль от человека, похожего на меня. Он велел мне поцеловать край одежды этого человека и, когда я выполнил приказ, спросил, как у меня дела; я начал было рассказывать о тяжелой жизни в тюрьме, о том, что хочу вернуться на родину, но он и слушать не стал. Паша напомнил, как я ему говорил, что разбираюсь в науке, в астрономии, в инженерном деле, а понимаю ли я что-нибудь в фейерверках, знаком ли с порохом? Я сразу сказал, что знаком, но, встретившись взглядом с моим двойником, заподозрил, что мне готовят ловушку.

Паша говорил, что свадьба будет небывалая, что будет фейерверк, который превзойдет те, что устраивались раньше. Похожий на меня человек, которого паша называл просто Ходжа[1], немного разбирается в этом деле и уже готовил фейерверк по случаю рождения падишаха; тог-

1. Ходжа — учитель, наставник; почтительное обращение к мусульманину в странах Ближнего и Среднего Востока.

да он работал с пиротехником-мальтийцем, ныне покойным; и паша решил, что я смогу быть полезным Ходже. Мы, оказывается, будем дополнять друг друга! Если мы устроим хорошее представление, паша нас отблагодарит. Я решил, что самое время сказать о моем желании вернуться на родину, но паша спросил, имел ли я с тех пор, как попал в Стамбул, отношения с женщинами, и, услышав мой ответ, сказал, что свобода без женщин не имеет смысла. Он говорил словами стражников; видимо, я очень глупо выглядел, потому что он рассмеялся. Повернувшись к Ходже, он сказал, что ответственность — на нем. Мы вышли.

Пока мы шли в дом моего двойника, я думал о том, что совершенно ничему не могу его научить. Но и он знал ненамного больше меня. Мы думали одинаково: главное — получить хорошую камфарную смесь. Для этого нам надо было, тщательно взвешивая, смешивать горючие вещества и ночью поджигать их под крепостной стеной. Пока нанятые нами люди под восхищенными взглядами окрестных детей поджигали изготовленные ракеты, мы сидели во мраке под деревьями и с любопытством и волнением ждали результата. После этих опытов, иногда при свете луны, иногда в кромешной тьме, я старался записать в маленькую тетрадь увиденное. Ночью мы возвращались в дом Ходжи, выходящий окнами на Золотой Рог, и, перед тем как разойтись, подробно обсуждали результаты.

Дом его был маленький, мрачный и неуютный. Вход в него был с кривой улочки, по которой откуда-то текла грязная вода, превращая землю в раскисшую глину. В доме почти не было вещей, но всякий раз, как я в него входил, он казался мне тесным, и меня охватывала странная тоска. Возможно, такое чувство вселял в меня этот человек, который желал, чтобы я называл его Ходжа, так как ему не нравилось имя, доставшееся ему от деда; он наблюдал за мной, словно хотел чему-то научиться у меня, но не знал, чему именно. Я никак не мог привыкнуть сидеть на тахте, которую он поставил у стены, и, когда мы обсуждали наши опыты, я стоял, а иногда нервно расхаживал по комнате. Думаю, Ходже это нравилось — он сидел и таким образом мог сколько угодно наблюдать за мной при тусклом свете лампы.

Чувствуя на себе его взгляд, я испытывал беспокойство оттого, что он вроде бы не замечал сходства между нами. Или же он заметил его, но не подавал вида. Он как будто играл со мной: ставил на мне маленький опыт и делал какие-то выводы. Потому что первые дни он смотрел именно так: будто что-то изучает, а изучив, испытывает еще больший интерес. Однако он словно боялся сделать еще один шаг, чтобы углубить свое знание. Его робость вселяла в меня смелость, но не уменьшала беспокойства. Он хотел незаметно втянуть меня в спор: один раз — когда мы обсуждали опыты, другой — когда он спросил, почему я до сих пор не стал мусульманином; но я угадал его намерение и отвечал уклончиво. Он почувствовал мою осторожность, и я, поняв, что он презирает меня, разозлился. В те дни общим между нами было только то, что мы оба презирали друг друга. Я сдерживался, потому что думал, что если мы устроим удачное представление без происшествий, то мне, может быть, разрешат вернуться на родину.

Однажды ночью, когда наша ракета взлетела особенно высоко, Ходжа, взволнованный такой удачей, сказал, что когда-нибудь он сделает ракету, которая долетит до Луны; надо только найти нужный состав пороха и отлить снаряд, который бы мы начинили этим порохом. Я

попытался объяснить, что Луна очень далеко, но он оборвал меня, сказав, что знает это, но разве Луна — не самая близкая к Земле планета? Я согласился с ним, однако он не успокоился, напротив, разволновался еще сильнее.

Через два дня в полночь он снова спросил: а почему я уверен, что Луна — самая близкая планета? Может, это обман зрения? Тогда я впервые сказал ему, что изучал астрономию, и коротко изложил основные положения космографии Птолемея[1]. Я видел, что он слушает с интересом, но сказать что-нибудь, чтобы обнаружить этот интерес, не решается. Когда я замолчал, он сказал, что знаком с Батламиусом, но это не изменило его подозрения относительно того, что может существовать планета, находящаяся к нам ближе Луны. Под утро он говорил об этой планете так, словно имел доказательства ее существования.

На следующий день он сунул мне в руки книгу, написанную отвратительным почерком. Несмотря на мое слабое знание турецкого языка, я разобрал: это было краткое изложение "Альмагеста"[2], в нем меня заинтересовали только арабские названия планет, да и то не очень. Ходжа, увидев, что книга не произвела на меня впечатления и я отложил ее в сторону, рассердился. Он сказал, что было бы правильнее, если бы я оставил свою самонадеянность и прочитал книгу, за которую он отдал семь золотых. Я, как послушный ученик, открыл книгу и стал терпеливо переворачивать страницы, но увидел лишь примитивную схему. На небесном своде были начертаны изображения планет вокруг Земли. Места планет были обозначены верно, но о порядке их расположения по отношению друг к другу художник не имел ни малейшего понятия. Потом я обратил внимание на небольшую звезду, расположенную между Землей и Луной; присмотревшись, я понял, что эта звезда была вписана в рукопись позднее, — чернила были тут более свежими. Я перелистал книгу до конца и вернул Ходже. Он сказал, притом очень серьезно, что найдет эту маленькую звезду. Я ничего не ответил, наступила тишина, которая раздражала и меня, и его. Поскольку больше ни одна наша ракета не взлетела так высоко, чтобы попасть в межзвездное пространство, мы перестали касаться этой темы. Наш маленький успех оказался случайностью, тайны которой мы не разгадали.

Мы добились очень хорошего результата по яркости, мощности и блеску огней благодаря тому, что Ходжа нашел в одной стамбульской лавке порошок, название которого не знал и сам продавец; мы решили, что этот желтоватый поблескивающий порошок является смесью серы и медного купороса. Мы составляли с этим порошком самые немыслимые смеси, чтобы получить разные оттенки, светло-кофейный и зеленоватый нас не устраивали. Ходжа говорил, что все равно это лучшее из того, что Стамбул видел до сих пор.

И это отметили все после нашего представления во второй вечер свадьбы, даже наши враги, которые плели против нас интриги и стремились помешать нашему делу. Я заволновался, когда нам сказали, что с противоположного берега Золотого Рога наш фейерверк будет наблюдать падишах; мне было страшно: вдруг что-нибудь пойдет не так, и я никогда не вернусь в свою страну. Когда дали сигнал начинать, я прочитал

1. Птолемей Клавдий (Батламиус) (ок. 90 — ок. 160) — древнегреческий астроном, разработавший теорию о геоцентрической системе мира ("Птолемеева система мира").
2. "Альмагест" ("Mathematike Syntaxis") — главный труд Птолемея.

молитву. Для начала, приветствуя гостей, мы запустили летящие прямо вверх разноцветные ракеты; следом привели в движение устройство в форме круга, — эту фигуру мы называли "мельница"; небо вмиг расцветилось красным, желтым и зеленым, это сопровождалось страшным шумом и было красивее, чем мы ожидали; по мере того как вылетали ракеты, круг крутился все быстрее и быстрее и неожиданно, осветив все как днем, остановился. Я вдруг представил себя в Венеции, мне восемь лет, я впервые видел такое представление и был, как и сейчас, несчастен: моя новая красная курточка была не на мне, а на моем брате, куртка которого порвалась во время нашей с ним драки накануне; ракеты в тот вечер взрывались красным цветом моей новой курточки со множеством пуговиц, курточки, которую я не смог надеть в тот вечер и поклялся не надевать никогда; курточки, которая брату была тесна.

Затем мы запустили фигуру, которую назвали "фонтан": из-под крыши на высоте в пять человеческих ростов начал выбиваться огонь; стоящие на противоположном берегу должны были лучше нас видеть этот огонь; они должны были прийти в восхищение, как и мы, когда из фонтана стали вылетать ракеты; но мы хотели привести их в еще большее восхищение: ведь на воде качались плоты с прикрепленными к ним картонными крепостями. Их башни символизировали победы прошлых лет, из них, загораясь, вылетали ракеты. Потом поплыл парусник, на котором меня взяли в плен, и другие корабли осыпали его дождем ракет; таким образом, я еще раз пережил день своего пленения. Когда начали гореть и погружаться в воду картонные корабли, с обоих берегов раздалось: "Аллах, Аллах!" Постепенно мы ввели в действие драконов, из ноздрей, пастей и ушей которых вырывалось пламя. Драконы сражались между собой; по нашему замыслу сначала ни один из них не мог победить; когда стемнело, наши люди на плотах привели в действие колеса, и драконы начали медленно подниматься в небо; зрители кричали от восторга и страха; когда драконы вновь с грохотом столкнулись, вспыхнули все ракеты на плотах; все фитили, размещенные нами в телах этих тварей, должны были быть подожжены точно в назначенный миг, чтобы все вокруг, как мы задумали, казалось сущим адом. Я понял, что представление удалось, когда услышал рыдания стоящего недалеко от нас ребенка; отец забыл о сыне и, открыв рот, смотрел на грозное небо. Теперь-то я вернусь в свою страну, думал я. На маленьком, незаметном для зрителей черном плоту в этот ад вплыло создание, которое я назвал "шайтан"; мы прикрепили к нему так много ракет, что боялись, как бы он не взлетел на воздух вместе с плотом и нашим человеком, но все шло нормально: после того как, прогорев, исчезли драконы, в небо стремительно взлетел шайтан; из его тела с треском вырывались огненные шары. В какой-то момент я подумал, что мы напугаем весь Стамбул; мне и самому стало страшно, и все же я чувствовал: я наконец приступил к исполнению того главного, что хотел совершить в жизни, и не имело значения, в каком городе я сейчас находился; я хотел, чтобы шайтан всю ночь парил в небе, разбрасывая огонь. Он покачался немного и под возбужденные крики с обеих сторон опустился в Золотой Рог. Погружаясь в воду, он продолжал гореть.

На следующее утро паша, как в сказке, прислал с Ходжой мешочек золотых. Он сказал, что остался очень доволен представлением, но его напугала победа шайтана. Мы устраивали фейерверк еще десять раз. Днем мы ремонтировали обгоревшие макеты, придумывали новые иг-

ры. Пленные, которых нам приводили из тюрьмы, набивали ракеты порохом. Один раб сжег десять мешков пороха, опалил себе лицо и ослеп.

Кончилась свадьба, и я перестал видеть Ходжу. Я был рад, что избавился от ревнивых глаз этого человека, неотрывно следивших за мной, однако вспоминал не без удовольствия проведенные с ним бурные дни. Когда я вернусь домой, я буду всем рассказывать об этом человеке, который, заметив наше внешнее сходство, никогда не говорил о нем. Я сидел в своей камере и, чтобы скрасить время, занимался больными; когда однажды меня позвал паша, я, взволнованный, почти счастливый, поспешил к нему. Он сразу стал меня хвалить, сказал, что все остались довольны представлением, всласть повеселились, что я очень способный и т. п. Потом вдруг сказал, что, если я приму мусульманство, он тут же меня освободит. Я был поражен и повел себя, как глупый ребенок, — сказал, что хочу вернуться на родину, заикаясь от смущения, стал говорить о маме, о невесте. Паша, словно не слыша моего лепета, повторил свои слова. Я помолчал. Почему-то вспомнил о своих друзьях детства — бездельниках, которые, случалось, поднимали руку и на отцов и которых я терпеть не мог. Когда я сказал, что не согласен поменять веру, паша рассердился. Я вернулся в камеру.

Через три дня паша снова позвал меня. Он был в хорошем настроении. Я все еще не решил, поможет ли переход в мусульманство моему побегу. Паша спросил, подумал ли я над его предложением, и пообещал, что лично женит меня на красивой девушке! Он удивился моему смелому заявлению о том, что я не желаю менять веру, и сказал, что я — дурак. Сказал, что вокруг нет никого, перед кем я стыдился бы того, что сменил религию. Немного рассказал об исламе. Потом отправил меня обратно в камеру.

На третий раз меня не повели к паше. Кяхья спросил о моем решении. Я сказал, что пока не готов сменить религию. Кяхья вывел меня из дома и передал другому человеку. Высокий худой человек, вроде тех, кого я часто видел во сне, осторожно взял меня под руку, словно больного, и повел в сад; тут появился еще один человек, такой огромный и могучий, что и во сне не мог бы привидеться; у стены они связали мне руки, у обоих были топоры: паша приказал отрубить мне голову, если я не стану мусульманином. Я оцепенел от страха.

Они смотрели на меня с жалостью. Я молчал. Хоть бы не спрашивали снова, думал я; через некоторое время они все же спросили. Религия, подумал я, — это то, из-за чего можно легко лишиться жизни; я любил и жалел себя не меньше, чем эти двое, которые задавали вопрос, принуждая меня отказаться от моей религии. Я заставил себя отвлечься от происходящего, оживив перед глазами картину, которую я видел из окна нашего дома, выходящего в сад: на столе на подносе, инкрустированном перламутром, были персики и черешня, позади стола стояла плетеная софа, на ней лежали пуховые подушки такого же цвета, как и зеленая оконная рама; еще дальше я увидел колодец, на край которого садились воробьи, а также оливковые и вишневые деревья. Между ними рос грецкий орех, и к его ветке на длинных веревках были привязаны качели, слегка покачивавшиеся от дуновения ветра. Мои палачи еще раз задали свой вопрос, и я ответил, что отказываюсь менять религию. Тогда они поставили меня на колени перед плахой и положили на нее мою голову. Я закрыл глаза, но тут же открыл их. Один занес было топор, но другой

вдруг остановил его, сказав, что, может быть, я все же передумаю. Меня подняли на ноги, сказали, чтобы я еще подумал.

Я размышлял, а они начали копать землю прямо рядом с плахой. Я решил, что меня сразу закопают здесь, и испугался не столько смерти, сколько того, что меня закопают. Я понял, что надо принять решение до того, как они выкопают могилу; между тем они вырыли неглубокую яму и снова подошли ко мне. Я подумал, что глупо было бы умереть вот здесь. Сказал, что еще не готов стать мусульманином. Если бы я вернулся в свою милую камеру, к которой так привык, и раздумывал бы всю ночь, то к утру я мог бы принять решение переменить религию; но не сейчас, не сию минуту.

Они схватили меня, подтащили к плахе и снова поставили на колени. Прежде чем положить голову на плаху, я увидел, что среди деревьев летит человек, и поразился: это я шел там бесшумно, почти не касаясь земли, только у меня была борода. Я хотел окликнуть свое изображение, но голос мне не повиновался: голова была прижата к плахе. Я подчинялся палачам и думал о том, что явившееся мне видение — не сон; спина и затылок мерзли. Наконец меня подняли и сказали, что паша рассердится. Развязали руки, обругав меня и назвав врагом Аллаха и Мухаммеда. Отвели наверх в дом паши.

Приблизившись к паше, я поцеловал край его одежды, и он сказал, что ему нравится, что я даже ценой жизни не хочу отречься от своей веры, но тут же стал говорить, что я напрасно упорствую, потому что ислам — самая великая религия. По мере того как он говорил, им все больше овладевал гнев; он был полон решимости наказать меня. Потом он сказал, что дал слово одному человеку, и я подумал, что именно благодаря этому я был спасен от некоторых неприятностей и что человек, который был, по выражению паши, очень странным субъектом, и есть сам паша. Но тут паша добавил, что он подарил меня Ходже. Сначала я ничего не понял; паша пояснил: теперь я — раб Ходжи, на то есть бумага, и теперь мое освобождение зависит от Ходжи, он может делать со мной все, что захочет. Сказав это, паша вышел из комнаты.

Ходжа находился в доме паши и ждал меня. Я догадался, что именно его видел в саду между деревьями. Мы отправились к нему домой. По дороге он сказал, что с самого начала знал, что я не откажусь от своей религии. Он даже приготовил для меня комнату в своем доме. Спросил, не голоден ли я. Я все еще переживал страх смерти и был не в состоянии есть. Но все же съел немного йогурта и хлеба. Ходжа с удовольствием наблюдал, как я жую хлеб. Он смотрел на меня, как крестьянин, который кормит купленную только что на базаре хорошую лошадь и размышляет, как он будет ее использовать в хозяйстве. Я часто вспоминал этот взгляд Ходжи, но Ходжа скоро забыл обо мне и углубился в рассуждения о часах, которые он предложит паше, и в подробности космографии.

Потом он сказал, что я должен научить его всему; для этого он и выпросил меня у паши; он отпустит меня на свободу только после того, как я обучу его всему, что знаю сам. Прошли месяцы, прежде чем я понял, что означает это "все": астрономия, медицина, инженерное дело — науки, которые я постиг в своей стране! Потом — все, что написано в книгах, которые он доставил из моей камеры; все, что я слышал и видел; все, что я думаю о реках, озерах и облаках, что знаю о причинах землетрясений и громе. К полуночи он сказал, что больше всего его интересуют звезды и планеты. В окно комнаты проникал лунный свет, и он ска-

зал, что мы должны точно установить, существует ли та звезда, что находится между Луной и Землей. Пока я, только что соприкоснувшийся со смертью, невольно наблюдал раздражающее сходство между нами, Ходжа перестал произносить слово "научить", а стал говорить: если бы мы вместе изучали, если бы вместе нашли, если бы вместе работали.

Так мы начали работать, как два брата, как два хороших ученика, которые занимаются на совесть даже тогда, когда дома нет взрослых, слушающих их через приоткрытую дверь. Поначалу я чувствовал себя скорее добросовестным старшим братом, согласившимся повторить урок, чтобы дать возможность догнать себя более ленивому брату; Ходжа же вел себя как умный младший брат, старавшийся доказать, что знания старшего брата не представляют собой ничего исключительного. Он считал, что разница в наших знаниях определяется количеством прочитанных мною книг, которые он принес из моей камеры и сейчас разложил перед собой. Он был очень работоспособен и умен, быстро постигал итальянский язык, который собирался впоследствии выучить еще лучше; за шесть месяцев он прочитал все мои книги, повторял мне то, что я ему рассказывал по памяти, и полагал, что от моего превосходства ничего не осталось. Он вел себя так, будто обладал оригинальными и глубокими знаниями, превосходящими содержавшиеся в книгах, которые он зачастую считал бесполезными. Через шесть месяцев после начала занятий мы уже не были парой, которая вместе училась и вместе добивалась успехов. Он рассуждал вслух, а я лишь напоминал ему о некоторых подробностях, чтобы он мог дальше развивать свою мысль, и помогал снова припомнить то, что он уже знал.

"Идеи", большинство из которых я забыл, приходили к нему чаще всего по ночам, когда мы съедали свой скромный ужин, а в квартале гасли огни и все вокруг погружалось в безмолвие. По утрам он ходил преподавать в начальную школу при мечети, расположенную в двух кварталах от дома, два раза в неделю отправлялся в муваккитхане[1] в отдаленном квартале, где я никогда не был. Оставшееся время мы проводили, обдумывая "идеи", которые он собирался окончательно сформулировать этим вечером, или рассуждая по поводу этих "идей". В такие вечера я с надеждой думал о том, что в скором времени смогу вернуться домой. Я считал, что дискуссии по поводу идей Ходжи, в которые я серьезно не вникал, задерживают мое возвращение на родину, поэтому я никогда ему не возражал.

Таким образом, первый год мы провели в занятиях астрономией, стремясь доказать наличие или отсутствие той воображаемой звезды. Работая с телескопами, которые он заказал, с полученными из Флоренции линзами, с астрономическими приборами и таблицами, Ходжа постепенно забыл о воображаемой звезде; он сказал, что занялся более глубокой проблемой и мы будем вести споры о системе Батламиуса, но мы не спорили: он говорил, а я слушал. Он рассуждал о том, как глупо утверждение о прозрачной сфере, на которой подвешены звезды; что, возможно, их держит что-то другое: может, какая-то неведомая сила или сила притяжения; потом он высказал мысль, что, возможно, Земля вращается вокруг некоего светила вроде Солнца, так же как и все звезды вращаются вокруг своих, неизвестных нам центров. Потом заявил, что

1. Муваккитхане — помещение в мечети, где хранились точно выверенные часы, по которым определяли время намаза.

он мыслит более масштабно, чем Батламиус, так как исследовал новое скопление звезд и выдвинул новую теорию: вероятно, Луна кружится вокруг Земли, а Земля — вокруг Солнца; возможно, центром является Венера. А потом все это надоело Ходже. Он сказал, что дело не в том, чтобы высказать новые идеи, а в том, чтобы познакомить современников со звездами и их движением, и начинать надо с паши; тогда-то мы и узнали, что Садык-паша сослан в Эрзурум. Говорили, что он участвовал в неудавшемся заговоре.

В ожидании возвращения паши из ссылки Ходжа задумал написать трактат о течениях в Босфоре, и мы месяцами трудились на Босфоре, измеряя течения и температуру рек, впадающих в него, следили за движением воды в море, с банками в руках ходили по долинам вокруг Босфора, где ветер пробирал нас до костей.

Работая над трактатом для паши, мы три месяца провели в Гебзе, и несоответствие времени намазов в разных мечетях навело Ходжу на другую мысль: он решил создать безупречные часы для определения времени намазов. Тогда я показал ему, что такое стол; когда в дом принесли предмет, сделанный столяром по моим чертежам, тот ему сперва не понравился: он сказал, что это похоже на похоронную плиту и принесет несчастье, но потом привык и к стульям, и к столу и сказал, что за столом ему лучше думается и пишется. Когда мы возвращались в Стамбул, чтобы заказать шестеренку эллиптической формы, соответствующую обороту Солнца, для изготовления часов, определяющих время намаза, стол следовал за нами на спине ишака.

В первые месяцы работы, когда мы сидели друг против друга за столом, Ходжа пытался понять, как определять время намазов и постов в других странах, где из-за того, что Земля круглая, была большая разница во времени. Еще один вопрос, который нас занимал, — есть ли на Земле, кроме Мекки, другое такое место, где правоверный всегда смотрит в сторону каабы. Чувствуя, что меня не интересуют эти вопросы, Ходжа глядел на меня с презрением, я же в такие моменты считал, что он замечает мое превосходство и, возможно, злится, подозревая, что я догадываюсь об этом. Поэтому он долго говорил о науке и о разуме: он надеялся произвести впечатление на пашу, когда тот вернется в Стамбул, своими проектами — новой теорией космографии, которая станет более понятной благодаря усовершенствованной модели вселенной, и новыми часами; он посеет семена возрождения науки, сумеет вызвать всеобщий интерес. Мы оба пребывали в ожидании.

3

В те дни он размышлял о том, как создать еще более крупную шестеренку, которая позволила бы заводить часы не раз в неделю, а раз в месяц; в будущем же он планировал создать иной механизм, который даст возможность заводить часы для намаза раз в год; он считал, что проблема состоит в том, чтобы найти силу для приведения в движение механизма, который увеличивался бы и утяжелялся бы по мере того, как увеличивался промежуток от одного завода часов до другого; и тут он узнал от знакомого в муваккитхане, что паша вернулся из Эрзурума.

На следующее утро он пошел поздравить пашу. В толпе гостей паша обратил внимание на Ходжу, заинтересовался его изобретениями, спро-

сил даже обо мне. В тот вечер мы разобрали и вновь собрали часы, добавив кое-что к прежней модели, а также подновили позолоту. Ходжа зачитал мне наизусть отрывки из своей речи, которую он написал пышным поэтическим слогом, чтобы произвести впечатление на слушателей. Под утро, пытаясь унять свое волнение, он стал читать текст о звездах и теории их движения. Потом погрузил в нанятую повозку наши приборы и отправился в дом паши. Я с удивлением увидел, что часы и модели, месяцами заполнявшие наш дом, уместились в повозке, запряженной одной лошадью. Вернулся он очень поздно.

Когда приборы были выгружены в саду паши, тот с неприятной старческой холодностью в шутку сказал, что ему не нравятся эти странные предметы, а Ходжа выложил ему заученный текст. Паша же вспомнил обо мне и произнес слова, которые потом скажет и падишах: "Это он тебя научил?" Такова была его первая реакция. Ходжа ответил вопросом, удивившим пашу: "Кто?" – хотя сразу сообразил, что речь идет обо мне. Паша сказал, что я – ученый дурак. Ходжа пересказал мне это, но думал в тот момент не обо мне: он все вспоминал о том, что произошло в доме паши. Ходжа настаивал, что все это придумал и сделал он сам, но паша не верил ему и, казалось, искал виноватого, но никак не мог согласиться, что им являлся его любимый Ходжа.

В общем, вместо того чтобы рассуждать о звездах, они говорили обо мне. Я понимал, что Ходже не нравился этот разговор. Наступило молчание, и паша обратил свое внимание на других гостей. Когда во время ужина Ходжа снова попытался заговорить о звездах и открытиях, паша сказал, что старается вспомнить мое лицо, но перед ним возникает лицо Ходжи. Гостей было много, разговор зашел о близнецах, которых не могли различить даже их матери; о людях, так похожих между собой, что они сами пугались, впервые встретившись, но потом, словно зачарованные друг другом, не могли расстаться; о бандитах, которых путали с их жертвами. Когда кончился ужин и гости стали расходиться, паша попросил Ходжу остаться.

Ходжа снова пустился в объяснения, но паша слушал с равнодушием и даже недовольством, словно у него испортилось настроение оттого, что ему сообщают какие-то не очень понятные сведения, но потом, когда Ходжа в третий раз произнес заученный текст, а паша еще раз увидел, как на нашей модели вращаются земной шар и звезды, у него вдруг пробудился какой-то интерес, и он стал слушать внимательнее. Ходжа стал повторять, что звезды вращаются не так, как все считают, а так, как показано на модели. "Хорошо, – сказал паша, – я понял, пусть будет так, почему бы нет?" И Ходжа умолк.

Я подумал, что они, наверное, долго молчали. Ходжа, глядя в окно на темный Золотой Рог, произнес: "Почему паша замолчал, почему не продолжил разговор?" Я, как и Ходжа, не знал ответа на этот вопрос. Я подозревал, что у Ходжи есть соображения по этому поводу, но он мне ничего не сказал. Потом паша заинтересовался часами, заглянул внутрь, спросил, для чего нужны такие шестеренки, такой механизм, такой вес. Потом со страхом, будто в темный зев ядовитой змеи, сунул палец в постукивающий механизм и тут же выдернул его. Ходжа в тот момент говорил о башенных часах, о силе воздействия намаза, который будет совершаться в одно и то же время. Вдруг паша закричал: "Избавься от него! Хочешь – отрави, хочешь – отпусти. Тебе будет легче". Видимо, я смотрел на Ходжу со страхом и надеждой.

Он сказал, что не отпустит меня на свободу, пока они не проявят интерес к нашему делу.

Я не стал спрашивать, о каком деле идет речь. Возможно, смутно опасался, что и Ходжа этого не знает. Потом они заговорили о других вещах, паша хмурился и с презрением смотрел на расставленные перед ним приборы. Ходжа допоздна напрасно ждал, что паша снова проявит к нему интерес. Наконец погрузил приборы на телегу. Я подумал о человеке, живущем в доме, мимо которого в темноте и тишине проезжала телега, и о том, что этот человек, должно быть, с удивлением, слышал стук часов, сливавшийся со скрипом колес, и что он долго не мог уснуть в ту ночь.

Ходжа не присел до самого рассвета. Свеча погасла, я решил зажечь новую, но он не позволил. Я сознавал, что он хочет что-то услышать от меня, и сказал: "Паша поймет". Я сказал это, когда было еще темно, но Ходжа, видимо, чувствовал неуверенность в моем голосе и через некоторое время произнес: "Почему паша тогда замолчал? Вот в чем тайна".

При первом же удобном случае он отправился к паше, чтобы разгадать эту тайну. На этот раз паша встретил Ходжу весело. Сказал, что понимает намерения Ходжи. Обрадовав этим Ходжу, паша посоветовал ему заняться оружием: "Оружие, которое превратит мир в тюрьму для наших врагов!" Так он сказал, но не пояснил, каким должно быть это оружие. Если Ходжа направит свои научные знания в этом направлении, паша его поддержит. Разумеется, он ничего не сказал о поощрении, которого мы ожидали. Только дал Ходже мешочек, наполненный акче[1]. Мы открыли его дома, посчитали: семнадцать монет, странная цифра! Вручив мешочек, паша сказал, что уговорит падишаха выслушать Ходжу. Сказал, что мальчик интересуется "такими вещами". Ни я, ни даже легковерный Ходжа не приняли всерьез эти слова, но через неделю нам сообщили, что паша нас — да-да, и меня тоже! — представит падишаху после ифтара[2].

Ходжа переделал речь, которую произносил перед пашой, таким образом, чтобы она была понятна девятилетнему ребенку. Но думал он почему-то не о падишахе, а о паше. О том, почему паша замолчал тогда. Когда-нибудь он разгадает эту тайну. Каким должно быть оружие, которое ждет от него паша? Мне тут сказать было нечего, да Ходжа ничего и не ожидал от меня. До поздней ночи он сидел, закрывшись у себя в комнате, а я уже не думал о том, как вернусь на родину, а, точно глупый ребенок, смотрел в окно и мечтал: за столом работаю я, а не Ходжа, и когда мне захочется, я поднимусь и отправлюсь, куда захочу!

И вот под вечер мы погрузили на телегу наши приборы и отправились во дворец. Я полюбил стамбульские улицы и мечтал, что когда-нибудь, невидимый, словно призрак, пройду по ним под огромными чинарами, каштанами и иудиными деревьями. Наши приборы мы положили в указанном нам месте во втором дворе дворца.

Падишах был краснощеким ребенком маленького роста. Он трогал наши приборы, как игрушки, и я не могу сейчас вспомнить, тогда ли мне захотелось быть его сверстником или товарищем или когда я с ним встретился через пятнадцать лет; я сразу почувствовал, что не следует относиться к нему с предубеждением. Ходжа медлил, падишах и его ок-

1. Акче — старинная мелкая монета.
2. Ифтар — разговенье у мусульман.

ружение с интересом ждали. Наконец он начал говорить, к своему рассказу он добавил нечто совсем новое: он говорил о звездах как о живых разумных существах, знающих геометрию и арифметику и гармонично вращающихся в соответствии с этими знаниями, он изобразил звезды как привлекательные загадочные существа. Ходжа вдохновлялся, видя, как ребенок, подняв голову, с восхищением смотрит на небо. Потом Ходжа продемонстрировал макет прозрачной сферы, внутри которой вращаются подвешенные в ней звезды: вот здесь — Венера, и она вращается вот так, а вон та огромная звезда — Луна, она движется по-другому. Ходжа вращал звезды, подвешенный к модели звоночек мелодично звенел, маленький падишах в страхе отступал назад, потом справлялся со страхом и подходил поближе к волшебной коробке, только что не залезал в нее, и старался понять сказанное.

Теперь, когда я перебираю воспоминания, мое прошлое представляется мне картиной счастья, похожей на те сказки, которые я слышал в детстве, и на картинки к этим сказкам. Не хватало только домов с красными крышами, похожих на пирожные, и стеклянного шара, из которого, если его перевернуть, сыпался снег. Потом ребенок стал задавать вопросы, а Ходжа — отвечать на них.

Как эти звезды держатся в воздухе? Они подвешены к прозрачной сфере! Из чего сделана сфера? Из прозрачного материала! А они не сталкиваются друг с другом? Нет, они, как на макете, находятся на разных уровнях! Так много звезд, почему на модели нет стольких же сфер? Потому что звезды очень далеко! Как далеко? Очень-очень далеко! А у других звезд есть звоночки, звенящие при вращении? Нет, звоночки сделали мы, чтобы было понятно, что звезда совершила полный оборот! Гром как-нибудь связан с этим? Нет! А с чем он связан? С дождем! Завтра будет дождь? Судя по небу — нет! Что говорит небо про больного льва падишаха? Что лев выздоровеет, но надо много терпения! И т. д., и т. д.

Говоря о больном льве, Ходжа, как и рассказывая о звездах, смотрел на небо. Когда мы вернулись домой, он снисходительно отозвался о беседе с падишахом. Важно было не то, что ребенок не отличал, где подлинная наука, а где пустая болтовня, а то, что он на что-то обратил внимание. Падишах повторял слова и делал вид, что понял то, что надо было понять. А я размышлял, стать ли мне мусульманином или нет. В мешочке, который нам вручили по выходе из дворца, оказалось ровно пять золотых. Ходжа сказал, что падишах верно понял движение звезд. Ах, падишах, я хорошо узнал его лишь позже, много позже! Я удивился, увидев из окна нашего дома ту же Луну, я хотел быть ребенком. Ходжа не удержался и снова вернулся к нашему разговору: дело не во льве, важно, что ребенок любит животных, вот и все.

Наутро Ходжа закрылся в комнате и принялся за работу; через несколько дней он снова погрузил часы и сферу со звездами на телегу — под любопытными взглядами из-за оконных решеток он направился в начальную школу. Вечером он вернулся невеселый, но не настолько, чтобы молчать: “Я думал, дети поймут все так же, как падишах, но ошибся”. Дети просто испугались, а после объяснений Ходжи один ребенок, отвечая на его вопрос, сказал, что по другую сторону неба находится ад, и заплакал.

Всю следующую неделю Ходжа внушал себе, что падишах понял его объяснения; он вспоминал каждую минуту, проведенную нами во втором

дворе дворца, и находил новые подтверждения своему мнению: да, ребенок умный; да, он уже сейчас умеет мыслить; да, он уже сейчас — личность, способная противостоять влиянию среды! Потом, еще до того, как падишах начал видеть сны про нас, мы стали видеть сны про него. Ходжа работал над часами, но, кажется, думал и об оружии; так он сказал паше, когда тот снова призвал его к себе. Но мне казалось, что он больше не надеялся на пашу. Как-то Ходжа заметил: "Он стал как все, он больше не хочет знать того, чего не знает!" Через неделю падишах вновь позвал Ходжу к себе.

Он весело посмотрел на Ходжу: "Мой лев выздоровел, получилось, как ты сказал". Они вышли во двор в сопровождении свиты. Падишах, показывая рыб в бассейне, спросил, нравятся ли они Ходже. Рассказывая мне об этом, Ходжа заметил: "Они были красные, и я не знал, что сказать о них". Но в этот момент он заметил некий порядок в стайке рыб, казалось, они переговариваются между собой, чтобы безупречно соблюдать этот порядок. Ходжа сказал, что рыбы кажутся ему умными. Карлик, стоявший рядом с евнухом, непрерывно напоминавшим падишаху о наставлениях матери, рассмеялся; падишах отругал его. Когда они садились в экипаж, падишах в качестве наказания не посадил рядом с собой рыжего карлика.

Они доехали до зверинца на Атмейданы[1], где содержались львы. Падишах показывал Ходже львов, леопардов, тигров, привязанных к колоннам старого храма. Они остановились перед львом, которому Ходжа предсказал выздоровление, мальчик что-то говорил льву, словно знакомя его с Ходжой. Потом они подошли к львице, лежавшей поодаль в углу, от нее не исходило неприятного запаха, как от других; она ждала потомства. Падишах, глядя на Ходжу заблестевшими глазами, спросил: "Сколько львят принесет эта львица и сколько из них будет самцов, а сколько самок?"

Ходжа с досадой рассказывал мне, что сделал неверный шаг: он ответил падишаху, что понимает в астрономии, но что он не астролог. Мальчик ответил: "Но ты все знаешь лучше, чем главный астролог Хусейн-эфенди!" Ходжа промолчал, испугался, что кто-нибудь из свиты услышит и доложит Хусейну-эфенди. Падишах с огорчением спрашивал: может, Ходжа ничего не знает и зря смотрит на звезды?

Тогда Ходжа вынужден был сказать то, что собирался сказать позже: что звезды многому его научили и эти знания позволили ему получить очень полезные результаты. Видя, как падишах слушает его с широко раскрытыми глазами, Ходжа сказал, что для наблюдения за звездами необходимо создать обсерваторию, примерно такую, как построили для Такиеддина-эфенди[2] по распоряжению Мурада III[3], деда Ахмеда I[4], чьим внуком является наш падишах, а потом никто там не работал, за обсерваторией не следили, и она разрушилась; надо построить нечто подобное, нет, еще лучше — дом наук, где будут изучать не только звезды, а всю вселенную, реки и моря, горы и облака, природу, животных; пусть ученые соберутся вместе и обсудят свои наблюдения, открывая новые знания, тогда наш разум будет развиваться.

1. Атмейданы — площадь в центре Стамбула.
2. Такиеддин (1526–1583) — османский астроном и математик, выходец из Египта.
3. Мурад III (1546–1595) — султан Османской империи.
4. Ахмед I (1590–1617) — султан Османской империи.

Падишах слушал о проекте Ходжи, о котором и я слышал впервые, как слушают увлекательную сказку. На обратной дороге в экипаже падишах спросил: "Так какое, по-твоему, будет потомство у львицы?" Ходжа заранее приготовил ответ и потому объявил, что самцов и самок будет поровну. Говоря мне об этом, он отметил, что его ответ был хорошо продуман. "Этого глупого ребенка я буду держать в руках, я сообразительнее главного астролога Хусейна-эфенди!" Меня удивило, что он так говорит о падишахе; я даже почему-то обиделся. На душе у меня было тоскливо, и я занялся домашними делами.

Потом он стал употреблять слово "глупость" как волшебный ключ, открывающий любой замок: из-за своей глупости они, глядя на звезды над нашими головами, ни о чем не задумываются; из-за глупости они спрашивают: а для чего пригодятся знания, которые они получат; из-за глупости они интересуются выводом, а не деталями; из-за глупости они похожи друг на друга и т. д. Хотя подобные высказывания не нравились мне, когда я жил еще в своей стране, я ничего ему не отвечал. Собственно, и он тогда интересовался не моим мнением, а своими глупцами, а моя глупость для него была иного свойства. В те дни, когда мы без конца вели разговоры, я рассказал Ходже свой сон: он возвращается вместо меня в мою страну, женится на моей невесте, на свадьбе никто не догадывается, что это не я; я же, одетый в турецкое платье, наблюдаю из угла, как моя мать встречается со счастливой невестой, и, несмотря на мои слезы, они не узнаю́т меня, поворачиваются ко мне спиной и удаляются. А я в слезах просыпаюсь.

Дважды Ходжа побывал у паши, который, судя по всему, был недоволен тем, что Ходжа сближается с падишахом не под его наблюдением; паша устроил ему настоящий допрос; значительно позже, уже после второго изгнания паши из Стамбула, Ходжа рассказал мне, что паша интересовался мной, наводил обо мне справки; знай я об этом раньше, я пребывал бы в страхе, что меня могут отравить. Я все равно чувствовал, что паша интересуется мной больше, чем Ходжой; мне льстило, что наше сходство занимает пашу сильнее, чем меня. Это сходство в то время было тайной, почему-то придававшей мне странную храбрость, о которой Ходжа не догадывался. Иногда я думал, что именно благодаря этому сходству, пока жив Ходжа, мне ничто не угрожает. Возможно, из-за этого я возражал Ходже, когда он причислял пашу к глупцам, и тогда Ходжа сердился. Сознание того, что он тяготится мной, но не может от меня избавиться, толкало меня на несвойственную мне дерзость. Ни с того ни с сего я вдруг начинал допытываться, что говорил паша про нас обоих, это вызывало гнев у Ходжи, причину которого он сам не мог понять. Тогда он упрямо повторял, что против паши строят козни, он чувствует, что янычары[1] что-то затевают, что во дворце что-то готовится. Поэтому, если он и будет работать над оружием, как велел паша, то будет это делать не для временного везира, а для падишаха.

Одно время я думал, что он занимается изобретением какого-то оружия, но дело двигалось плохо. Я был уверен, что, если бы у него что-то получалось, он обязательно открылся бы мне и даже, стараясь унизить меня, непременно спросил бы, что я думаю о его работе. В один из вечеров — а мы это делали два-три раза в неделю — мы отправились в из-

1. Янычары — с XIV в. пехота в регулярном войске, формировалась из христианского населения Османской империи.

вестный дом в Аксарае[1], послушали музыку, провели время с женщинами. На обратном пути Ходжа, болтая о женщинах, сказал, что собирается работать до утра, и сразу по возвращении домой закрылся в своей комнате. Я остался со своими книгами, которые мне надоело даже листать, и подумал: вот он сидит взаперти за столом, к которому так и не привык по-настоящему, и думает, но ничего у него не придумывается, и он часами со стыдом и гневом смотрит на лежащий перед ним пустой лист бумаги.

Далеко за полночь он вышел из комнаты и со скромностью ученика, нуждающегося в помощи, позвал меня к себе. Ничуть не смущаясь, он сказал: "Помоги! Давай думать вместе, у меня одного ничего не выходит". Я молчал, почему-то решив, что ему мешают мысли о женщинах. Увидев мой пустой взгляд, он сказал серьезно: "Я думаю о глупцах. Почему они так глупы?" И, словно предвидя мой ответ, добавил: "Ну хорошо, не глупы, но в головах у них чего-то не хватает". Я не стал спрашивать, кто это "они". "Разве нет у них места в голове, чтобы удержать знания? — Он огляделся по сторонам, словно подыскивая слово. — В голове у них — коробка, в коробке должно же быть среди всякой мешанины свободное местечко, чтобы что-то туда поместить, но похоже, что его нет. Понимаешь?" Я хотел бы убедить себя, что понимаю, но у меня это не получалось. Мы долго сидели молча. "Почему люди такие разные? — наконец сказал он и добавил: — Был бы ты настоящий врач, научил бы меня, объяснил бы, из чего состоит наше тело и каково внутреннее его строение". Он немного смутился. Не желая, видно, меня пугать, он постарался спокойно объяснить, что не хочет сдаваться, что пойдет до конца и потому, что ему интересно узнать, что находится там, в конце, и потому, что у него нет другого выхода. Я не понимал, но мне нравилось думать, что многому он научился от меня.

Потом он часто повторял эти слова, словно мы оба понимали их значение. Но за его показной решимостью проступала любознательность ученика, задающего много вопросов; всякий раз, когда он говорил, что пойдет до конца, мне казалось, что я слышу печальные стоны безнадежно влюбленного, спрашивавшего, почему на него свалилась такая беда. В то время он часто повторял эти слова: повторял, когда узнал, что янычары готовят бунт; повторял, когда рассказывал мне, что ученики начальной школы больше интересуются ангелами, чем звездами; повторял после того, как швырнул в угол, не дочитав и до половины, рукопись, которую купил за большие деньги; повторял, когда расставался после бесед с друзьями, с которыми, скорее по привычке, встречался в муваккит-хане; повторял после того, как мерз в плохо отапливаемой бане, и после того, как укладывался спать, разложив любимые книги поверх одеяла в цветочек; повторял после того, как слышал глупые разговоры во дворе мечети во время омовения; когда узнал, что флот потерпел поражение от венецианцев, и после того, как терпеливо выслушивал соседей по кварталу, которые уговаривали его жениться, так как возраст у него был уже солидный. Он пойдет до конца.

Сейчас я думаю: кто, прочитав до конца эту книгу, терпеливо проследив за реально происходившим или выдуманным мной, сможет сказать, что Ходжа не сдержал своего слова?

1. Аксарай — район в европейской части Стамбула.

4

Ближе к лету мы услышали, что на берегу Босфора в Истинье[1] нашли труп главного астролога Хусейна-эфенди. Паша получил в конце концов фетву[2] на убийство, астролог же не усидел в потайном месте, прослышав, что Садык-паша скоро умрет или что, по крайней мере, есть основание так думать, разослал во все концы послания и тем обнаружил себя. Он собирался переправиться в Анатолию, но палачи настигли его и задушили в лодке. Узнав, что имущество главного астролога арестовано, Ходжа попытался завладеть его бумагами, книгами и тетрадями; все скопленные деньги он истратил на взятки. Как-то вечером он привез большой сундук с рукописями, за неделю прочитал залпом тысячи страниц и потом сказал гневно, что он мог бы написать лучше.

И приступил к написанию своих книг, а я помогал ему. Он решил преподнести падишаху два трактата: "Жизнь животных" и "Чудные создания"; я рассказывал ему о красивых лошадях, об ишаках, зайцах, ящерицах, которых видел в саду нашего дома в Эмполи[3] и в лугах. Воображение у Ходжи было не особенно богатое; я рассказывал ему об усатых европейских лягушках в нашем пруду с кувшинками, о голубых попугаях, говорящих с польским акцентом, о белках, которые перед спариванием садились рядышком и чистили друг другу шерстку. Был в нашей книге подробный раздел о жизни муравьев, которой очень интересовался падишах, но он не мог с ней познакомиться, так как двор его дворца был вычищен до блеска.

Описывая подчиненную строгим законам жизнь муравьев, Ходжа мечтал о том, что мы будем наставниками малолетнего падишаха. Поэтому он счел недостаточным описание только известных нам черных муравьев и описал жизнь американских рыжих муравьев. Он мечтал написать печальную и назидательную книгу о том, что произошло с глупым местным населением, жившим в стране змей, называемой Америкой, и не желавшим ничего изменять в своей жизни. Он подробно рассказывал, как напишет о мальчике-короле, который увлекался животными и охотой, но, поскольку не интересовался наукой, был посажен на кол испанцами-гяурами, но я думаю, что он не посмел бы сочинить эту книгу. Работа мастера-миниатюриста, которого мы пригласили, чтобы сделать наглядными крылатых буйволов, и шестиногих быков, и двухголовых змей, не удовлетворила нас. "Раньше рисовали так, как рисуешь ты, — сказал Ходжа, — а теперь — все трехмерное и имеет тень, посмотри, даже самый обыкновенный муравей старательно тащит за спиной свою тень, как близнеца".

Поскольку падишах его не приглашал, Ходжа решил преподнести ему трактаты через пашу, но потом очень жалел об этом. Паша сказал, что наука о звездах — это вздор, что главный астролог Хусейн-эфенди занялся не своим делом, стал плести политические интриги, что он подозревает, будто Ходжа метит на его место, что сам он, паша, верит в науку, но связанную не со звездами, а с созданием оружия, что должность главного астролога — несчастливая, известно, что занимавших ее в конце концов убивали или они узнавали тайны и исчезали, поэтому он не хочет, чтобы Ходжа, которого он очень любит и знаниям которого доверяет, занял эту должность; насколько ему известно, уже есть кандидат на

1. Истинье — район в европейской части Стамбула.
2. Фетва — решение высшего мусульманского духовного лица о соответствии того или иного действия Корану и шариату.
3. Эмполи — город в Италии.

эту должность — глупый и наивный Сыткы-эфенди, который прекрасно справится с этими обязанностями; Паша слышал, что Ходжа завладел книгами прежнего главного астролога, но он не хочет, чтобы Ходжа занимался этими вопросами. Ходжа ответил, что его интересует только наука, и попросил передать падишаху трактаты. Вечером дома, посылая паше проклятия, он сказал, что не будет заниматься ничем, кроме науки, и сделает все необходимое, чтобы иметь возможность заниматься ею.

В следующий месяц Ходжа интересовался, какое впечатление произвела на юного падишаха наша книга о воображаемых животных, и все гадал, почему его до сих пор не позвали во дворец. Наконец его пригласили на охоту. Он рядом с падишахом, я поодаль отправились вместе со всей свитой в Мирахор на берег реки Кягытхане. Ловчий все подготовил: согнали зайцев и лис, вслед им пустили борзых; мы видели, как один заяц бросился в воду и поплыл, все наблюдали, как заяц добрался до противоположного берега, и стража хотела пустить туда собак. Даже мы, стоявшие далеко, слышали, как падишах не разрешил: "Не трогайте зайца". На том берегу оказалась чья-то собака, заяц снова бросился к воде, но собака схватила его; охрана подбежала, вырвала зайца из собачьих зубов и принесла падишаху. Мальчик осмотрел животное, обрадовался, что у него нет серьезных ран, и распорядился отнести зайца на холм и выпустить. Вокруг падишаха собралась толпа, в которой я видел мельком то Ходжу, то рыжего карлика.

Вечером Ходжа рассказал, что падишах спросил у присутствующих, как можно толковать произошедшее. Когда очередь наконец дошла до Ходжи, он сказал, что у падишаха неожиданно где-то появятся враги, но он успешно справится с этой опасностью. Недоброжелатели Ходжи принялись было хулить это толкование, где падишах приравнивался к зайцу, но падишах заставил замолчать их хор, в котором был и новый главный астролог Сыткы-эфенди, и сказал, что запомнит слова Ходжи. Потом, наблюдая печальный конец орла, растерзанного соколами, и лисы, которая яростно защищалась, но была разорвана на мелкие куски сворой собак, он сказал, что львица родила двух детенышей, самца и самку, и что ему очень понравилась книга о животных; он стал расспрашивать о голубых крылатых быках в долине Нила и розовых кошках. Ходжа испытывал странное опьянение победой и в то же время страх.

Много позже мы узнали о событиях, происходивших во дворце: одна из жен прежнего султана, Кёсем Султан[1], задумала убить падишаха и его мать, а на престол посадить наследника Сулеймана, сговорилась с начальниками янычар, но ей не удалось осуществить свой замысел. Кёсем Султан душили, пока у нее изо рта и носа не пошла кровь и пока она не умерла. Ходжа узнал обо всем этом, когда ходил в муваккитхане. Он ходил только туда и в школу, а больше никуда.

Осенью он хотел снова заняться космографией, но для этого нужна была обсерватория, а глупцы не придавали значения звездам, а звезды не обращали внимания на глупцов. Пришла зима, потянулись мрачные дни; в один из таких дней мы узнали, что пашу отправили в ссылку. Его тоже хотели задушить, но мать падишаха Валиде-султан[2] не дала согласия, у него отобрали имущество и сослали в Эрзинджан[3]. После этого

1. Кёсем Султан (Махпейкер) (ум. 1651) — жена Ахмеда I, бабушка Мехмеда IV.
2. Валиде-султан — в Османской империи титул матери султана.
3. Эрзинджан — область в восточной части Турции.

мы ничего о нем не слышали, пока не узнали о его смерти. Ходжа сказал, что теперь он не боится и никого не должен благодарить; не знаю, думал ли он, когда говорил это, что чему-то он научился у меня. Он не робел ни перед ребенком-падишахом, ни перед его матерью, словно говорил: или всё, или ничего, но дома он смирно жил среди книг, и мы собирались написать новый труд о рыжих американских муравьях.

Как и все предыдущие и последующие зимы, мы почти не выходили из дома; жизнь текла однообразно. Холодными ночами мы сидели на нижнем этаже, куда через трубу и дверь задувал северный ветер, и беседовали до утра. Он больше не унижал меня и не говорил мне ничего обидного. Это я объяснял тем, что никто им не интересовался, ни из дворца, ни из дворцового окружения. Иногда он, так же как я, отмечал наше сходство и, глядя на меня, видел себя, а мне было интересно: что он при этом думает? Мы завершили еще один большой трактат о животных, но он все продолжал работать, потому что паша находился в ссылке, и Ходжа, как он сам говорил, не собирался общаться со вхожими во дворец малознакомыми людьми. Иногда от нечего делать я перелистывал страницы трактата, рассматривал нарисованных мною фиолетовых кузнечиков и летающих рыб и представлял, о чем будет думать падишах, читая наш труд.

Ходжу позвали во дворец только в начале весны. Увидев его, мальчик очень обрадовался; как уверял Ходжа, по каждому его слову, каждому жесту видно было, что он много думал о Ходже, но не звал к себе, поскольку этому противились глупцы из свиты. Падишах сразу стал говорить о заговоре Кёсем Султан, сказал, что Ходжа предвидел эту опасность, так же как и то, что падишах справится с ней и останется целым и невредимым. В ту ночь, когда он узнал, что его хотели лишить жизни, он совсем не испугался, потому что вспомнил о злой собаке, которой не удалось загрызть зайца. Падишах хвалил Ходжу и приказал выделить ему надел земли в подходящем месте. Грамоту на надел должны были выдать в конце лета.

Надеясь на доход от надела, Ходжа в ожидании грамоты строил планы по сооружению в саду маленькой обсерватории. Он рассчитал размеры колодца, подсчитал стоимость приборов, которые разместит там, но эти расчеты быстро ему надоели. Тут он как раз нашел у букиниста небрежную копию рукописи, где содержались результаты астрономических наблюдений Такиеддина. Два месяца он потратил на то, чтобы определить правильность наблюдений, но с досадой бросил это занятие, потому что не мог определить, какие ошибки допустил Такиеддин, используя дешевые неточные приборы, а какие получились из-за невнимательности плохого переписчика. Еще его раздражало, что прежний владелец книги между тригонометрическими таблицами на основе шестидесятиричной системы вписал строки стихов. Владелец книги, используя эбджед[1] и другие методы, высказал некоторые предположения относительно будущего: после четырех дочерей у Ходжи родится сын, в городе разразится чума, которая отделит безгрешных от грешников, умрет сосед Ходжи Бахаттин-эфенди. Ходжа сначала веселился, читая эти предсказания, а потом загрустил. Он стал говорить со странной и пугающей уверенностью о наших головах как о сундуках

1. Эбджед — метод изучения истории рода.

или шкафах, куда можно заглянуть, открыв крышку, и увидеть содержащиеся в них мысли.

Землю, о которой говорил падишах, не выделили ни к концу лета, ни к зиме. Следующей весной Ходже сказали, что составляется новая опись земель и надо подождать. Ходжу тем временем не очень часто, но все же приглашали во дворец, и он отвечал на вопросы падишаха: что означает треснувшее зеркало или зеленая молния, сверкнувшая над островом Яссы, или ни с того ни с сего разбившийся кувшин с вишневым соком, по цвету похожим на кровь. Спрашивал падишах и о животных из нашей новой книги. Вернувшись домой, Ходжа говорил, что мальчик вступил в пору юности, а это, как известно, возраст, когда человек наиболее поддается влиянию. Ходжа возьмет падишаха в свои руки.

С этой целью Ходжа принялся за новую книгу. От меня он слышал о гибели ацтеков, я пересказывал ему воспоминания Кортеса, помнил он и рассказ о короле-ребенке, которого посадили на кол за то, что он пренебрегал наукой. Во всех этих историях говорилось о бессовестных людях, которые, пока хорошие люди дремали, побеждали их и подчиняли своему порядку благодаря своему оружию, разным приспособлениям, а также своим сказкам; долгое время он работал за закрытой дверью и скрывал от меня написанное. Я догадывался, он ждет, что я проявлю интерес, но тоска по родине, навалившаяся на меня в это время и заставлявшая меня чувствовать себя глубоко несчастным, рождала во мне ненависть к нему; я подавлял свой интерес, мне удавалось выглядеть безразличным к результатам его упорного труда, результатам, которых он добился, читая потрепанные старые книги, купленные по дешевке, и слушая мои рассказы. Я с удовольствием наблюдал, как день за днем он постепенно терял уверенность в себе и в том, что писал.

Он поднимался в маленькую комнату наверху, которую считал своим рабочим кабинетом, садился за сделанный по моему заказу стол, думал, но писать не мог; я понимал, что ему не хватало смелости писать, не поговорив предварительно со мной. Не только мои мысли, которые он якобы презирал, лишали его уверенности, он хотел знать мнение всех, подобных мне, тех, кто учил меня, кто вложил в мою голову знания. Интересно, что бы они подумали? Именно это он страстно желал спросить у меня и не решался. Как я ждал того момента, когда он сумеет побороть свою гордыню и прямо задаст мне этот вопрос! Но он не задал его. Я не знал, закончил ли он эту книгу или нет, но через некоторое время он отложил ее и вернулся к старой песне про глупцов. Надо было заниматься наукой, он не понимал, почему же они такие глупые! Я думал, что он повторяет все это от отчаяния, оттого, что не получает из дворца ожидаемых знаков расположения. Время проходит впустую, падишах взрослеет, но от этого никакого толку.

Но в то лето, когда Кёпрюлю Мехмед-паша стал великим везиром, Ходжа в конце концов получил земельный надел; причем он сам его выбрал: ему причитались доходы с двух мельниц, расположенных недалеко от Гебзе, и двух деревень в часе езды от селения. Мы отправились в Гебзе во время жатвы, сняли тот же старый дом, который по случайности оказался свободным; Ходжа не вспоминал о месяцах, проведенных нами здесь, когда он с ненавистью смотрел на стол, принесенный мной от столяра. Как будто вместе с домом постарели и стали уродливыми и воспоминания, а он был слишком нетерпелив, чтобы задерживаться на них. Он несколько раз побывал в своих деревнях, узнал, какой доход

был в прежние годы, и объявил, что нашел простой и понятный способ ведения учета доходов от земли.

Но ему мало было этих изысканий, в пользу и оригинальность которых он не верил и сам, потому что ночи, которые он бесцельно проводил в саду за домом, глядя в небо, снова воспламенили в нем страсть к астрономии. Я поощрял его, надеясь, что он продвинется вперед в своих исследованиях, но он не намеревался вести наблюдения или совершенствовать свои знания: он собрал в доме самых умных юношей и мальчиков, которых знал в деревне и Гебзе, объявив, что заставит их по-настоящему изучать науку; меня же он послал в Стамбул, чтобы я привез модель вселенной, смазал ее, починил звоночки, установил ее в саду; с непонятно откуда взявшейся энергией и надеждой он повторил в точности опыт, объяснявший небесную теорию, который он когда-то демонстрировал паше, а потом падишаху. Но интерес его к астрономии пропал, когда слушатели разошлись, не задав ни одного вопроса, а на следующее утро мы обнаружили перед дверью овечье сердце, из которого сочилась еще теплая кровь.

Он не впал в уныние от своего поражения: ясно, что здешним молодым не понять вращение Земли и звезд; да и не надо им сейчас это понимать; понять должен тот, кто входит в пору зрелости; может, он интересовался нами, пока нас нет, а мы здесь упускаем случай ради нескольких курушей, которые перепадут нам после сбора урожая. Мы уладили наши дела, назначили управляющим того, кто казался самым умным из умных молодых людей, и быстро вернулись в Стамбул.

Три последующих года стали самыми тяжелыми в нашей жизни. Каждый день, каждый месяц, каждый сезон был все более тоскливым и угнетающим повторением предыдущего дня, месяца, сезона. Мы с горечью и отчаянием наблюдали за повторением одного и того же и словно ждали какого-то поражения. По-прежнему Ходжу иногда звали во дворец, спрашивая у него толкования незначительных событий, по четвергам он по-прежнему встречался и разговаривал с друзьями-учеными; не так регулярно, как прежде, но все же он виделся со своими учениками и бил их; снова приходили желающие женить его, он все так же нерешительно сопротивлялся; он вынужден был слушать музыку, которую, по его словам, больше не любил, чтобы проводить время с женщинами, снова задыхался от ненависти, говоря о глупцах, снова запирался в комнате, гневно перебирал надоевшие книги, разложенные на постели, а потом часами ждал чего-то, глядя в потолок.

Победы Кёпрюлю Мехмед-паши, о которых он узнавал от старых друзей в муваккитхане, только укрепляли его ощущение несчастья. Рассказывая мне о победе флота над венецианцами, о возврате островов Бозджа и Лемнос или подавлении бунта Абаза Хасан-паши[1], он добавлял, что это их последние и временные победы, эти победы подобны последним усилиям глупого и неловкого хромого, который тонет в грязи. Ходжа будто ждал несчастья, которое изменит бесконечно утомлявшие нас однообразные дни. К тому же у него не хватало терпения и веры, чтобы долго заниматься тем, что он называл наукой: он был не способен заниматься новой идеей дольше недели, через какое-то время он опять вспоминал о глупцах и забывал обо всем другом. Стоило ли так утомлять себя мыслями о них? Так гневаться на них? Возможно, потому, что он

1. Абаза Хасан-паша (ум. 1658) — османский везир.

совсем недавно научился отделять себя от них, он никак не мог собрать всю свою волю и силы, чтобы упорно заниматься наукой.

Первый просветляющий порыв родился, без сомнения, из душевной тоски. Поскольку он был не в состоянии углубиться ни в одну тему, он, как глупые и эгоистичные дети, которые не способны сами себя занять, бродил по дому из комнаты в комнату, спускался и поднимался с этажа на этаж, бессмысленно смотрел в окно. Я знал, что, когда он заглядывал ко мне во время этих беспокойных блужданий по скрипучему деревянному дому, он ждал от меня развлечения, которое утешило бы его, какой-то мысли, хотя бы обнадеживающего слова. Но я не говорил ему тех слов, которых он ждал, потому что ему была безразлична та ненависть, которую я испытывал к нему. Я не говорил ему желанных слов и тогда, когда он переступал через свою гордость и, надеясь получить от меня ответ, кротко произносил несколько фраз; когда я слышал какую-нибудь новость из дворца, которую можно было трактовать как добрую, или высказанную им новую идею, которую он мог бы осуществить, если бы занялся ею, я либо пропускал это мимо ушей, либо гасил его воодушевление, указав на слабую сторону его идеи. Мне нравилось наблюдать, как он мучается среди пустоты и безнадежности.

Может, оттого, что он долго оставался наедине с собой, или оттого, что его рассеянный ум не мог сосредоточиться, он терял терпение, но потом нашел среди этой пустоты мысль, увлекшую его. На этот раз я ответил ему, так как мне хотелось придать ему смелости: то, что пришло ему в голову, заинтересовало и меня; я надеялся, что, может быть, теперь он обратит на меня должное внимание. Как-то под вечер Ходжа вошел ко мне в комнату и спросил, будто говорил о чем-то совершенно будничном: "Почему я — это я?" На этот вопрос я и ответил, желая придать ему смелости.

Сказав ему, что я не знаю, почему он — это он, я добавил, что этот вопрос очень часто задается и там. Говоря это, я не мог привести никаких доказательств, никакого примера, просто я хотел ответить то, что он хотел услышать, возможно оттого, что я подсознательно почувствовал, что ему понравится эта игра. Он удивился. Он смотрел на меня с интересом, ждал, что я продолжу, а когда я замолчал, не выдержал и попросил повторить сказанное: стало быть, они задавались этим вопросом? Увидев, что я гляжу на него с одобрительной улыбкой, он разозлился. Он задает этот вопрос не потому, что они его задавали, он и не знал, что они его задавали, он спросил это сам, а до них ему вообще никакого дела нет. "У меня в ушах голос, который постоянно звучит, словно песню поет", — сказал он немного спустя со странным выражением. Певец в его ушах напомнил ему о покойном отце: у того тоже перед смертью звучал голос в ушах, но то были другие песни. А его певец повторяет одну и ту же мелодию, и, преодолевая стеснение, он произнес: "Я — это я, я — это я, ах!"

Я чуть не расхохотался, но сдержался. Если бы это была шутка, он бы тоже смеялся; но он не смеялся, хотя понимал, что выглядит смешно. Я должен был показать, что понимаю и нелепость, и смысл произнесенного им; на этот раз мне хотелось, чтобы он продолжал. Я сказал, что звучащие в ушах у него слова надо принимать всерьез; исполняющий песню есть не кто иной, как он сам. В моем голосе ему послышалась насмешка, и он рассердился. Это ему и без меня известно; он хочет знать, почему голос повторяет именно эту фразу.

Я ничего ему не ответил, но подумал о том, что не только по себе, но и по своим братьям я знаю, что чувство неудовлетворенности у эгоистичных детей может дать плодотворные результаты, а может кончиться ничем. Я сказал, что надо думать не о том, чем вызваны эти слова, а об их смысле. Может, мелькнуло у меня в голове, он от безделья сошел с ума; зато я, наблюдая за ним, избавлюсь от тоски, безнадежности и трусости. Может, на этот раз он действительно поразит меня. Если он сделает это, то в нашей жизни действительно что-то произойдет. "Что же мне делать?" — спросил он уныло. Я сказал, что надо думать, почему я — это я, но сказал не так, будто даю наставление; ведь тут я не мог помочь ему, он должен был справиться сам. "Так что же мне делать? — спросил он насмешливо. — Смотреться в зеркало?" Но выглядел он уже успокоенным. Я молчал, давая ему возможность подумать. Он повторил: "В зеркало смотреться?" Я вдруг разозлился, решив, что Ходжа самостоятельно ничего не сможет добиться. Мне захотелось, чтобы он понял это, сказать ему в лицо, что без меня он ни до чего не сумеет додуматься, но я не посмел; вяло посоветовал ему смотреться в зеркало. Нет, у меня не было ни смелости, ни сил. Он разозлился, уходя, хлопнул дверью, прокричав, что я глупец.

Когда дня через три я снова заговорил на эту тему, то заметил, что ему хочется говорить о "них", и мне тоже захотелось продолжить эту игру; потому что, как бы там ни было, даже разговор на эту тему рождал какую-то надежду. Я посоветовал ему смотреться в зеркало гораздо дольше, чем это здесь принято. Там не только дворцы королей, принцесс и знати, но и дома простых людей увешаны зеркалами в красивых рамах; и занимаются они этим потому, что думают о себе. "Чем?" — спросил он с удивившими меня интересом и наивностью. Я решил, что он поверил тому, что я рассказываю, но он улыбнулся: "Стало быть, с утра до вечера они смотрятся в зеркало?" Впервые он насмехался над тем, что я оставил в своей стране. Я, рассерженный, стал подыскивать обидное слово и, не найдя, выпалил, что человек должен сам думать, кто он есть, но у него, Ходжи, не хватает на это смелости. Увидев, как я и добивался, огорчение на его лице, я пришел в хорошее расположение духа.

Но это удовольствие дорого обошлось мне. Не потому, что он угрожал меня отравить, убить, а потому, что через несколько дней он потребовал, чтобы я проявил смелость, которой, как я говорил, не хватало ему. Сначала я хотел обратить все в шутку, сказать, что думать о себе, глядя в зеркало, это шутка; сказал это со злостью, чтобы разозлить и его; но он, похоже, не поверил: он пригрозил, что, если я не проявлю смелости, он будет давать мне меньше пищи и запрет в комнате. Я должен подумать и записать на бумаге, кто я есть; а он увидит, как это делается, посмотрит, насколько я смел.

5

Сначала я написал несколько страниц о прекрасных днях, которые мы проводили в нашем поместье в Эмполи с братьями, мамой и бабушкой. Я сам толком не знал, почему выбрал именно это для объяснения, почему я — это я; может, оттого, что я тосковал по этим ушедшим прекрасным дням; к тому же после моих ненужных гневных слов Ходжа так настаивал, что я вынужден был писать о вещах, в которые должен поверить читатель, о подробностях, которые должны были его заинтересо-

вать. Ходже сначала не понравилось то, что я написал; любой может написать такое, он не верит, что такое пишут после раздумий, глядя на себя в зеркало, потому что это не та смелость, недостаток которой я замечал в Ходже. Прочитав о том, как мы с отцом и братьями отправились на охоту, как на меня вышел алыпийский медведь и мы долго смотрели друг другу в глаза, о том, что мы чувствовали, когда на наших глазах нашего любимого конюха растоптали наши собственные лошади, он повторил, что такое может написать любой.

Я ответил, что там все так живут, а я такой же, как все, на большее я не способен. Но он не слушал меня, а я, боясь быть запертым в комнате, продолжал писать о своих воспоминаниях. Таким образом в течение двух месяцев я с грустью восстанавливал мелкие, но приятные эпизоды прошлого; я вспоминал и переживал заново хорошие и плохие минуты своей жизни вплоть до того момента, когда попал в плен; в конце концов я заметил, что получаю от этого удовольствие. Ходже не надо было больше заставлять меня писать; каждый раз он говорил, что хочет от меня другого, и я переходил к новому воспоминанию, к новому рассказу о пережитом.

Прошло много времени, но вот наконец я увидел, что и Ходжа с интересом читает мои записки, и стал ждать удобного случая, чтобы привлечь и его к этому занятию. Чтобы подготовить его, я стал писать о некоторых переживаниях моего детства: о страхах бесконечной ночи, о любви к одному моему другу юности, с которым у нас вошло в привычку думать одновременно об одном и том же, о том, как он умер, а я решил, что умер я, и боялся, что меня живьем закопают вместе с ним; я знал, что Ходже это понравится! Через некоторое время я осмелился рассказать ему о своем сне: мое тело отделяется от меня и в темноте разговаривает с кем-то, похожим на меня, лица которого не видно, и они сговариваются против меня. Ходжа говорил, что в эти дни он еще чаще стал слышать голос в ушах. Как я и ожидал, сон мой на него произвел впечатление, и я стал настаивать, что ему тоже необходимо попробовать написать нечто подобное моим воспоминаниям. Тогда прекратится его бесконечное ожидание, и он определит истинную границу, отделяющую его от глупцов. Иногда его приглашали во дворец, но ничего обнадеживающего не происходило. Он колебался, но я настаивал, и он робко, с волнением сказал, что попробует. Боясь показаться смешным, он даже пошутил: раз мы вместе пишем, может, нам и в зеркало вместе смотреться?

Когда он говорил "вместе пишем", мне и в голову не пришло, что он захочет сидеть со мной за одним столом. Когда он начал писать, я думал, что он снова вернется к состоянию праздности и свободы, но я ошибся. Он сказал, что мы должны сидеть друг против друга и работать: только так наш ленивый ум может сосредоточиться на опасных темах, только так мы будем поддерживать друг в друге желание творить. Но я понимал, что это был предлог: он боялся остаться один на один со своим одиночеством. Я понял это, когда он, сидя над чистым листом бумаги, начал бормотать так, чтобы я слышал: он ждал моего одобрения того, что собирался написать. Написав несколько строк, он показывал их мне без всякого смущения и с какой-то детской непосредственностью: стоит это того, чтобы писать об этом, или нет? Я, естественно, одобрял.

Таким образом, за два месяца я узнал о жизни Ходжи столько, сколько не узнал за одиннадцать лет. Одно время они жили в Эдирне[1], куда мы

1. Эдирне — город на северо-западе Турции.

потом ездили с падишахом. Отец его умер рано, Ходжа не всегда мог вспомнить его лицо. Мать была очень работящая женщина. Она снова вышла замуж. От первого мужа у нее было двое детей: дочь и сын. От второго мужа она родила четверых сыновей. Муж был одеяльщиком. Разумеется, больше всех любил читать Ходжа. Я узнал также, что он был самым умным, самым ловким, самым трудолюбивым и самым сильным из братьев; был он и самым справедливым. О братьях он вспоминал с ненавистью, но не был уверен, надо ли обо всем этом писать. Я поощрял его, так как уже тогда думал, что, может быть, потом сделаю это историей моей жизни. Было в его языке и манере нечто, что мне нравилось и что я хотел перенять. Человек должен любить прожитую им жизнь, чтобы она и потом, спустя годы, устраивала его; я, например, люблю. Он считал, что все его братья — дураки; они общались с ним только тогда, когда им нужны были деньги; он же посвятил себя учебе. Его приняли в медресе Селимие, а когда он окончил медресе, его оклеветали. К этому вопросу он больше не вернулся, ничего не писал он и о женщинах. Сначала написал, что собирался жениться, но потом вдруг сердито разорвал написанное. В ту ночь шел сильный дождь. Это была первая из ужасных ночей, которых потом было много. Он сказал, что все, что он написал, — ложь, и решил писать заново; а поскольку он требовал, чтобы я сидел напротив него и тоже писал, я провел две бессонные ночи. Он даже не заглядывал в мою рукопись; я краем глаза наблюдал, как он сидит напротив меня и снова пишет то же самое.

Несколько дней спустя он написал на привезенной им чистой дорогой бумаге заголовок "Почему я — это я", но под этим заголовком он сумел написать только, как низки и глупы другие. Я узнал, что после смерти матери с ним поступили несправедливо, на доставшиеся ему деньги он приехал в Стамбул, поселился в какой-то обители, но потом увидел, как подлы и лживы жившие в ней, и ушел из нее. Я хотел, чтобы он поподробнее написал об истории с обителью; я подумал, что его уход оттуда был настоящей удачей: он сумел отделить себя от других. Когда я сказал ему об этом, он разозлился и сказал, что я интересуюсь грязными подробностями, чтобы когда-нибудь использовать их против него; я и так узнал о нем слишком много, а теперь еще хочу узнать и подробности, и это наводит его на подозрение. Потом он написал о сестре Семре, о том, какая она хорошая и какой плохой у нее муж; написал, как ему грустно, что он много лет не видел сестру, но когда я стал проявлять интерес к этой теме, он снова начал меня в чем-то подозревать и перешел к другим сюжетам: как он на последние деньги купил книги и долгое время занимался только чтением, потом нашел работу писаря, рассказывал, какие же бессовестные бывают люди, и тут вспомнил Садык-пашу, известие о смерти которого в Эрзинджане мы недавно получили. Именно Садык-паша обратил внимание на его страсть к науке, именно паша устроил его преподавать в начальной школе, и тем не менее паша — тоже один из глупцов. Просидев месяц над очередной писаниной, как-то ночью он снова разочаровался в ней и разорвал. Теперь я только по памяти восстанавливаю его сочинение. Последние страницы он написал под заголовком "Глупцы, которых я близко знал"; он создал некую классификацию глупцов, но остался недоволен: все его усилия ни к чему не привели, он не узнал ничего нового и по-прежнему не понимал, почему он — это он. Я его, видите ли, обманул, заставил думать о том, о чем он не хотел вспоминать. Он меня накажет.

Я не знаю, почему он повторял слово "наказание", напоминавшее о первых днях, проведенных нами вместе. Иногда я думаю, он осмелел, потому что я вел себя как послушный трус. Когда он первый раз сказал о наказании, я решил сопротивляться. Изрядно устав от работы над своими воспоминаниями, Ходжа бродил по дому. Потом снова пришел ко мне и заявил, что мы должны записать главную мысль: каким человек видит себя, глядя в зеркало, может ли человек постичь свою сущность, следя за своими мыслями.

Блестящая идея, напомнившая мне о нашем сходстве, взволновала и меня. Мы тут же уселись за стол. На этот раз и я полушутя написал на листе: "Почему я — это я". И поскольку я вспомнил о застенчивости, которая была особенностью моего характера, я тут же начал описывать связанный с этим случай из детства. Когда я читал у Ходжи о дурных качествах других людей, мне пришла в голову мысль, показавшаяся важной: Ходжа должен написать о своих плохих качествах. Читая в это время то, что написал я, Ходжа сказал, что он не трус. Я ответил: да, он не трус, но, как у каждого человека, у него не может не быть отрицательных качеств, и если он попробует в них разобраться, то поймет себя. Я поступил бы именно так, а ведь он хотел быть как я. Когда я сказал это, он рассердился, но сдержался и постарался говорить спокойно: не каждый, конечно, плохо относится к другим, но поскольку у большинства есть недостатки и отрицательные качества, то незачем копаться в них. Я возразил ему, что у него есть плохие, очень плохие качества, и он об этом сам должен знать. И дерзко добавил: "Ходжа, ты еще хуже меня".

Так начались те ужасные злые дни! Он привязывал меня к стулу перед столом, садился напротив и приказывал писать то, что он хочет, хотя и сам уже не знал, чего именно хочет. Кроме нашего сходства, ничего не приходило ему в голову. Как человек смотрит на себя в зеркало, так он должен уметь наблюдать и за ходом своих мыслей. Я умею это делать, но скрываю от него. Пока Ходжа сидел напротив меня и ждал, что я напишу о своей тайне, я заполнял страницы рассказами, где преувеличивал свои плохие стороны: я с удовольствием, намеренно расписывал случаи мелкого воровства в детстве и лжи из зависти, те хитрости, к которым прибегал, чтобы меня любили больше, чем моих братьев, плотские грехи юности. Ходжа читал написанное с интересом, с удивлявшим меня странным удовольствием и страхом, злился и еще больше заставлял меня страдать. Возможно, он бунтовал потому, что не смог тогда сопротивляться таившемуся в нем злу. А потом начал поколачивать меня. Прочитав об очередном моем грехе, он говорил: "Ах ты бессовестный" — и полушутя-полусердито ударял меня кулаком по спине; однажды, не сдержавшись, он влепил мне пощечину. Во дворец его приглашали все реже, и, может, он бил меня исключительно от досады, поскольку не мог найти себе другого занятия, кроме как заниматься мной и собой. По мере того как он читал о моих скверных сторонах и ужесточал наказания, меня охватывала странная уверенность: я впервые почувствовал, что держу его в своих руках.

Однажды после того, как он в очередной раз изрядно поколотил меня, я заметил, что ему стало жаль меня. Это было скверное чувство, смешанное с чувством отвращения, испытываемым человеком к другому человеку, которого он не считает равным себе; я догадывался об этом и потому, что теперь он смотрел на меня без ненависти. Он сказал: "Давай больше не будем писать всего, — и уточнил: — Я не хочу, чтобы ты пи-

сал", — потому что несколько недель я писал о своих недостатках, а он только наблюдал за мной. Постепенно погружаясь в еще более глубокую печаль, он сказал, что пора прогуляться куда-нибудь, может быть, съездить в Гебзе. Он собирался снова заняться астрономическими наблюдениями и сочинить более серьезный трактат о жизни муравьев. Я, видя, что он теряет остатки уважения ко мне, испугался и, чтобы хоть как-то сохранить его интерес к себе, придумал сильно унижающую меня историю. Увлеченно прочитав ее, Ходжа даже не рассердился; единственное, что, как я догадывался, заинтересовало его, — это то, отчего я соглашаюсь признать себя таким плохим человеком. Наверное, в тот момент он хотел быть именно таким, каким и был на самом деле. Он, разумеется, понимал, что здесь есть и доля игры. В тот день я говорил с ним как дворцовый шут, знающий, что его не считают за человека; я старался подстегнуть растущее в нем любопытство: если он хочет понять, как это я стал таким, он до отъезда в Гебзе и сам напишет о своих недостатках. Ну что он потеряет? Тем более вовсе необязательно, чтобы написанное было правдой и чтобы кто-то в это поверил. Если он это сделает, он поймет, как появляются такие, как я; стоит ради такого знания потратить один день. Поддавшись своему любопытству, не в силах сопротивляться моим уговорам, он сказал, что на следующий день попробует. И, конечно же, добавил, что делает это не потому, что втянулся в мои глупые игры, а потому, что сам этого хочет.

Следующий день был самым счастливым из всех дней моего рабства. Ходжа не привязал меня к стулу, и я все время сидел напротив него за столом и с удовлетворением наблюдал, как в течение дня рождается другой человек. Он с таким увлечением работал, что даже не стал писать свое смешное "почему я — это я". У него был вид ребенка, который шутит и весело врет. Но это мое радостное ощущение длилось недолго, как и то притворное чувство вины, которое он напустил на себя. Через некоторое время его игра закончилась; Ходжу пугала мысль выставить себя, пусть даже и приворяясь, виноватым. Не показав мне, он быстро зачеркнул написанное. Хотя, если бы он встал из-за стола сразу после того, как написал то, что пришло ему в голову, может, это спасло бы его и он бы обрел спокойствие.

Потом он стал работать очень медленно. Он писал что-то и, не показывая мне, уничтожал, каждый раз все больше теряя уважение к себе. Он собирался показать мне так называемое признание в своих дурных качествах, но до вечера я не прочитал ни слова из того, что мне так хотелось прочитать, он рвал и выбрасывал написанное. Наконец силы у Ходжи иссякли, и он, осыпая меня оскорблениями, заорал, что все это — гяурская грязная игра, но выглядел при этом таким растерянным, что я нахально сказал ему: не надо так переживать, он привыкнет быть плохим. Он явно не разделял моего мнения и ушел из дома, а когда вернулся поздно ночью, то по запаху благовоний, исходившему от него, я понял, как и предполагал, что он ходил в дом к тем женщинам.

На другой день после обеда, чтобы побудить его продолжить начатое, я сказал, что он настолько силен духом, что эти игры не могут оскорбить его. И кроме того, мы делали это не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы узнать что-то, например, почему те, кого он называет глупцами, глупы. Разве не интересно нам до конца узнать друг друга? Я сказал, что человек поддается очарованию того, кого знает до мелочей, и отчетливо помнит напугавший его сон.

Но не мои уговоры, с которыми я приставал к нему, изображая дворцового шута, а уверенность, которую придавал ему наступивший день, побудила его снова сесть за стол. Однако вечером, когда он встал из-за стола, он был еще менее уверен в себе, чем накануне. Мне стало жаль его, когда я увидел, что он снова отправляется к женщинам.

Так каждое утро он садился за стол в надежде написать сегодня о своих плохих качествах так, чтобы восстановить в себе утраченную уверенность, и каждый вечер вставал из-за стола, не дописав того, чего хотелось. Поскольку он теперь презирал себя, он не мог больше презирать меня; у меня наконец появилось ощущение некоего равенства с ним, которое, как я ошибочно предполагал, было у нас в первые дни нашего совместного существования. Я был доволен. Я начал раздражать его, и он сказал, что мне не обязательно сидеть за столом; это тоже был хороший знак, но накопившаяся годами злоба заставила меня закусить удила. Мне хотелось отомстить ему, перейти в нападение, я, как и он, утратил чувство меры: мне казалось, что если я посею у Ходжи еще большую неуверенность в себе, прочитаю какие-то из его признаний, которые он старательно скрывал от меня, и немного унижу его, то не я, а он будет рабом, не я, а он станет плохим человеком в этом доме. Собственно, появились уже некоторые признаки этого: я видел, что он хочет убедиться, что я больше не издеваюсь над ним; как все неуверенные в себе люди, он начал искать моей поддержки; чаще спрашивал моего мнения в бытовых вопросах: хорошо ли он одет, правильно ли он ответил кому-то, красивый ли у него почерк? Чтобы он не бросил игру, впав в уныние, я успокаивал его, время от времени принижая себя. "Ах ты!" — говорил его взгляд, но он уже не пытался меня ударить — видно, понимал, что и сам заслуживает, чтобы его ударили.

Мне было очень интересно узнать, что же это за признания, заставившие его так презирать себя. Поскольку в те дни я уже привык унижать его, хотя бы и мысленно, я думал, что его признания касаются простых, незначительных проступков. Я говорил себе, что придумаю несколько подробностей его признаний, ни строчки из которых я не читал, чтобы сделать правдоподобным мой рассказ о прошлом, но никак не находил проступка, приличествующего Ходже, который бы не нарушил повествования о моей жизни. Должен признаться, что незаметно для Ходжи я открыл, в чем слабость таких людей, как он. И если я смогу сказать о своем открытии — пусть в завуалированной форме, — то тем самым приближу день, когда я стану издеваться не только над ним, но и над другими; я загоню их в угол, доказав, что они плохие. Думаю, что читатели моего рассказа уже понимают, что мне надо было учиться у Ходжи так же, как ему у меня! Может, я воспринимаю это так сейчас потому, что человек с возрастом все больше ищет гармонию, даже в повествовании. Накопленная годами ненависть должна была воодушевить меня. После того как Ходжа порядком унизил себя, я могу заставить его признать мое превосходство, мое право на свободу, а потом смело потребую бумагу об освобождении. Я мечтал, как он без каких-либо возражений освободит меня, и представлял, что я напишу о своих приключениях и о турках по возвращении в свою страну. Как легко я мог увлекаться! Известие, которое Ходжа сообщил мне однажды утром, изменило все!

В городе началась чума! Сначала я не поверил, потому что Ходжа говорил об этом с таким видом, будто речь идет не о Стамбуле, а о каком-то другом, далеком городе; я спросил, откуда он узнал, потребовал рас-

сказать подробности. Люди стали умирать ни с того ни с сего, но потом поняли, что это болезнь! Я подумал: может, не чума, спросил о признаках болезни. Ходжа посмеялся надо мной: я, мол, могу не сомневаться; если болезнь настигнет меня, я сразу об этом догадаюсь, ведь человек при высокой температуре сгорает за три дня. У кого за ухом, у кого под мышкой, у кого на животе появляются припухлости, возникают бубоны, потом поднимается температура; иногда бубоны лопаются, и люди харкают кровью и умирают, кашляя, как при туберкулезе. В каждом квартале есть несколько умерших. Разве я не слышал, что и в нашем квартале мастер по строительству заборов, который ссорился со всеми соседями из-за того, что их дети едят яблоки из его сада, а куры перелетают через его забор, неделю назад умер в страшных мучениях? У него была высокая температура, но только сейчас все поняли, что он умер от чумы.

Мне не хотелось в это верить; все было как обычно, люди, проходящие под окном, были совершенно спокойны, и мне надо было найти кого-то, кто бы встревожился так же, как я, чтобы поверить: в городе чума. На следующее утро, когда Ходжа отправился в школу, я выбежал на улицу. Я искал принявших мусульманство итальянцев, с которыми был знаком уже одиннадцать лет. Один из них, новое имя которого было Мустафа Реси, отправился на верфь; другой, Осман-эфенди, не впустил меня, хотя я стучал кулаками в дверь, и приказал своему слуге сказать, что его нет дома, но потом не выдержал и позвал меня. Как я могу спрашивать, действительно ли в городе чума? Разве я не вижу, как несут покойников? По моему лицу он понял, что мне страшно, и сказал, что я боюсь, потому что все еще держусь за свою христианскую веру. Стал упрекать меня за это, сказал, что человек должен быть мусульманином, чтобы быть здесь счастливым; и перед тем как скрыться во влажной темноте своего дома, он не прикоснулся ко мне, не пожал мне руки. Было время намаза; увидев толпу в мечети, я в ужасе поспешил вернуться домой. Я был растерян, я совершенно потерял голову, как это бывает с людьми в дни несчастий. Я словно забыл о своем прошлом, словно окаменел, все краски стерлись из моей памяти. И окончательно у меня сдали нервы, когда я увидел людей, несущих покойника.

Ходжа вернулся из школы, и я заметил, что он обрадовался, увидев, в каком я состоянии. Он считал меня трусом, а его уверенность в себе росла. Мне, однако, хотелось, чтобы он не гордился понапрасну своим бесстрашием: стараясь сдерживать свое волнение, я обрушил на него все свои медицинские и литературные познания; я пересказывал сцены чумы, запомнившиеся по Гиппократу, Фукидиду, Боккаччо, сказал, что болезнь считается заразной, но после этого он лишь с еще большим презрением посмотрел на меня: он не боялся чумы, болезнь — это предопределение Аллаха; если человеку суждено умереть, он умрет; поэтому бесполезно глупо трусить, как я, запираться в доме, прерывать отношения с внешним миром или бежать из Стамбула. Если нам это суждено, смерть настигнет нас, и мы умрем. Почему я боюсь? Потому что столько дней писал на бумаге плохое! Говоря это, он улыбнулся; глаза его светились надеждой.

Я не понимал, верит ли он в эти свои слова. В какой-то миг я испугался его дерзости, вспомнив о страшных играх, которые мы вели, сидя за столом. Он все время возвращался к описанным нами недостаткам и самодовольно повторял то, что заставляло меня злиться и страдать: раз я боюсь смерти, значит, я не поднялся над злом, о котором писал с такой

смелостью. Смелость, с которой я рассказывал о недостатках, была всего лишь бесстыдством! А нерешительность Ходжи в эти дни объясняется тем, что он внимательно разбирался в каждом, даже самом мельчайшем своем проступке. Теперь он успокоился, абсолютное отсутствие страха перед чумой доказывало, что он безгрешен.

С отвращением слушая его объяснения, которые казались мне дурацкими, я решил вступить с ним в спор. Я прямо сказал, что он так говорит не оттого, что полон мужества и душевного спокойствия, а оттого, что не осознает близости смерти. Я объяснил, как мы можем уберечься от смерти: для этого надо не прикасаться к больным, мертвых хоронить в известковых ямах, свести к минимуму общение с людьми, и поэтому он не должен ходить в школу.

В результате произошло нечто ужасное. Он сказал, что накануне прикоснулся к каждому ребенку в школе, и протянул руки ко мне; видя, что я боюсь и не хочу к нему прикасаться, он подошел и обнял меня; мне хотелось кричать, но я не мог кричать, так бывает во сне. А Ходжа сказал с насмешкой, значение которой я понял гораздо позже, что он научит меня бесстрашию.

6

Чума быстро распространялась. Я никак не мог постичь того, что Ходжа называл бесстрашием, хотя, по правде говоря, уже не был так осторожен, как в первые дни. Мне надоело сидеть в комнате, как больному, и глазеть в окно на улицу. Иногда я, словно пьяный, выскакивал из дому и старался не думать о чуме, глядя на женщин, покупающих что-то на рынке, на ремесленников, работавших в лавках, на людей, собравшихся в кофейнях после похорон близких. Может, я и забыл бы о ней, но Ходжа все время поддразнивал меня.

Вечером он протягивал ко мне руки, предупредив, что он касался сегодня множества людей. Я стоял не шелохнувшись. Так застывает человек, который, проснувшись, видит, что на нем сидит скорпион! Ходжа касался меня холодными пальцами и спрашивал: “Боишься?” Я не шевелился. “Боишься. Почему тебе страшно?” Иногда мне хотелось оттолкнуть его руку, но я понимал, что это только еще больше разозлит его. “Я тебе скажу почему. Ты боишься, потому что чувствуешь свою вину. Потому что ты погряз в грехах. Боишься, потому что ты веришь мне больше, чем я тебе”.

Ходжа говорил, что мы должны сесть за стол и что-то написать. Что́ именно сейчас мы должны написать? Почему мы — это мы? Но в результате он писал только о других и хвастливо показывал свои записи. Он полагал, что я буду стыдиться написанного мной, я же не мог скрыть своего презрения и сказал, что он ставит себя на одну доску с глупцами и что он умрет раньше меня.

Слово было самым действенным моим оружием. И потому я напомнил ему о его работах за последние десять лет; я говорил о годах, потраченных им на теорию космографии, о многих часах наблюдения за небом, испортившего его зрение, о днях, когда он не отрывался от книг; я нападал на него; говорил, что глупо просто так умирать, когда можно жить, уберечься от чумы. Мои слова заставляли его осознать угрозу. Читая то, что он написал, я чувствовал, что он, вопреки своей подозрительности, вновь испытывает утраченное было доверие ко мне.

Чтобы забыть о своих несчастьях и о реальности, я в те дни записывал счастливые сны, снившиеся мне не только ночью, но и во время послеобеденного отдыха. Эти сны, где лишь образы имели значение, я старательно записывал поэтическим языком сразу же, как только просыпался. В моих снах в лесу за нашим домом жили люди, знавшие тайны, которые нам давно хотелось узнать; если мы осмеливались войти в этот темный лес, то становились их друзьями; то вдруг снилось, что наши тени не исчезают, когда заходит солнце. Люди, которых я видел во сне, как бы выходили из сна и начинали жить среди нас: вот я вместе с отцом и матерью устанавливаю в саду какие-то металлические конструкции, которые должны были облегчить нашу работу.

Нельзя сказать, чтобы Ходжа не догадывался, что эти сны — та дьявольская ловушка, которая утащит во тьму все его бессмертные знания, но все равно он спрашивал меня, даже сознавая, что с каждым вопросом понемногу теряет уверенность в себе: что означают эти нелепые сны? Действительно ли я вижу во сне все то, о чем говорю? То, что мы спустя годы проделаем с падишахом, сначала я проделал с ним, Ходжой; было очевидно, что если мы не можем препятствовать распространению чумы, то не можем и остановить стремление человека к знаниям. Нетрудно предсказать, что Ходжа заразится, но все равно интересно было бы знать, какие он видит сны! Он слушал меня с усмешкой, но поскольку, задавая вопрос, он уже подавлял свою гордость, то спорить со мной он не мог; рассказывая, я замечал, что мои истории ему интересны. Я видел, что нарушил спокойствие, которое Ходжа напустил на себя, когда в город пришла чума, страх перед смертью от этого не стал у меня меньше, но все же я не был теперь в этом одинок. Конечно, я платил за это мучениями по вечерам, но видел, что борьба моя небесполезна: когда Ходжа протягивал ко мне руки, я напоминал ему о том, что он умрет раньше меня, как те, кто не боится чумы, так как не ведает о ее опасности; напоминал ему о том, что он не закончил свою работу, и о моих счастливых снах, о которых он читал в тот день.

Но не мои слова переполнили чашу терпения Ходжи, а нечто другое. Однажды к нам пришел отец одного из его учеников, живший в нашем квартале. Он выглядел озабоченным. Я, как ленивая кошка, сел в уголке и слушал их долгий разговор ни о чем. Наконец гость заговорил о том, ради чего пришел: дочь его тети осталась вдовой после того, как ее муж упал с крыши. Многие сватают ее, но он вспомнил о Ходже, так как знает от жителей квартала, что тот принимает сватов. Ходжа ответил на эти слова неожиданно грубо, объявив, что не собирается жениться, а если бы собрался, то не на вдове. На это гость возразил, что Мухаммеду не помешало жениться на Хатидже то, что она была вдова, и она стала его первой женой. Ходжа возразил, что он слышал про эту вдову и она не стоит и мизинца святой Хатидже. Тогда этому человеку захотелось показать, что он не такой уж простачок: он, конечно, не верит, но народ в квартале открыто говорит, что Ходжа крадет коз; и людям не нравится, что он наблюдает за звездами, не нравятся странные часы, которые он сделал с помощью линз. Как обиженный продавец, товар которого охаяли, наш гость добавил, что говорят, будто Ходжа ест сидя не по-турецки, а как гяуры — за столом; он покупает книги за огромные деньги, а потом выбрасывает их и топчет страницы, где написано имя Пророка; часами глядя на небо, он не сумел укротить в себе шайтана, и поэтому он среди дня ложится на кровать и смотрит на

грязный потолок; ему нравятся не женщины, а мальчики, а я, его брат-близнец, не соблюдаю пост в месяц рамазан; и чума была наслана из-за него.

Выпроводив гостя, Ходжа вернулся взбешенный. Я решил, что спокойствие, которое он сохранял, так как разделял чувства всех остальных во время чумы или делал вид, что разделяет, закончилось. Чтобы нанести ему последний удар, я сказал, причем совершенно искренне, что чумы не боятся только такие дураки, как этот тип. Ходжа был вне себя, не знал, куда девать руки, снова завел разговор про "глупцов", о чем в последнее время не заговаривал. Когда стемнело, он зажег лампу, поставил посреди комнаты стол. Он хотел, чтобы мы что-нибудь написали.

Мы сидели по разные стороны стола и, как два холостяка, занимающихся гаданием, чтобы скоротать нескончаемые зимние вечера, что-то писали на лежавших перед нами листах бумаги. Должно быть, мы выглядели смешно. Утром я прочитал то, что написал Ходжа, и нашел это еще забавнее, чем мои записи. Подражая мне, он тоже описал сон, но ясно было, что никакого сна он не видел и все выдумал; итак, мы — братья, себя он видел моим старшим братом, а я учтиво внимал его ученым речам. На следующее утро за завтраком он спросил, что я думаю по поводу сплетен соседей о том, что мы — братья-близнецы. Вопрос этот мне понравился, но я не испытал гордости и ничего не ответил. Дня через два он разбудил меня ночью и сказал, что то, о чем он написал, он действительно видел во сне. Может, это и было правдой, но я не придал этому значения. На следующий вечер он признался, что боится умереть от чумы.

Мне надоело сидеть дома, и под вечер я вышел на улицу: в одном саду дети забрались на дерево, оставив внизу разноцветную обувь; болтливые женщины, стоявшие в очереди у источника, не смолкли при моем появлении; рынок был полон народу; одни ссорились, другие пытались их помирить, третьи наблюдали за происходящим. Я хотел убедить себя, что эпидемия идет на спад, но, увидев тела, выносимые со двора мечети Беязыт, в страхе поспешил вернуться домой. Входя в свою комнату, я услышал голос Ходжи: "Иди-ка сюда, посмотри!" Он расстегнул минтан[1] и показал красное пятно и припухлость внизу на животе: "Повсюду насекомые". Я подошел и внимательно посмотрел: маленькое красное пятнышко, небольшая припухлость, как от укуса насекомого, зачем он мне это показывает? Я испугался, поскольку он не дал мне присмотреться поближе. "Укус насекомого, — сказал он, — правда?" Он потрогал пальцем припухлость: "Или блохи?" Я промолчал и не сказал, что не видел таких блошиных укусов.

Найдя предлог, я до захода солнца оставался в саду. Я понимал, что не надо бы мне сейчас находиться в доме, но пойти было некуда. К тому же пятно действительно походило скорее на укус насекомого, чем на чумной бубон; гуляя в саду по зеленой траве, я думал, что покраснение через два дня вспухнет, расцветет, как цветок, и лопнет и Ходжа умрет в муках; видимо, это какое-то крупное насекомое из жарких стран, которое гуляет по ночам, но название этого мнимого насекомого не приходило мне в голову.

Когда мы сели ужинать, Ходжа старался выглядеть веселым, шутил, подтрунивал надо мной, но длилось это недолго. Мы закончили ужин в

1. Минтан — верхняя рубашка.

молчании; опустился тихий вечер, и Ходжа сказал: "Тоскливо как-то. Давай сядем и напишем о чем-нибудь". Только так он мог отвлечься.

Но писать он не мог. Мне писалось легко, а он просто сидел и наблюдал за мной. "О чем ты пишешь?" — спросил он через некоторое время. Я прочитал ему то, что написал: как после второго курса инженерного училища ехал на каникулы домой на лошади и как мне не терпелось поскорее доехать. Но я любил училище и своих товарищей; на каникулах я в одиночестве читал книги, которые привез с собой, и очень скучал по друзьям. После недолгого молчания Ходжа вдруг спросил шепотом, будто поверяя тайну: "Там все так счастливо живут?" Я думал, что он пожалеет о своем вопросе, но он продолжал смотреть на меня с детским любопытством. Я ответил тоже шепотом: "Я был счастлив!" На лице его проступила легкая, но не пугающая меня зависть. Со вздохом он стал рассказывать.

Когда они жили в Эдирне — ему было тогда двенадцать лет, — они с сестрой и матерью ходили в больницу при мечети Беязыт; там лежал больной отец матери. Мать оставляла соседям маленького брата, который еще не умел ходить, брала приготовленную заранее банку молочного киселя, и рано утром они с Ходжой и его сестрой отправлялись в путь; шли короткой приятной дорогой в тени тополей. Дед рассказывал им всякие истории. Ходжа любил эти истории, но больницу он любил больше, поэтому убегал от деда и рассматривал все вокруг. Однажды он услышал музыку, которую играли для душевнобольных в здании с большим куполом, освещенным фонарем; в музыке слышались звуки бегущей воды; он видел и другие помещения, где поблескивали странные разноцветные бутылки и банки; однажды он заблудился и стал плакать, его провели по всей больнице, пока не нашли Абдуллаха-эфенди. Мать иногда плакала, иногда вместе с дочерью слушала истории деда, потом они брали у деда пустую банку и возвращались домой, но по дороге мать покупала халву и говорила: "Поедим, пока никто не видит". Было у них местечко под тополями на берегу реки, они усаживались там втроем, опускали ноги в воду и ели.

Ходжа умолк, и воцарилось безмолвие, сближающее нас и внушающее ощущение странного братства. Ходжа был неспокоен. С грохотом открылась и закрылась дверь соседнего дома; Ходжа сказал, что впервые почувствовал интерес к науке, когда увидел в больнице весы, баночки и бутылочки с лекарствами, от которых больные выздоравливали. Но дед умер, и больше они в больницу не ходили. Ходжа все время мечтал, что вырастет и сам пойдет туда, но однажды разлилась река Тунджа, больных увезли, грязная вода заполнила помещения больницы; она долго не спадала, а когда отступила, то прекрасная больница оказалась под слоем грязной зловонной глины, которую невозможно было отчистить.

Когда Ходжа снова умолк, ощущение близости между нами исчезло. Он встал из-за стола, краем глаза я видел его тень, мечущуюся по комнате; он взял лампу, стоявшую посередине стола, зашел мне за спину; теперь я не мог видеть ни его, ни его тень; хотелось повернуться и посмотреть, но я не делал этого — получилось бы, что я встревожен и жду чего-то недоброго. Через некоторое время я услышал шорох снимаемой одежды и в страхе обернулся. Он стоял голый по пояс перед зеркалом и при свете лампы рассматривал свой живот и грудь. "О боже, — сказал он, — что за нарыв! Иди-ка, посмотри!" Я не двигался с места, и он за-

орал: "Иди, я говорю!" Я подошел испуганно, как ученик, который боится наказания.

Никогда я так близко не приближался к его голому телу, мне стало неприятно. Я убеждал себя, что именно по этой причине не хочу подходить к нему, но на самом деле я боялся его нарыва. Он понял это. Но, чтобы скрыть свои чувства, я наклонился к нему и стал что-то бормотать, изображая врача, осматривающего больного. "Боишься, что это чумной бубон?" Я сделал вид, что не услышал его слов, хотел сказать, что это укус странного насекомого, что у меня тоже был когда-то такой укус, но название насекомого никак не приходило мне в голову. "Ты потрогай, — сказал Ходжа, — иначе как ты можешь определить, что это такое!"

Увидев, что я не притрагиваюсь к нарыву, он развеселился и приблизил к моему лицу пальцы, которыми только что трогал припухлость. Увидев, как я брезгливо вздрогнул, он расхохотался над тем, что я так боюсь следа от укуса насекомого, но быстро умолк. Сказал: "Я боюсь умереть". Будто говорил о ком-то постороннем, в голосе его были смятение и гнев — гнев человека, возмущенного несправедливостью. "Ты уверен, что у тебя такого нет? Сними рубаху!" Он настаивал, и я нехотя, как ребенок, не любящий мыться, стянул рубаху. В комнате было тепло, окно было закрыто, но я почувствовал какое-то прохладное дуновение; наверное, на меня повеяло холодом от зеркала. Я засмущался своего отображения и отступил на шаг. Я видел сбоку в зеркале, как ко мне приближается Ходжа; к моему телу склонилась его огромная голова, о сходстве которой с моей все говорили. Он хочет сломить мой дух, подумал я; а ведь я столько лет был горд тем, что учу его. Смешно сказать, но в какой-то миг мне показалось, что эта голова с бородой, бесстыдная в свете лампы, склоняется надо мной, чтобы пить мою кровь. Выходит, мне нравились страшные рассказы, которые я слышал в детстве. Думая об этом, я ощущал его пальцы на своем животе; хотелось убежать или ударить его чем-нибудь по голове. "У тебя нет", — сказал он. Он осмотрел мои подмышки, шею, уши: "И здесь нет, тебя насекомое не кусало".

Он положил руку мне на плечо. Будто я — его друг детства, с которым он делится сокровенным. Он ощупал мой затылок, сказал: "Давай вместе посмотримся в зеркало". В свете лампы я снова увидел, до чего мы похожи. Я вспомнил, что такое же чувство испытал, когда стоял у двери Садык-паши и впервые увидел Ходжу. Тогда я увидел человека, которым должен был бы быть я, теперь я подумал, что он должен был бы быть мной. Мы — двойники! Сейчас я сознавал это со всей ясностью. Я замер, словно меня связали по рукам и ногам. Пошевелился, чтобы избавиться от этого ощущения, словно для того, чтобы понять, что я — это я. Провел рукой по волосам. Он делал то же самое, не нарушая симметрии в зеркале. Он смотрел как я; держал голову как я; он повторял мои движения и выражение лица, и я видел ужас, который не хотел видеть, но не мог отвести глаз от зеркала из любопытства и страха. Он развеселился, как ребенок, которого смешит приятель, копирующий его слова и движения. Вдруг он закричал: "Мы умрем вместе!" Я подумал: какой вздор. Однако испугался. Это был самый страшный из проведенных с ним дней.

Потом он сказал, что с самого начала боялся чумы, но делал все, чтобы испытать меня. Как тогда, когда палачи Садык-паши вели меня убивать, и тогда, когда другие удивлялись нашему сходству. Потом он сказал, что завладел моим духом, он только что повторял все мои дви-

жения, и он теперь знает все, о чем знаю я, и думает о том же, о чем думаю я. И тут же спросил, о чем я сейчас думаю. Я ответил, что ни о чем не думаю, но он не слушал меня, потому что спрашивал не для того, чтобы узнать, а чтобы напугать меня: для того, чтобы он справился со своим страхом, я должен был хотя бы часть его страха принять на себя. Я догадывался, что он, почувствовав себя одиноким, хочет сотворить зло; я думал, что он хочет сотворить зло, водя рукой по нашим лицам и желая повергнуть меня в ужас чудом нашего сходства, волнуясь и возбуждаясь больше меня. Но поскольку он не решался сразу сотворить зло, то заставлял меня стоять перед зеркалом, сжав мой затылок, и все же мне не казалось это совершенно нелепым и страшным: он был прав, я бы тоже хотел делать и говорить то, что делал и говорил он, я даже завидовал тому, что не я, а он первый смог потешаться над чумой и страхом, стоя перед зеркалом.

Я чувствовал, что это все — игра, и не испытывал большого страха, начав вдруг догадываться о таком, чего прежде в себе и не подозревал. Ходжа ослабил пальцы, сжимавшие мой затылок, но продолжал держать меня перед зеркалом. "Я стал как ты, — сказал Ходжа, — теперь я знаю, как ты боишься. Я стал тобой!" Мне хотелось считать глупым и детским это прорицание, которое подтвердится завтра, и в этом я не сомневался. Он сказал, что научился видеть мир так, как я, он понял, наконец, как "они" думают и чувствуют. Отведя взгляд от зеркала, он говорил, глядя на полуосвещенный лампой стол, стаканы, стулья. Сказал, что может теперь рассуждать о вещах, о которых прежде не мог говорить, потому что не видел их, но, скорее всего, он заблуждался: и слова, и предметы были все те же. Новым был только его страх; и даже не он, а то, как он переживал этот страх; но и это переживание казалось еще одной игрой, которую он затеял перед зеркалом, игрой, которую он внезапно, будто помимо своей воли, прекращал и возвращался мыслями к покраснению на коже и спрашивал: это укус насекомого или чума?

Он сказал, что хочет продолжить мою жизнь с того момента, на котором я сейчас остановился. Мы все еще были голыми по пояс и стояли перед зеркалом. Чтобы продолжить, надо, чтобы он занял мое место, а я — его, для чего достаточно будет поменяться одеждой, ему сбрить, а мне — отпустить бороду, и тогда нас уже никто не различит. А потом, говорил Ходжа, я отпущу его на свободу. Он с воодушевлением рассказывал о том, что будет делать, когда вместо меня вернется в мою страну. Я был поражен тем, что он до мельчайших подробностей запомнил мои рассказы о детстве и юности, моя родина представлялась ему диковинной, нереальной и призрачной. Моя жизнь больше не принадлежала мне и переместилась благодаря ему в другие места, а мне, как во сне, оставалось только издалека наблюдать за ней. Но в его путешествии по моей стране в моем образе и в его жизни там была забавная странность и наивность, не позволявшая мне целиком верить ему. С другой стороны, я поражался точности воображаемых им подробностей: я готов был согласиться — да, могло быть и так, стало быть, я мог бы жить и так. Тогда я впервые открыл нечто сокровенное в жизни Ходжи, но что именно, этого я выразить не мог. Но, слушая его рассказ о том, как я жил раньше на родине, о которой с тоской вспоминал много лет, я забыл о страхе перед чумой.

Однако это продолжалось недолго. Ходжа захотел, чтобы я ему рассказал, что буду делать, когда займу его место. Мне ничего не приходило

в голову, нервы были настолько напряжены, что я не мог сосредоточиться на странной ситуации, в которой мы находились, и старался думать просто о нашем сходстве и об укусе насекомого. Он настаивал, я вспомнил, что собирался написать воспоминания, когда вернусь в свою страну, и сказал, что, возможно, из всего, что со мной произошло, получатся интересные рассказы. Он с презрением ответил мне — я же не знаю его так, как он меня! Потом оттолкнул меня и остался один перед зеркалом: он сам расскажет, что со мной произойдет, когда я окажусь на его месте! Прежде всего он сказал, что нарыв — это чумной бубон и я умру. Потом стал объяснять, как я буду мучиться перед смертью; сказал, что страх, к которому я не готов, хуже смерти. Живописуя мои страдания, Ходжа отошел от зеркала, лег на расстеленную на полу постель и продолжал рассказывать, какие муки и боль мне придется испытать. Руки его были сложены на животе, и я подумал, что они должны унять ту боль, о которой он рассказывал. Он позвал меня, я подошел к нему с опаской и пожалел об этом — он снова стал протягивать ко мне руки. Почему-то я был уверен, что у него просто след от укуса насекомого, но все равно мне было страшно.

Так продолжалось всю ночь. Он делал все, чтобы затянуть меня в свою болезнь и страх, и все повторял, что он — это я, а я — он. Мне казалось, что он делает это оттого, что ему нравится смотреть на себя со стороны, и я повторял себе, как человек, стремящийся очнуться от кошмарного сна: он играет, ведь он сам произносил это слово — "игра", хотя я замечал, что его лоб все чаще покрывался испариной, и не так, как это бывает от страха или жары, а как будто он был болен по-настоящему.

Когда начало всходить солнце, он заговорил о звездах и о смерти, о несбывшихся предсказаниях, о глупости падишаха и его неблагодарности, о своих любимых глупцах, о "них" и о "нас" и о том, что хочет быть другим! Но я больше не слушал его, вышел в сад. Почему-то вспомнились слова о бессмертии, которые я когда-то прочитал в старой книге. Все вокруг было тихо, только воробьи чирикали, перелетая с одной ветки липы на другую. Какой удивительный покой! Я подумал о других домах в Стамбуле и о больных чумой. Если у Ходжи чума, то она продлится сколько положено, пока он не умрет, а если нет, то красная припухлость исчезнет. Я чувствовал, что недолго мне оставаться здесь. Когда я вернулся в дом, я не раздумывал о том, куда бежать, где укрыться. И хотя я знал, что мне надо быть подальше от Ходжи и от чумы, я все же понимал, засовывая в торбу кое-что из одежды, что это место должно быть достаточно близко, чтобы меня не поймали по дороге.

7

Я скопил немного денег, украв по мелочи у Ходжи и скрыв от него то, что мне удалось подзаработать. Прежде чем выйти из дома, я достал деньги из потайного места, из носка, спрятанного в сундуке с книгами, которые я больше не читал. Из любопытства я вошел в комнату Ходжи; горела лампа, он спал весь мокрый от пота. Я удивился тому, как невелико зеркало, всю ночь пугавшее меня нашим сходством с Ходжой, в которое я до конца никогда не верил. Не притрагиваясь ни к чему, я быстро вышел из дома. Пока я шел по пустым улицам квартала, ощущая на лице легкий ветерок, мне все время хотелось вымыть руки, я знал, куда идти

и был рад этому. Мне нравилось шагать по улицам в утренней тишине, спускаться по холмам к морю, мыть руки у чешмы[1], любоваться Золотым Рогом.

Впервые я услышал об острове Хейбели от молодого монаха, который приехал с этого острова в Стамбул; мы с ним встретились в Галате, и он восторженно рассказывал о красоте Принцевых островов. И мне это запомнилось; выходя из квартала, я знал, что отправлюсь туда. Лодочники и рыбаки, с которыми я разговаривал, просили бешеные деньги за перевоз; я расстроился: они, очевидно, поняли, что я беглец, и теперь скажут, куда я отправился, людям Ходжи, которых тот пошлет на мои поиски. А потом используют это для устрашения христиан, которых они презирают за то, что те боятся чумы. Стараясь не привлекать к себе внимания, я сговорился с одним из лодочников. Он был не слишком силен, к тому же, вместо того чтобы налегать на весла, много болтал, рассуждая о том, за какие грехи людям послано это наказание — чума. Он добавил, что невозможно спастись от чумы, укрываясь на острове. Я понял, что он боится чумы не меньше меня. Плыли мы шесть часов.

Позднее я понял, что провел на острове счастливые дни. За небольшие деньги я поселился у одинокого рыбака-грека, я жил в постоянной тревоге, стараясь не показываться на людях. Иногда я думал, что Ходжа умер, иногда — что он послал за мной погоню. На острове было много христиан, как и я сбежавших, спасаясь от чумы, но мне не хотелось общаться с ними.

Утром я выходил в море с рыбаками, вечером с ними возвращался. Я увлекся ловлей крабов острогой. Если погода не позволяла выйти в море, я иногда гулял по окрестностям, доходил до монастыря и спал в винограднике. А еще был навес, увитый виноградными лозами, рядом со смоковницей; в ясную погоду отсюда видна была даже Ая-София, я садился под дерево, часами смотрел на Стамбул и мечтал. Как-то во сне я увидел Ходжу среди дельфинов, сопровождавших лодку по дороге на остров, он подружился с дельфинами и расспрашивал их обо мне, стало быть, он искал меня; в другой раз он был вместе с моей матерью, они стыдили меня, спрашивая, почему я опоздал. Просыпаясь оттого, что в лицо мне било солнце, я хотел снова вернуться в эти сны, но у меня не получалось, и я начинал думать; иногда мне представлялось, что Ходжа умер; интересно, кто пришел в покинутый мною дом, чтобы вынести труп, кто был на скромных похоронах? Потом я размышлял о его предсказаниях, о его веселых выдумках и о тех, что посещали его, когда его охватывали ненависть и гнев, думал о падишахе и его зверинце; мои дневные видения сопровождали медленно двигавшие клешнями крабы, которых я вытаскивал, проткнув острогой.

Я все еще надеялся, что смогу бежать на родину. Для этого достаточно было украсть деньги в домах, где не были заперты двери. Но сначала надо было забыть о Ходже. Думая о том, какими интересными будут мои воспоминания, в которых я расскажу о своих неожиданных приключениях, я готов был винить себя за то, что оставил умирать человека, похожего на меня. Я скучал по нему; я не знал, действительно ли он был так уж похож на меня или я это придумал; мне казалось, что за одиннад-

1. Чешма — источник, забранный в трубы и облицованный камнем.

цать лет я ни разу не смотрел достаточно долго на его лицо. Мне даже захотелось помчаться в Стамбул и в последний раз взглянуть на него мертвого. Но я убедил себя, что сходство между нами — это заблуждение, о котором надо забыть.

Хорошо, что я не сумел этого забыть. Потому что в один прекрасный день я увидел перед собой Ходжу! Я лежал в саду на солнышке с закрытыми глазами и мечтал; почувствовав упавшую на меня тень, я открыл глаза: он стоял передо мной и улыбался, но не так, словно выиграл игру, а так, словно он любил меня. Я будто втайне ждал этого, потому что сразу почувствовал себя ленивым рабом, виноватым, со склоненной головой. Пока я собирал вещи, не Ходжа ненавидел меня, а я презирал сам себя. Он заплатил мой долг рыбаку. Он взял с собой двоих людей, и на четырех веслах мы вернулись домой быстро, до темноты. Я соскучился по запаху дома. Зеркала на стене не было.

На следующее утро Ходжа позвал меня и сказал: моя вина велика не только потому, что я сбежал, но и потому, что, приняв укус насекомого за чумной бубон, оставил его умирать, поэтому он хотел меня сурово наказать, но времена изменились. Он объяснил, что неделю назад его позвал падишах и спросил, когда закончится эпидемия чумы, сколько еще жизней она унесет и угрожает ли что-нибудь его жизни. Ходжа испугался, он не был готов к такому разговору, поэтому дал обтекаемый ответ, сказав, что надо понаблюдать за звездами, и попросил дать ему время. Он помчался домой, но не мог придумать, что ответить падишаху. И решил привезти меня.

Он давно знал, что я на острове; после моего побега он болел, был простужен, но через три дня стал меня искать, напал на мой след — немного заплатил, и болтливый рыбак сказал, что отвез меня на Хейбели. С острова я никуда не мог бы сбежать, и он не поехал за мной. Я согласился, что его отношения с падишахом — большой шанс в жизни. Он честно признался, что нуждается в моих знаниях.

Мы сразу же принялись за работу. Ходжа был охвачен решимостью человека, знающего, чего он хочет; мне нравилась эта уверенность, которой прежде я в нем не замечал. Завтра нас снова должны были призвать, и мы не стали терять времени. Мы договорились о главном принципе: не сообщать слишком много сведений, но доказывать то, что сообщаем. Острота ума Ходжи, которую я любил, позволила сразу сформулировать: "Предсказание — шутовство, но им прекрасно можно пользоваться, чтобы воздействовать на глупцов". Слушая мои объяснения, Ходжа, похоже, соглашался с тем, что чума — это беда, которую можно одолеть только медицинскими средствами. Он, как и я, не отрицал, что бедствие не могло случиться без воли Аллаха, но это не прямое ее проявление, поэтому мы, смертные, должны засучить рукава и что-то предпринять, и это не умалит величия Аллаха. Разве святой Омар[1] не позвал Абу Убейде[2] из Сирии в Медину, чтобы спасти войско от чумы? Чтобы уберечь падишаха, Ходжа потребует, чтобы тот свел к минимуму общение с другими людьми. Не могу сказать, что нам не приходила в голову мысль внушить падишаху страх смерти для того, чтобы вынудить его принять необходимые меры, но это было опасно: дело не кончилось бы

1. Омар I (581/591–644) — один из ближайших сподвижников основателя ислама Мухаммеда.
2. Абу Убейде (580–639) — один из сподвижников Мухаммеда, распространявший ислам в Сирии.

запугиванием падишаха, даже если бы на него подействовали проникновенные слова Ходжи о смерти, его окружала толпа глупцов, которые были способны развеять его страх, а потом в любой момент обвинить Ходжу в безбожии. Поэтому мы сочинили речь, опираясь на мои литературные познания.

Самое опасное, считал Ходжа, предсказывать, когда окончится эпидемия чумы. Нам надо было получать сведения о числе умирающих ежедневно, и Ходжа сказал, что для получения этих данных попросит помощи у падишаха.

На следующий день он отправился к падишаху, а я — в город. Я, как и прежде, боялся чумы, но не мог устоять перед желанием хоть немножко вкусить сладость движения и жизни. Был прохладный летний день, дул ветерок. Прогуливаясь среди умирающих и мертвых, я чувствовал, что никогда еще так не любил жизнь. Заглядывая во дворы мечетей, я считал покойников, потом бродил по кварталам и пытался установить связь между увиденным мною и общим числом умерших. Невозможно охватить мысленно все дома, людей, толпу, веселье, горе и радость. По странной прихоти мои глаза отмечали только отдельные подробности, только отчаяние одних или равнодушие других.

К обеду, уже не в силах больше видеть людскую толчею и покойников, я перешел на противоположный берег Золотого Рога, в район Галаты и там побродил вокруг судоверфи, посидел в кофейнях, курил, глубоко затягиваясь, поел в харчевне исключительно ради общения, походил по рынкам, заглянул в лавки. Мне хотелось запомнить все, чтобы потом сделать какой-то вывод. Когда стемнело, я пришел домой и выслушал Ходжу, вернувшегося из дворца.

Все было хорошо. Наш рассказ произвел на падишаха впечатление: падишах согласился, что чума пытается обмануть его, точно шайтан, вырядившийся в человеческие одежды; он принял решение не пускать во дворец иностранцев, вход и выход из дворца были взяты под строгий контроль. На вопрос, когда и как закончится эпидемия, Ходжа рассыпался таким соловьем, что падишах со страхом признался, что ясно представляет себе Азраила[1], который бродит, как пьяный, по городу и уводит тех, кто попадается ему на глаза. Ходжа тут же взволнованно поправил его: это не Азраил виноват в смерти людей, а сам шайтан. И не пьяный он, а очень хитрый. Как мы и договорились, Ходжа прибавил, что с шайтаном надо бороться. Чтобы определить, когда чума оставит город в покое, надо посмотреть, где гуляет шайтан. И хотя кое-кто из придворных сказал, что бороться с чумой значит нарушать волю Аллаха, падишах на это не обратил внимания; он спросил потом, явится ли шайтан чумы к его животным: соколам, львам, обезьянам? Ходжа сразу ответил, что к людям шайтан приходит в человечьем обличье, а к зверям — в обличье мыши. Падишах тотчас приказал доставить пятьсот кошек из далекого, не затронутого эпидемией города, а затем приказал выделить для Ходжи столько людей, сколько ему требуется.

Выделенных нам двенадцать человек мы тотчас разослали во все концы Стамбула, они ходили по кварталам и докладывали нам об увиденном и о числе умерших. На столе у нас лежала карта Стамбула, которую я перерисовал из книги. Ночью мы со страхом наносили на карту

1. Азраил — в мусульманской религии ангел смерти.

значки, показывающие, где свирепствует чума, и прикидывали, что сказать падишаху.

Поначалу мы не были оптимистами. Чума бродила по городу не как хитрый шайтан, а как убийца, которому все равно, кого убивать. В один день она забирала сорок душ в Аксарае, потом покидала его и заглядывала в Фатих, потом направлялась в Топхане и Джихангир, а потом оказывалось, что она побывала и в Зейреке[1], унесла также двадцать человек из нашего квартала, выходящего на Золотой Рог. По количеству умерших мы ни о чем не могли судить: в один день умирало пятьсот человек, а в другой — сто. Прошло много времени, прежде чем мы поняли, что важно не где она убивает людей, а где она впервые появляется. Падишах снова звал Ходжу. Мы подумали и решили: Ходжа скажет падишаху, что чума гуляет в людных местах, на рынках, где люди обманывают друг друга, и в кофейнях, где люди сидят тесно, касаясь друг друга, и сплетничают.

Выслушав его, рассказал Ходжа, падишах спросил: "Что же нам делать?" Ходжа ответил, что надо, пусть даже силой, сократить число людей на городских базарах. Умники из окружения падишаха сразу возразили: а как же будет снабжаться город, ведь если прекратится торговля, остановится жизнь; услышав, что чума гуляет в человеческом одеянии, люди испугаются, решат, что наступает конец света, и могут взбунтоваться; к тому же никто не захочет сидеть в квартале, как в тюрьме, где гуляет шайтан чумы, начнутся волнения. "Они правы", — сказал Ходжа. Но тут один из умников спросил, где найти человека, который усмирит народ, и тогда падишах разгневался; он сказал, что накажет всех, кто сомневается в его силе. И в гневе он повелел сделать так, как говорит Ходжа, но не забыл при этом посоветоваться со своим окружением. Главный астролог Сыткы-эфенди, точивший зуб на Ходжу, напомнил, что тот так и не сказал, когда чума покинет Стамбул. Ходжа, испугавшись, что падишах прислушается к астрологу, сказал, что в следующий свой приход принесет календарь.

Мы усеяли лежащую на столе карту значками и цифрами, но никак не могли понять логики распространения чумы в городе. Между тем уже три дня как приказ падишаха строго выполнялся. Янычары перекрыли входы на рынки, главные улицы, лодочные причалы на пристанях и каждого, направлявшегося туда, спрашивали: "Ты кто? Куда идешь? Зачем идешь?" Испугавшихся, растерявшихся и шатающихся без дела они заворачивали обратно, чтобы шайтан чумы их не соблазнил. Когда мы узнали, что и на Капалычарши[2], и в Ункапаны[3] жизнь замерла, мы повесили на стену списки о количестве умерших за последний месяц и стали думать. Ходжа говорил, что напрасно мы ждем, что чума будет действовать в соответствии с какой-то логикой, и, чтобы спасти свои головы, мы должны придумать какой-нибудь обман и успокоить падишаха.

Скоро появилась система пропусков. Начальник янычар раздавал разрешения, кому считал нужным, чтобы не остановилась торговля и снабжение города. Когда мы узнали, что он таким образом получает много денег, а ремесленники, не желая платить еще один налог, готовятся к бунту, я впервые заметил некую логику в распространении чумы. Я

1. Фатих, Топхане, Джихангир, Зейрек — районы в Стамбуле.
2. Капалычарши — старинный крытый рынок в центре Стамбула.
3. Ункапаны — район в европейской части Стамбула.

сказал об этом Ходже, он пытался доказать, что чума потихоньку отступает из окраинных кварталов, из кварталов бедняков.

Ходжа, который опасался действий главного везира Кёпрюлю, объединившегося с ремесленниками, не очень прислушивался ко мне, но все же велел подготовить календарь для падишаха. Он сказал: для того чтобы ввести в заблуждение падишаха, надо сочинить рассказ, в котором никто ничего не поймет и из которого никто не сделает никакого заключения. Потом спросил, можно ли выдумать рассказ, не имеющий никакого смысла, но доставляющий удовольствие, если его читать и слушать. "Как музыка?" – спросил я и этим удивил Ходжу. Мы начали размышлять о хорошем рассказе, который начинался бы как детская сказка, в середине был пугающим, как страшный сон, а в конце печальным, как любовная история, закончившаяся разлукой. В ночь накануне визита во дворец мы весело болтали и напряженно работали. В соседней комнате наш друг каллиграф-левша переписывал начисто первую часть рассказа Ходжи, который он все еще не закончил. К утру, обработав имевшиеся у нас не слишком точные цифры, я сделал вывод, что чума покинет город через двадцать дней, забрав с собой последние жертвы на рынках. Ходжа не спросил, на чем я основываю свои выводы, только сказал, что день избавления слишком далек, и велел переделать календарь, чтобы эпидемия кончалась через две недели, спрятав этот срок за другими цифрами. Я не был так оптимистичен, но сделал, как он сказал. Ходжа тут же сочинил к некоторым датам поэтические строчки и отдал календарь каллиграфу. Меня он попросил проиллюстрировать некоторые строки. Он взял все приготовленное, переписанное на мраморной бумаге, наскоро переплетенное в голубую обложку, и к обеду, невеселый, ушел. Он боялся. Он сказал, что надеется не столько на мой календарь, сколько на пеликанов, крылатых быков, красных муравьев и говорящих обезьян, изображенных на рисунках к его рассказу.

Вечером он вернулся взволнованный, сказал, что убедил падишаха в правильности предсказаний; волнение его длилось еще три недели. "Все может случиться", – повторял он; в первый день у него не было особой надежды; когда юноша красивым голосом читал его рассказ, среди приближенных падишаха слышались смешки, они нарочно посмеивались, чтобы унизить Ходжу перед падишахом, но падишах пресек их насмешки, спросив, однако, на чем основано предположение, что эпидемия кончится через две недели. Ходжа пояснил, что ответ на этот вопрос содержится в рассказе, в котором никто ничего не понял. Потом, чтобы понравиться падишаху, он гладил кошек разных мастей, привезенных из Трабзона[1] и заполонивших не только внутренний двор, но и покои дворца.

На второй день, вернувшись из дворца, он сказал, что свита разделилась на две группы: одни, среди которых был и главный астролог Сыткы-эфенди, требовали, чтобы все принятые в городе меры были отменены; другие вместе с Ходжой говорили, что надо придерживаться ограничений, чтобы шайтан чумы не мог забирать с собой горожан. Меня обнадеживало снижающееся день ото дня число умирающих, но Ходжа очень волновался: говорили, что первая группа во главе с Кёпрюлю готовилась к бунту; целью их было не остановить чуму, а разделаться с врагами.

1. Трабзон – порт в Турции на берегу Черного моря.

За первую неделю число умерших заметно уменьшилось, но по моим подсчетам получалось, что через неделю эпидемия не кончится. Я говорил Ходже, что напрасно он изменил составленный мной календарь, но он уже преисполнился надежд; он понял, что слухи о Кёпрюлю таковыми и останутся и никаких действий со стороны главного везира не последует. Сильно напуганный всеми этими интригами падишах находил успокоение в своих кошках.

К концу второй недели город страдал уже не столько от чумы, сколько от принимаемых мер; с каждым днем умирало все меньше людей, но это видели только такие, как мы, занимающиеся подсчетами. Поползли слухи о голоде, Стамбул казался страшным покинутым городом; я не выходил из квартала, мне обо всем этом рассказывал Ходжа: он чувствовал отчаяние людей, сражавшихся с чумой за закрытыми окнами и дверями, не ждавших ничего, кроме смерти. Это ожидание ощущалось и во дворце: стоило упасть чашке или кому-то громко кашлянуть, как толпа умников, ожидавших, что сегодня решит падишах, начинала тотчас говорить шепотом; они умирали от страха, как всякий, потерявший надежду, и мечтали, чтоб хоть что-нибудь уже произошло, все равно что, но произошло. Ходжа тоже поддавался этому настроению, старался убедить падишаха, что его предсказание верно — чума потихоньку отступает, но тот слушал невнимательно, и Ходжа вынужден был переходить к рассказам о животных.

Через два дня подсчеты в мечетях показали, что число больных значительно уменьшилось, но не это было главной причиной радости Ходжи в эту пятницу: несколько отчаявшихся мелких ремесленников вступили в драку с янычарами, перекрывшими дороги; к ним присоединились часть янычар, обеспокоенных принимаемыми мерами, несколько глупых имамов, читавших проповеди в мечетях, всякие хулиганы, разбойники и безработные; они кричали, что чума — дело Аллаха и не надо в него вмешиваться, но едва начавшееся волнение было сразу подавлено. И, видимо, чтобы показать, насколько серьезно то, что сейчас происходит, шейх-уль-ислам[1] выдал фетву, и двадцать человек были казнены. Ходжа был доволен.

На следующий вечер он объявил о своей победе. Во дворце уже никто не говорил об отмене мер; приглашенный туда начальник янычар сказал, что у бунтовщиков были сторонники во дворце; падишах разгневался; те, кто своей враждой осложняли положение Ходжи, разбежались. Говорили, что Кёпрюлю, про которого одно время ходили слухи, что он тоже на той стороне, теперь собирался принять жесткие меры против бунтовщиков. Довольный Ходжа сказал, что он имеет влияние на падишаха. Подавившие бунт тоже говорили, что чума отступила. И это было правдой. Падишах сказал о Ходже хвалебные слова, которых никогда не говорил раньше, и повел Ходжу к специальной клетке, чтобы показать доставленных из Африки обезьян. Когда они наблюдали за обезьянами, грязь и бесстыдство которых вызывали у Ходжи отвращение, падишах спросил, могут ли обезьяны, как попугаи, научиться говорить. Потом, повернувшись к своему окружению, сказал, что он хочет чаще видеть Ходжу около себя, поскольку составленный им календарь оказался правильным.

1. Шейх-уль-ислам — высшее духовное лицо в Османской империи.

Через месяц, в пятницу, Ходжа стал главным астрологом; мало того, когда падишах отправился в Ая-Софию на пятничную молитву в честь окончания чумы, в которой участвовал весь город, Ходжа шел чуть позади него; предпринятые против эпидемии меры были отменены, я тоже стоял в толпе, которая благодарила Аллаха и падишаха. Когда падишах на лошади проезжал мимо нас, толпа громко закричала, потом началась толкотня, янычары теснили нас, в какой-то момент толпа прижала меня к дереву, но я, работая локтями, пробился вперед и встретился взглядом с шествующим среди придворных довольным и счастливым Ходжой. Он отвел глаза, словно не узнал меня. В этом страшном шуме меня вдруг охватил какой-то глупый восторг, я подумал, что Ходжа не видел меня, и, крича изо всех сил, я звал его, мне хотелось, чтобы он знал, что я здесь, словно, заметив меня, он тем самым спасет меня от толпы и я присоединюсь к счастливому шествию сильных и победивших! Причем хотелось мне этого не для того, чтобы меня тоже считали победителем, и не для того, чтобы получить награду за мои труды, нет, мной владело совсем другое чувство: я должен быть там, потому что я — это Ходжа! Я как будто отделился от себя и смотрел на себя со стороны, так бывало в страшных снах; а раз я мог видеть себя со стороны, значит, я — другой; у меня не было желания узнать, кто этот другой, за чьей оболочкой я скрывался, я со страхом глядел на себя, проходящего мимо и не узнающего меня, и мне хотелось лишь поскорее присоединиться к тому, другому. Но грубый солдат силой затолкал меня обратно в толпу.

8

За несколько недель, прошедших после окончания эпидемии чумы, Ходжа не только был назначен главным астрологом, но и стал гораздо ближе к падишаху, чем мы могли надеяться. Дело в том, что после неудавшегося маленького бунта великий везир дал понять матери падишаха, что пора бы избавиться от шутов в его окружении, потому что и ремесленники, и янычары считают падишаха ответственным за многие беды, так как он следует нелепым советам этих глупцов. В итоге все окружение главного астролога Сыткы-эфенди, которого подозревали в причастности к заговору, было отправлено в ссылку или после назначения на новые должности было удалено из дворца, так что их дела тоже передали Ходже.

Теперь Ходжа каждый день отправлялся в один из дворцов падишаха, и тот всегда находил время для беседы с ним. Возвращаясь домой, он с победоносным видом рассказывал об этих беседах, прежде всего, он толковал сны, приснившиеся падишаху. Из возложенных на Ходжу обязанностей больше всего ему нравилась эта; однажды падишах с грустью признался, что не видел ночью сна, и Ходжа предложил истолковать чей-нибудь сон; падишаху эта мысль понравилась, он тут же приказал охране найти и привести кого-нибудь, кто видел хороший сон; так толкование снов по утрам вошло в привычку. В оставшееся время они с падишахом совершали прогулки в тенистых садах, где росли могучие чинары и иудины деревья, или на лодках по Босфору, и Ходжа рассказывал о любимых падишахом животных и, конечно, о наших фантастических животных. Он говорил с падишахом и о таких вопросах, которые увлеченно обсуждал со мной: какова причина течений в Босфоре? Что по-

лезного можно почерпнуть из подчиненной строгим законам жизни муравьев? Какова, кроме воли Аллаха, причина силы магнитного притяжения? Почему важно знать, таким или каким-то иным способом вращаются звезды? Есть ли что-нибудь достойное изучения в жизни гяуров или просто достаточно знать, что они — гяуры? Возможно ли создать такое оружие, с помощью которого можно было бы избавиться от них? Рассказывая мне о том, как падишах с интересом слушал все эти рассуждения, Ходжа в волнении усаживался за стол и набрасывал на больших листах дорогой бумаги разные чертежи: пушек с длинными дулами; самоприводящихся в действие механизмов возгорания; оружия, напоминающего своим видом каких-то дьявольских животных, — и, усадив меня за стол, требовал, чтобы я поражался силе его воображения, которая, как он утверждал, скоро должна воплотиться в реальность.

Мне хотелось разделить эти труды с Ходжой. Может быть, оттого, что мысли мои все еще были о чуме, с которой были связаны дни нашего хрупкого братства. В ознаменование избавления от чумы в Ая-Софии был совершен большой благодарственный намаз, но болезнь не ушла окончательно из города. Когда Ходжа отправлялся во дворец, я гулял по городу, подсчитывал трупы, которые все еще выносили как из квартальных мечетей с невысокими минаретами, так и из совсем маленьких бедных мечетей с замшелыми керамическими куполами, и почему-то мне хотелось, чтобы болезнь не покидала город и нас.

Ходжа хвалился тем, какое влияние он имеет на падишаха, говорил о победе, а я объяснял ему, что болезнь еще не оставила город и из-за того, что меры предосторожности отменены, она может вспыхнуть с новой силой. Он гневно прерывал меня и говорил, что я завидую его победе. Я соглашался с ним: конечно, то, что он стал главным астрологом и каждое утро толкует сны падишаха, то, что он заставил падишаха слушать себя вопреки его свите глупцов, — всего этого мы ждали пятнадцать лет, это была победа; но почему он считает это только своей победой? Он словно забыл, что меры по борьбе с чумой предложил я и календарь, который оказался не совсем правильным, но в целом был принят, тоже составил я; и еще было обидно, что он не вспоминал, как примчался на остров, чтобы забрать меня, а говорил только о том, как я туда сбежал.

Вероятно, он был прав, и мое чувство можно было назвать завистью, но это была обида брата, которого не замечают. Чтобы он понял это, я напоминал ему, как до чумы мы ночами сидели по обе стороны стола, как два холостяка, старавшиеся забыть свое одиночество; напоминал, как то его, то меня охватывал страх, но сколь многому научили нас эти страхи, и как я, живя на острове, скучал по нему; он слушал с презрением, будто обличал меня в неискренности, открывшейся в игре, в которой сам он никогда не принимал участия; он не давал мне никакой надежды и не обещал, что когда-нибудь мы вернемся к тем дням братства.

Бродя по кварталам, я видел, что, несмотря на отмену мер предосторожности, чума отступала, словно не хотела бросать тень на то, что Ходжа называл победой. Иногда я удивлялся, почему чувствую уныние, когда гнетущий страх смерти отступает. Иногда мне хотелось, чтобы мы говорили не о снах падишаха и не о проектах, которые Ходжа предлагал ему, а совсем о другом: я давно был готов, несмотря на страх смерти, предстать вместе с ним перед тем жутким зеркалом, которое он снял со стены! Но Ходжа уже давно смотрел на меня с пренебрежением или де-

лал вид, что так смотрит, а хуже всего то, что порой ему было лень даже изображать пренебрежение.

Иногда, чтобы вернуть его к нашей прежней счастливой жизни, я предлагал снова вместе сесть за стол. Я даже сел за стол раз или два и попробовал что-то написать, но он даже не стал слушать, когда я попытался прочитать ему написанное, где с некоторым преувеличением говорилось о страхе перед чумой, о желании совершить скверный поступок, порожденный страхом, и о других моих проступках. Он отвечал бесцеремонно, с уверенностью, которая питалась не столько его ощущением победы, сколько моим отчаянием: что он еще в те дни понимал, что вся эта писанина — сплошной вздор; в свое время он играл в эти игры от скуки, чтобы посмотреть, куда они заведут, и чтобы испытать меня; когда я сбежал, решив, что у него чума, он понял, кто я такой. Я виноват! Люди делятся на две категории: на правых, как он, и виноватых, как я.

Я расценил эти слова как опьянение победой и ничего не ответил. Ум мой был ясен, как прежде, и, наблюдая за собой, видя свои вспышки ярости в мелких повседневных ситуациях, я осознавал, что способен на сильный гнев в случае, если Ходжа начнет меня провоцировать своими нападками, но я не знал, в какое состояние может прийти Ходжа, увидев такую реакцию на его слова. Я чувствовал, что уже не осознаю свою цель, как и в те дни, когда я, сбежав от Ходжи, жил на Хейбели. Что было бы, если б я вернулся в Венецию? Я давно смирился с тем, что за эти пятнадцать лет моя мать умерла, а невеста вышла замуж и обзавелась детьми; мне не хотелось о них думать, они все реже появлялись в моих снах, и если в первые годы я словно жил вместе с ними в Венеции, то теперь они были со мной в Стамбуле. Я понимал, что если вернусь в Венецию, то не смогу продолжить свою жизнь с того момента, на котором она прервалась тогда. Пришлось бы начать новую жизнь. Я по-прежнему думал о книгах, которые я когда-то собирался написать о турках и моем рабстве, и никакие подробности той жизни меня не интересовали.

Порой мне казалось, что Ходжа презирает меня, так как понял мою слабость — оторванность от родины и бесцельность моего существования, но, возможно, он не замечал меня. Он был так опьянен своими успехами и мечтой о невероятном оружии, о котором он каждый день подробно рассказывал падишаху и наверняка производил на того сильное впечатление. Я ловил себя на том, что завидую счастью Ходжи. Мне нравилось его возбуждение от победы, его бесконечные проекты; я любил его взгляд, устремленный на руки, когда он говорил, что падишах у него в руках. Я не мог бы признаться даже себе, но иногда, когда я смотрел на его походку, на его движения, мне казалось, что я гляжу на себя. Случается, что человек словно узнает себя в каком-нибудь ребенке или юноше и с любовью и любопытством следит за ним; я часто вспоминал, как он, обхватив руками мою голову, сказал: “Я стал тобой”, но когда я напоминал ему о тех днях, он обрывал меня и начинал рассказывать, о чем он говорил в этот день падишаху, как он убеждал его в возможности создания невероятного оружия или как он истолковал очередной сон падишаха, чтобы направить его мысли в нужную сторону.

Он хотел, чтобы и я поверил в блистательность его успехов, о которых он так красочно рассказывал. Иногда я верил, с удовольствием ставя себя на его место и полностью отдавшись этим мечтам. Тогда я еще больше любил его и себя, слушал его рассказы с упоением, как глупец с

открытым ртом слушает интересную сказку, и мне чудилось, что он рассказывает о нашей общей цели и прекрасном будущем.

Так я присоединился к нему в толковании снов падишаха! Ходжа решил побудить падишаха, которому был уже двадцать один год, чтобы тот крепче взял власть в свои руки. Он объяснял падишаху, что несущиеся лошади, которых тот часто видит во сне, несчастны, потому что у них нет хозяина, а волки, кровожадно впивающиеся в горло своих врагов, счастливы, оттого что они свободно делают свое дело; плачущие пожилые женщины и красивые слепые девушки, а также деревья, с которых стремительно опадают листья под черным дождем, зовут его на помощь; священные науки и величественные соколы являются знаком гордого одиночества. Мы хотели, чтобы падишах, когда он возьмет власть в свои руки, проявлял интерес к нашей науке; ради этого мы использовали даже его кошмары. Как большинству охотников, ночью после долгой утомительной охоты падишаху снилось, что охотятся на него; когда он, боясь потерять трон, видел во сне, как на трон садится его собственный сын, Ходжа объяснял ему, что он всегда будет оставаться на троне молодым, но избавиться от ловушек, которые готовят наши недремлющие враги, можно только с помощью оружия, превосходящего вражеское. Падишах видел во сне, как его дед, султан Мурад, чтобы показать силу своих рук, рассекал пополам ишака и две его половины бежали наперегонки, отдаляясь друг от друга; ведьма, которая была его бабушкой, — Кёсем Султан, воскресала и совершенно голая приходила, чтобы задушить падишаха и его мать; на смоковницах, которые росли на Атмейданы там, где кончались чинары, вместо плодов инжира висели трупы; плохие люди с лицами, похожими на его лицо, преследовали его, чтобы убить и запихнуть в мешок; вошедшие в море в Ускюдаре полчища черепах направлялись к дворцу с горящими на их панцирях свечами, которые не задувал ветер; падишах пересказывал эти сны, а мы думали о том, как несправедливы те, кто говорит, что он забросил все дела и занимается только охотой и животными; я терпеливо записывал эти сны в тетрадь, и мы старались их толковать в пользу науки и создания невероятного оружия.

Ходжа считал, что мы все больше влияния оказываем на падишаха, но я не верил в наш успех. Ходжа взял с падишаха обещание построить обсерваторию или дом науки или создать новое оружие, но после ночей, когда мы воодушевленно строили планы на будущее, проходили месяцы, прежде чем Ходжа мог напомнить ему об одном из его обещаний. Через год после чумы умер Кёпрюлю, и у Ходжи появился еще один повод для надежды: падишах боялся могущественного Кёпрюлю и не решался осуществлять свои замыслы; теперь главный везир был мертв, а так как занявший его место сын не имел силы и влияния своего отца, настало время ждать от падишаха смелых решений.

Следующие три года мы провели в ожидании этих решений. Меня удивляло не то, что падишах медлил, мечась между снами и охотой, а то, что Ходжа все еще связывает с ним свои надежды. Все эти годы я ждал того дня, когда он утратит надежды и станет похожим на меня. Ходжа уже не говорил с прежним воодушевлением о своей победе, я не чувствовал в нем того подъема, какой был в первое время после чумы, но он все еще надеялся, что подвигнет падишаха на большой проект. И все время находил объяснения медлительности падишаха: после пожара, спалившего Стамбул, вложение падишахом больших денег в проект да-

ло бы его врагам повод посадить на трон его брата; падишах сейчас не может ничего предпринять, потому что его войско отправилось в поход на Венгрию; в следующем году — потому что войско направилось в немецкие земли; потом надо было закончить строительство Ени-джами[1] на берегу Золотого Рога, на что требовались огромные средства, и Ходжа часто ездил туда с падишахом и Турхан-султан[2]; а еще были бесконечные выезды на охоту, в которых я не принимал участия. В ожидании возвращения Ходжи с охоты я, стараясь выполнить его наказ, лениво переворачивал страницы книг в поисках блестящих идей для того, что он называл "большой проект" или "наука".

Меня больше не радовали даже мечты об этих проектах, результат которых в случае их осуществления был мне безразличен. Ходжа, как и я, знал, что наши познания в астрономии, географии или естественных науках, которые увлекали нас в первые годы нашего знакомства, сейчас не могут найти применения: часы, приборы, модели были забыты и давно проржавели. Все это мы отложили до тех времен, когда будем претворять в жизнь какое-то новое дело, которое Ходжа называл "наука"; нас захватывал не столько этот один "большой проект", который должен был спасти нас от катастрофы, сколько мечтания о множестве проектов. Стараясь поверить в фантастические идеи, которые никак не привлекали меня, я, чтобы быть вместе с Ходжой, пытался его глазами смотреть на страницы, которые переворачивал, и на идеи, которые порой приходили мне в голову; словом, старался поставить себя на его место. Когда Ходжа возвращался с охоты, я делал вид, что нашел нечто новое для того проекта, над которым он, уезжая, просил меня подумать, и что благодаря моим находкам мы можем все изменить; я говорил, что приливы и отливы моря могут быть связаны с температурой воды в реках, впадающих в него, или что чума передается через капельки, находящиеся в воздухе, и отступает, когда меняется погода, или что мы сможем победить всех врагов, сделав мощные пушки на колесах с длинными стволами, или что вселенная вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Луны; слушая все это, Ходжа снимал с себя пропыленную охотничью одежду и говорил всегда одну и ту же фразу, заставлявшую меня улыбаться: "А наши глупцы даже не подозревают об этом!"

А потом его охватывал приступ гнева, передававшийся и мне: он рассказывал, как падишах на коне много часов преследовал обезумевшего кабана или глупо лил слезы над зайцем, пойманным борзыми; злясь, он нехотя признавал, что слова, которые он говорил падишаху во время охоты, влетали ему в одно ухо и вылетали в другое, и повторял: "Когда же эти глупцы увидят правду? Случайно это или закономерно, что дураки находят друг друга? Почему они так глупы?"

Он начал осознавать, что надо снова заняться тем, что он называл "наука", — на этот раз для того, чтобы понять, чем набиты их головы. Когда мы, почти ненавидя друг друга, усаживались за стол, я страстно желал приступить к этой "науке", так как вспоминал о прекрасных днях, когда мы были так похожи друг на друга, но теперь после первых же попыток мы поняли, что все совсем не так, как прежде.

Теперь я уже не мог нападать на него, как раньше, так как не знал, в какую сторону его направить и чем на него воздействовать. Но еще

1. Ени-джами — мечеть в Стамбуле.
2. Хатисе Турхан — мать султана Мехмеда IV.

важнее было то, что я воспринимал его страдания и поражения как свои собственные. Однажды я напомнил ему о глупости здешних властителей, даже несколько преувеличив ее, и заставил его почувствовать, что и он, как они, обречен на поражение; он яростно возражал мне, убеждал, что поражение необязательно, что если бы мы опередили их, если бы претворили в жизнь проект нашего оружия, то течение реки, которое стремится отбросить нас назад, могло бы повернуться в нужном нам направлении; меня радовало, что он говорил не о реальном проекте, а о "проектах", как делал это в дни, когда мы впадали в отчаяние, но порой его охватывал ужас неизбежно приближавшегося поражения; в такие минуты он казался мне осиротевшим ребенком; я любил его гнев и печаль, напоминавшие мне о первых совместно прожитых годах, я хотел быть таким же, как он. Когда я смотрел, как он бродит по дому, или выходит на грязную улицу под проливным дождем, или смотрит на бледный дрожащий свет в окнах домов у Золотого Рога, словно высматривает там что-то, что могло бы возродить надежду, я думал, что это не Ходжа, а моя молодость корчится в муках. Как будто человек, которым был я, оставил меня и ушел, а я дремлю в углу и пытаюсь, вызывая в себе воспоминания о прошлом, вновь обрести желание жить.

Я устал от этих бесконечно повторяющихся, нескончаемых переживаний. С тех пор как Ходжа стал главным астрологом, наши владения в Гебзе увеличились, доходы выросли. У него не было необходимости заниматься чем-то еще, кроме как проводить время в беседах с падишахом. Иногда мы выезжали в Гебзе, обходили старые разрушенные мельницы, деревни, где первыми нас встречали огромные пастушьи собаки, проверяли счета, пытаясь понять, на сколько обманул нас кяхья; иногда весело, но чаще с тоской и вздохами писали рассказы для развлечения падишаха; других занятий у нас не было. Если бы я не настаивал, мы отказались бы и от приятного времяпрепровождения с женщинами, которое мы иногда устраивали.

Сильнее всего Ходжу задевало то, что падишах, осмелев оттого, что армия и паши покинули Стамбул ради похода в немецкие земли и к крепости на Крите, снова, не слушая мать, собрал вокруг себя всех изгнанных из дворца болтунов, глупцов и прихлебателей. Испытывая отвращение к этим обманщикам, Ходжа решил не сближаться с ними, чтобы выделиться из их толпы и показать свое превосходство, но, по настоянию падишаха, принужден был несколько раз слушать их споры. На этих диспутах обсуждалось: есть ли душа у животных, и если есть, то у каких; кто из них попадает в рай, а кто в ад; как отличить мидию-самку от мидии-самца; восходит ли каждое утро новое солнце или одно и то же; после таких собраний он уходил, совершенно потеряв надежду на будущее, и говорил, что если мы не сделаем что-нибудь в ближайшее время, то падишах выскользнет из наших рук.

Я с радостью соглашался с ним, так как он говорил о "наших" проектах и "нашем" будущем. Для того чтобы разобраться в том, что сейчас происходит с падишахом, мы как-то вытащили тетради, куда я много лет записывал все происходившее, а также наши воспоминания. Мы попытались упорядочить суждения падишаха и тем самым понять его умонастроение, и результат не был обнадеживающим; Ходжа все еще продолжал говорить о невероятном оружии, которое нас спасет, и о задачах, которые нам необходимо поскорее решить, но вел себя так, будто не за-

мечает приближающейся страшной катастрофы. Эту тему мы обсуждали месяцами.

Понимали ли мы под катастрофой отделение от империи одной за другой разных стран? Мы расстилали на столе карту и грустно определяли: сперва — какие страны, а потом — какие горы и реки потеряет империя. Или катастрофа означала незаметное изменение людей и веры? Мы представляли, как в один прекрасный день стамбульцы встанут из теплых постелей и окажутся совсем другими людьми; они не будут знать, как надевать свою привычную одежду, не будут помнить, для чего предназначены минареты. А может, катастрофа — это видеть превосходство других и стараться быть на них похожими? Тогда он снова просил меня рассказать о жизни в Венеции, а потом мы сопоставляли здешнюю жизнь с моими воспоминаниями.

О наших мечтах, за которыми совершенно незаметно пролетало время, мы решили, в качестве последнего средства спасения, поведать падишаху. Мы полагали, что его могут взволновать сцены катастроф, увиденные как бы в цветных снах. Эти сцены, которые мы месяцами воображали с печальным и безнадежным весельем, тихими темными ночами мы описали в книге, где были согбенные бедняки, грязные дороги, недостроенные здания, странные темные улицы; люди, бормочущие непонятные им самим молитвы; озабоченные матери и отцы; несчастные, которым не хватало жизни, чтобы рассказать нам обо всем, что было создано и написано в других странах; неработающие механизмы; люди, оплакивающие прежние счастливые дни; тощие — кожа да кости — уличные собаки, безземельные крестьяне, праздно шатающиеся безработные, горожане, неграмотные мусульмане в шароварах и войны, закончившиеся поражением. В другую часть книги мы поместили мои воспоминания, несколько ярких, поучительных и счастливых сцен из моей жизни с родителями и братьями в школьные годы в Венеции: мол, так живут те, кто нас победит, и нам необходимо что-то предпринять, чтобы опередить их! В заключительной главе книги, переписанной нашим другом каллиграфом-левшой, мы поместили очень нравившееся Ходже стихотворение, которое можно было считать вступлением к загадкам и тайнам, скрытым в наших головах, уподобленных битком набитым шкафам. Тонкая туманность этого стихотворения грустно завершала лучшую из написанных нами с Ходжой книг.

Через месяц после того, как Ходжа преподнес книгу падишаху, он получил приказ приступить к изготовлению нового невиданного оружия. Мы были поражены и так и не смогли решить, какую роль сыграла книга в нашем успехе.

9

Когда падишах сказал: "Ну что ж, сделай свое невероятное оружие, от которого придут в полную растерянность наши враги!", может быть, он испытывал Ходжу, а может, ему приснился сон, о котором он не рассказал Ходже, а может, он хотел показать вечно поучающей его матери и пашам, что глупцы из его окружения на что-то годятся, а может, он думал, что после победы над чумой Ходжа сотворит еще одно чудо, а может, на него действительно повлияли сны о катастрофе, которыми мы наполнили книгу, а может, падишах испугался не катастрофы, а нескольких военных неудач и беспокоился, что его свергнут с престола, а вмес-

то него посадят брата. Обо всем этом мы растерянно думали, подсчитывая, какой доход мы получим от деревень, зданий, оливковых рощ, которые падишах выделил нам, чтобы мы имели средства на разработку оружия.

В конце концов Ходжа сказал, что мы удивляемся тому, чему не должны бы удивляться: разве неправдой были все рассказы, трактаты и книги, которые мы год за годом вручали падишаху, а теперь, когда он поверил в них, мы стали сомневаться. Было и еще одно: падишах всерьез заинтересовался нашими идеями. Ходжа взволнованно спрашивал: это ли не победа, которой мы ждали столько лет?

Да, это было так; мало того, на этот раз мы разделили ее между собой и приступили к работе; я тоже был счастлив, тем более что меня не интересовало, как его, завершение работы. Следующие шесть лет, которые мы работали над созданием оружия, были самыми опасными для нас годами. Не потому, что мы работали с порохом, не потому, что нас угнетала зависть наших врагов, а потому, что все с нетерпением ждали нашей победы или поражения, и мы со страхом ждали того же.

Сначала мы провели бесполезную зиму, сидя за столом. Мы были воодушевлены, жаждали работать, но у нас не было ничего, кроме неясного, бесформенного представления о грозном оружии, которое поможет прогнать всех наших врагов. Потом мы решили работать с порохом. Мы устраивались в прохладной тени под высокими деревьями, как когда-то, когда вместе готовили фейерверк, а наши люди делали по нашему рецепту порох и взрывали его вдали от дома. На шум и дым сбегались любопытные со всего Стамбула. На лужайках, где мы отливали пушки с длинными стволами, размещали мишени и шатры, толпы любопытных собирались как на праздничные гулянья. В конце лета к нам пожаловал сам падишах.

Мы устроили представление для него, заставили стонать небо и землю; мы показали ему емкости с подготовленными пороховыми смесями, снаряды, пушки, чертежи форм для еще не отлитых стволов, проекты самовоспламеняющихся ракет. Но его больше всего интересовал я. Сначала Ходжа решил держать меня подальше от падишаха, но тот заинтересовался мной, увидев, когда началось представление, что я отдаю приказы наравне с Ходжой и мне задают вопросы так же, как ему.

Он смотрел на меня как на человека, которого он будто бы знал прежде, но не мог вспомнить. У него был такой вид, словно он пытался с закрытыми глазами определить, какой фрукт пробует. Я поцеловал край его одежды. Он не разгневался, узнав, что я здесь двадцать лет и все еще не стал мусульманином. Он думал о чем-то другом. "Стало быть, двадцать лет? Как странно!" Потом спросил: "Это ты учишь его всему этому?" Но, не дожидаясь ответа, вышел из нашего потрепанного, пропахшего селитрой шатра и направился к своей красивой белой лошади; потом вдруг остановился, повернулся к нам, стоящим рядом, и улыбнулся так, словно увидел одно из несравненных чудес, созданных Аллахом для того, чтобы умерить гордость людей и показать им всю их никчемность: то ли совершенного карлика, то ли невероятно похожих друг на друга братьев-близнецов.

Ночью я думал об этом, но не так, как Ходжа. Ходжа продолжал сердиться на падишаха, а я сказал, что не могу сердиться на него или стараться принизить его: мне понравилось его спокойствие, приятное лицо и поведение избалованного ребенка, который может говорить все,

что взбредет ему в голову. Я хотел бы быть таким, как он, или быть его другом. Когда Ходжа, успокоившись, стал засыпать в моей постели, я подумал, что падишах не заслужил, чтобы его обманывали, мне хотелось все откровенно рассказать ему. А что все?

Как-то Ходжа сказал, что падишах ждет, чтобы утром я пришел с ним, и мы пошли. Был прекрасный осенний день, пахнущий морем и водорослями. Мы провели все утро у бассейна с кувшинками под чинарами и иудиными деревьями, в роще, усеянной опавшими красными листьями. Падишах хотел поговорить о лягушках, которых было много в бассейне. Но Ходже не хотелось, и он сказал несколько ничего не значащих дежурных фраз. Падишах словно не обратил внимания на эту удивившую меня дерзость. Он больше интересовался мной.

Я долго говорил о строении лягушек, об их кровообращении, о том, что, если аккуратно извлечь сердце из тела, оно еще долго будет биться, о комарах и насекомых, которыми они питаются. Чтобы лучше продемонстрировать эволюцию от икринки до зрелых лягушек в бассейне, я попросил бумагу и перо. Падишаху было очень интересно наблюдать, как я рисовал тростниковыми перьями, которые взял из принесенного серебряного прибора, инкрустированного рубинами. Он с удовольствием слушал сказки про лягушек, которые я помнил с детства; когда речь зашла о принцессе, целующей лягушку, он скривился от отвращения, но он не был похож на юного глупца, каким его рисовал Ходжа; скорее походил на подростка, интересующегося наукой и искусством. В конце этих приятно проведенных часов, хотя Ходжа беспрестанно хмурился, падишах, разглядывая лягушек на рисунках, которые он держал в руках, сказал: "Я подозревал, что рассказы сочиняешь ты. Значит, и рисунки тоже твои!" Потом спросил про усатых лягушек.

Так начались мои встречи с падишахом. Теперь я всегда ходил во дворец вместе с Ходжой. Первое время Ходжа в основном молчал, разговаривали мы с падишахом. Разговаривая с этим сидящим напротив меня умным шутником о снах, волнениях, страхах, прошлом и будущем, я думал, насколько он не похож на того падишаха, про которого годами рассказывал мне Ходжа. По разумным вопросам, которые он задавал, и по его маленьким хитростям я понял, что, читая наши книги, он старался понять, насколько Ходжа — это Ходжа, а насколько — я, и насколько я — это я, а насколько — Ходжа. Ходжа будто не обращал внимания на это любопытство, которое он считал глупым, он в это время был всецело занят пушками с длинными стволами.

Ходжа забеспокоился, когда через шесть месяцев после начала нашей работы с пушками узнал, что начальник артиллерии разозлился на то, что мы суем нос в эти дела, и потребовал, чтобы или его уволили с должности, или этих сумасшедших, гробящих пушечное дело под видом введения новшеств, прогнали из Стамбула; одно время начальник артиллерии был готов сблизиться с нами, но Ходжа не хотел договариваться с ним. Когда через месяц падишах предложил нам усовершенствовать не пушки, а какое-нибудь другое оружие, Ходжа не огорчился. Оба мы уже знали, что отлитые нами пушки и новые стволы ничуть не лучше тех, что применялись прежде.

Ходжа считал, что мы снова вступили в новый период, нам предстоит решать новые задачи и надо заново все обдумать; я уже привык к его вспышкам гнева и к его фантазиям; новым для меня было только знакомство с падишахом. Падишах тоже был доволен общением с нами. Как

внимательный отец разнимает ссорящихся в игре братьев, не поделивших шарики: "Это твои, а это твои", так и он различал нас, слушая наши слова и наблюдая за нашим поведением. Мне были интересны его замечания, иногда по-детски наивные, иногда по-взрослому умные: мне верилось, что, незаметно для нас, он отделяет от меня мою личность и объединяет ее с личностью Ходжи, а личность Ходжи объединяет с моей; казалось, что падишах знает нас лучше нас самих, соединяя нас в своем воображении.

Когда мы толковали его сны или говорили об оружии, о котором мы тогда еще только мечтали, падишах вдруг прерывал нас и говорил: "Нет, это не твоя, это его мысль". А иногда говорил: "Ты сейчас смотришь как он, смотри по-своему!" Я с удивлением улыбался, а он добавлял: "Вот так, молодец! Вы никогда не гляделись вместе в зеркало?" Он спрашивал: когда мы видим друг друга в зеркале, насколько у каждого из нас получается оставаться самим собой. Однажды перед ним разложили все трактаты, книги о животных, календари, которые мы ему преподнесли за долгие годы; он переворачивал страницы и говорил, кто из нас, по его представлению, что написал и что с чем и по чьему настоянию поменяли местами. В другой раз он призвал человека, который стал изображать нас в нашем присутствии, что разозлило Ходжу, а у меня вызвало восхищение.

Человек совершенно не походил на нас ни лицом, ни телом, он был невысокого роста и толстый, одеяние у него было совсем другое, но когда он начал говорить, я испугался: говорил словно не он, а Ходжа. Как Ходжа, он наклонялся к уху падишаха, будто поверял тайну; говорил сосредоточенно, с задумчивым видом и даже понижал голос, когда доходило до подробностей; как Ходжа, энергично размахивал руками, чтобы убедить в сказанном сидящего напротив него; только говорил он не о звездах, как Ходжа, и не о новом оружии, а перечислял блюда дворцовой кухни и приправы, необходимые для их приготовления. Падишах улыбался, а подражатель, глядя в изменившееся лицо Ходжи, стал перечислять названия городов на пути из Стамбула в Алеппо[1]. Потом падишах попросил подражателя изобразить меня. В его изображении я выглядел изумленным глупцом с открытым ртом. Когда падишах попросил изобразить наполовину Ходжу, наполовину меня, я страшно обрадовался. Глядя на движения человека, я отмечал про себя: "Это я, а это Ходжа", но подражатель и сам указывал пальцем на того, кого изображал. Падишах отослал подражателя, похвалив его, а нам повелел подумать над этим.

Что означали эти слова? Вечером я сказал Ходже, что падишах гораздо умнее того человека, о котором он мне рассказывал долгие годы, сказал, что падишах сам идет тем путем, на который он хотел его наставить, но Ходжу все равно охватил приступ гнева. Я понимал его: когда тебя передразнивают, это бывает невыносимо. После этого Ходжа сказал, что без особой нужды ноги его не будет во дворце. Когда наконец ему выпал шанс, которого он ждал столько лет, он не намерен пребывать среди этих глупцов и подвергать себя насмешкам. Поскольку я знаю, что интересно падишаху, и мне нравятся такие шутки, вместо него во дворец буду ходить я.

1. Алеппо — город в Сирии.

Когда я сказал, что Ходжа заболел, падишах мне не поверил. "Пусть работает над оружием", — решил он. Таким образом, четыре года, пока Ходжа разрабатывал оружие, во дворец ходил я, а он, как когда-то я, оставался дома со своими идеями и мечтами.

За эти четыре года я узнал, что жизнь моя может быть не только ожиданием, но и удовольствием. Те, кто видел, что падишах ценит меня так же, как Ходжу, наперебой приглашали меня на торжества и увеселения, которые устраивались почти каждый день. То выходила замуж дочь везира, то у падишаха рождался еще один ребенок, потом его сыновья проходили обряд обрезания, потом у венгров отвоевывали крепость, а потом торжество по случаю начала обучения наследника, а дальше наступал рамазан и снова начинался праздник. На этих многодневных праздниках я объедался жирным мясом и пловом, а также сделанными из сахара и фисташек львами, страусами и русалками, которых подавали на десерт, и очень скоро растолстел. Много дней я проводил на представлениях борцов, которые боролись до полной победы; канатоходцев, передвигающихся с шестом по канату, протянутому между двумя минаретами; силачей, зубами перекусывающих подковы; метателей ножей, факиров, достававших из-под одежды змей, голубей и обезьян; фокусников, которые в мгновение ока вынимали чашки из наших рук и деньги из наших карманов; на представлениях Карагёза и Хадживат[1], перебранки которых я обожал. Ночью, если не было фейерверка, я, как и все, шел в один из дворцов или особняков кого-нибудь из новых друзей и развлекался, попивая ракы[2] и вино, слушая музыку и глядя на прекрасных танцовщиц, изображавших сонных газелей, и на танцовщиков, переодетых женщинами, чокаясь с певцами, исполнявшими томными голосами то трогательные, то веселые песни.

Я часто посещал посольские особняки, где ко мне проявляли интерес, смотрел балет, где танцевали приятные девушки и юноши, слушал музыкантов, приехавших из Венеции, и получал удовольствие от своей постепенно растущей славы.

Вечером я возвращался из этих особняков и дворцов с затуманенной от вина головой, думая о прекрасных телах, которые видел, и заставал Ходжу, напряженно работавшего за нашим столом, сделанным двадцать лет назад. Стол был завален странными предметами, смысла которых я не понимал, бумагами с рисунками и текстом, написанным нервным почерком. Он требовал, чтобы я ему рассказал, что я делал и видел в этот день, недовольно прерывал меня, называя все эти развлечения непристойными и глупыми, начинал говорить о "нас" и о "них" и принимался объяснять мне свой проект.

Он снова повторял, что все зависит от содержимого нашей головы, на этом был основан его новый проект, он взволнованно говорил о мозге как о симметрично или беспорядочно заполненном всякими мелочами шкафе, но я не мог понять, какую же форму он собирается придать оружию, с которым были связаны все его, все наши надежды. Я не думаю, что это мог понять кто-то другой, а временами мне казалось, что он и сам понять это не в состоянии. Он говорил, что когда-нибудь кто-нибудь вскроет наши головы и подтвердит справедливость его мыслей. Он говорил о великой истине, о которой догадался, когда мы вместе смот-

1. Карагёз и Хадживат — герои народного турецкого театра теней.
2. Ракы — турецкая анисовая водка.

релись в зеркало во время чумы, теперь для него все прояснилось, и, опираясь на эту истину, он занимается разработкой усовершенствованного оружия. После этого, видя, что его взволнованные слова не доходят до меня, он тыкал пальцем в бумагу, показывая мне черное пятно причудливой формы.

Форма пятна, немного изменяющаяся раз от разу, как будто напоминала мне что-то. Глядя на рисунок, который в какой-то момент напомнил мне шайтана, я подумал, что смогу сказать Ходже, что я в нем увидел, но что-то мне помешало, я решил, что это странная игра моего воображения. На протяжении четырех лет я видел этот проект, детали которого были разбросаны по разным листам бумаги и который, постепенно развиваясь, принимал окончательный вид; при осуществлении он мог поглотить все наши накопленные годами деньги и весь наш вложенный в него труд. Я связывал этот проект с тем, о чем мы говорили в прежние годы, когда столько раз делились друг с другом воспоминаниями, иногда реальными, иногда придуманными, но мысли мои не приобретали четкости, и напрасно я пытался преодолеть эту неясность, надеясь, что тайна оружия откроется сама собой. Через четыре года, когда маленькая деталь превратилась в странное ужасающее чудовище размером с огромную мечеть, о котором заговорил весь Стамбул и которое с чем только ни сравнивали, Ходжа объявил, что это особое, непревзойденное оружие, а я пытался вникнуть в подробности проекта, о которых говорил Ходжа, предрекая будущие победы его оружия.

По утрам, придя во дворец, я рассказывал падишаху о нашем изобретении; говорил, словно пытаясь вспомнить сон, исчезающий утром из сознания, о колесах, блоках, башнях, порохе и рычагах, о которых мне настойчиво рассказывал Ходжа. Слова были не моими, и в них не было вдохновения огненных слов Ходжи, но я видел, что они производят сильное впечатление на падишаха. А на меня производило впечатление то, как этот человек, которого я считал умным, переполняется надеждой, слушая возвышенные стихи Ходжи о победе в моем неточном пересказе. Падишах говорил, что оставшийся дома Ходжа — это я. Я уже привык к этим играм ума, которые меня раньше сильно смущали. Когда он провозглашал, что я — это Ходжа, лучше было ничего не понимать, потому что следом он говорил, что всему этому научил Ходжу я. Нынешний вялый я — это не я, а прежний я изменил Ходжу. Лучше бы мы говорили о развлечениях, животных, готовящемся шествии ремесленников, думалось мне. Как-то падишах сказал, что все знают, что за проектом оружия стою я.

Больше всего меня пугало именно это. Ходжа долгое время нигде не появлялся, его почти забыли, и именно меня часто видели рядом с падишахом в особняках, во дворцах, в городе; мне начали завидовать. Сплетни распространялись все шире день ото дня, причем не потому, что на создание оружия были выделены доходы от деревень, оливковых рощ и домов, и не потому, что я был так близок к падишаху, а потому, что я гяур и с этим оружием мы суем нос не в свои дела. Когда я уже не в силах был все это слышать, я высказывал свое беспокойство и Ходже, и падишаху.

Но они не прислушивались к моим словам. Ходжа целиком ушел в свой проект. Я завидовал ему, как старик завидует страсти молодости. В последние месяцы, когда он перешел уже непосредственно к изготовлению этого пугающего меня монстра и, вложив в это невероятные день-

ги, отлил ствол такой формы, что ни одно ядро не могло бы из него вылететь, он и слышать ничего не хотел о тех слухах, которые я ему передавал; его интересовало только, что говорят об этом в посольских особняках: что за люди эти послы? Как у них работают мозги? Что они думают об этом оружии? И главное: почему падишах не посылает постоянных послов в эти государства? Я чувствовал, что он сам хотел бы получить такой пост и избавиться от здешних глупцов, но открыто не говорил об этом, даже когда испытывал трудности с осуществлением проекта, когда лопалась отлитая им сталь или когда он впадал в отчаяние, полагая, что ему не хватит денег. Только несколько раз у него вырвалось, что он хотел бы завязать отношения с "их" учеными; может, они поняли бы правильность наших идей; он хотел бы переписываться с учеными Венеции, Флоренции, он называл и еще более далекие страны, которые приходили ему в голову. Интересно, какие из этих ученых самые лучшие, где они живут, можно ли с ними переписываться, не могу ли я узнать это у послов? Но, отдавшись развлечениям и потеряв интерес к созданию оружия, я забыл об этой просьбе, которую можно было бы истолковать как свидетельство слабости и которая могла бы порадовать наших врагов.

Падишах не слушал сплетен наших врагов. Когда я пожаловался, что в то время, как Ходжа ищет отважных людей, которые войдут в это страшное металлическое чудовище и, несмотря на обжигающий ноздри запах ржавчины и железа, будут крутить колеса, о нем распускают подлые сплетни, падишах не стал даже слушать меня. Падишах доверял Ходже, был им доволен и благодарил за это меня: это я обучил Ходжу всему. Он, как Ходжа, говорил о том, что все зависит от содержимого людских голов и, как когда-то Ходжа, спрашивал, как живут люди на моей прежней родине.

Я рассказывал ему о моих видениях. Я так часто говорил об этом, что стал верить в эти видения и сам уже не понимал, действительно ли это события, которые я пережил в юности, или это придуманные рассказы, сходившие с кончика моего пера, когда я садился за стол, собираясь написать книгу; иногда я веселил его выдумками, пришедшими мне в голову, иногда пересказывал старые сказки или сочинял новые. Поскольку падишах интересовался подробностями, я неизменно повторял, что на одежде у всех на моей прежней родине много пуговиц, и сам уже не мог понять, какие подробности черпал из своих воспоминаний, а какие — из своего воображения. Но было несколько реальных воспоминаний, которые не стерлись за двадцать пять лет, например, наши разговоры за завтраком в саду под липами с матерью, отцом и братьями. Падишаху это было интересно. Однажды он сказал мне, что по большому счету все жизни похожи одна на другую. Я почему-то испугался этих слов, лицо падишаха приобрело лукавое выражение, которого я не видел раньше; мне хотелось спросить, что означают эти слова. Со страхом глядя на него, я хотел сказать: "Я — это я". Мне казалось: если бы я осмелился произнести эти слова, то я покончил бы со всеми интригами сплетников и даже со всеми попытками Ходжи и падишаха, стремившихся представить меня кем-то другим, и тогда я спокойно продолжил бы свою собственную жизнь. Но я испуганно молчал, как все, кто пугается непонятных слов, которые могут нарушить их покой.

Это случилось весной, когда Ходжа закончил работу над оружием, но еще не начал испытаний, так как не смог набрать для этого людей.

Мы удивились, когда через некоторое время падишах выступил с армией в поход на Польшу. Почему он не взял с собой оружие, которое сметет всех наших врагов, почему он не взял нас в поход, неужели он нам не доверяет? Но потом мы, как все оставшиеся в Стамбуле, решили, что на самом деле падишах не столько выступил в военный поход, сколько отправился на охоту. Ходжа был доволен, что получил еще год отсрочки, мне нечем было заняться, и мы вместе работали над оружием.

Очень много сил ушло у нас на то, чтобы найти людей для испытаний. Никто не хотел входить внутрь ужасного на вид, непонятного сооружения. Ходжа обещал много денег, мы разослали глашатаев по городу, искали желающих на судоверфи, пушечном заводе, среди безработных в кофейнях, среди разбойников и авантюристов. Большинство из тех, кого мы нашли и кто, переборов страх, протискивался внутрь странного сооружения, не выдерживали, поскольку крутить колесо надо было в страшной жаре, и сбегали. В начале осени, когда мы все же сумели привести в движение наше оружие, наши деньги, которые мы копили годами, почти кончились. Под испуганными и удивленными взглядами любопытных и под победные крики наше оружие неуклюже зашевелилось, затряслось, выстрелило из пушек в сторону воображаемой крепости и встало. Деньги от деревень и оливковых рощ продолжали поступать, однако из-за больших расходов Ходжа решил распустить команду, которую собирал с таким трудом.

Зима прошла в ожидании. Падишах вернулся из похода и остановился в своем любимом дворце в Эдирне; меня никто не призывал к себе, мы сидели с Ходжой одни. Некому было рассказывать увлекательные истории и не с кем было развлечься вечером; никаких дел у нас не было. Я старался убить время тем, что заказал свой портрет художнику, приехавшему из Венеции, и брал уроки игры на уде[1]; Ходжа то и дело отправлялся в Куледиби[2], где он оставил свое оружие, которое охранял сторож. Он все еще продолжал совершенствовать свое изобретение, все время что-то добавляя к нему, но скоро это ему надоело. Последние дни зимы, которые мы провели вместе, он не говорил со мной об оружии и о том, что собирается с ним делать. На него нашла какая-то апатия, но не оттого, что он утратил пыл, а оттого, что я не поддерживал в нем интерес к его изобретению.

И опять мы проводили вечера в ожидании: ждали, когда утихнет ветер или перестанет дождь, когда последний раз пройдет продавец бозы, когда надо будет подбросить дрова в печку. Ждали, когда погаснет последний дрожащий огонек на другой стороне Золотого Рога, ждали, что придет сон, который никак не приходил, ждали утреннего азана[3]. В один из вечеров, когда мы почти не разговаривали, предаваясь мечтам, Ходжа вдруг сказал, что я очень изменился, стал совершенно другим человеком. Мне стало нехорошо, меня даже прошиб пот; мне хотелось возразить, сказать, что он неправ, я такой, как прежде, мы с ним похожи, надо, чтобы я интересовал его, как раньше, что у нас еще много тем для разговоров; я посмотрел на портрет, который в то утро принес от художника и повесил на стену. Он был прав, я изменился: растолстел от еды на приемах, появился второй подбородок, мышцы стали дряблыми, движе-

1. Уд — струнный щипковый инструмент.
2. Куледиби — местечко в районе Галаты в Стамбуле.
3. Азан — призыв к молитве у мусульман.

ния медленными; хуже всего, что и лицо мое было совершенно другим — от поцелуев в углу моих губ притаилось бесстыдство, от беспорядочного сна глаза смотрели устало, а взгляд стал умиротворенным, как у дураков, довольных жизнью, миром и собой; но я все же не был огорчен тем, как я теперь выгляжу, и промо́лчал.

Потом, когда нам сообщили, что падишах зовет нас в Эдирне вместе с нашим оружием, я несколько раз видел один и тот же сон: мы развлекаемся в Венеции на маскараде, напоминающем стамбульские развлечения; я узнаю мать и невесту, когда они опускают маски простолюдинок, и я опускаю свою маску, чтобы они узнали меня, но они не понимают, что я — это я, и масками, прикрепленными к палкам, указывают на кого-то; я оборачиваюсь и вижу, что человек, которого они приняли за меня, — это Ходжа. Чтобы они узнали меня, я с надеждой бросаюсь к Ходже, он опускает свою маску, и тогда я вижу себя в молодости и просыпаюсь с ужасом и ощущением вины.

10

В начале лета, узнав, что падишах ждет нас в Эдирне с оружием, Ходжа начал действовать. Оказалось, что он все держал наготове и всю зиму не терял из виду набранных им людей. Через три дня мы были готовы к отъезду. Накануне вечером Ходжа пересмотрел все старые книги с истрепанными обложками, неоконченные трактаты, пожелтевшие черновики, перебрал вещи в доме, словно мы переезжали в новый дом. Он завел заржавевшие часы, показывавшие время намаза, вытер пыль с астрономических приборов. До утра копался в черновиках книг, написанных нами за двадцать пять лет, и чертежах приборов. На рассвете я увидел, как он листает пожелтевшие страницы тетради, которую я вел во время испытания нашего фейерверка; он спросил, смущаясь: взять ли это с собой, может ли нам это пригодиться? Мой равнодушный взгляд разозлил его, и он швырнул тетрадь в угол.

Но все-таки во время путешествия в Эдирне, которое продолжалось десять дней, мы ощущали близость друг к другу. Прежде всего, Ходжа снова воспылал надеждой, видя, как наше оружие, которое называли чудовищем, насекомым, шайтаном, черепахой со стрелами, шагающей крепостью, железным великаном, котлом на колесах, верблюдом, циклопом, чудищем, продвигалось, издавая ужасный шум и скрежет и повергая всех в ужас. Ходжа приходил в прекрасное расположение духа, наблюдая, как по пути сбегаются любопытствующие из окрестных деревень поглазеть на наше чудо и как они, не смея от страха приблизиться, стоят поодаль на окрестных холмах. Ночами, когда наши люди, вконец измучившись за день, крепко спали в тишине, нарушаемой только стрекотом цикад, Ходжа рассказывал мне, что будет делать с врагами его чудище. Откровенно говоря, прежнего восторга он не испытывал — подобно мне, он беспокоился о том, как отнесутся к оружию падишах, его окружение и армия, какое место оно займет в вооружении, но все еще спокойно и убежденно говорил о "нашем последнем шансе", о течении реки, которое мы повернем в нужную сторону, и, главное, — о "них" и о "нас".

Оружие прибыло в Эдирне с помпезностью, не понравившейся никому, кроме падишаха и нескольких прихлебателей из его окружения. Падишах принял Ходжу как старого друга, говорил о возможности вой-

ны, но особого беспокойства не проявлял; они снова стали проводить вместе целые дни. Я тоже присоединялся к ним. Сопровождал их, когда они садились на коней и выезжали в темный лес слушать птичье пение, или наблюдали за лягушками во время лодочных прогулок по Тундже и Марице, или отправлялись во двор мечети Селимие поглядеть на аистов, раненных в битве с орлами, или осмотреть новое оружие, чтобы вновь и вновь оценить его достоинства и преимущества. Я с горечью замечал, что не могу присоединиться к их разговору, не могу рассказать им ничего такого, что могло бы по-настоящему заинтересовать их. Может, я завидовал их дружбе, но, кроме того, мне надоела одна и та же песня Ходжи о победе, превосходстве над другими, необходимости встряхнуться и наконец перейти к действию; меня удивляло, что падишах верит в эти сказки о будущем.

В середине лета, когда разговоры о войне участились, Ходжа позвал меня и объявил, что ему нужен сильный надежный человек. Мы быстро шли по улицам Эдирне, мимо цыганского и еврейского кварталов, по серым улицам, навевавшим тоску, по которым я прогуливался прежде, мимо похожих друг на друга бедных домов. Вдруг я заметил на другой стороне улицы увитые плющом дома, которые только что встречались нам с нашей стороны, и сообразил, что мы ходим по одним и тем же улицам; я сказал об этом Ходже, он ответил, что мы — в квартале Фильдамы. Тут он постучался в какой-то дом, дверь открыл зеленоглазый мальчуган лет восьми. "Мы ищем львов, сбежавших из дворца падишаха", — сказал ему Ходжа. Он отстранил мальчика и вошел в дом, я последовал за ним. Пахло пылью, деревом и мылом, в полутьме мы быстро поднялись по скрипучей лестнице в прихожую; Ходжа открывал двери одну за другой. В первой комнате дремал, открыв рот, худой беззубый старик, два ребенка, нагнувшиеся к его бороде, чтобы спросить о чем-то, испугались, когда открылась дверь. Ходжа закрыл дверь, отворил другую: за ней виднелась гора одеял и лоскутов для них. К двери третьей комнаты мальчик, впустивший нас в дом, подскочил раньше Ходжи: "Здесь нет львов, здесь мама и жена моего брата", но Ходжа распахнул дверь: в слабо освещенном помещении две женщины, спиной к нам, совершали намаз. В следующей комнате сидел человек и шил одеяло, он был без бороды и потому казался похожим на меня; увидев Ходжу, он встал: "Зачем ты явился, сумасшедший? Что тебе от нас нужно?" "Где Семра?" — спросил Ходжа. "Десять лет назад она ушла в Стамбул, — ответил человек, — она умерла от чумы. Почему ты не сдох?" Ходжа ничего не ответил, спустился по лестнице и вышел из дома. Следуя за ним, я слышал громкий вопрос мальчика и ответ женщины: "Это львы приходили, мама?" — "Нет, это твой дядя и его брат!"

Может, оттого, что я не мог забыть происшедшего, а может, готовясь к новой жизни и книге, которую вы все еще терпеливо читаете, недели через две рано утром я снова отправился в тот дом. При дневном освещении я с трудом отыскал ту улицу и дом, а когда нашел, то попытался определить самый короткий путь, ведущий отсюда к больнице при мечети Беязыт. Наверное, я ошибался, считая, что они ходили самой короткой дорогой, я никак не мог найти такую дорогу, которая вела бы к мосту и была затенена тополями; а та тополиная аллея, которую я все же отыскал, не шла вдоль реки, на берегу которой можно было есть халву, опустив ноги в воду. Что касается больницы, там не было ничего из того, что мы воображали, не было грязи — пожалуй, она была весьма чис-

тая, не было ни звука капающей воды, ни разноцветных бутылок. Увидев больного, закованного в цепи, я не удержался и спросил о нем у врача; он сошел с ума от любви и, как большинство сумасшедших, считает себя другим человеком, объяснил врач и рассказывал бы и дальше, но я уже не слушал.

Решение о походе было принято совершенно неожиданно: поляки, которые после прошлогоднего поражения вынуждены были платить еще бóльшие налоги, прислали весть: "Приходите и собирайте налоги мечом". Ходжа готов был лопнуть от злости: армия, готовясь к походу, совершенно не брала в расчет его оружие; никто не хотел во время сражения видеть рядом с собой эту огромную груду железа; никто не ждал добра от этого гигантского котла; мало того, считали, что это принесет несчастье. Когда накануне выступления в поход Ходжа писал напутствие своему оружию, наши враги при дворе падишаха дошли до того, что открыто заявили, будто новое оружие может принести как победу, так и поражение. Когда Ходжа рассказывал мне, что за этим поражением они видят меня, а не его, я испугался. Падишах же сказал Ходже, что доверяет новому оружию, которое будет подчинено непосредственно ему. Теплым сентябрьским днем мы вышли из Эдирне.

Все думали, что в это время года поздновато выходить в поход, но об этом старались не говорить: так я впервые узнал, что во время похода воины боятся дурного предзнаменования не меньше, а иногда и больше, чем врага, и стараются преодолеть этот страх. В первый день нашего выступления на север мы проходили по богатым деревням и мостам, стонущим под тяжестью оружия, а вечером, к нашему удивлению, падишах позвал нас в свой шатер. Как и в его солдатах, в падишахе ощущалось любопытство и волнение ребенка, начинающего новую игру, он спрашивал Ходжу, как тот толкует происшедшее за день: что означает красное облако перед заходящим солнцем, низко летающие соколы, треснувшая труба деревенского дома, летящие на юг журавли? Ходжа, разумеется, толковал все это как добрые знаки.

Этим наши обязанности не ограничились: оказалось, что падишах во время походов любит вечерами слушать страшные рассказы. Опираясь на вдохновенные, самые любимые падишахом стихи из нашей книги, которую мы преподнесли ему много лет назад, Ходжа нарисовал мрачную картину — кровавые битвы, поражения, проклятия, предательство и нищета, — но так, чтобы падишах своим испуганным взглядом все же смог увидеть где-то вдалеке и зарево победы: мы должны были напрячь все свое воображение, чтобы воодушевить его; после рассказов о "них" и о "нас" надо было приободриться и, завладев вниманием падишаха, изложить наши идеи, о которых в течение стольких лет толковал ему Ходжа. Ходжа каждый вечер усиливал мрак, ужас и мерзость в своих рассказах, которые мне опротивели, но я замечал, что падишах с удовольствием выслушивал и наши старые идеи.

Через неделю после выступления в поход начались охотничьи выезды. Для этого вместе с войском следовали специально обученные люди, сперва они выезжали на разведку, потом падишах, охотники и мы отрывались от войска и направлялись в рощу, знаменитую водившимися в ней газелями, или на холмы, где загоняли кабанов, или в леса, кишевшие зайцами и лисами. После этих недолгих выездов, длившихся всего по нескольку часов, мы торжественно возвращались к войску, как с победоносного сражения; войско приветствовало падишаха, а мы следовали

сразу за ним. Мне нравились эти торжества, которые Ходжа буквально ненавидел; вечерами я больше любил разговаривать об охоте с падишахом, чем о продвижении войска, состоянии деревень и поселков, через которые прошла армия, или о доходящих до нас известиях о неприятеле. Затем начинались мрачные рассказы Ходжи, его возмущение никчемной болтовней и предсказаниями все усиливалось. Доверчивость падишаха к этим рассказам, все более и более устрашающим, и к болтовне о наших идеях огорчала меня, равно как и других людей из его окружения.

Но мне предстояло стать свидетелем худшего. Мы поехали на охоту; все население деревни, около которой мы охотились, было отправлено в лес, чтобы ударами по жестянкам и криками гнать кабанов и оленей в то место, где мы ждали на лошадях, но до обеда мы не встретили ни одного зверя. Утомленный полуденной жарой падишах, чтобы немного развеять нападшее на нас уныние, попросил Ходжу рассказать какую-нибудь страшную историю. Мы двигались потихоньку, слушая доносящиеся издалека звуки жестянок, и остановились у деревни, где жили христиане. Я видел, как Ходжа и падишах указали на один из пустых домов; немного погодя из приоткрытой двери вышел немощный старик и, прихрамывая, направился к ним. Только что они говорили о содержимом "их" голов; увидев интерес на лице падишаха и услышав, что Ходжа через переводчика задал старику какой-то вопрос, я, встревоженный, подошел к ним.

Ходжа спрашивал старика и требовал, чтобы тот отвечал не задумываясь: какой самый большой грех, самое большое зло в жизни он совершил? Старик бормотал на каком-то славянском языке, а переводчик медленно переводил: старик считал себя безгрешным и невинным; Ходжа с непонятной яростью продолжал требовать, чтобы старик рассказал о себе. Увидев, что падишаху интересен его ответ так же, как и Ходже, старик нехотя признал свою вину: да, он виноват, он должен был со всеми своими земляками загонять зверя, участвовать в охоте, он виноват, но у него есть причина — у него не то здоровье, чтобы целый день бегать по лесу; он показывал на сердце, просил прощения, но Ходжа разозлился. Он закричал, что спрашивает не об этом, а об истинных грехах, однако старик как будто не понимал вопроса, который повторял ему переводчик, и стоял неподвижно, прижав руку к сердцу. Старика увели. Притащили другого. Услышав от него те же слова, Ходжа побагровел. Чтобы облегчить задачу тому второму, Ходжа как пример грехов и плохих поступков стал перечислять проступки, совершенные в детстве мной: ложь, которую я выдумывал, чтобы меня любили больше, чем братьев, любовные прегрешения во время учебы в университете, и, пока Ходжа перечислял все мои грехи, я со стыдом и отвращением вспоминал время, когда свирепствовала чума, о котором с тоской вспоминал, сочиняя эту книгу. Ходжа немного успокоился, когда третий из приведенных, хромой крестьянин, шепотом признался, что подсматривал за женщинами, купавшимися в реке. Вот так "они" ведут себя, когда их прижмешь, мы можем наблюдать это; но мы, зная, как устроены их головы, и т. д. и т. п. Мне хотелось верить, что он не полностью убедил падишаха в своей правоте.

Но падишах заинтересовался этой идеей; через два дня во время охоты, когда мы преследовали оленей, повторилась та же сцена — может, потому, что падишах не устоял перед настояниями Ходжи, а может,

потому, что допрос понравился ему больше, чем я думал. Мы уже перешли Дунай; мы снова были в христианской деревне, но на сей раз там разговаривали на каком-то из латинских языков. Ходжа спрашивал при молчаливой поддержке падишаха все о том же. Сначала я не хотел слушать даже вопросы этого странного судьи, вопросы, напоминавшие мне мою собственную злость, с которой я во время чумы заставлял Ходжу писать о неприглядных поступках. Я испытывал непонятное отвращение, злился не столько на Ходжу, сколько на падишаха, который доверял ему и не мог устоять перед этой недоброй игрой. Но скоро и я поддался скверному любопытству; я решил, что, слушая, человек не делает ничего дурного, и подошел к ним. Грехи и проступки, о которых рассказывали языком, столь приятным для моего уха, в большинстве своем походили один на другой: маленькие обманы и надувательства, несколько измен, самое большое — мелкое воровство!

Вечером Ходжа сказал, что крестьяне рассказали не все, они скрыли правду; я-то в свое время пошел гораздо дальше, значит, и у них должны быть настоящие грехи, значительно более серьезные, отличающие "их" от "нас". И чтобы убедить падишаха и узнать истину, чтобы показать, каковы "они" и каковы "мы", он готов применить силу.

Все последующие дни он был одержим какой-то страстью, которая постепенно усиливалась и становилась все безумнее. Поначалу все было просто: мы походили на играющих детей, которые, выставляя себя друг перед другом, отпускают грубые шуточки; допросы же походили на сценки театра теней, словно мы разыгрывали их как одно из развлечений на охоте; но потом они превратились в своего рода обязательный ритуал, истощавший все наши силы, нашу душу и тепло. Крестьяне были ошарашены вопросами Ходжи и его беспричинным гневом; если бы они понимали, чего от них требуют, то, может, и рассказали бы; я видел беззубых усталых стариков, собранных на деревенской площади: перед тем как, заикаясь, рассказать о реальных или мнимых грехах, они бросали вокруг безнадежные взгляды, словно прося помощи у окружающих и у нас; я видел молодых, чьи признания в грехах и дурных поступках Ходжа считал недостаточно честными; я снова вспоминал, как он гневно кричал, что не понимает, как я могу быть таким же, как он, и, прочитав написанное мной, ударял меня, будто бы в шутку, кулаком по спине: "Вот я тебе!" Но теперь он все же точнее знал, чего ищет и какого результата добивается. Он попробовал и другой метод: время от времени неожиданно перебивал кающегося и объявлял, что тот врет; тогда наши люди набрасывались на него и начинали пытать. То вдруг обрывал очередного кающегося, говоря, что того поймал на лжи его же приятель. Бывало, что он пробовал допрашивать одновременно двоих. И злился, видя, что все равно не получается выбить из них признание; как бы ни были жестоки наши люди, крестьяне стесняются еще и друг друга.

К тому времени, как начались непрекращающиеся дожди, я привык к происходящему. Я помню, как избиваемые часами, насквозь промокшие крестьяне, будучи не в состоянии ничего сказать, да и не намереваясь этого делать, стояли на грязной деревенской площади. На охоту мы стали выезжать все реже и реже. Случалось, мы убивали газель с прекрасными глазами, что вызывало печаль у падишаха, или огромного вепря, но на уме у нас теперь были, по правде говоря, не случаи на охоте, а эти допросы, к которым готовились загодя, как к охоте. А по вечерам Ходжа изливал мне душу, словно чувствовал себя виноватым за то, что

совершал днем. Он сам был недоволен происходящим и своим остервенением, но ведь он старается получить доказательства, знания, полезные нам всем, и в том числе падишаху; и потом, почему эти крестьяне скрывают правду? Он сказал, что нам надо устроить то же самое и в мусульманской деревне; но это не увенчалось успехом: мусульмане отвечали так же, как их соседи-христиане, таким же образом признавались в содеянных грехах и рассказывали те же истории. В один из отвратительных дождливых дней Ходжа пробормотал что-то вроде того, что они не настоящие мусульмане.

Все более возрастающая ярость Ходжи, которая вызывала у меня любопытство и которая не нравилась падишаху, ставшему свидетелем ее проявления, пожалуй, помогала ему довести до конца задуманное, это была его последняя надежда. Продвигаясь все дальше на север, мы достигли лесистой местности, где жители вновь говорили на славянском языке; мы видели, как в маленькой (несколько домов) симпатичной деревне Ходжа бил красивого юношу. После он говорил, что никогда не повторит ничего подобного; вечером его охватило, на мой взгляд, даже чрезмерное чувство вины. В другой раз я собственными глазами видел, как крестьяне плакали под дождем о том, что с ними приключилось. Наши люди, ставшие мастерами своего дела, иногда сами, не спрашивая нас, выбирали и приводили жертву на допрос, и переводчик задавал первые вопросы раньше уставшего от собственной злости Ходжи. Нельзя сказать, что жертвы, сталкиваясь с пристрастностью и жестокостью наших допросов, о чем, как мы прослышали, уже ходили легенды, совсем не раскрывали свои тайны, — напротив: они подробно признавались в содеянном, будто втайне даже ждали, когда их допросят, трепеща от недоумения и страха; однако Ходжу больше не интересовали рассказы об изменах жен и мужей и о зависти бедных крестьян к своим богатым соседям. Он все повторял, что есть более сокровенная правда, но думаю, что и он сам, как и остальные, временами сомневался, что добьется ее. Однако и падишах, и все мы чувствовали, что Ходжа не собирается отказываться от своей затеи. Поэтому мы просто наблюдали, как он всем распоряжается. Однажды у нас мелькнула надежда, когда один парень, долго допрашиваемый в укрытии, куда мы спрятались от грозы, признавался, что ненавидит отчима за то, что тот плохо обращается с его матерью, и своих сводных братьев; но тем же вечером Ходжа заявил, что о признании этого парня можно забыть.

Армия продвигалась уже между высокими горами, очень медленно, по грязным дорогам, среди мрачных густых лесов. Мне нравились прохладный сумрачный воздух этих березовых и сосновых лесов, настороженная тишина, пробуждающая подозрение. Никто не знал названия местности, но мне казалось, что мы находились в предгорье Карпат; в детстве я видел их изображение на отцовской карте Европы, изготовленной художником-самоучкой, — Карпаты были разукрашены оленями и готическими замками. Ходжа простудился под дождем и заболел, и все же каждое утро мы сворачивали с дороги, извивавшейся будто специально для того, чтобы не сразу привести нас к цели, и вступали в лес. Охота была забыта; мы развлекались не тем, чтобы убить оленя на берегу водоема или на краю пропасти, а тем, что держали в напряженном ожидании крестьян, готовившихся к нашему приходу! Мы входили в одну из деревень, делали свое дело, но Ходжа, дабы забыть об избитых крестьянах и о недостижимости своей цели, не находя искомого, всякий раз

требовал, чтобы мы немедленно отправлялись в другую деревню. Ходжа время от времени испытывал различные методы воздействия. Как-то падишах, терпение и любопытство которого меня поражали, приказал привести двадцать янычар; Ходжа задавал одинаковые вопросы им и светловолосым крестьянам, растерянно стоявшим перед своими домами; в другой раз он привел крестьян к войску, показал наше оружие, которое со страшным скрежетом двигалось вслед за султанскими войсками, и спросил, о чем они думают; секретари записали ответы, но то ли оттого, что мы, по его словам, не хотим понять истины, то ли от его усталости, то ли от чувства вины, накатывавшего на него ночами, а может, оттого, что ему надоело ворчание простых солдат и пашей по поводу оружия и того, что он творил в деревнях, или просто оттого, что он был болен, силы покинули Ходжу. Он кашлял, и голос не был таким громким, как прежде; он не мог задавать с прежней суровостью вопросы, ответы на которые знал наизусть; когда он вечерами говорил о необходимости нашего продвижения вперед, то избегал слов о грядущей победе, казалось, он сам не верил своему слабеющему голосу.

Помню тот последний раз, когда в пелене дождя, похожего на серый туман, он без энтузиазма допрашивал крестьян-славян. Нам уже не хотелось слушать, и мы стояли поодаль; в призрачном, размытом от дождя свете крестьяне бессмысленным взглядом смотрели в большое мокрое зеркало в золоченой раме, которое из рук в руки передавал им Ходжа.

Больше мы на "охоту" не отправлялись; перейдя реку, мы ступили на польские земли. Наше оружие не могло продвигаться по грязным, размытым дождем дорогам и задерживало продвижение войска. Возобновились разговоры о том, что оно принесет несчастье; ворчание янычар, участвовавших в эксперименте Ходжи, подогревало эти разговоры. И, как всегда, обвиняли не Ходжу, а меня — гяура. Когда Ходжа начинал свою возвышенную болтовню, надоевшую даже падишаху, о могуществе врагов, новом оружии и необходимости действовать, паши, сидевшие в шатре падишаха, еще больше убеждались, что мы — обманщики, а оружие наше — проклято. На Ходжу смотрели как на больного, но не безнадежного, главной опасностью и главным виновным был я — интриган, обманывающий и падишаха, и Ходжу. Когда мы возвращались в свой шатер, Ходжа хриплым голосом говорил о них с негодованием и отвращением, как в прежние времена говорил о глупцах, но надежды, которая, как я верил в прежние времена, поможет нам выстоять, в нем больше не было.

И все же я видел, что он не намерен так легко сдаваться. Через два дня наше оружие застряло на дороге в глине и остановило движение войска, и я совсем отчаялся; Ходжа, несмотря на болезнь, продолжал упорствовать. Никто не давал нам людей или хотя бы лошадей; но он обратился к падишаху, раздобыл около сорока лошадей, собрал людей, прицепил цепи к пушке, он занимался этим целый день; наконец, под взглядами тех, кто молился, чтобы пушка так и осталась в глине, он, яростно погоняя лошадей, добился того, что наш огромный жук шевельнулся. Вечером он убеждал падишаха, который хотел избавиться от нас и нашего оружия, не делать этого.

Потом, когда мы сидели уже в нашем шатре, я пытался сыграть что-то на уде, который прихватил с собой в поход, но он вырвал уд и отбросил в сторону. Знаю ли я, спросил он, что они требуют моей смерти? Я знал. Он был бы счастлив, если бы они требовали не мою, а его голову.

Я и об этом догадывался, но ничего не сказал. Я хотел снова взять в руки уд, но он остановил меня, попросил, чтобы я снова рассказал ему о своей стране. Я рассказал несколько коротких историй, как рассказывал падишаху; он разозлился. Он хотел правды, невымышленных подробностей: спрашивал о матери, братьях, невесте. Но когда я принялся рассказывать "правдивые" подробности, он прервал меня и пробормотал несколько коротких и отрывистых фраз по-итальянски, смысла которых я не понял.

Через несколько дней, когда он смотрел на вражеские укрепления, захваченные и разгромленные нашими передовыми силами, я почувствовал, что надежда покидает его и он предается странным и недобрым мыслям. Утром, медленно продвигаясь по преданной огню деревне, мы увидели у забора умирающих раненых; он сошел с коня и побежал к ним. Наблюдая за ним издалека, я решил, что он хотел им помочь и, будь с ним переводчик, стал бы спрашивать о их бедах; но внезапно меня осенило, что он начал бы задавать им совсем другие вопросы. На следующий день, когда мы с падишахом ходили осматривать завоеванные укрепления, маленькие крепости по обеим сторонам от дороги, Ходжа был так же взволнован; если среди разрушенных зданий и изрешеченных пушечным огнем деревянных стен он замечал умирающего от ран солдата, то тут же бросался к нему. Я следовал за ним, то ли чтобы он не сделал чего-нибудь плохого, то ли просто из любопытства. Ходже казалось, что перед смертью раненые, истерзанные снарядами и пулями, скажут ему нечто необыкновенное; Ходжа готовил вопросы для них; от них он узнает великую истину, которая в один миг перевернет все, но я видел, что безнадежность на лицах этих людей, уже соприкоснувшихся со смертью, тут же сливалась с его собственным отчаянием, он приближался к ним и замирал в молчании.

В тот день, когда падишах гневался на то, что никак не захватят крепость Доппио, Ходжа отважно предстал перед ним. Вернулся он встревоженный, но сам как будто не понимал, отчего именно. Падишах сказал, что пора применить в бою наше оружие, ведь над ним трудились столько лет, но при этом добавил, что следует подождать Сары Хусейн-пашу, которому было поручено взять крепость. Почему он сказал про Сары Хусейн-пашу? Это был один из вопросов Ходжи, обращенный не то ко мне, не то к нему самому. Я подумал, что он устал от неопределенности и беспокойства, но Ходжа сам скоро ответил на свой вопрос: они боятся, что придется разделить с ним победу.

До следующего полудня, когда мы узнали, что Сары Хусейн-паша все еще не может захватить крепость, Ходжа употребил все свои душевные силы, чтобы убедить себя в верности своего ответа. Поскольку слухи о том, что я — шпион и приношу несчастье, распространились очень широко, я больше не ходил в шатер падишаха. Ходжа отправлялся к нему один, чтобы истолковать события прошедшего дня, удавалось ему рассказывать и истории о победе и удаче, в которые падишах, казалось, верил. Вернувшись в наш шатер, он изображал из себя человека, уверенного в том, что в конце концов все будет хорошо. Но я видел не этот показной оптимизм, а усилия, которые он прилагал, чтобы доказать, что не сдается.

Снова и снова он говорил на свои любимые темы, но с грустью, которой прежде я в нем не замечал; снова он говорил о наших детских воспоминаниях, хорошо известных нам обоим, поскольку мы вместе

жили. Он не протестовал, когда я взял в руки уд и стал неумело играть на нем, вновь рассказывал о прекрасных будущих днях, но оба мы понимали, что он говорит о прошлом: перед моими глазами возникали деревья нашего сада, теплые, ярко освещенные комнаты и застолья с многочисленными родственниками. Впервые за многие годы Ходжа вселял в меня спокойствие: я был согласен с ним, когда он сказал, что любит все это и расстаться с этим будет трудно. Но когда я напомнил о глупости окружавших нас людей, он рассердился. То ли его уверенность уже не казалась мне напускной, то ли мы оба понимали, что скоро для нас наступит новая жизнь, то ли я думал, что, будь я на его месте, я вел бы себя так же.

На следующее утро нас обоих послали к одному из небольших вражеских укреплений для испытания нашего оружия, и у нас появилось предчувствие, что оружие не окажется таким всесокрушающим, как мы ожидали. Те сто человек, которых падишах дал нам для поддержки, разбежались, как только мы привели оружие в действие. Несколько человек были им раздавлены, несколько — убиты, а само оружие после нескольких неудачных выстрелов прочно застряло в глине. Мы не смогли собрать тех, кто сбежал, видя в нашем оружии дурное предзнаменование, и не сумели подготовить новую атаку. Наверное, мы оба думали об одном.

Но когда солдаты Шишман Хасан-паши за один час взяли укрепление ценой небольших потерь, Ходжа хотел приписать эту победу нам. Все защитники укрепления были изрублены саблями, за разрушенными стенами не осталось даже умирающих. Ходжа разглядывал сложенные в стороне отрубленные головы, которые собирались предъявить падишаху, но мне не хотелось видеть это: я отвернулся.

В обед мы возвратились в лагерь и узнали, что Дошшо все еще не взята. Падишах был в гневе, говорил, что накажет Сары Хусейн-пашу и что мы пойдем туда всем войском! Ходже падишах сказал, что если до вечера крепость не будет взята, то к утру он задействует наше оружие. По приказу падишаха отрубили голову командиру, не сумевшему в течение дня взять небольшое укрепление. Падишах даже не поинтересовался, как прошло испытание нашего оружия. Ходжа больше не говорил о нашей заслуге в победе; я знал, о чем он размышлял: о судьбе главных астрологов, занимавших эту должность до него; я понимал, что он думает о нашем последнем шансе, каковым может стать известие о взятии крепости, но не верил в такую судьбу, да и не хотел ее, — он грезил о новой жизни, которая наступит с молитвой муллы после того, как неприступная крепость будет жестоко разрушена и в деревне запылает маленькая христианская церковь с колокольней; я чувствовал, что солнце, которое по мере нашего продвижения к крепости все ниже опускается за лесистые холмы слева от нас, пробуждает в нем, так же как и во мне, чувство чего-то прекрасного.

На закате мы увидели не только поражение Сары Хусейн-паши, но и крепость Дошшо, для защиты которой, кроме поляков, прибыли австрийцы, венгры и казаки. Крепость стояла на вершине холма, заходящее солнце нежно окрашивало ее башни с флагами, она была ослепительно белая и прекрасная. Мне подумалось, что только во сне можно увидеть такую красоту и совершенство. В этом сне вы, волнуясь, будете бежать по извилистой дороге в темном лесу, желая поскорее добраться до этого сверкающего белоснежного чуда на холме, где царит веселье,

в котором вам хочется принять участие, и счастье, которое не хочется упустить, но дорога, которая, кажется, вот-вот должна кончиться, почему-то все продолжается. Когда я узнал, что пешее войско вышло из темного леса и преодолело равнину, превратившуюся из-за частых разливов реки в зловонное болото, но, несмотря на поддержку пушек, никак не может подняться на холм с крепостью, я подумал о дороге, которая привела нас сюда. Все казалось совершенным: белая крепость, над которой летали птицы, потемневший скалистый холм и спокойный мрачный лес; я знал, что Ходжа, подобно мне, думает сейчас, что многое из того, что прежде казалось случайным, теперь стало закономерным, и наши воины, очевидно, никогда не доберутся до стен белой крепости. Утром мы перешли в атаку. Ходжа, как и я, прекрасно понимал, что наше оружие увязнет в болоте и люди, которые внутри него и рядом с ним, будут обречены на смерть; разговоры о тяготеющем над ним проклятии станут громче, и для успокоения войска потребуют мою голову. Я вспомнил, как много лет назад я, вдохновляя его на рассказ о себе, поведал о своем друге детства, с которым мы одновременно думали об одном и том же.

В тот день он долго не возвращался из шатра падишаха, к которому отправился поздно ночью. Я прекрасно представлял себе, что он скажет падишаху, толкуя ему и собравшимся в шатре нашам события минувшего дня и делая предсказания на будущее, и потому у меня мелькнула мысль, что его сразу же и убьют там, на месте, а потом палачи придут и за мной. А еще я представил себе, как он выходит из шатра и, ничего не сказав мне, отправляется прямо к сверкающим во тьме стенам крепости, преодолевает посты, болото и лес, и вот он уже у крепости. Без особого волнения думая о новой жизни, я ждал утра, и тут он появился. Я понял, что в шатре он говорил именно о том, о чем я и предполагал. Много лет спустя я узнал, что он очень долго и осторожно уговаривал их. Но мне он тогда ничего не рассказал, он спешил, как человек, которому предстоит дальняя дорога. Сказал только, что опустился густой туман, и я все понял.

До рассвета я рассказывал ему о тех, кого оставил в своей стране, объяснял, как найти мой дом, очень известный в Эмполи и Флоренции, рассказывал о характерах моей матери, отца, братьев. Говорил о приметах и некоторых особенностях моих родственников. Помню, что упомянул даже о маленькой родинке на спине младшего брата, о которой, впрочем, я говорил ему и раньше. Тогда я искренне верил в свой рассказ, хотя, когда я рассказывал свои истории падишаху или писал эту книгу, мне казалось порой, что я все выдумываю. Но ведь это было правдой: и то, что моя сестра слегка заикалась, и что на нашей одежде было много пуговиц, и тот вид, что открывался из окна, выходящего в сад. К утру я почувствовал, что убедил его в том, что хотя и с большим опозданием, но все продолжится с того места, на котором когда-то было прервано. Ходжа воспринял это с радостью.

Мы спокойно, молча обменялись одеждой. Я отдал ему кольцо и медальон, который до сих пор скрывал от него. В медальоне был портрет моей прабабушки и уже выцветшая прядь волос моей невесты; похоже, медальон ему понравился, и он надел его на шею. Вышел из шатра. Я наблюдал, как он постепенно растворяется в тумане. Светало, мне очень хотелось спать; я лег на его постель и спокойно заснул.

11

Вот я и подошел к концу своей книги. Возможно, умный читатель уже решил, что мой рассказ окончен, и отложил ее. Одно время и я так думал, написав и бросив в угол эти страницы, чтобы больше никогда их не перечитывать. Я мечтал тогда писать рассказы не для падишаха, а для своего собственного удовольствия, хотел писать любовные истории, где действие происходило бы в далеких странах, куда я проник в качестве купца, или в безлюдных пустынях и холодных лесах; а эту историю мне хотелось забыть. Может, мне и удалось бы это, хотя я понимал, что после всего пережитого, после стольких разговоров и сплетен это будет нелегко; но две недели назад ко мне пришел один гость и убедил меня вернуться к этой книге. Сейчас это самая любимая моя книга, я закончу ее так, как нужно, как я хочу и как я задумал.

Я сел за старый стол, чтобы закончить книгу, и представил себе маленький парусник, идущий из Дженнетхисара в Стамбул, мельницу в далекой оливковой роще, детей, играющих среди фиговых деревьев в саду, пыльную дорогу, ведущую из Стамбула в Гебзе. Зимой заснеженная дорога была пуста, но весной и летом я видел караваны, идущие на восток, до самого Багдада и Дамаска. Мимо моего дома со скрежетом проезжали старые телеги, иногда я с волнением видел всадника, одежду которого издалека не мог разглядеть, но, когда он приближался, я понимал, что он проскачет мимо: последнее время никто ко мне не заезжал, я знал, что и не заедет.

Но я не жалуюсь и не страдаю от одиночества: я накопил много денег, пока был главным астрологом, женился, у меня четверо детей; я оставил свою должность, предсказав, опираясь на предчувствия, которые развила во мне моя профессия, приближающиеся несчастья; я бежал сюда, в Гебзе, до того, как войска падишаха двинулись на Вену, до того, как подлецы из его окружения, разгневанные поражением, отрубили голову следующему после меня главному астрологу, до того, как был свергнут падишах, любивший животных; я построил этот особняк и поселился в нем с любимыми книгами, детьми и несколькими слугами. Женщина, на которой я женился, будучи еще главным астрологом, много моложе меня, она очень хорошо смотрит за домом, помогает и мне в моих мелких делах и не нарушает моего одиночества в этой комнате, чтобы я в свои семьдесят лет мог писать книги и мечтать. Поэтому я вдоволь думаю о Нем, чтобы найти нужное завершение моей книги и жизни.

Хотя в первые годы я старался этого не делать. Несколько раз падишах хотел говорить о Нем, но видел, что мне неприятна эта тема. Думаю, ему просто было любопытно, но что именно и в какой степени, я не сумел понять. Падишах сразу сказал, что мне не стоит стыдиться Его влияния и полученных от Него знаний. Падишах с самого начала догадывался, что все книги, календари и предсказания, преподнесенные ему, были написаны Им; когда я, засев дома, занимался проектированием оружия, падишах сказал об этом Ему; падишах не сомневался, что Он рассказал мне об этом, потому что Он все рассказывал мне, так же как и я Ему. Наверное, мы оба в тот момент, и падишах, и я, немного хитрили, но мне показалось, что он чувствует себя увереннее. Я подумал тогда, что падишах умнее меня и все, что ему нужно знать, он знает, но играет в свою игру, чтобы держать меня в руках. Может, на мое мнение повлияла и та признательность, которую я испытывал к нему за то, что он спас

меня от гнева военных, взбесившихся после того поражения в болоте. Ведь узнав о побеге гяура, некоторые из них требовали моей головы. Если бы он тогда сразу прямо спросил бы меня, думаю, я рассказал бы все. Тогда еще не распространились слухи о том, что я — это не я, мне хотелось поделиться с кем-нибудь происшедшим, я скучал по Нему.

Одинокая жизнь в доме, где столько лет мы прожили вместе, тяготила меня. Мои карманы были полны денег, я стал ходить на рынок, где продавали пленных, и ходил туда месяцами, пока не нашел того, кого искал. Наконец я купил и привел домой одного беднягу, не похожего ни на меня, ни на Него. Когда вечером я попросил его научить меня всему, что он знает, рассказать о его стране, о прошлом, поведать о своих недостатках, и когда наконец подвел его к зеркалу, он испугался. Это был плохой вечер, я пожалел беднягу и решил отпустить на свободу, но на меня напала жадность, и я продал его на рынке рабов. Потом я объявил в своем квартале, что хочу жениться. Соседи тут же пришли, обрадовавшись, что я стану таким, как все, и в квартале воцарится покой. Я тоже был доволен, что стану похожим на них, я надеялся, что буду спокойно жить много лет, сочиняя истории для моего падишаха. Я долго выбирал жену, даже заставлял ее по вечерам играть на уде.

Когда снова поползли слухи, я поначалу решил, что это затеянная падишахом игра, мне казалось, ему нравится наблюдать за мной, задавать обескураживающие меня вопросы. С самого начала, когда он ни с того ни с сего говорил что-нибудь вроде: "Знаем ли мы себя? Человек должен хорошо знать, кто он такой", я не особенно беспокоился, полагая, что эти вопросы ему подсказал какой-нибудь умник, увлекающийся греческой философией, из числа шутов, которых он снова стал набирать в свою свиту. Он попросил меня написать что-нибудь на эту тему, и я преподнес ему книгу о воробьях и газелях, счастливых тем, что они совершенно не задумывались о себе и не знали, кто они. Я было успокоился, когда узнал, что книгу он принял всерьез и прочел с удовольствием, но слухи не прекратились: я считаю падишаха глупцом, я совсем не похож на того, чье место занял. Он был худее, а я толстый; я говорил неправду, когда сказал, что не могу знать всего, что знал Он; это я, а не Он, бежал, навлекши проклятие своим оружием, и выдал неприятелю военные тайны, чем способствовал поражению, и т. д. Решив, что все это исходит от падишаха, я, чтобы избежать сплетен, перестал участвовать в развлечениях, почти не показывался на людях, похудел и дотошными расспросами выяснил, о чем говорили в шатре падишаха в ту последнюю ночь. Жена рожала детей одного за другим, доходы у меня были хорошие, мне хотелось забыть все эти слухи, прошлое, Его и продолжать спокойно заниматься своими делами.

Я выдержал около семи лет; если бы у меня были нервы покрепче и я не чувствовал бы, что падишах собирается снова разогнать свою свиту, может, я пошел бы до конца; потому что, ступая за дверь, отворенную мне падишахом, я словно вступал и в свой прежний образ, о котором хотел забыть. В первое время на волновавшие меня вопросы о личности я уверенно отвечал: какое значение имеет личность человека, важно, какие поступки мы совершаем или собираемся совершить. Думаю, в мое сознание падишах вошел именно через эту дверь. Как-то он попросил меня рассказать об Италии, куда сбежал Он, я ответил, что не очень много знаю о ней, и он разгневался: Он же говорил падишаху, что все мне рассказывает, и чего это я перепугался, ведь достаточно просто

вспомнить то, что Он рассказывал. Я снова поведал падишаху о Его детстве, подробно изложил приятные воспоминания, которые частично включил и в эту книгу. Поначалу падишах слушал меня, как слушал бы любого рассказчика, но потом стал слушать так, будто слушает Его. Он спрашивал меня о том, что мог знать только Он, и требовал, чтобы я не страшась и без промедления отвечал на его вопросы: после чего его сестра начала заикаться? Почему его не приняли в университет Падуи? Какого цвета была одежда у его брата? Когда они первый раз смотрели фейерверк в Венеции? Мы с падишахом то совершали лодочную прогулку, то прогуливались у бассейна с кувшинками, полного лягушек, то проходили мимо серебряных клеток с бесстыжими обезьянами, то гуляли в одном из садов, наполненных воспоминаниями, потому что когда-то мы ходили там втроем. В такие моменты падишах, которому нравились истории и переливы цветов, распускавшихся в нашей памяти, становился откровеннее и говорил о Нем как о старом друге, совершившем предательство, заявлял: это хорошо, что Он сбежал, потому что, хотя Он и развлекал его, падишах много раз думал убить Его за дерзость. Как-то, не помню, о ком из нас он тогда говорил, он поделился со мной подробностями, которые напугали меня, но он говорил об этом не с гневом, а с любовью: бывали дни, когда он хотел убить Его, рассердившись на его незнание самого себя, а в последнюю ночь он едва не позвал палачей! Потом он сказал, что я не гордец; я не считаю себя самым умным и самым способным человеком на свете; я не пытался истолковать ужас чумы ради своей выгоды; я никого не лишал сна рассказами о том, как ребенка-короля посадили на кол; у меня нет никого, кому я, вернувшись домой, мог бы с насмешкой рассказать сны падишаха, никого, с кем я мог бы писать глупые истории, чтобы обмануть его! Выслушивая все это, я словно видел себя и нас обоих со стороны и со страхом сознавал, что мы еще тогда утратили власть над падишахом; а в последние месяцы падишах, будто пытаясь окончательно свести меня с ума, говорил мне: я — не такой, как Он, я не засорил свой ум всяким вздором, разделяющим “их” и “нас”! Много лет назад, когда падишаху было восемь лет и он еще не знал нас, он видел фейерверк на берегу Золотого Рога, который мы вместе устроили; шайтан, который победил тогда в темном небе, теперь вместе с Ним отправился в страну, где надеется вместе с Ним обрести покой! Иногда во время этих однообразных прогулок падишах осторожно спрашивал: интересно, надо ли быть падишахом, чтобы понять, что люди, живущие в разных концах земли с различным климатом, похожи друг на друга? Я испуганно молчал, а он спрашивал снова, словно пытаясь сломить мое последнее сопротивление: разве не является доказательством то, что эти люди могут поменяться местами? Тогда мне все стало ясно.

Может, я продолжал бы во всем этом участвовать, так как надеялся, что падишах, как и я, сумеет забыть Его, и рассчитывал заработать еще больше денег; к тому же я привык к ужасу неопределенности; но однажды в лесу, где мы заблудились, преследуя зайца, падишах вдруг стал безжалостно вторгаться в мою душу, да еще на глазах у свиты, в которую снова набрал этих интриганов; тут мне и пришло на ум, что он собирается всех разогнать и лишить нас имущества; я чувствовал приближающуюся катастрофу. И в тот день, когда падишах напомнил мне о кружевах на скатерти, покрывающей стол, за которым завтракал Он в детстве, и о том, как Ему чуть не отрубили голову, настаивая, чтобы Он принял

мусульманство; когда падишах заставил меня рассказать о виде из моего окна, выходящего в сад, и предложил написать книгу, словно бы эти истории произошли лично со мной, я решил бежать из Стамбула.

Для начала мы переселились в другой дом. В первое время я боялся, что приедут люди из дворца и увезут меня, но никто обо мне не спрашивал, не интересовался моими доходами: либо обо мне забыли, либо я находился под тайным наблюдением падишаха. Повинуясь внутреннему побуждению, я занялся делами, построил дом, разбил за домом сад такой, какой хотел; время я проводил за чтением книг, сочинением историй, не столько ради денег, сколько для развлечения; выслушивал гостей, приезжавших ко мне за советами как к бывшему главному астрологу. Именно в это время я лучше всего узнал страну, в которой жил с юности: прежде чем предсказать будущее инвалидам, людям, потрясенным потерей сына или брата, неизлечимо больным, отцам не вышедших замуж дочерей, коротышкам, желающим подрасти, ревнивым мужьям, слепым, морякам, безнадежно влюбленным, я просил, чтобы они подробно рассказывали мне о своей жизни, а вечерами записывал услышанное в тетради, чтобы потом использовать в своих историях.

В те годы я познакомился со стариком, вместе с которым в мою комнату вошла глубокая тоска. Он был на десять-пятнадцать лет старше меня. Его звали Эвлия; увидев печать страдания на его лице, я решил, что его мучения — результат одиночества, но ошибся: всю жизнь он посвятил путешествиям и их описанию в десятитомном труде, а перед смертью собирался отправиться в самые дорогие его душе места — Мекку и Медину — и написать о них, но в его книге есть пробел, который беспокоит его, — ему очень хочется рассказать читателям об итальянских мостах и фонтанах, о красоте которых он столько слышал, и он специально пришел ко мне, так как наслышан обо мне: не могу ли я помочь ему? Когда я сказал, что никогда не бывал в Италии, он, как и все, сказал, что знает об этом; но мне рассказывал о ней мой раб, которого когда-то привезли из Италии, и если я ему перескажу то, что раб рассказывал мне, Эвлия за это тоже расскажет мне нечто интересное: разве не самое приятное в жизни — рассказывать и слушать занятные истории? Он вынул из сумы карту — это была плохонькая карта Италии, — и я решил рассказать.

Пухлой рукой, похожей на детскую, он отмечал город на карте, по слогам читал название и аккуратно записывал мои фантазии. Он непременно желал какую-нибудь странную историю про каждый город. Таким образом мы прошли с севера на юг всю страну и побывали в тринадцати городах, после чего вернулись в Стамбул. Эта работа заняла у нас все утро. Он был очень доволен моими рассказами и, желая меня порадовать, рассказал мне о канатоходцах, затерявшихся в небе Акки[1], о женщине из Коньи[2], родившей слона, и о ее сыне, о быках с голубыми крыльями на берегу Нила, о розовых кошках; улыбаясь, показал мне свои передние зубы, которые ему сделали в Вене, рассказал о говорящей пещере на берегу Азовского моря, о красных муравьях Америки. Почему-то его рассказы пробуждали во мне странную грусть, хотелось плакать. Солнце уже садилось, когда Эвлия спросил, не знаю ли я тоже каких-нибудь удивительных рассказов; я предложил ему переночевать вместе с его людьми в моем доме: я могу рассказать историю, которая ему наверняка понравится, — о двух людях, поменявшихся местами.

1. Акка — город в Израиле.
2. Конья — город на юге Турции.

Когда все разошлись по отведенным им комнатам и наступила долгожданная тишина, мы вернулись в мою комнату. Тогда я решился рассказать ему эту историю, которую вы сейчас дочитываете. То, что я рассказывал, не было выдумано, а будто кто-то потихоньку нашептывал мне слова, и фразы аккуратно выстраивались одна за другой: "Мы шли из Венеции в Неаполь, когда турецкие корабли преградили нам путь..."

Когда глубокой ночью я закончил свой рассказ, то почувствовал, что гость, как и я, думал о Нем. Но у Эвлии неизбежно должен был сложиться совсем другой образ Его. Я не сомневался, что он думал и о своей жизни. Я же думал о моей жизни, о Нем, о том, что мне нравится мой рассказ; я гордился всем, что пережил и о чем мечтал: комната, в которой мы сидели, была полна печальных воспоминаний о том, кем я и мой гость хотели быть и кем мы стали; в тот момент я со всей ясностью понял, что не смогу забыть Его и это сделает меня несчастным до конца моих дней; я знал теперь, что никогда уже не буду жить в одиночестве: вместе с моим рассказом в комнату словно вошла манящая тень привидения, вызывающая у нас обоих любопытство и тревогу. Под утро мой гость поначалу обрадовал меня, сказав, что ему понравился мой рассказ, а потом добавил, что хочет высказать некоторые замечания. Я выслушал его с вниманием, чтобы избавиться от тревоживших нас обоих воспоминаний и поскорее вступить в новую жизнь.

Он сказал, что нам следует найти то, что представляется нам странным и поразительным в моем рассказе; может, это единственное, что мы в состоянии сделать, чтобы преодолеть гнетущую тоску этого мира; и хотя он с детских лет знал, что все в мире бесконечно повторяется, ему никогда не приходило в голову запереться в четырех стенах; именно поэтому он провел всю жизнь в постоянных странствиях в поисках историй. Но самое удивительное это то, что искать мы должны в мире, а не в себе! Внутренний поиск, слишком долгие размышления о себе делают нас несчастными. Именно это происходит с героями в моем рассказе, потому что они никак не хотят быть самими собой, потому что они хотят быть другими. Затем он спросил меня: "Представим, что изложенное в этой истории — правда. Верю ли я, что люди, поменявшиеся местами, смогут быть счастливыми в новой жизни?" Я молчал. Он почему-то напомнил мне об одной детали из моего рассказа: мы не должны были предаваться надеждам подобно испанскому рабу с оторванной рукой! Когда, продолжал Эвлия, мы сочиняем такие рассказы и выискиваем странности в себе, мы превращаемся в других, да избавит нас и читателей от этого Аллах! Ему даже думать не хочется об этом ужасном мире, где люди все время говорят о себе и о своих странностях, а тут еще книги и рассказы о том же.

А мне хотелось! И когда этот маленький старичок, который мне так понравился, собрав на рассвете своих спутников, отправлявшихся в Мекку, вышел на дорогу и словно испарился, я сел и дописал свою книгу. Может быть, для того, чтобы лучше представить себе людей будущего ужасного мира, я как можно подробнее написал о себе и о Нем, которого я не отделял от себя. Но, читая сегодня эту книгу, которую отложил шестнадцать лет назад, я подумал, что не во всем преуспел. Поэтому, принося извинения читателям, которым не нравится, когда люди говорят о себе, особенно поддавшись переполняющим их чувствам, я все же добавляю к своей книге следующую страницу.

Я любил Его, любил, как свой странный, вызывающий жалость образ, являвшийся мне во сне, когда я задыхался от гнева, вины и грусти и испытывал стыд, как перед диким зверем, умершим в печали; любил и будто узнавал в нем себя с непонятным отвращением и непонятной радостью; а может, я просто привык к нему, как привык к незаметному, точно полет насекомого, движению своих рук или к своим мыслям, которые, не питаемые ничем извне и возвращавшиеся ко мне, отражаясь от стен моего сознания, с каждым днем угасали; или как привык к особому влажному запаху моего жалкого тела, моим ломким волосам, к некрасивому рту, желтой руке, держащей перо. После того как я, написав книгу, отложил ее в надежде забыть Его, меня уже перестали волновать слухи и грязные игры тех, кто хотел воспользоваться нашей славой. Говорили, будто Он создает новое оружие в Каире под покровительством паши! Во время разгрома под Веной Он был в городе и учил врагов, как скорее победить нас! Его видели в Эдирне в одежде нищего; во время драки ремесленников, затеянной Им, Он ударил ножом одеяльщика, после чего затерялся в толпе! В одном из анатолийских поселений он стал имамом в маленькой квартальной мечети, построил муваккитхане — рассказывающие об этом клялись в правдивости своих слов; он начал собирать деньги для башенных часов! Он писал книги в Испании, куда отправился после чумы, и разбогател там! Говорили даже, что это Он затеял политические интриги, из-за которых был свергнут с трона наш несчастный падишах! Став уважаемым духовным лицом, он, собрав в славянских деревнях искренние признания жителей, теперь пишет на их основании свои бредовые книги! Он бродит по Анатолии, призывает свергать глупых падишахов, и за ним ходят толпы, очарованные его предсказаниями и стихами, он зовет к себе и меня! А я, дабы забыть Его, все шестнадцать лет писал рассказы, развлекаясь придуманным мной ужасным миром будущего и его людьми и наслаждаясь своим воображением. Доходили до меня и многие другие слухи, но ни в один из них я не поверил. Не знаю, случается ли такое с другими, но когда мы, превратив свой дом в тюрьму друг для друга, с тоской ожидая приглашения одного из нас в особняк или во дворец, порой ненавидя друг друга, а порой посмеиваясь, сочиняли очередной трактат для падишаха, мы, бывало, вдруг сосредоточивались на какой-нибудь детали: мокрая собака, которую мы увидели утром, неожиданно подмеченные нами сочетания цветов и скрытая геометрия в очертаниях белья, развешенного на веревке между двумя деревьями, словесные образы, обнажавшие вдруг симметрию жизни. Сейчас я больше всего тоскую по этому! Оттого я и вернулся к книге о моем спутнике-тени, хоть и не зная, будет ли через годы или века после его смерти кто-то читать ее, размышляя не столько о нас, сколько о своей собственной жизни, хотя возможно, вообще никто не прочтет ее. Я старался, пусть и не очень тщательно, запрятать Его имя: для того чтобы снова представить себе ночи во время чумы, мое детство в Эдирне, чудесные часы, проведенные мною в садах падишаха, ужас, который, как мне казалось, я почувствовал спиной, когда впервые увидел Его без бороды у двери в доме паши. Известно, что надо снова все вспомнить, чтобы снова вернуть потерянную жизнь!

Я закончу книгу тем днем, которым решил ее закончить: две недели назад, когда я сел за наш стол и старался придумать новую историю, я увидел всадника, приближающегося со стороны Стамбула. Последнее время никто не приезжал, чтобы принести мне весточку от Него, воз-

можно потому, что я не откликался на их сообщения, и я никак не думал, что кто-то появится, но, увидев этого путника со странной пелериной и зонтом в руках, я сразу понял, что он направляется ко мне. Я услышал его голос до того, как он вошел ко мне в комнату. Пусть не совсем как Он, но путник говорил по-турецки с Его ошибками; войдя ко мне, он стал говорить по-итальянски. Увидев, что я не отвечаю, он сказал, что думал, что я немного знаю итальянский. Потом пояснил: мое имя и кто я такой этот человек узнал от Него. По возвращении в свою страну Он написал несколько книг о невероятных приключениях среди турок, о последнем падишахе – любителе животных, и его снах, о турках и чуме, дворце и наших правилах ведения войны. Поскольку среди аристократов и особенно среди образованных женщин начал проявляться интерес к загадочному Востоку, книги Его привлекли внимание, хорошо читались, он давал уроки в академии, разбогател. Взволнованная Его историями, Его бывшая невеста, несмотря на возраст, развелась с мужем; они поженились, купили рушащийся старый дом Его семьи, поселились в нем и восстановили в прежнем виде сад и дом. Все это мой гость знал, так как, восхищенный Его книгами, посетил Его. Он был очень любезен, целый день провел с моим гостем, ответил на его вопросы, снова рассказывал о приключениях, описанных в книге. Долго рассказывал обо мне и сказал, что пишет обо мне книгу под названием "Турок, которого я близко знал". Он собирался преподнести любознательному итальянскому читателю книгу о моем детстве в Эдирне, о всей моей жизни, вплоть до дня расставания, сопровождая ее глубокими рассуждениями об особенностях турок. Мой гость сказал: "Как много вы Ему рассказали о себе!" Потом, чтобы удивить меня, он вспомнил детали, описанные в прочитанной им книге: в детстве я был умным, меня жестоко били соседские мальчишки, я стыдился этого и горько плакал, за шесть месяцев я постиг астрономию, которой Он меня обучал, я очень любил свою сестру, был очень религиозен и всегда совершал намаз, обожал вишневое варенье, особенно интересовался шитьем одеял, что было профессией моего отчима, и т. д. и т. д. Я понимал, что после всего рассказанного не смогу быть нелюбезным с этим глупцом, и, поскольку подобным людям это бывает интересно, показал ему, комната за комнатой, свой дом. Потом он заинтересовался играми, в которые играли в саду мои младшие сыновья с товарищами; он записал в свою тетрадь, как играть не только в чижика, но и в жмурки, и в чехарду, которая, однако, ему не очень понравилась. Тогда он сказал, что Он – друг турок. Он повторил это, когда я после обеда показал ему наш сад и, так как делать было больше нечего, дом, в котором мы жили с Ним много лет назад. Гость прошел по нашим кладовым среди банок с вареньем и маринованными овощами, бутылями с оливковым маслом и уксусом, а потом по комнатам, где, разглядывая мой портрет, написанный венецианским художником, словно открывая мне тайну, вдруг сказал, что на самом деле Он не такой уж большой друг туркам и написал о них много плохого: например, что мы все больше скатываемся вниз, что наши головы подобны шкафам, набитым всяким старьем, что возрождение невозможно, что у нас нет никакого выхода, кроме как подчиниться и вечно подражать им. Чтобы он не затягивал свой рассказ, я сказал: "Но Он хотел спасти нас"; гость тут же ответил, что да, Он даже сделал оружие для этого, но мы не поняли Его; туманным утром оружие увязло в болоте и осталось лежать там, как пиратский корабль, выброшенный бурей на скалу. И добавил:

да, Он очень, очень хотел нас спасти. Он не считал это оружие дьявольским. Все гении таковы! Гость взял в руки мой портрет и, внимательно рассматривая его, пробормотал что-то о гениальности: если бы Он не попал к нам в плен, а провел всю жизнь в своей стране, Он мог бы стать Леонардо семнадцатого века. Потом вернулся к волновавшей его теме зла, рассказал несколько сплетен о Нем, связанных с деньгами. "Странно, — сказал он, — что вы совершенно не поддались Его влиянию!" Вот теперь он узнал меня, я ему нравлюсь, он восхищается мной, но он не понимает, как это люди, столько лет прожившие вместе, могут быть так не похожи друг на друга. Он не попросил подарить ему портрет, чего я опасался, повесил его на место и спросил, может ли он посмотреть одеяла. "Какие одеяла?" — спросил я тупо. Он с удивлением спросил: разве я не шью одеяла в свободное время? Тогда я решил показать ему книгу, которую не брал в руки шестнадцать лет.

Он сильно разволновался, сказал, что может читать по-турецки, и ему, конечно, очень интересно прочитать книгу о Нем. Мы поднялись в мою комнату, выходящую окнами в сад. Сев за наш стол, я сразу же нашел книгу на том месте, куда засунул ее шестнадцать лет назад, и положил перед ним. Он хоть и с трудом, но читал по-турецки. Он погрузился в мою книгу с желанием узнать о чем-то удивительном, но не противоречащем его здоровому и надежному миру, с желанием, которое я замечал у многих путешественников и которое раздражало меня. Я оставил его в одиночестве, вышел в сад и сел так, чтобы видеть его. Сначала он весело крикнул мне в открытое окно: "Сразу видно, что вы не были у нас в Италии!" Но потом забыл обо мне. Изредка поглядывая на него, я просидел в саду три часа, ожидая, когда он прочитает книгу. Когда он закончил чтение, на лице его я увидел смятение — он все понял; он несколько раз выкрикнул название белой крепости и болота, которое поглотило наше оружие; он даже стал что-то говорить мне по-итальянски. Потом, обдумывая прочитанное и пытаясь унять свое смятение, он долго смотрел в окно. Я спокойно наблюдал, как он, как обычно это бывает с людьми в подобной ситуации, смотрел куда-то вдаль невидящим взглядом, а потом, как я и ожидал, взгляд его прояснился: вид из окна словно заворожил его. Нет, умные читатели поняли, он был не так глуп, как я подумал сначала. Он принялся лихорадочно листать страницы книги, а я ждал, когда он найдет то, что искал. Потом снова посмотрел в окно на сад: что видно из этого окна?

Я, конечно, прекрасно знал, что он нашел и прочитал: инкрустированное перламутром блюдо на столе было наполнено персиками и вишней, позади стола стояла плетеная софа, на ней лежали пуховые подушки такого же зеленого цвета, как и оконная рама; а дальше он видел колодец, на который сел воробей, оливковые и вишневые деревья. Позади них на высокой ветке грецкого ореха висели качели, чуть покачивающиеся на ветру.

1984–1985

“В моем Стамбуле всегда идет снег”

С Орханом Памуком беседует Глеб Шульпяков

Орхан Памук — самый известный писатель современной Турции, автор нескольких романов и многих статей, опубликованных в международной периодике. Его романы изданы почти на всех европейских языках, английский перевод книги “Меня зовут Красный” удостоен Дублинской литературной премии. На Памука часто ссылаются в турецких газетах. Каждое публичное высказывание писателя вызывает полемику не только в прессе, но и среди обывателей Стамбула в кофейнях и скверах.

Весь этот ажиотаж вокруг персоны писателя свидетельствует прежде всего о двух вещах. Первое — перед нами крупный писатель, получивший широкое международное признание, чего в Турции с писателями не случалось на протяжении многих десятилетий. И второе — экономическая и политическая ситуация в Турции такова, что слово писателя там все еще имеет большое значение. Почему — читайте ниже.

Что касается русского читателя, то он хорошо знаком с творчеством Памука. В журнале “Иностранная литература” печатались главные его романы “Черная книга” и “Меня зовут Красный”[1]. Опубликованные отдельными книгами в издательстве “Амфора”, эти романы стали популярными и среди неподготовленного читателя.

Встреча с писателем состоялась летом 2003 года на одном из Принцевых островов, где Орхан Памук вот уже много лет проводит лето — на даче, за письменным столом. Разговор шел на английском языке. Автор выражает благодарность фонду “Толеранс”, Ассоциации российско-турецкой дружбы и Министерству культуры Республики Турция за помощь в организации поездки.

Орхан Памук и Вера Феонова в стамбульском кафе. Фото Натальи Румянцевой

© Г. Шульпяков, 2004

1. См. “ИЛ” 1999, № 6 и 2001, № 9.

— Этим летом умерла Вера Феонова, замечательный переводчик с турецкого. Какой вы ее запомнили?

— Прежде всего она была очень образованным человеком. И потом — через ее руки прошла почти вся турецкая литература, начиная с шестидесятых годов и до сегодняшних дней! По-моему, я был ее первым автором в постсоветскую эпоху. И еще она показалась мне очень дружелюбным человеком. Я чувствовал, что ей интересно переводить мои книги. Но последнее время она была занята работой над переводом огромного тома истории Османской империи. Мне показалось, что она не слишком была этому рада. Ей хотелось работать с литературой. Она планировала перевести мой роман "Белая крепость". Что тут скажешь? Она была замечательным человеком. Много повидала на своем веку. Много пережила. Мне очень жаль, что ее не стало.

— Одной из последних ваших книг, которую она перевела, была книга "Меня зовут Красный". У вас есть русский экземпляр?

— Да, красный том с довольно нелепой картинкой на обложке. Кстати, встречный вопрос — какова была реакция на книгу в России?

— Книга понравилась. Но объяснить, чем она хороша, внятно никто из критиков не смог. Как вообще возник замысел "Красного"?

— Это длинная и запутанная история. Начать с того, что с 7 до 22 лет меня прочили в художники. То есть в течение 15 лет обо мне говорили, что "этот мальчик будет знаменитым художником". Учитывая традиции технического образования в нашей семье, я должен был стать как минимум архитектором. Вот ее-то, архитектуру, я и изучал. Но в 22 я бросил зодчество и стал писать романы. Потом их стали печатать. И только когда мне исполнилось тридцать, я решил, что, раз уж мне не довелось стать художником, напишу-ка я роман на эту тему. Роман о современном турецком художнике. Но, обдумывая книгу, я решил, что главным героем будет художник времен расцвета Османской империи XVI века. Книга виделась мне как художественная монография (об этом персонаже), только в форме романа. Но опять же в процессе сбора материала я понял, что ограничить роман одним главным героем будет неправильно. Хотя бы потому, что и в исламском искусстве, и в европейском той поры не было художников-одиночек. Это было время коллективов. И я решил писать о группе художников, об артели, так сказать. Это давало мне возможность сделать роман полифоничным. Он написан от лица нескольких персонажей. Плюс я добавил в сюжет детективную подоплеку в духе "Имени розы" Умберто Эко — видите, я был очень амбициозным писателем! — а также снабдил роман рассуждениями о смысле изобразительного искусства. О европейском и исламском направлениях в живописи. О понимании и интерпретации стиля.

— Я вижу у вас на полке новый роман Эко "Баудолино". Как вам это последнее достижение?

— Я не успел его прочитать. Просто переводчик Эко на турецкий — один из моих переводчиков на итальянский, так что...

— Признаете ли вы влияние Эко на свои романы?

— Влияние — не то слово. Я просто ворую некоторые вещи, скажем так. А влияние — это больше касается состояния ума. Ума, восхищенного чужим гением. Подавленным, если хотите, этим гением. Говорю так, потому что когда-то довольно долгое время находился под влиянием Томаса Манна. Тогда мне казалось, что романы Манна — это образец письма, которому надо следовать, и все. Организовывать пространство ро-

мана так, как это делал он. Что-то вроде наваждения, да. Я считал, что иной род письма просто невозможен. Оказалось, это не так.

– Так в чем же ваше расхождение с Эко?

– И я, и он – мы используем рамки историко-детективного романа для выяснения каких-то посторонних для этого жанра вещей. Эко пишет ради истории, ради языка. Мой интерес в этом романе иной – исследовать психологию художника. Я писал "Красного" будучи зрелым автором. Меня интересовали вопросы психологии и социологии творчества. Для кого мы пишем и рисуем? Кто и за что нам платит? Что такое творческая зависть? Соперничество? Что такое "свой стиль" или "свой голос"? Что такое успех?

– Говорю вам как читатель, что детективная подоплека в "Красном" волнует меньше всего. В отличие от Эко, кстати. А вот вопросы стиля...

– Вот именно!

– Тогда перейдем к стилю. На стамбульских прилавках лежит ваш новый роман "Снег". Мои турецкие знакомые на мой вопрос об этой книге отвечали, что сам по себе роман не произвел на них особого впечатления. "Но вот язык, стиль!" – говорили они.

– Странно! Обычно читатели жалуются на мой язык. Мой стиль кажется им странным. Действительно, я пишу длинными, барочными предложениями – в духе Пруста, если угодно. Тут есть некоторое противостояние предыдущим поколениям турецких писателей, которые по разным нелитературным причинам заимствовали телеграфный стиль Хемингуэя и Стейнбека. Да, именно так и было. Но проблема стиля состоит в том, что ты используешь его наполовину бессознательно. Он – продолжение тебя. И с этим уже ничего не поделаешь. Стиль – это часть тебя в романе. Твое присутствие на физиологическом уровне, если угодно. На уровне того, как построено предложение, какие повороты оно делает и куда ведет. Начиная предложение, автор должен думать о том, чтобы его концовка была для читателя неожиданной. Как только в предложение закрадывается внутренняя симметрия, предсказуемость, оно теряет для меня – и для читателя – интерес. Это мой принцип – писать длинными предложениями и закладывать в каждое из них сюрпризы.

– Вам не кажется такой подход анахронизмом? Возьмите Европу или Америку – там письмо лаконично. В России, опять же, начинается бум "газетного стиля". А у вас – Пруст.

– Не кажется. Хотя претензий у моих западных издателей действительно много. Мои переводчики иногда пытаются упростить мой стиль. Они говорят, что, следуя оригиналу, они теряют читателей, привыкших к газетному стилю. В английском языке, говорят они, предложения не могут быть такими длинными и такими тяжеловесными. "Но тогда как быть с Набоковым или Генри Джеймсом?" – спрашиваю я. "Да, но так уже никто не пишет", – возражают они. И мы продолжаем спорить. Но даже если переводчик сохраняет длину предложения, он часто упрощает его структуру.

– Давайте подберем изобразительный аналог вашему стилю.

– Скажу так: аналог – это то, как мои художники в романе "Меня зовут Красный" воспринимают китайскую живопись. Когда Кара смотрит на китайскую миниатюру, то ему кажется, что линии рисунка – крыши домов, полей за домами, снежных гор и облаков над этими горами – все эти линии цепляются одна за другую, перетекают друг в друга, образуя некое целое. Так и мое предложение.

— Вернемся к роману "Снег" 2002 года. Что это за сочинение?

— Это мой первый и последний политический роман, который вызвал довольно много шума. Действие там происходит в городе Карс — это городок на юго-востоке Турции. Когда-то он принадлежал русским — в XIX веке. Там довольно часто идет снег, а мне нужен был город, отрезанный снегопадами от цивилизации. Некогда Карс входил в десятку важнейших городов Турции — потому что через Карс шла торговля с Россией до Второй мировой. Теперь же город в полном упадке. Нищета, безработица. Но сам город — что-то вроде музея. Там до сих пор стоят дома, выстроенные русскими, и дома первых лет республики. Ничего, в сущности, там не меняется вот уже сколько лет. Тотальный анахронизм! И мне показалось, что Карс — это такая идеальная метафора Турции, турецкий микрокосм в чистом виде. Прибавьте сюда этническое разнообразие — там живут курды, азербайджанцы, турки, все еще немного русских и немцы, которых туда упекли русские по каким-то своим историческим мотивам много-много лет назад. И вы поймете, что перед вами идеальная декорация для политического романа.

— Насколько я понимаю, полемика вокруг романа возникла из-за того, что в нем действуют представители "политического исламизма". Допустим, наш читатель впервые слышит это словосочетание. Поясните в двух словах, если можно.

— О'кей. "Политический исламизм" — это термин, которым пользуются западные ученые и журналисты для обозначения тех политических партий и течений, которые используют ислам для того, чтобы прийти к власти. В Турции оппонентами исламистов являются государство и армия. Они стоят на страже "светскости" Турции и не допускают никаких проявлений ислама в общественной и государственной сфере. Грубо говоря, армия и государственная бюрократия против того, чтобы женщина, работающая в общественной или государственной сфере, носила хиджаб.

— И что вы об этом думаете?

— Дело в том, что моя семья всегда была ориентирована на Запад. Это была типичная республиканская семья с типичными светскими ценностями: либерализм, секуляризм, интерес к чужим культурам. Поэтому и меня воспитали с "западным" уклоном. И как "прозападный" турок я всячески приветствую турецкую "светскость". С другой стороны, гонения на исламистов явно нарушали республиканскую демократию. Политика государства по Кипру и курдам антидемократична. И это не нравится ЕЭС, куда Турция, между прочим, желает вступить.

— Какова ситуация на сегодняшний день?

— Сегодня исламисты как никогда сильны. Но парадокс в том, что они всячески поддерживают именно демократические принципы государственного строительства. Просто государство боится, что с приходом к власти они начнут насаждать ислам, вот и все.

— Вокруг каких проблем идет полемика?

— Как всегда в исламе, вокруг женщины. Женскую проблему — что женщине носить и как себя вести — решают мужчины. Это немного странно, не правда ли? О женщине говорят военные, о женщине говорят исламисты, но в жизни женщины ничего не меняется.

— До встречи с вами я путешествовал по стране, общался с разными людьми – и вот что мне показалось: несмотря на светский, европейский облик, Турция на девяносто девять процентов совершенно исламская страна. Это правда?

– Турция абсолютно исламская страна, вы даже не представляете, насколько вы правы! Возьмите социологические опросы – они показали, что в быту 75 процентов женщин носят хиджаб совершенно добровольно. Просто народ устал от политизации их религии. Народ не имеет ничего против армии и ничего против ислама. Ему надоело, что страна воюет сама с собой, вот что я хочу сказать.

– И как выйти из данной ситуации?

– Я считаю, что прежде всего не нужно эти вещи драматизировать. Не нужно манипулировать "светскостью" или "исламом" для того, чтобы набрать голоса. Это моя позиция.

– Вот вы говорите, что страна абсолютно исламская. А я включаю телевизор и вижу по общенациональному каналу полуголых девушек, которые исполняют эстрадные номера.

– Да, но дело в том, что у этих девушек здесь совершенно другое положение в обществе, чем у их коллег по ремеслу в Европе и Америке. Оно гораздо ниже. То есть ни одна добропорядочная мамаша не позволит своему сыну встречаться – а тем более жениться – на такой девушке.

– Вы говорили, что в юношестве готовились в архитекторы. Здесь, в Турции, я собираю материал о Синане, величайшем архитекторе Османской империи XVI века. Что вам интересно в его шедеврах?

– Прежде всего, своей творческой биографией Синан иллюстрирует стремление архитектуры к величию купола. Синан начинал в русле сельджукских мечетей – мечетей, где много небольших куполов. А закончил мечетью в Эдирне, где один огромный купол покоится на восьмигранике. Ему нужно было покрыть как можно больше пространства для молитвы – и в то же время показать величие заказчика, которым в большинстве случаев был сам султан. Поэтому история Синана как архитектора – это история воспарения, абсолютизации купола. Но как писателю мне было бы интересно поработать с его биографией, тем паче, что о нем мало что известно. Как ему, деревенскому парню, удалось выйти в придворные архитекторы? Наладить работу первой в мире строительной компании – а по нашим меркам это была настоящая компания по строительству мечетей? И как в этой придворной и фабричной суете сохранить свой гений и воплотить его в такие потрясающие сооружения? Вот вопрос... В книге "Меня зовут Красный" меня занимали немного другие проблемы – соперничество, деньги, стиль. Да и художники мои – люди на вторых ролях. Первыми в этой области всегда были каллиграфы. А художники в лучшем случае украшали поля страницы орнаментом. Реже – рисунком. И поэтому всегда страдали от комплекса неполноценности. Синан же понимал, что создает шедевры на века, и знал себе цену. После него никто в империи так и не смог создать ничего грандиознее.

– Что за рукопись у вас на столе сегодня?

– Я работаю сейчас над двумя книгами. Первая книга – это большой проект. Для себя я решил так: раз в десять лет нужно писать "большие книги".

– Предыдущие – "большие книги"?

– Мой первый роман в духе Томаса Манна "Джевдет-бей и его сыновья", потом была "Черная книга", потом "Меня зовут Красный". Эта четвертая книга должна выйти в конце 2004 года – начале 2005-го. Она будет называться "Музей невинности", но сейчас я не хочу говорить об этом. Сейчас я прервал работу над романом, потому что пишу книгу о

Стамбуле. Дело в том, что, когда ко мне пришел международный успех, я собрал свои статьи о городе и издал их отдельной книгой. Книга также имела большой успех, и вот теперь я пишу второй, что ли, ее вариант. Я расширяю городскую часть и вплетаю в историю города свою собственную биографию, свои мемуары до 22 лет включительно. Я ведь вырос в Стамбуле. Но это не столько даже биография, сколько история развития моих взглядов и представлений о том и о сем, развития моей сексуальности, отношений с отцом и так далее. Да, последняя строчка книги будет звучать так: "Тогда я понял, что не хочу быть архитектором, но стану писателем". Что касается той части, где речь идет непосредственно о городе, тут принцип таков: я исследую то, каким город видели другие и каким город видел себя. Дело в том, что многие тексты европейских авторов о Стамбуле — Нерваля или Готье — сильно повлияли на турецких писателей. Они стали по-другому воспринимать город, а стало быть, и сам город стал меняться. И это очень интересно.

— *Каков ваш образ Стамбула?*

— Это черно-белый образ, образ города, в котором идет снег. В моем Стамбуле всегда идет снег. В нем разлита ностальгия. Он очень меланхоличный, мой Стамбул.

— *Иногда кажется, что внешняя – шумная и пестрая — жизнь Стамбула прикрывает какую-то пустоту, некое отчаяние, что ли. Как вы думаете?*

— Это ощущение пустоты, оно есть, просто пустота, возможно, не то слово. Скорее, меланхолия, уныние, чувство поражения. Дело в том, что прошлое Османской империи было таким пышным и великим, таким великолепным, торжественным и победоносным, что по сравнению с ним настоящее выглядит совершенно убого. Отсюда ощущение потери, печали и меланхолии этого города в новое время. Болезненная реакция на любую критику. В этом городе нет воли, в шопенгауэровском понимании. И есть чувство проигрыша.

— *В современной русской словесности Стамбул встречается нечасто. Но есть знаменитое по своей непримиримости эссе Бродского, посвященное Стамбулу. Правда, на английском языке. Не могли бы вы прокомментировать его высказывание?*

— Насколько я помню, это эссе было напечатано за пару лет до того, как Бродский получил Нобелевскую премию и стал знаменитым. Я в то время жил в Нью-Йорке, где моя жена получала ученую степень, и писал "Черную книгу". Общее настроение турецких интеллектуалов — и мое в частности — в ту пору было довольно унылым. Поскольку на интеллектуальной карте мира Турция не значилась. И тут появляется это эссе в "Нью-Йоркере". В то время я толком еще не знал, кто такой этот Бродский. Слышал, что да, русский поэт, живет в Америке, и только. И я очень внимательно прочитал его эссе, и оно меня очень и очень расстроило. Не столько тем, что Россия и Турция в нем были представлены как тотально закрытые страны, где правят какие-то монструозные деспоты, где все изношено и ничего не ново. Нет. Просто представьте себе ситуацию. Я сижу в Нью-Йорке и пишу ностальгическую книгу, где действие происходит в Стамбуле. И тут появляется такой разгромный текст. Не потому, что это Бродский — повторяю, я почти ничего о нем не знал, — а потому что это "Нью-Йоркер", а "Нью-Йоркер" — это журнал с высокой репутацией, который читают в мире. И вот наконец вспоминают о Стамбуле — но в каком ключе!

— *Как бы вы могли возразить Бродскому?*

— Не столько Бродскому, сколько такому подходу. Когда посторонний человек приезжает в город, проводит там несколько дней, а потом выносит чудовищный приговор и городу, и культуре. И все это печатается, да еще в "Нью-Йоркере"! Дело не в том, хороший это город или плохой, — любовь к городу, как и любовь к женщине, не определяется логикой. Как я уже говорил, я пишу книгу о Стамбуле, но это не значит, что я пишу панегирик. Город нельзя только хвалить или только ругать. Он всегда больше, чем то, что мы о нем думаем, вот что я хочу сказать в данном случае.

Памук читает Бродского. Фото Глеба Шульпякова

— Я видел переводы Достоевского на турецкий язык. Предисловие к современным изданиям писали вы. Как вы представляли Достоевского читателям? Сейчас, когда уже все, кажется, сказано?

— Именно поэтому я сосредоточил внимание на одном пункте. А именно на любви и ненависти Достоевского к Западу. Я пытался показать, как из "западника" он превратился в "славянофила". Знаете, что самое интересное в его ситуации? Что к "славянству" его привел западный тип мышления. И русский консерватизм, и православие — все эти вещи он формулировал в европейской манере. Ситуация немного напоминает ситуацию в Турции, не правда ли? Об этом я и писал в предисловии. Другой автор, который был мне интересен по этим же причинам, был японский писатель Танидзаки. Сначала он был ярым "западником", но во второй половине жизни обратился к традиционным японским ценностям.

— Ваш роман "Новая жизнь" начинается со строчки "Однажды я прочитал книгу, которая изменила мою жизнь". Вы это серьезно?

— Кстати, в Турции эта строчка превратилась в пословицу. Да-да! Эта книга о том, что такое радикальный подход к чтению. Подход этот распространен в странах, вроде моей. На фоне упадка в таких странах развиваются немыслимые, болезненные ожидания. Так что дело тут не в са-

мой книге, а в том, как читатель ее воспринимает. В том, что читатель хочет, чтобы книга изменила его жизнь. Несмотря на все свое западничество я часто ловил себя на этом же ощущении. И знаете, какое я придумал лекарство? Как только книга затягивала меня, как только я начинал подстраивать свою жизнь "под книгу" — я откладывал ее в сторону и брался за другую. И это было лучшим противоядием.

— *В этом году вы были удостоены Дублинской литературной премии – The IMPAC Dublin Literary Awards.*

— Да, это самая большая в денежном отношении премия. Она дается за одну книгу современной прозы, переведенную на английский язык или написанную на английском языке. В прошлый раз сто тысяч евро получил писатель из Франции... его зовут... да, Уэльбек, кажется. Еще раньше — Хавьер Мариас, испанский писатель. Принцип награждения таков. Дублин обращается в сто с лишним библиотек по всему миру с просьбой прислать двух-трех кандидатов на премию. Книги рассматривает международное жюри — ученые, профессура и так далее — и выбирает из списка одну. Если книга переводная, четверть суммы идет переводчику.

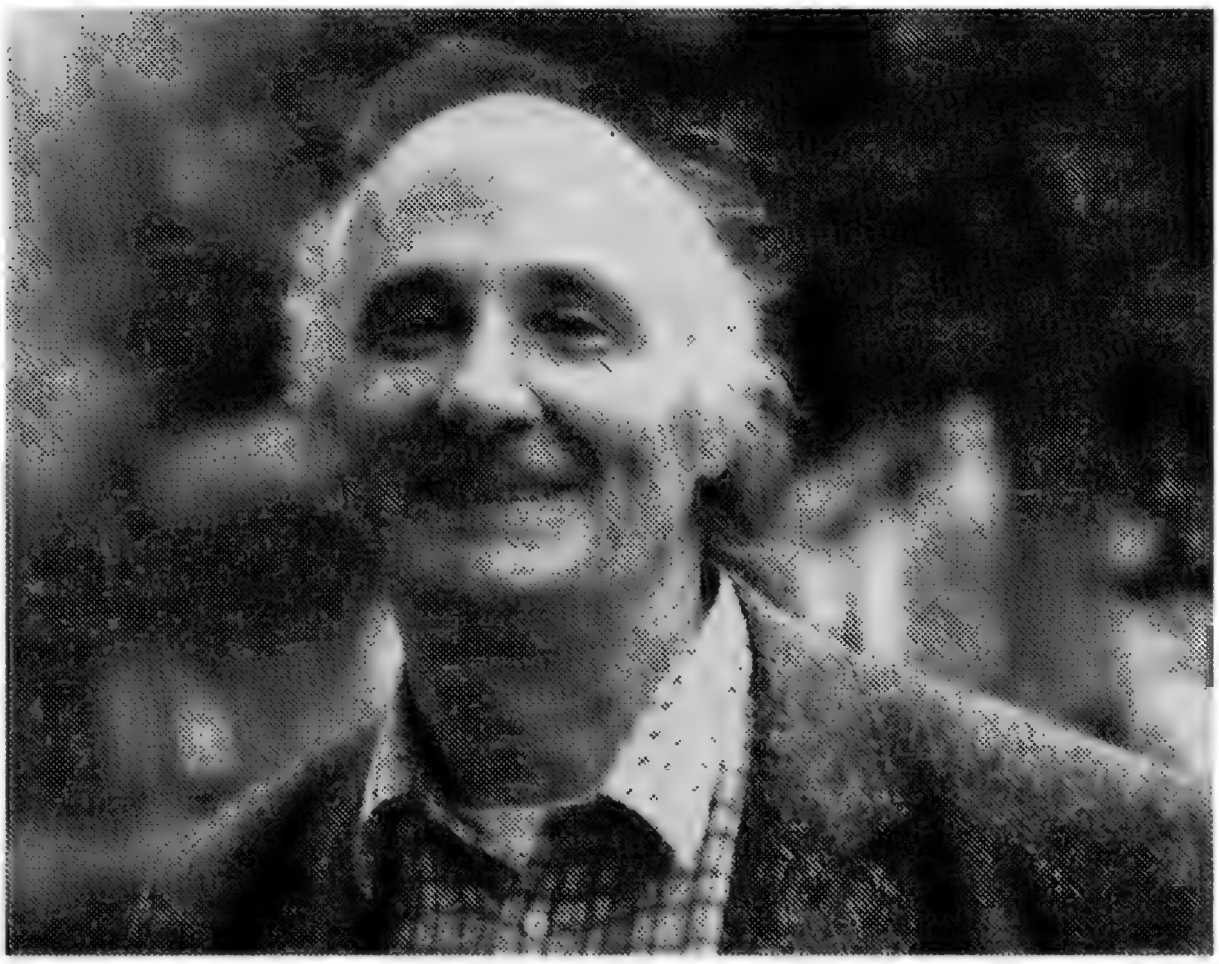
— *Однажды писатель получил премию, которая изменила его жизнь...*

— Скорее, жизнь моих сограждан. В Турции ведь много об этом писали. И все были в курсе моих финансовых дел. Так что на улице меня останавливали случайные люди, поздравляли, а потом обязательно добавляли: "Но за что двадцать пять тысяч переводчику? Ведь это ты написал книгу!" Да, еще многих удивлял тот факт, что после премии я продолжаю писать книги. "Если он продолжает писать, значит, ему мало этих денег. Если ему мало этих денег, значит, он жадный. Но если он жадный, почему мы читаем его книги?"

— *На улицах вас, стало быть, узнают...*

— Да, но к этому я давно привык. Единственное, что как-то раздражает — когда люди на улицах просят меня сфотографироваться с их детьми. Так что в Турции я не только писатель. Но и что-то вроде монумента.

Жак Рубо



“Изменяется город быстрей, чем сердца”[1]

Стихи

Перевод с французского и вступление Алины Поповой

Во Франции за Жаком Рубо (родился в 1932 году) закрепилась репутация писателя-интеллектуала и новатора с неординарным по широте кругозором. Он обращается к самым разным областям литературы и философии, причем это не поверхностное знакомство, а глубокое погружение ученого и поэта, трудолюбиво осваивающего пласты культуры, чтобы выделить близкое себе по духу, выстроить надвременные и надъязыковые связи.

Рубо опубликовал десяток романов, девять сборников стихов, несколько монографий и детских книжек, но кроме того, он всю жизнь занимается математикой — и в его романах появляются наборы аксиом, а в стихах — элементы математической логики, переменные и даже вложенные скобки. Он исследует каноны старинной японской поэзии и принципы составления императорских поэтических антологий, обживает модели мира, придуманные английскими философами, жонглирует образами поэзии трубадуров.

Формальные эксперименты сблизили его с группой УЛИПО (OULIPO, Ouvroir de la Littérature Potentielle — Рукодельня потенциальной литературы), основанной в 1960 году Франсуа Ле Лионэ и Реймоном Кено, учеником которого считает себя Рубо. Члены УЛИПО подчиняют свои произведения формальным правилам разного рода. Например, Жорж Перек в романе “Исчезновение” ни разу не использовал букву “e”. Рубо в своей прозе и стихах тоже руководствуется некими

© Éditions Gallimard, 1999
© А. Попова. Перевод, вступление, 2004

1. Заглавие поэтического сборника Ж. Рубо — слегка измененная цитата из стихотворения Шарля Бодлера “Лебедь”. Для русского заглавия использован перевод В. Левика. Стихотворение Бодлера написано в 1859 г. в разгар перестройки Парижа под руководством барона Османа. (*Прим. перев.*)

им самим установленными правилами, только у него они имеют скорее числовую природу (он любит повторять высказывание индийского математика Рамануджана: "Любое целое число — мой личный друг"). К тому же, зная, что у большинства читателей, как он сам пишет, "аллергия на эти штучки", Рубо свои правила не афиширует: "Если моей книге суждено остаться непрочитанной, пусть это произойдет по какой-нибудь другой причине" ("Большой лондонский пожар", 1989).

Российскому читателю Жак Рубо на сегодняшний день немного знаком как поэт (его стихи публиковались в журнале "Иностранная литература" и в сборниках французской поэзии) и немного как прозаик: переведен его интеллектуально-приключенческий роман "Похищение Гортензии".

Сборник "Изменяется город быстрей, чем сердца" — это коллекция зарисовок из жизни Парижа, какой ее увидел неутомимый и принципиальный сторонник пешего хода Жак Рубо.

Джоконда

Настоящий ценитель
чтоб увидеть Джоконду
не садится в "хонду"
и не едет в Лувр

Он идет на угол
улиц Ларошфуко
и Нотр-Дам-де-Лоретт
и входит в кафе
она там

Картина висит на стене
цвета беж
и рама у нее цвета беж с небольшой рыжинкой
картина подписана
рукою художника
Э.
Меру́.
Это Джоконда.
Джоконда Меру.

Эмиль Меру? Эжен Меру? Эрнест?
а может быть Эмилия, Эжени, Эрнестина?
Неизвестно.

Джоконда за свежепротертым стеклом
явно довольна
глядит на меня
улыбаясь
никакой снисходительности
загадочности ни грамма
безмятежность
покой
красота

Еще бы — Джоконда!

Настоящий ценитель
Не мчится на “хонде”
от “Селекта” к “Ротонде”
не цедит бренди
сидя на Стрэнде
и не рвется в Перу
он идет к Джоконде

К Джоконде к Джоконде
К Джоконде Меру
Так сла
так сла
так слава Джоконде
джокондемеру!

С*акре*-К*ёр*

Сакре-Кёр!
Вот и ты
детский рожок
с большой соской в форме креста

Сакре-Кёр!
Вас там целых семь рожков!
Мне отлично видны с подножья холма
где сквер Сен-Пьер
три рожка поменьше
три средних рожка
и один большой

В этот вечер
величие неба ненадолго отступит
и ангелы слетят пососать
из трех рожков что поменьше
и трех средних рожков

А ты
самый большой рожок
ты для младенца Христа
ой!
Как бы он не поранил губы
твоей соской в форме креста

Отель на улице Нотр-Дам-де-Лоретт

В тысячный раз проходя этой улицей
я старался
вообще туда не смотреть
не получалось

Думая что уже миновал эту надпись
поднимаю глаза
она тут как тут
каждый день я на миг проникался безумной надеждой
что ночью ошибку исправили
как же как же
все по-старому
ВСЕМИРЫЙ ОТЕЛЬ
как это и предвкушала
со своим естественным пессимизмом
орфография моего подсознанья

Когда я шел тем же путем обратно
вечером
вывеска меня не смущала
я к ней привыкал

но то было лишь временное облегченье
за ночь оно испарялось и утром снова
эта надпись все так же
ужасно меня бесила

ВСЕМИРЫЙ ОТЕЛЬ пережил ремонт
сменились вывеска цвет
и звездочек стало больше
он зовется отныне
ВСЕМИРЫЙ ОТЕЛЬ ЕВРОПА
и название это
теперь мне кажется самым обычным.

Весной

Начало весны
(21-е марта плюс-минус *x* дней
(где *x* переменная, если *x* приблизительно 365, говорят:
“Ну, пошло межсезонье!”
или так:
“Дурная весна!”))

Начало весны, думал я,
у деревьев
другие наряды
а не только одни
воробьи
на деревья
возвращаются листья
а можно сказать что деревьям
отдали назад их листья
и все зеленеет

недавно совсем
они еще сомневались, щупали воздух,
прослушивали облака
косились исподволь друг на дружку
и тут в один миг — готово
решились
начало весны
(это ранние листочки пробиваются,
англичане зовут их deciduous
из-за их решительного настроя
а потом постоянные листья
которые уже ничего не решают
капризно
выставят грязные спинки
в городской многолетней
пыли)

на деревьях
младенцы-листья дрожат
вылезают на ощупь, хрупкие, неторопливо
раскрываются почки
и бриз их нежно колышет на стебельках
как сказал па-эт

ну да!
листья рвутся в бой, распускаются
в изобилье
а деревья приосаниваются, глядятся в фонтаны
в окна
в лужицы
в небесную синь
вот и все
готова весна

Так все было в этом году
(одна тысяча девятьсот девяносто четвертом)
в Париже
в саду Тюильри
в Люксембургском саду
и в парке Монсури

и в сквере под названием Блан-Манто
и у подножья Монмартра в сквере Сен-Пьер
я проверял

и нет никаких причин полагать
что где-то в других местах
все было иначе

Дружная пара

На улице Рамбюто
в воскресенье
в одиннадцатом часу

он и она
она и он
вместе

окунают подметки в желобок
куда стекает вода
из рыбной лавки

потом
старательно
скребут
о край тротуара

они наступили в собачье дерьмо

смотри-ка
подумал я
вот дружная пара

Увы!
дерьмо было разное
вляпались поодиночке

Китти О'Ш*и*

теперь я учусь пить
в преддверии пенсии
близкой

порой
во второй половине дня
я иду в *Китти О'Ши*
заказываю
“пинту Гиннеса, плиз”

сажусь с английской
книжкой
и час провожу
один
пью и читаю без спешки
глоток за глотком
горький черный свежий гудрон

Китти О'Ши это ирландский бар
в центре Парижа
в минуте ходьбы от Тюильри
но я
представляю будто я в Лондоне

чем не способ
сбежать из города
где я живу

Энтони Бёрджесс

Железо, ржавое железо

Роман

Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян

Р*итр*[1]

– Может, все так и должно быть, – говорил Редж, сидя рядом с братом в автобусе, который вез их из Гилверна в Абергавенни.

Дэн держал на коленях сумку с недельной выручкой. Они собирались положить деньги в местный банк на Хай-стрит. Было июньское субботнее утро.

– И ничего с этими ночными кошмарами не поделаешь.

– Меня кошмары не мучают, – ответил Дэн. – Никогда этим не страдал. Ну разве только в раннем детстве. Мне тогда снились орущие клыкастые ведьмы и говорящая змея.

– Думаю, американец все это хочет превратить в развлекательное чтиво. – Дэн поглядел на Реджа с недоумением. – Написать книгу о войне – дело стоящее. Только мы с тобой не сможем.

– Если б и мог, я бы писать не стал. А он вообще историю с моих слов записал, а потом сказал, что всех сделает американцами. Ну понятно, он же янки. Она в нем души не чает, для нее на нем свет клином сошелся. – Дэн покраснел.

– Пора бы ей остепениться, – согласился Редж.

Беатрикс по-прежнему работала в министерстве иностранных дел. Ее нью-йоркский еврей Ирвин Рот учился в Кембридже на курсе у Ф. Р. Левиса, а в свободное время, которого у него было навалом, писал великий американский роман о войне. Американских солдат освобождают из лагеря военнопленных в Польше. Несгибаемый рядовой Стайн пробирается из Львова в Тернополь, оттуда в Кишинев и Одессу, оставляя по пути товарищей, словно ненужный балласт. Маколи умирает в бреду после того, как ему ампутировали отмороженные пальцы складным ножом, Бергман и Хэнкс гибнут в поисках съестного – их забивают насмерть украинцы, ненавидящие чужаков. Оставшиеся в живых – все, кроме Стайна – попадают в советскую тюрьму. В результате получилась фантазия в стиле Джона Дос Пассоса. Ирвин Рот до конца войны просидел в Англии: от высадки в Нормандии его спасло как нельзя кстати случившееся воспаление легких, а потом приятель его отца генерал-лейтенант Хоффман устроил рядового Рота в отдел пропаганды, где ему поручили сочинять комментарии к официальным фоторепортажам о переговорах союзников. Дэну война ничего хорошего не принесла, а

Окончание. Начало см. в "ИЛ" №№ 1 и 2, 2004 г.

1. Пять (*валл.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ирвин воспользовался рассказами о его злоключениях с большой для себя выгодой, записав даже некоторые русские слова и выражения.

– Наверно, ему уже не подняться, – сказал Дэн, вспомнив об отце, который лежал почти не вставая в спальне наверху, над баром, и мучился надрывным кашлем.

Выпивохи, завсегдатаи бара, слышали его кашель и, склонившись над кружками, сочувственно качали головами. "Весь так и заходится, бедняга. Как только сердце выдерживает? У него же сердце больное, – шутка ли после катастрофы на 'Титанике' двадцать дней в открытом море на шлюпке проболтаться. Да, много на его долю выпало, да и нам не меньше досталось".

– А что с матерью-то будет?

– Придется мне взять на себя заботу о трактире, – сказал Редж. – Да я сейчас ни на что другое и не способен. Поживу в деревне, ни о чем не думая.

– Думать вообще вредно, – сказал Дэн, глядя на фото. Он хоть и вылечился, но голова и руки дрожали, а может, это автобус трясло. – До добра эти думы не доводят.

– Ублюдки, – тряся головой, пробормотал Редж, – чертовы ублюдки.

– Ясное дело, ублюдки. Вставай, нам выходить пора.

Они прошли через центральный сквер, где пели птицы, оставившие заботы о войне людям, миновали мясные лавки, где давно уже продавалась одна солонина, и табачные витрины, утратившие аромат табака. Банк, правда, работал исправно, и деньги там водились, только купить на них было нечего. Редж наслаждался почти забытым говорком валлийских девушек. Их белые шейки по-прежнему будоражили его воображение. Братья встали в очередь к окошку кассира позади мужчины в халате бакалейщика, заглянувшего в банк, чтоб обменять мелочь. Вдруг раздался громкий голос с валлийским акцентом:

– Извините, граждане, но все – руки вверх.

Очередь дружно рассмеялась.

– Слушайте, я не шучу, руки вверх, и вы, миссис, тоже.

Обернувшись, Редж и Дэн увидели двоих в масках, вроде тех, что надевают дети, когда играют в бандитов. В руках они держали армейские винтовки. Демобилизованным такое оружие иметь не разрешалось. Один размахивал винтовкой, другой держал палец на спусковом крючке.

– Много времени мы у вас не отнимем. А ну-ка, мисс, давайте-ка сюда ваши денежки.

Дэн попытался выудить из сумки бумажку в пятьдесят фунтов и спрятать ее в карман.

– Э-э нет, так дело не пойдет. А ну давай все сюда, тебя, приятель, это тоже касается.

Пухленькая девчушка-кассирша, испуганно вытаращив серые глаза и не переставая бормотать "Господи, о Господи!", выложила мелочь, которую принес бакалейщик.

– Это ты себе оставь, нам нужны крупные.

Управляющий банком в приличном костюме высунулся из своей двери и строго посмотрел через очки на нежданных пришельцев.

– Ты здесь главный, верно? Так вот, знай, что это налет. Выкладывай всю наличность, на том и поладим.

Двенадцать посетителей банка не могли поверить своим глазам: в кино им доводилось такое видеть, но чтоб вот так, в Абергавенни, в суб-

боту, средь бела дня... С настенного календаря грабителям ослепительно улыбалась девица в купальнике, словно и в самом деле действие происходило на экране. Второй грабитель, державший палец на спусковом крючке и до сих пор не проронивший ни слова, вдруг заговорил басом, который звучал бы гораздо эффектнее в церковном хоре:

— Мы ради вас стараемся, для вашей же пользы, а убивать вас не собираемся. Нам деньги нужны.

— Послушайте, мы тут делом заняты, и времени на ваши дурацкие игры у нас нет, — сказал управляющий.

— Игры, говоришь? — бас вскинул винтовку и прицелился в девицу на календаре. Под грохот выстрелов она лишилась своей ослепительной улыбки, носа и левого глаза. — Я всегда стрелял без промаха и сейчас не промажу. Выкладывай наличность.

В помещении повисло облако порохового дыма, запахло горелым. Маленькая девочка, стоявшая с матерью в очереди, заплакала. У Дэна от выстрелов зазвенело в ушах, и он не выдержал:

— Мало нам было шести лет войны. Вон отсюда, подонки, пока я вам рыло не начистил.

— Выбирай выражения, — ответил первый грабитель. — Здесь женщины и ребенок. Тут тебе не армия, а то, что вы сейчас видите, — начало борьбы за независимый Уэльс.

— Ах, вот вы кто. А я думал, вы только болтать умеете, — сказал Редж. — Ну что ж, берите, что можете, и убирайтесь отсюда. Все равно вас поймают, купюры помечены, да и мы молчать не будем, так что вам не сдобровать.

— Слушай, — рявкнул бас, — я, может, и не убью, а покалечить смогу. Ты же не хочешь этого, верно, так что веди себя как следует.

— Тогда давайте побыстрей, — Редж показал, что его сейчас стошнит.

— Нам сумка нужна, — сказал управляющему первый, получив от него две пачки стофунтовых банкнот.

— Страховка все покроет, не горюй. Забыли, понимаешь, прихватить мешок, дело-то для нас непривычное, — подхватил второй.

— Вот тебе сумка, — сказал Дэн и, прицелившись в левое ухо баса, запустил в него свой старый саквояж, но промахнулся.

— Будь уверен, ты теперь у нас на примете, враг валлийского народа, — пригрозил ему бас и, сложив небогатую добычу в саквояж (в фильмах про ограбление банков обычно уносят не меньше миллиона), добавил: — Всем спасибо. Да здравствует Уэльс!

Они ушли, а посетители банка разглядывали друг друга, хлопая ресницами, как после сеанса в темном кинозале. Первой возмутилась женщина с девочкой:

— А где же стражи закона!

— Не волнуйтесь, миссис Эванс, стражи закона этого так не оставят, — ответил управляющий.

Дэн и Редж вышли на улицу, они видели, как грабители сели на мотоцикл и, победно размахивая саквояжем, укатили. Полицейский, покупавший в молочной лавке напротив бутылку пайкового молока к чаю, дружелюбно посмотрел им вслед.

— Хорошо я хоть это сумел припрятать, — сказал Редж, вынимая из кармана брюк две фунтовые бумажки. — И не смей говорить мне про воровство после всего, что мы видели.

— Ты их из сумки стибрил, а я не заметил?

— Нет, не из сумки, из кассы. Бакшиш. Можем теперь пропустить по кружечке "У ангела". Обратный автобус только через два часа.

— Ну и вороватая у тебя натура. Ты у отца и последний вздох бы украл, если б только мог.

— Не смей говорить мне таких вещей.

В баре "У ангела" уже знали про ограбление банка. Что ж, теперь нелегко вернуться к нормальной жизни. Научили молодежь убийству и мародерству. Дай бог ребятам ноги унести, а банк не оскудеет, застрахован. Редж с Дэном поспели вовремя: пиво заканчивалось, следующий завоз только в среду. Правда, Гвен за стойкой предложил им медовухи, простой или со специями, и объяснил, что в старину этот полезный национальный напиток назывался meddyglyn: llyn — напиток, meddyg — целитель.

— Действительно лечит?

— Что уж он там лечит, одному богу известно. А вот захмелеть от него трудно — не крепче столового вина.

Дэна вдруг прорвало:

— Вот паразиты! Земля героев! Моря полны рыбой, земля — углем, а печки у всех простыли. В рыбных лавках — шаром покати!

Редж был восхищен этим редким приступом красноречия.

— Скажи спасибо лейбористскому правительству, за которое ты голосовал, — сказал один из посетителей, отрываясь от игры в дартс.

— Мы с ним, — ответил Дэн, качнув головой в сторону Реджа, — ни за какое правительство не голосовали. Мы, мать вашу, в это время воевали, не то что некоторые.

— Ты что же, черт возьми, думаешь, что я симулировал и в тылу отсиживался?

— Пожалуйста, без политики и сквернословия, — вмешался хозяин бара. — Времена сейчас тяжелые, но вести себя следует прилично.

Дэн и Редж выпили еще по стакану медовухи со специями и перешли на русский. Игрок в дартс внимательно прислушивался к их разговору, время от времени встряхивая головой.

— Не похоже на валлийскую речь. Не нравится мне, когда люди говорят на непонятном языке в моем присутствии. Кто его знает, о чем они говорят, — недовольно заметил хозяин бара.

— Это наше личное дело, — ответил Редж. — Ну и заведеньице у вас: о политике не говорить, не сквернословить, пива нет, да еще, оказывается, и по-русски говорить возбраняется.

— Так вы, значит, русские? — прошамкал какой-то старик без единого верхнего зуба. — У нас много русских. Одна русская держит трактир тут неподалеку. Красивая женщина была. Жаль, расплылась.

— Попридержите язык, — пригрозил Редж. — Эту женщину мы любили оба.

— А, так она, стало быть, ваша мать. Ну тогда понятно. Все говорят, что за Россией будущее.

— Будущее, в котором правят тираны и убийцы, — с горечью произнес Редж.

— Зато порядок, — возразил человек, с кислой миной потягивавший лимонад. — А когда лес рубят, щепки летят. Нам не хватает порядка. На законы всем плевать.

— У Гитлера порядка было выше крыши, — рассвирепел Редж. — Он даже целый народ вознамерился уничтожить, а их предки заложили основы нашей веры.

– Пожалуйста, оставьте политические и религиозные разногласия при себе, – снова напомнил хозяин, ковыряя спичкой во рту, и выругался, задев, вероятно, больной зуб.

– Очень уж они хитрожопые, эти евреи, – не отступала кислая морда. – Мы за них воевали, а они теперь в роскоши купаются – вы только поглядите на их дома. Хотя я лично против евреев ничего не имею.

– Попробуй только, – с угрозой бросил Редж.

– А чего это вы взбеленились? Каждый имеет право думать, что хочет.

– Я ведь и убить могу, ей-богу, – оскалился Редж.

Дэн вырвал у него из рук стакан, опасаясь, что брат его сейчас раздавит.

– Больной, как есть больной, – бросил он по-русски. – Ни хрена тебя не вылечили. Идем отсюда.

– Война, – сочувственно прошамкал старик. – Нам ее расхлебывать и расхлебывать.

– Нам бы ее конца дождаться, – заорал Редж.

– Уведи его отсюда, – попросил Дэна хозяин. – Пиво, знать, в голову ударило. Возьми ему напротив чашку кофе, хотя теперь у них не кофе, а бурда.

Из того, что говорил его брат по дороге в Гилверн, Дэн понял немногое.

– Легко этому колбаснику-психиатру рассуждать, что жизнь прекрасна: птички поют, нарциссы цветут. Забудь прошлое, думай только о будущем. Выходит, все, что пришлось пережить, годится теперь только для великого американского романа, который строчит этот придурок, крыса тыловая. Кто прошлое помянет – тому глаз долой, поэтому наше проклятое правительство молится на красный флаг и орет "Да здравствует Сталин!". Это они называют большой политикой. Что же нам-то делать, нам что прикажете делать?

В Уэльсе общественный транспорт останавливался по требованию. Увидев подходивший автобус, Дэн проголосовал. Братья уселись рядом с женщиной, которая везла попугая в клетке. Попугай скрипел клювом и подозрительно косился на Дэна.

– Я рыбную лавку открою, как только найду, где рыбу брать, – сказал Дэн. – Надо смотреть правде в глаза: отец скоро помрет и, наверно, что-нибудь нам оставит. А тебе лучше в учителя пойти.

– Ха-ха-ха-ха-ха, – прохрипел попугай.

– Тише, Полли, – успокоила его хозяйка.

– Я возьму на себя трактир, – мрачно сказал Редж. – Мы с Ципой ребенка заведем – пусть в деревне растет, на свежем воздухе. Если получится, конечно. Пока у нас с этим что-то не ладится. К доктору надо сходить.

– Не понимаю, – сказал Дэн, – почему люди хотят иметь детей. Лично я не хочу. Не вижу в этом смысла. И жениться не вижу смысла.

– У тебя, наверно, половое влечение слабое. Странно, отчего бы. От рыбы сексуальность усиливается. И церковь учит: плодитесь и размножайтесь. Иисуса Христа иногда изображают в виде рыбы.

Женщина с попугаем с негодованием обернулась в их сторону. Дэн жестом дал ей понять, что у брата не все дома. Попугай сердито нахохлился.

– Давай сойдем, – предложил Редж.

– Мы еще не приехали.

– Я хочу взглянуть на Артуровы руины. Остановите, пожалуйста, вон там, – попросил он водителя.

– Но оттуда же пешком далеко будет. Мы опоздаем, – сказал Дэн.

– Ничего, подождут.

Автобус проехал узким переулком, так что ветви деревьев скребли окна, и остановился.

Ворота, свисавшие со сломанных петель, были распахнуты. На месте раскопок паслась одинокая старая лошадь. Дэн ворчал, путаясь и спотыкаясь в густой траве. Дул прохладный восточный ветер, солнце скрылось за тучей, напоминавшей очертания Африки на карте мира.

– Какого черта тебя сюда понесло, – не унимался Дэн, – кому хоть это принадлежит?

– Никому, то есть всем. Как дольмены. Как Стонхендж.

Дэн огляделся. Вокруг валялись лишь старые камни. На одном из них, служившем подпорой разрушенной стены, виднелась надпись: GLAD ART REG.

– Я знал одну девчонку, которую звали Глэд, – сказал Дэн. – Многие носят имя Арт. Смотри: три имени, и одно из них твое.

Руины находились в глубокой впадине – здесь, наверно, летними ночами хорошо прятаться в высокой траве влюбленным парочкам.

– Смотри, это тоже из области полового влечения, – сказал Редж, показывая на длинную узкую щель под надписью. – Ножны в ожидании меча. Я не верю, что ты мог видеть его. Игра воображения. Удивляешь ты меня, любезный братец. Раньше ты не отличался богатой фантазией.

– Я своими глазами видел эту штуку с буквой "А", как в отцовской книжке, – сердито сказал Дэн. – Я видел, как красные размахивали этим мечом, после того как устроили пожар в том польском городке. И Шоукросс, единственный образованный из всех нас, его видел и подтвердил, что немцы его привезли туда в одном с нами поезде из Италии. И он лежал в ящике в монастыре, откуда его выволокли красные. Теперь меч у них, но никто не знает, где именно, ведь Россия, – пояснил Дэн, – жутко огромная страна. А Шоукросса грамотность от смерти не спасла.

– Наверно, Шоукросс имел в виду Монте-Кассино, – рассуждал Редж, – по книгам все сходится. Бенедиктинцы и британский королевский дом. И попадает он то в одни, то в другие безбожные руки. Орудие варваров, очищенное христианским королем в праведном бою с другими варварами, которые теперь называются англичане. Если меч настоящий, он мог храниться в этом камне, а вынуть его из каменных ножен мог только его истинный хозяин. Хотя то, что видел ты, вероятно, просто подделка.

– А эта щель светится в темноте, – сказал Дэн, – ну, как стрелки на часах, понимаешь?

– Чего-чего?

– Я как-то вечером ехал на автобусе мимо и видел свечение. Вроде как рыба длинная ночью в воде светится.

– Померещилось тебе, Дэн. Не выздоровел еще, как и я, вот и привиделось невесть что.

– У меня с мозгами все в порядке, – резко ответил Дэн. – Только рана в боку иногда ноет, особенно перед дождем. Я теперь дождь загодя чувствую, вот и сейчас. Некоторые носом дождь чуют, а я боком.

— А я совсем запахи не различаю, — грустно заметил Редж. — Еще тогда, в Испании, когда мне нос разбили. Теперь мне что розы, что капуста — все едино. Я и говорю, всех нас покалечило. Странно, как раны реагируют на погоду, — добавил он, глядя на каменные ножны. — Все живое чувствует грозу: птицы летают низко, коровы ложатся на землю. Один мой нос ничего не чувствует. У Ципы начнет изо рта плохо пахнуть, а я даже не замечу.

— Зачем ты такое про свою жену говоришь? Она славная женщина, а ты, чертов жулик, и мизинца ее не стоишь. — Дэн говорил с напускной злостью, больше по старой памяти. — А тебе известно, что махровую розу называют капустной вовсе не потому, что она плохо пахнет?

— Действительно, дождь начинается.

Небо нахмурилось, стало накрапывать.

— Говорю же, недаром у меня с утра бок ноет. Теперь из-за тебя придется по лужам шлепать.

Лошадь, в полной гармонии с природой, продолжала невозмутимо пастись на мокрой траве. Только люди воспринимали изменения погоды как драму. Братья поспешно выбрались на узкий проселок, и тут им повезло. Доктор Льюис на своем маленьком "моррисе" ехал к пациенту. Врачам правительство выделяло щедрую квоту на бензин.

— А я как раз к вам, садитесь, подброшу, — сказал он. — Дворники только не работают, протри-ка ветровое стекло, Дэн, если у тебя найдется грязный носовой платок. — Дэн воспользовался своим армейским галстуком. — Раньше никак не мог навестить вашего отца, хоть и обещал. Младшенький миссис Причард снова захворал. Не ребенок, а ходячая энциклопедия болезней. Но при этом растет как на дрожжах и аппетит волчий. Вы, похоже, не выспались, глаза у вас как у снулой рыбы. Но отцу вашему гораздо хуже, чем вам. В больницу его надо с его кашлем.

— Вы же его знаете, — сказал Редж, — не хочет он в больницу. Долго ему еще маяться, как вы думаете?

— Может, неделю, может, чуть больше. Он и сам бы рад отмучиться поскорее. Это же пытка — сухой кашель! Сердце в конце концов не выдержит. Я дам ему кое-что, чтоб уснул.

— Навсегда? — спросил Дэн.

— Нет, не совсем. Теоретически я не против эвтаназии, но кальвинистское воспитание не позволяет. Не убий и тому подобное.

— Что это за непонятное слово?

— Эвтаназия? Хорошая смерть, я полагаю. По-гречески.

— Греков я не встречал, — сказал Дэн. — Был, правда, среди американцев один грек, говорил, что его фамилия Попадопулос, только никто ему не верил. Вруны эти греки, если говорят, что смерть бывает хорошей. Смерть не может быть хорошей.

— Как твоя рана в боку? — спросил доктор Льюис.

— Почти зажила, шва уже не видно, только маленькая дырочка осталась. Эти гады приняли нас за немцев. Один из них пырнул меня штыком. Раз я по-русски говорю, значит, немец. Немцы, говорит, хитрые, специально русский учили, чтобы русских на русских натравить.

— Хватит, Дэн, — вздохнул Редж, — мы уже наслышались этого.

— Еще раз послушай, ворюга, — свирепо рявкнул Дэн. — Слишком многие готовы забыть то, что выпало на нашу долю. Я буду повторять это, пока вас не стошнит. Сколько я наших судов пропустил в этом чертовом порту из-за раны. Заладили — немец да немец. Медальон-то я поте-

рял, — пояснил он для доктора Льюиса, — так они говорили, что я форму с убитого снял.

— Да, да, — мягко согласился доктор, — страшная история. Ну вот мы и приехали.

Под вязом у дверей трактира сидел старик в кепке и плаще и потягивал пиво. Дождевые капли с листьев падали прямо в кружку, но, видно, ему было легче сидеть под умиротворяющим дождем, чем слышать надрывный кашель умирающего хозяина. Выйдя из машины, они тоже услыхали кашель, доносившийся из приоткрытого окна наверху. Ципа прибиралась у барной стойки. Когда они входили, она обратилась к двум молодым сезонным рабочим, не сводившим глаз с красивой хозяйки: "Закрываем, джентльмены". Отсюда кашель слышался сильнее.

— Пойду дам ему кое-что, — сказал доктор Льюис.

Ципа подошла к столу, за которым сидели последние посетители, и терпеливо дождалась, пока те допили свои кружки до дна. Парни продолжали откровенно рассматривать ее, и один из них сказал:

— Может, поцелуешь нас на дорожку, хозяйка?

Редж подскочил к ним и заорал:

— Вон отсюда, симулянты! Пахари, тоже мне! Отсиживались тут, пока те, кто лучше вас, в эту землю ложились!

— Отвали. Мы не симулянты, свою работу знаем, — ответили они, потом поднялись и ушли, передразнивая не утихавший кашель.

Поседевшая и располневшая, но все еще красивая, с яркими балтийскими глазами и четко очерченным подбородком Людмила Джонс поздоровалась с доктором Льюисом и бросила сердитый взгляд на сыновей.

— Опоздали, — сказала она, — все уже остыло.

— Нас ограбили, — стал объяснять Редж, — продержали в банке под дулами винтовок.

Доктор Льюис улыбнулся, решив, что он шутит.

— Это правда, — подтвердил Дэн, — но этот ворюга еще раньше спер два фунта из кассы.

— Чтоб я слова "ворюга" больше не слышала, — сказала Людмила.

— Значит, вас действительно ограбили? — переспросил доктор Льюис. — Ну и дела.

На кухне появилась Ципора и поделилась новостью иного рода:

— Никогда не думала, что петрушка растет на огороде. Это же балет Стравинского, я там играла партию ударных, а теперь вдруг узнаю, что это съедобная травка.

— Он хочет, — обратилась Людмила к доктору, — полежать в саду. Не желает оставаться в постели. Вспоминает, как отец его умер в постели и всю ее испачкал напоследок. Хочет лежать на земле, на старой армейской плащ-палатке и накрыться шинелью. Желаю, говорит, умереть под открытым небом.

— Давайте пока не будем говорить о смерти, — ответил доктор. — Вы обедайте, а я схожу наверх, сделаю ему укольчик. Молоко к животу прикладывали?

— Прикладывала, только он все с себя сбрасывает, пытается встать и спуститься в сад.

— Разрешите ему, — попросил Редж, — ему, видно, воздуха не хватает.

— Необходима инъекция респираторного депрессанта, — пробормотал себе под нос доктор Льюис, используя медицинскую терминологию,

которая помогала ему отвлечься от неприглядной картины предсмертных судорог человеческого организма.

Он вколол лежащему под лоскутным одеялом изможденному и посеревшему Дэвиду Джонсу изрядную дозу морфина и сказал, что вернется поздно вечером, чтобы повторить инъекцию. Дэвид в ответ слабо кивнул.

– Вам сейчас станет легче, – сказал доктор Льюис, отдавая себе отчет в том, что для этого пациента полученная доза может оказаться смертельной.

– На воздух, – прохрипел Дэвид.

Доктор тоже слабо кивнул. Почему бы и нет, погода теплая.

Дэвид лежал у каменной ограды сада на расстеленной плащ-палатке, укрытый двумя одеялами и покрывалом. От дворового деревенского сортира его отгораживала старая газонокосилка и баррикада пустых ящиков из-под лимонада. От дождя защищали два больших зонта – подарок от фирмы, производившей лимонад и оранжад. Он попросил оставить его одного и погрузился в воспоминания.

"Итак, я пережил 'Титаник' и мировую войну – спрашивается, зачем? Чтобы сочетаться странным браком с русской красавицей из Бруклина и произвести на свет троих детей, которых никогда не мог понять? Или чтоб открыть в Манчестере ресторан, который не приносил дохода? Я кормил людей на совесть, да каких людей! Помнится, в 'Пикчер пост' поместили хвалебную статью с фотографией: хозяин ресторана поднимает бокал в честь блистательной Толлулы Бэнкхэд. Умерла от удушья, бедняжка. А рядом с ней за столом Ноэль Коуард гасит окурок в тарелке с нетронутым десертом. Чарльз Кокран, которого все звали Коки, обнимает Эвелин Лэй. Там же и Джесси Мэттьюз – она-то десерт съедала всегда. Марк Гамбург, толстяк пианист, любивший нашу кухню, научил меня готовить омаров под соусом 'кардинал'. Скрипач Сигети – так, кажется, его звали – обожал окорок с хрустящей корочкой. Маринованный окорок среднего размера потушить в курином бульоне и марсале и обжарить, потом порезать ломтиками и каждый ломтик натереть измельченными в ступке грецкими и миндальными орехами, затем запечь в кляре. Французские названия блюд давались с трудом, и гости частенько надо мной подтрунивали. Лучшими в меню всегда оставались русские блюда. Как же назывался тот десерт – ванильное мороженое с вишнями, мандариновыми дольками, клубникой и взбитыми белками? Любимое блюдо то ли царя, то ли царицы, то ли Распутина, то ли кого-то еще.

Дом в Бруклине давно продан, деньги за него по праву принадлежат ей. Золотые соверены, припрятанные на будущее, нынешнее воровское правительство заставило обменять на бумажки. Австралийский самородок цел – интересно, какая ему теперь цена? Говорят, что хранить его противозаконно, но почему? Это имущество семьи. Хорошо бы его сейчас потрогать, подержать в руках, положить под подушку. Это вещь, цена которой с годами только растет, хотя кто знает, долго ли ей расти, коли продать его нельзя? Вечная ценность, символ, неподвластный переменам, вроде Бога, которого не видать. Надо сказать, чтобы принесли сюда. Погляжу на него, поцелую в последний раз, как верную, но холодную жену, и положу рядом с собой под одеяло".

Недуг снова напомнил о себе, сознание, притупленное инъекцией наркотика, прояснялось. Он раскашлялся, и птицы, прислушиваясь к

странным звукам, настороженно завертели клювами и на всякий случай нахохлились.

Неподалеку от деревушки Гилверн в полусгнившей фермерской халупе, которую они снимали за смехотворную плату, сидели Алед Рис, Бен Гриффитс и бывший рядовой Том Проберт. Здесь находился временный штаб организации "Сыны Артура". Цель движения сомнений не вызывала, а вот стратегия оставалась неясной, поэтому все собрались за колченогим кухонным столом послушать, что скажет Теренс Макмагон. Ирландец с шотландской фамилией был женат на валлийке, с которой познакомился в Ливерпуле, где работал в мастерской по ремонту велосипедов. За ним числилось преступление, совершенное в Карлоу. Сам он не любил об этом распространяться, потому что долгое время находился в бегах, скрываясь от правосудия, да и случилось это давно, еще в начале тридцатых. В те годы он участвовал в движении за объединение Ирландии. Теперь Макмагон мирно проживал в Лланелли и владел велосипедной мастерской. Было ему не меньше пятидесяти, но его ничуть не поредевшие огненные патлы, торчавшие во все стороны, и бледное лицо красноречиво свидетельствовали о крутом нраве. Когда-то он говорил на ирландском языке, но сейчас мог только читать на нем и еще злился на то, что, несмотря на общие с ирландским корни, валлийский отпочковался в самостоятельный язык. Он почти не понимал валлийского, или кимрского, как называли этот язык местные.

– История учит нас, – говорил Макмагон, – что независимость не выпрашивают, стоя на коленях. Мы знаем, что те, кто громче всех кричит о правах человека, не любят предоставлять эти самые права другим. Договариваться с правительством о мирном переходе к самоуправлению бесполезно, поэтому и приходится начинать с насильственных методов и продолжать в том же духе. Свободу вырывают силой, а не мольбами, так что вы целиком и полностью заблуждаетесь, если мечтаете о мирной стратегии. К тому же на вашем счету уже не одно вооруженное нападение, и вы, вероятно, приверженцы стратегии насилия.

Том Проберт, закуривший трубку, больше походил на философа-созерцателя, чем на революционера.

– Насилие? – удивился он. – Вы имеете в виду насилие против собственности, если можно так назвать ограбление банка? Движению требуются средства, и такой способ финансирования никому особого вреда не наносит: деньги, изъятые нами из банка, возмещаются страховыми компаниями. Подумаешь, напугали людей немножко. Никто ведь не пострадал.

– А как насчет старушки, которая умерла на месте от разрыва сердца во время налета на банк в Коулфорде? – возразил Макмагон. – Вы, Рис, сами мне рассказывали об этом. Если вы взялись за оружие, это насилие. Одна жертва на вашей совести уже есть.

Алед Рис, лицо которого еще сохраняло средиземноморский загар, а лысина, прикрытая во время службы форменным беретом, оставалась бледной, ответил:

– Нам необходимо рассказать людям о цели нашей борьбы. Для этого нужны деньги на публикацию брошюры, которую составил Том, и на рекламу в газетах. Ирландские республиканцы в свое время действовали так же. Мы преследуем благородную цель, поэтому против сомнительных тактических средств, и как только о нашем движении станет изве-

стно, мы откажемся от этих средств. Не забудьте, что наша организация называется "Сыны Артура" – не припомню, чтобы у ирландцев когда-нибудь была партия со столь же благородным названием. Мы возобновляем битву, которую королю Артуру не довелось довести до победоносного конца. Смешно надеяться, что нам удастся выбить саксов из Англии, это – задача для будущих поколений, но попробовать согнать их с земли кимров стоит, черт возьми.

– Тебе, знаешь ли, мозги надо в порядок привести, – сказал на это Макмагон, – вместо того чтоб болтать о благородстве. Пустословие все это. Я бы на твоем месте сидел и не рыпался, тихо бы мирной жизни радовался. Все твои прожекты так прожектами и останутся. Ну кому, в самом деле, придет в голову выгонять англичан из Уэльса? Англичане и валлийцы давно уже перемешались между собой. Говорят, что еще Тюдоры, валлийцы по происхождению, заняв английский престол, стали добровольно называть себя саксами. Прислушайтесь к доброму совету человека, которому известно все, что можно знать о борьбе с этими хамелеонами англосаксами, и бросьте все это.

– Но для чего, ответьте бога ради, – возмутился Бен Гриффитс, – были истрачены миллионы фунтов и миллионы жизней, как не для того, чтобы предоставить малым народам право на самоопределение? Ведь были же в прошлом революции, которые приносили свои плоды. Вспомните Францию и Россию, их великие революции. Наше движение даже не преследует революционных целей, скорее наоборот, мы хотим назад, в прошлое. Если это всего лишь мечта, тогда всю историю человечества можно считать мечтой.

– Любая борьба – насилие, – покачал головой Макмагон. – Вы угрожаете властям, пока их терпение не лопнет. Если же вы пользуетесь крайними методами, например, убиваете короля или принцессу, которую все обожают, это оборачивается против вас. Иное дело – взрывы на почтамтах и вокзалах, убийства мелких правительственных чиновников: в этом случае через несколько лет вас могут признать силой, с которой приходится считаться, и пригласить за стол переговоров. Но чего же вы, брюквоеды, добиваетесь? Закрытия границы от Кардиффа до Рила, пока вы сочиняете собственную конституцию и выбираете президента? Или вы мечтаете об уэльсификации всей промышленности на полуострове? Но она давно уже принадлежит международным монополиям. И еще вы, конечно, запретите английский и введете всеобщее образование на валлийском языке?

– Мы называем наш язык "кимрэг", – уточнил Алед Рис. – Валлийским наш край и язык окрестили чужеземцы. На старосаксонском Уэльс означает "земля чужаков". Это саксы – чужаки, а не мы. Язык не более важен, чем у вас в Ирландии, а установление границы не означает полной изоляции. Сегодня самая популярная разновидность английского – американский. На нем можно говорить с любым акцентом, в том числе и с кимрским.

– Могу себе представить! Республика Кимру, где брюквоеды лают, как янки, – съязвил Макмагон.

– Кстати, о республике, – вступил в дискуссию Том Проберт. – "Сыны Артура" не могут всерьез говорить о республике. Артур хотя и считался ставленником римлян, но был королем. Вы сами видели надпись ART REG меньше чем в десятке миль отсюда, на месте археологических

раскопок, столь любезно начатых люфтваффе. Нам нужен христианский король, а не светский президент.

— Что за ерунда! — воскликнул Макмагон. — Вы того гляди религиозную войну еще затеете, очередную Варфоломеевскую ночь устроите! Где здравый смысл? Церковь должна быть отделена от государства. В Женеве Кальвин в свое время попытался объединить религию и государство — и к чему же привела Швейцарию такая власть? Что вы сейчас о ней знаете, кроме часов? Король Артур, если он вообще существовал, охранял римское христианство от язычников, а его "сыны" хотят вернуть протестантский Уэльс в лоно римского католичества? Поздновато спохватились: реформация Тюдора пустила глубокие корни.

— Для нас здравый смысл в христианских нормах, — ответил Том Проберт, — в противовес безбожному коммунизму и безбожному фашизму. Мы понимаем, что борьба предстоит долгая. Мы отдаем себе отчет в том, что кровопролитие неизбежно, но сделаем все, чтобы свести его к минимуму.

— Мы постараемся его избежать, — добавил Алед Рис, — применяя его разве только в целях защиты наших прав. Мы поставим саксов перед свершившимся фактом и посмотрим, что из этого выйдет. Сначала объявим через прессу о наших целях, потом начнем действовать.

— И как же именно вы будете действовать? — усмехнувшись, поинтересовался Макмагон. Их валлийский выговор его умилял: напевные интонации не имели ничего общего с агрессивным тоном беседы. Буревестники липовые, им бы поближе к курам, на насест.

Прежде чем ответить, Бен Гриффитс набрал в легкие побольше воздуха:

— С нами принц Уэльский. Можете смеяться, но это правда.

— Вы что, — возмутился Макмагон, — полагаете, что королевская чета, которая стоит во главе Великобритании и Северной Ирландии, специально для вас, по примеру библейских Иоакима и Анны, на старости лет вопреки законам природы произведет на свет наследника? Принцем Уэльским, да будет вам известно, является старший сын британского королевского дома и никто другой.

— Не перебивайте, пожалуйста, — сказал Бен Гриффитс, — и оставьте ваши ирландские насмешки, это недостойно и неуместно. Мы говорим о нашем принце, о принце Кимру, а не о наследнике престола, который еще не появился на свет. Мы говорим о том, кто готов быть избранным и коронованным. О чистокровном валлийце, который дорожит своей страной, так что извольте, во избежание путаницы, называть его принцем кимров.

— И вы думаете, найдется много охотников снабжать вашу организацию деньгами? — снова усмехнулся Макмагон. — Кстати, где вы его выкопали, этого вашего принца?

— Он сам нас нашел, — ответил Алед Рис. — Вы слышали о сталеплавильне Кадвалладера?

— Вся сталелитейная промышленность национализирована, — сказал Макмагон. — По крайней мере, уже обсуждается законопроект о компенсации бывшим владельцам. Все ясно. Этот ваш Кадвалладер получает деньги от социалистического правительства и вкладывает в партийную кассу валлийских, простите, кимрских националистов. Наверно, какой-нибудь выживший из ума старый хрен нашел себе новую забаву.

— Не выживший из ума и не старый, — заметил Бен Гриффитс. — Старый хрен уж год как умер, а сыну его и законному наследнику всего двадцать лет. На войну он попасть не успел и теперь жаждет деятельности. С отличием окончил курс кимрского языка и литературы в университете Уэльса. И зовут его Артур.

— Надо же, какое совпадение.

— Вовсе не совпадение. Его семья всегда чтила историческое наследие кимров, — сказал Алед Рис. — Сама их фамилия — Кадвалладер — к этому обязывает. Я с ним познакомился, когда ездил в увольнительную в Ньюпорт. Мы с ним в баре разговорились.

— Понятно, — ответил Макмагон, — да только все это — одна болтовня. Что вы собираетесь с ним делать: короновать в замке Карнарвона и объявить Уэльс независимым княжеством, вроде Монако? Я-то подумал, что вы действительно затеваете бунт.

— Княжество и есть монархия, — ответил Том Проберт. — Артур тоже не сразу стал королем. Герцогство может быть независимым. В Ланкашире до сих пор короля называют герцогом Ланкастерским. Так даже лучше. Король — звучит слишком претенциозно. Он может заявить о своем праве на королевский титул позднее, когда вынет меч из каменных ножен.

— Какой меч? Какие еще, к черту, каменные ножны? Слушайте, я ухожу, с меня хватит, — сказал Макмагон, не двигаясь с места. — Я в своей жизни сумасшедших повидал, в том числе и в Ирландской республиканской армии. Из-за этих бешеных псов я оттуда и ушел, сразу как узнал о ребенке, который погиб, опустив письмо в почтовый ящик. Если хотите чего-то добиться, старайтесь просто как можно больше насолить британцам, мерзавцы этого заслуживают, но забудьте всю эту галиматью про коронацию, герцогов, принцев и рыцарей Круглого стола, ей-богу.

— Мы и есть британцы, — торжественно провозгласил Алед Рис, — британские кельты. Наши враги — англосаксы. Мы не предлагаем ничего противоестественного. У нас нет армии, чтобы воевать с англосаксами, но мы имеем право на независимое королевство, которое пока можно называть княжеством Кимру. Древняя кимрская песнь, дошедшая до нас, называется “Unkeynyaet Prydyn”, то есть “Королевство Британия”. И оно снова будет. Пусть даже через тысячу лет, но остров перейдет в руки законных владельцев, а о сумасшедших “Сынах Артура”, над которыми вы сейчас смеетесь, сложат песни благодарные потомки.

— А пока, — напомнил Макмагон, — вы будете доводить до инфаркта бедных старушек, которые ходят в банк за своими жалкими грошами.

— Ваше обобщение безосновательно, — заметил Алед Рис.

— Мы не получили конкретных инструкций о порядке реквизиций, — педантично разъяснил Том Проберт. — Есть человек, местонахождение которого я не хочу разглашать, ответственный за эти, к сожалению, совершенно необходимые акции. Не все молодые люди, находящиеся в его подчинении, отличаются высокой нравственностью, но все они у него под жестким контролем. Если ослушаются, им грозит суровое наказание. А деньги до нас доходят в последнюю очередь. Мы не можем найти средства на небольшой тираж нашей брошюры, хотя бы в тысячу экземпляров.

Макмагон поглядел по сторонам. Скудость партийной кассы бросалась в глаза: разбитые половицы, старая керамическая раковина с краном, из которого не текла вода, довоенный календарь на обшарпанной

стене, шаткий грязный стол, полинялая армейская форма членов организации.

– Ну что ж, – сказал он, – вы посвятили себя деятельности, которая с точки зрения государства преступна, несмотря на все ваши благородные порывы, решимость и прочую словесную белиберду. Это и есть Экскалибур? – спросил он, указывая на лежавший на столе грубо сработанный деревянный меч, больше похожий на палицу.

– Это cleddyf[1], – ответил Том Проберт. – Придет время, и мы вернем настоящий. Мы слышали, что он странствует по свету, хотя где он сейчас, никто не знает. Но он к нам вернется, как и сам Артур, и поможет в нашей борьбе за правое дело.

– Бред сивой кобылы, простите за резкость, – сказал Макмагон.

– Прощаем.

"Бифштекс посолить и поперчить с обеих сторон. Затем быстро обжарить в масле на раскаленной сковороде. Масло слить, сбрызнуть мясо коньяком и поджечь. Блюдо называется 'адское пламя', а вкус такой, что возносишься к небесам. Суфле с ликером 'Бенедиктин' и бренди было любимым блюдом пышногрудой контральто. 'Бенедиктин' наводил ее на мысли отнюдь не монашеские. И вот еще что: у нас ничего никогда не подгорало. Говяжью вырезку жарили целиком, поливая бульоном и красным вином с добавлением соуса 'Дьяболо' прямо из бутылочки 'Ли энд Перринс'. Салат 'Уолдорф' из нарезанного сельдерея, яблок и грецких орехов заправляли майонезом. Такие яства Валтасару и не снились: на его пирах подавали ростбиф из иудеев, а на десерт – голых вавилонских блудниц, устилавших своими телами подножие трона. 'О, царь царей, славься во веки веков! Но пусть твой век продлится не дольше этого пира'".

Лежа в саду и вспоминая про пир Валтасара, Дэвид Джонс сжимал в ладони не пенис, как тогда в юности, перед побегом в Кардиффский порт, а фамильное золото. Помимо родных вокруг него стояло много людей. Даже некоторые посетители бара с кружками в руках пришли поглядеть на умирающего хозяина. Кашель утих. Он позвал Беатрикс.

– Я здесь, папа.

Она приехала не одна. Ее сопровождал смуглый нью-йоркский еврей, говоривший со знакомым Дэвиду бруклинским акцентом. Валлийская кровь смешалась с русской, а теперь, видно, пора добавить еврейской. Что ж, может, это и хорошо. В конце концов, все люди – едина плоть, а плоть – земля. Земля – к земле. Он посмотрел вверх. Дрозд, сидевший на дереве, просвистел веселую песенку, напоминавшую Дэвиду молодость. Помнится, в Блэквуде жил один парень, его тоже звали Дэвид, только был он родом из Англии, и все говорили, что надо дать ему прозвище, а он согласился, только попросил, чтоб покрасивше. Вот и прозвали его Красотка Дэй. Смешно.

– Что смешного, папа?

– Дэй помирает.

Но он еще не умер. Он мирно уснул, и его не разбудил даже шум дождя. Когда доктор Льюис склонился над ним, пальцы пациента мертвой хваткой сжимали золотой самородок, но это не было трупным окоченением. Доктор решил, что теперь уж все равно, и ввел ему под кожу ссохшейся руки два грамма мощного наркотика. Так будет лучше всем.

1. Меч (*валл.*).

Пока миссис Боуэн прибирала покойного, за столом на кухне собралась целая куча народу. Дэн и Редж отнесли тело наверх и положили на постель, в которой он отказывался умереть. Перед смертью он испачкал только старую плащ-палатку. Умер, как солдат, под шум дождя и пенье птиц. Все, кроме Ирвина Рота, недавно ставшего мужем Беатрикс, пили крепкий чай. Американец попросил кофе, и овдовевшая Людмила сурово сказала: кофе хочет, пусть возьмет банку "Кэмпа" с цикорием и сам сварит. В итоге он налил себе стакан тепловатого джина. В центре стола лежал золотой слиток, так и не очищенный за все прошедшие годы от примесей неблагородных металлов.

— Насилу вынул его из рук, — сказал Редж, — будто он его с собой на тот свет хотел взять.

— Главное, чтоб ты на этом свете не взял его с собой, ворюга, — сказал Дэн.

— Попридержи язык, — сказала Людмила, грея руки о горячую кружку с чаем, — особенно сейчас, когда отец мертвый лежит наверху, — но глаза ее глядели безучастно.

— Надо бы показать его оценщику. Он ведь немалых денег стоит, — предложил Ирвин Рот.

— Золото все поднимается и поднимается в цене, — сказала Беатрикс, — и будь моя воля, я бы никогда не поменяла его на бумажки.

— Что с ним делать, решит твоя мама, — сказала ей Людмила. И бросила взгляд сначала на зятя-еврея, потом на сноху-еврейку.

— Все зависит от того, что написано в завещании, верно? — подсказал Ирвин Рот. — Может быть, там есть распоряжения на этот счет.

— У вас, у евреев, только деньги на уме, — сказала Людмила Джонс.

— Не стоит оскорблять людей, мама, — вспыхнула Беатрикс. — У тебя совершенно превратное мнение о евреях.

— Ничего страшного, — примирительно сказал Ирвин Рот, — я меньше всего думаю о деньгах.

— Даже когда пишешь свой великий американский роман о нашей войне, — поддел его Редж.

— Это другое. Роман я допишу, даже если он не принесет мне ни гроша.

— Но для того чтоб ты его написал, мой вонючий братец должен был пройти через чертову мясорубку.

— Кто это вонючий? Сам ты вонючка!

— Прекратите, — приказала сыновьям Людмила, — чтоб я в этом доме ничего подобного больше не слышала. Последние слова вашего отца были горькие: "Что за детей мы вырастили!"

— Это не были его последние слова, — сказал Редж.

— Он всегда так говорил, и раньше, и теперь. Если это не были его последние слова, то только потому, что у него сил не хватило их произнести. Бедный мой муж. — В ее глазах, однако, не было ни слезинки. Она залпом, как после поминального тоста, выпила остаток чая.

— А почему мы здесь сидим? — осмелилась спросить Цина.

Людмила ответила резко:

— Ты, еврейка, и не знаешь почему? Всем не терпится узнать, что мой бедный муж оставил вам в наследство. Разве вас что-нибудь, помимо денег, интересует?

Все, кроме Реджа, шумно запротестовали.

– Брату моему действительно не терпится узнать, сколько он получит, – сказал Редж. – Ему нужны деньги на собственную рыбную лавку. Остальным это наследство до лампочки.

– Вот гад, – покраснев, выкрикнул Дэн.

– Ладно, будем считать, что оплакивание окончено, – продолжал Редж, – пришла пора сказать несколько добрых слов о покойном. Боюсь, на похоронах об этом никто не догадается. Наш отец часто говорил, что в жизни ему всегда везло. Он выходил невредимым из самых смертельных ситуаций. Я думаю, он передал эту счастливую способность к выживанию нам. Хотя он и считал, что передать такое детям невозможно, даже боялся, что нам придется расплачиваться за его невероятное везение. Теперь на мучивший его вопрос придется ответить нам: для чего мы вышли живыми из этой войны. Он умер не старым, но разве в возрасте дело? Он был добрый человек, зла никому не желал. О нем долго будут вспоминать с уважением. Кажется, больше сказать нечего. Аминь.

– Так вот, о деньгах, – сказала Людмила. – Хотите знать, так слушайте. Он все отписал своей дорогой жене. Так он назвал меня в завещании. Адвокат Оуэн сказал, что я должна буду уплатить налог с наследства. За свое, кровное, еще и плати – законы у нас такие. Все, за вычетом этой суммы, принадлежит мне. Отец говорил, что вы da i ddim.

– Что это значит? – спросил Ирвин Рот.

– Ни на что не годные, – перевела Беатрикс.

– Еще он сказал, что за Дэном нужно присматривать. И я позабочусь о том, чтобы Дэн получил свою рыбную лавку. Беатрикс замужем за богатым евреем, она ни в чем не нуждается. Реджинальду, хоть и женат на еврейке, придется работать. Он получил хорошее образование, знает испанский, но преподавать не хочет. Тогда пусть продолжит отцовское дело, тем более что сам того желает. Да, надо будет эту бумагу на твое имя переписать.

– Ты имеешь в виду лицензию? – спросил Редж. – Но ведь по закону лицензия переходит к вдове.

– Нет, на меня не рассчитывайте, – ответила мать, – я здесь не останусь. Я уезжаю в Петербург. Тетка моя умерла, но дядя Борис жив. Он старый человек, ему требуется уход. Здесь я свой долг выполнила, больше я здесь не нужна. Мое место в Петербурге.

Все как один ахнули. Первой пришла в себя Беатрикс:

– Мама, Петербурга больше нет. Теперь он называется Ленинград. Там революция была, ты же своими глазами ее видела, по крайней мере самое начало. Россия теперь – коммунистическая страна, она отрезана от свободного мира. Ты возненавидишь ее. Там же есть нечего, там тайная полиция, варварство, лагеря смерти.

– Все равно поеду. Россия есть Россия. Иногда буду приезжать, навещать вас.

– Пойми, – с мольбой в голосе произнесла Беатрикс, – как только ты там окажешься, тебя не выпустят обратно. Они не хотят, чтобы свободный мир знал, какой ужас там у них творится. Они поэтому и пленных всех расстреляли после Ялты. Обратного пути оттуда нет.

– У меня есть паспорт. Я британская подданная.

– Не лезь ты туда, говорят тебе! – скрипя зубами, сказал Редж. – Я теперь глава семьи, и я тебе запрещаю. Я не могу допустить, чтобы моя мать добровольно отправилась в ад.

— Россия есть Россия, — повторила Людмила, — я хоть и британская подданная, но только благодаря вашему отцу. Теперь, когда он умер, мое место в России. Но британский паспорт я сохраню.

— Не получится, — расстроенно качая головой, сказала Беатрикс. — У тебя его отберут. Скажут, что ты теперь советская гражданка и не имеешь права на заграничный паспорт. Я же работаю в русском отделе, я знаю, о чем говорю.

— После того как мы похороним вашего бедного отца, я поеду в Кардифф к русскому консулу. — Она вскинула на Реджа свои балтийские глаза. — Матери ты приказывать не смеешь. Я свободная женщина.

— Сталин тебе покажет, какая ты, к черту, свободная.

— Реджинальд, я уже сказала, что не потерплю сквернословия в своем доме.

— А что вы собираетесь делать с драгоценным металлом? — вклинился Ирвин Рот. — Если вы возьмете самородок с собой, у вас его конфискуют на границе. Теперь только правительство имеет право распоряжаться золотом. Это лорд Байрон мог по всей Европе таскать за собой сундуки с золотом. Впрочем, не только лорд Байрон.

— Вот именно, не только он. Евреи всегда так делали. Я помню эти фамилии — Гольдберг, Гольдштейн — еще с детства, когда жила в Петербурге. И в Бруклине у них те же фамилии. Не знаю я, что с этим золотом делать. — Она быстро заговорила по-русски: Ирвин Рот и Ципа ничего, кроме слова “zolato”, понять не могли.

Наконец Дэн свирепо произнес:

— Я повторяю, на нем лежит проклятие. От него только раздоры и воровство. Бросить его в Аск[1] и забыть.

Ирвин Рот посмотрел на него с интересом. Любитель и знаток оперы, он вспомнил Альбериха, проклинающего золото Рейна. Все мифы рано или поздно воплощаются в жизнь.

— У меня сохранились кое-какие связи в американских военно-воздушных силах. Я мог бы переправить самородок на континент, чтобы там продать, — предложил он. — Лучше даже не в Европу, а в Танжер. Там за золото дают самую лучшую цену. Можно еще в Бомбей, но это далековато.

— А что ты потом будешь делать с этими драхмами или рупиями или любыми другими бумажками? — спросила Беатрикс. — Купишь на них другое золото? По-моему, лучше всего хранить его в банковском сейфе, как раньше.

— Ты в финансах ничего не смыслишь, — возразил ее муж. — Кому нужен этот кусок металла? Так и лежит без дела с тех самых пор, как его выкопали. Золото — это деньги, а деньги должны работать.

— Ты предлагаешь обратить золото в бумажки, — сказала Беатрикс.

— Простите меня, — вскочив с места, проговорила побледневшая Ципа.

— В чем дело? Мы что-то не так сказали? — встревожился Редж.

— Леди Шалот, — произнесла Ципа уже у двери, ведущей наверх.

Беатрикс, понимая, о чем идет речь, состроила гримасу обеспокоенному брату.

— Не все получается сразу, — сказала она, — наберись терпения.

1. Река в Южном Уэльсе.

— Пора открывать, — сказала Людмила, глядя на стенные часы. — Одни умирают, другие хотят пить и есть. Такова жизнь, ничего не поделаешь.

— Мы с Ирвином едем в Абергавенни, чтобы успеть на утренний поезд, — заявила Беатрикс. — К похоронам вернемся. Бедный папа. Послушайте меня, спрячьте эту штуку в сейф.

На прощание она всех расцеловала. Ирвин Рот помахал рукой. Дэн отозвал сестру в сторону:

— Пошли выйдем на минутку в сад. — Он грубо схватил ее за руку.

— Ничего себе братские нежности.

В саду у поникшего розового куста Дэн резко остановился и спросил:

— Зачем ты вышла замуж за этого мудака?

— Потому что я люблю его, Дэн. Потому что хочу быть счастлива с ним в другом мире, то есть, я хотела сказать, в Новом Свете. Но пока мы поживем здесь. Еще год я поработаю в министерстве, пока он не окончит Кембридж. А потом в Нью-Йорк. Пора уже осесть где-нибудь.

— Он тебе не пара.

— Ревнуешь? Не надо, Дэн. Я же ни одного дня не проживу, не вспомнив о тебе, моем любимом брате, и о твоей рыбной лавке. Ты для меня значишь больше всех на свете.

— Ты только что сказала, что любишь этого мудака.

— Любовь бывает разная. Любовь сестры к брату — это одно, любовь жены к мужу — другое.

— Не понимаю, как ты его вообще терпишь!

— Вот так и терплю. Как говорится, любовь зла. Дэн, если я тебе понадоблюсь, только дай знать, я сразу примчусь. Хотя на самом деле я не думаю, что понадоблюсь. Прошел же ты войну и выжил без меня, а теперь будешь рыбой торговать, если рыбу найдешь. Самостоятельно. Нам пора, а то опоздаем.

— Не нравится мне твой брак.

— В жизни приходится мириться со многими вещами. Мне, может быть, тоже не нравится, что ты на рыбе помешан. Пусти мою руку. Больно.

В октябре 1946 года я вернулся в Манчестерский университет, чтобы продолжить учебу и получить степень магистра. Мой научный руководитель Ф. Д. Эшли с неохотой утвердил тему моей дипломной работы: абсолютная ценность человеческой жизни в отрицающем ее мире. Рассуждения на эту эпическую тему были замаскированы под критический разбор работы "О четверояком корне закона достаточного основания" Шопенгауэра. Я соврал, что прочел этот труд в непостижимом для меня немецком оригинале. Диссертация получилась старомодная. Философия успела превратиться из анализа реальности в рассуждения о смысле понятий. В Кембридже давно открыто смеялись над метафизикой как над пустым, а главное, не приносящим дохода времяпрепровождением. А уж что касается философии морали, мало кто из профессоров желал обсуждать существующие системы этики, еще меньше охотников было проповедовать новые. Но призрак Сэмюэля Александера, чей бюст работы Эпштейна украшает гуманитарный корпус, еще бродил по университету, напоминая обнимавшимся парочкам о тщете сиюминутных желаний и шкале истинных ценностей. В эпоху атомной бомбы и холокоста мои тезисы звучали актуальнее сочинений многих

современных философов и богословов, хотя Эшли и отказывался признать это. Мы вступали в эпоху уклонения от ответственности, наиболее ярким примером которой являлся логический позитивизм. На ста с чем-то страницах я рассуждал о том, что святость человеческой жизни, в противовес жизни как таковой, берет начало в идеализме, сведенном к солипсизму. Присущий индивидууму, или, по Шопенгауэру, индивидуальной воле, инстинкт самосохранения создал столь сильное представление о необходимости выживания отдельного индивида, что со временем распространился на весь человеческий род. Но в то же время индивидуальная, а затем и коллективная воля нашла оправдания для убийства одних во имя выживания других. Таким образом, интеллект объявил войну инстинкту, одновременно оправдывая его. С точки зрения солипсизма, единственным доказательством существования мира вне нас является личный опыт, а убийство равноценно уничтожению океанов или галактик. Человеческая жизнь с ее опытом и представлениями о жизни равноценна вселенной. Но человеческие жизни множатся в таком количестве, что кажутся побочным продуктом, который бессознательно производится с помощью чувственного механизма. Природа беспечно разбрасывается и семенем, несущим жизнь, и рожденными из него человеческими существами. Работая над дипломом, я вдруг понял, что мои аргументы попахивают салоном маркиза де Сада. Природа сотрясает планету землетрясениями, а дети природы помогают ей, изобретая газовые камеры и атомные бомбы. Ценность жизни — не более чем шопенгауэровская иллюзия, основанная на инстинкте самосохранения. Коль скоро мы вынуждены жить в мире насилия, приходится приспосабливать свою нервную систему к таким условиям. Опыт — это только то, что пережито, а не то, чем ему следует быть. В последнем выводе было больше от Витгенштейна, чем от Шопенгауэра.

Однажды утром у себя в квартире в Расхолме за скромным завтраком из одного яйца, которое при карточной системе можно было позволить себе лишь раз в две недели (в мире по-прежнему избыток людей, и, хотя все они смертны, тот же недостаток пищи), я с удивлением прочел газетный репортаж о коронации принца Уэльса на месте руин времен короля Артура в Гилверне. "Таймс" и "Дэйли мейл" писали об этой церемонии как о безобидной шутке. Статья в "Дэйли мейл" сопровождалась фотографией глупо улыбающегося принца Артура Кадвалладера в бутафорской короне. Церемония, проходившая под открытым небом, собрала не много зрителей: как обычно, в Южном Уэльсе шел дождь. Произносились речи на валлийском и английском о независимости республики Кимру, о необходимости единства всех кимров, о возрождении древних традиций патриотизма и о неповиновении английским законам. Последнее, подумал я, осуществить нетрудно: у валлийцев неповиновение в крови — как местным законам, так и общим. Принц призвал к отказу от уплаты налогов и выступил с инициативой прекратить водоснабжение Глостера из кимрских водохранилищ. "Дэйли миррор" находила особенно забавным тот факт, что на церемонии патриотические стихи на валлийском продекламировала одна русская дама, хозяйка местного трактира. Мне показалось, что на заднем плане снимка я разглядел сутулую фигуру в плаще, похожую на Реджа Джонса. Неужели семья Джонсов, включая мою сестру Ципу, как-то связана с "Сынами Артура"?

Я закончил завтрак и стал просматривать письма. Теперь мне пришлось читать о независимости другой территории. Мой отец писал из Тель-Авива:

"Холм Весны, как называют Тель-Авив, удивительно разросся с того времени, как мы видели его в последний раз, но ты вряд ли помнишь, как он выглядел. Яффа — типичный ближневосточный город, а вот Тель-Авив можно спутать с современным европейским городом. Мы с матерью живем в уютной квартирке рядом с гостиницей 'Царь Соломон', с видом на футбольное поле, и окучиваем апельсиновые деревья, хотя до экспортной торговли апельсинами пока еще далеко. Присматриваем себе домик с собственным садом в пригороде. Жилье стоит очень дорого, как мы и предполагали. На пенсию мне уйти не удалось и, похоже, не скоро удастся. Тель-авивский порт, который, как тебе известно, был построен после ставших уже историей беспорядков в Яффе, собираются расширять, и меня по рекомендации господина Вайнгартнера уже привлекли к составлению сметы. Ты его, возможно, помнишь, он заходил к нам пару раз на Трэффорд на чашку чая. Не сказать, чтобы жизнь была мирная: банда "Штерн" ненавидит британские власти больше, чем арабов, ну и арабы, конечно, боятся возвращения евреев на родину, поэтому режут им глотки и кидают гранаты. То ли еще будет, когда о создании государства Израиль объявят официально.

По ночам мы с матерью из дома не выходим, да и днем передвигаемся с оглядкой. Но нас больше волнует, как там наши любимые дети в Британии. Может быть, после получения диплома магистра тебе стоит подумать о работе в местном университете? Израильтянам приходится смотреть на жизнь философски, так что я беру назад свои прежние утверждения о никчемности твоей профессии. Мы много думаем и очень беспокоимся о твоей сестре. Мне кажется, ее брак не удался, — только не думай, что я стану говорить глупости вроде того, что не следовало выходить замуж за гоя. Я понимаю, Реджу крепко досталось на войне, вернее на двух войнах, и это до некоторой степени извиняет его приступы злобы, но весь образ жизни, который из-за него вынуждена вести Ципора, мы не одобряем. Она профессиональный музыкант, ее образование и инструменты, которые теперь пылятся на складе, кстати, тоже за плату, стоили больших денег, а она вынуждена прислуживать официанткой в богом забытой валлийской деревне. Они мне писали, что не могут родить ребенка. Видимо, кто-то из них двоих бесплоден, — тоже мне, нашли проблему. Это Израилю нужны дети, а Британии не грозит обезлюдеть в ближайшем будущем: империя распадается, и освобожденные жители колоний, спасаясь от новых порядков на родных землях, скоро валом повалят в бывшую метрополию, от которой когда-то пострадали. Мама просит передать, что она вас горячо любит. Здесь она себя чувствует гораздо лучше. Бронхит, благодаря теплому сухому климату, беспокоить ее почти перестал. Я тоже вас с Ципой горячо целую. Пиши почаще. Твой папа".

Письмо пришло в апреле 1947 года. В мае мне предстояло сдавать экзамены и защищать диплом перед комиссией, состоявшей из доктора Шварцкопфа, профессора Риджуэя, инспектора Стокуэлла, одного араба, чью фамилию я так и не запомнил, и валлийца по имени Гриффит-Джонс, специалиста по Канту. Моя письменная работа им не понравилась. Они восприняли ее как попытку создать антигуманную доктрину, подрывающую нравственные ценности. Мне, конечно, пришлось согла-

ситься, что в ней маловато критики Шопенгауэра, но это не помогло. Остальные мои работы были признаны удовлетворительными, хотя доктор Гриффит-Джонс заметил, что я не до конца разобрался в кантовских категориях. Араб удивился тому, что я не знаком с исламскими комментариями к Аристотелю. Доктор Шварцкопф, подставив угреватый нос сияющему майскому солнцу, нудно толковал о гегелевских "Основах философии права", после чего доктор Гриффит-Джонс принялся рассуждать о Гегеле и гегельянстве вообще, о Канте, Фихте и Шеллинге. Погрузившись в горячую дискуссию, проходившую на немецком и недоступном мне валлийском, они позабыли о моем существовании: если б я встал и вышел, никто бы не заметил. Наконец, доктор Шварцкопф, настроение которого резко улучшилось после победы над доктором Гриффит-Джонсом по поводу одного места в "Феноменологии духа", подмигнул мне как союзнику, и я понял, что степень магистра мне обеспечена. Пришло время заглянуть в приложение к "Таймс", где печатались объявления о вакансиях для преподавателей.

Предложений для преподавателей философии в различных школах и колледжах, в том числе и в Уэльсе, было предостаточно. Я подал заявление на место младшего преподавателя философии в колледже святого Асафа в Абердэре, богословском колледже, понадеявшись, что в Южном Уэльсе мое еврейское происхождение не станет помехой даже при отсутствии связей. Параллельно я подал заявления и в другие места, но приглашение на собеседование получил только из Абердэра. Мне показалось, что место уже занято и они пригласили меня только ради соблюдения приличий, то есть чтобы отказать. На собеседовании присутствовали директор колледжа, член местного городского совета, домохозяйка с кошелкой и епископ Лланелли (святой Асаф был первым епископом этого города). Член городского совета спросил, сдал ли я вступительный экзамен в университет, и я сказал, что давно уже продвинулся выше. Епископ хотел знать, что я подразумеваю под философией, и остался доволен, когда я коротко ответил, что философия — это любовь к мудрости. Директор не преминул продемонстрировать знание категорий логики, которые, по его мнению, необходимы в богословских штудиях. Потом меня спросили, что я знаю о христианском богословии. Я признался, что ничего в этом не смыслю, что я — еврей-агностик. "Ваш народ перенес много страданий", — сказала домохозяйка. После ее реплики меня отпустили. Вскоре мне с сожалением сообщили, что место, на которое я претендовал, получил некий мистер Дэвис.

Спасибо хотя бы за то, что колледж святого Асафа оплатил мне дорогу в оба конца, так что на обратном пути в Манчестер я получил возможность навестить сестру в Гилверне. Я добрался до них вечером ненастного июньского дня сразу после закрытия трактира. Задняя дверь была открыта. Редж с Ципой сидели на кухне и угрюмо щипали пирог. Мое появление они восприняли без всякого удивления, будто я после лекции зашел в университетскую столовую. Ципа сразу предложила мне кофе. Про еду они почему-то не вспомнили. Я сказал, что был в Абердэре.

— Решил пожить в Уэльсе? — без всякого интереса спросил Редж.

Он носил нарукавники, как заправский бармен. Ципа, в перепачканном цветастом халате, успела приобрести деревенский румянец, хотя едва проглядывавшие у глаз морщинки не свидетельствовали о безмятежной жизни на природе. Взгляд Реджа блуждал.

— Значит, вы теперь сами здесь хозяева, — сказал я. — Жаль отца твоего, жаль, хороший был человек. А отъезд твоей матери, мягко говоря, поступок легкомысленный, Ципа мне писала об этом.

— Ностальгия, — ответил Редж. — Но она прихватила с собой не все капиталистические накопления. Госбанку повезло с очередной партией валюты. — Он взглянул на меня недружелюбно. — Ты теперь ученый муж. Поздравляю от всей души.

— А у тебя собственный трактир. Прими и ты мои поздравления. Благородное занятие. Ты не читал Фодергилла? Его "Дневник хозяина трактира" стал бестселлером. А Ципа, получается, хозяйка гостиницы? — Я произнес это, как бы примеривая название к сестре. Она, судя по гримасе, не считала, что оно ей к лицу.

— Я — музыкант и вернусь в оркестр. Наверно, мне не суждено стать... матерью. — Мне показалось, она хотела сказать — женой.

— Снова будет греметь и стучать, — прорычал Редж, — и домой являться когда вздумается. Не думал, что все так получится.

— Расскажи мне, что ты затеяла, — попросил я Ципу.

— Руки соскучились по палочкам. Разве я не имею права заниматься искусством?

— Искусство, как же. Звон да грохот, вот и все.

— Здесь есть местный оркестр, — сказала мне Ципа, — в основном из беженцев и бывших пленных, которые решили остаться. Они получили дотацию от Совета искусств — так это, кажется, теперь называется. На хлеб и картошку все еще карточки, но люди по музыке соскучились. Этеридж пригласил меня к ним ударником.

— Этеридж?

— Джек Этеридж, наш бывший гобой в "Халле". Попал в аварию, что-то с губами случилось, поэтому теперь он дирижирует. Может, ты его помнишь, он из Бристоля.

— Ну что ж, — сказал я, — мне кажется, это хорошая новость. Хотя Редж со мной явно не согласен.

— Ничего у меня в жизни не клеится, — ответил Редж. — Думал, вот поселимся здесь, обоснуемся как следует. Но, наверно, прошли те времена, когда люди пускали корни.

— Намекаешь на то, что все мы теперь — перемещенные лица? — спросил я.

— Пожалуй, что и так.

— Сердце Реджа осталось в святой Руси, — заметила Ципа.

— Заткнись! — крикнул Редж. — Ее уже нет в живых.

— Ты о ком, о матери? — с ужасом спросил я.

— Да нет, не о матери, — ответила за него Ципа. — Это он о русской подруге, которую завел, когда я ему якобы изменила. В министерство иностранных дел пришло письмо от убитого горем мужа с благодарностью за доброту и заботу о покойной жене.

— Вот увидите, доберусь я до этого ублюдка, — Редж свирепо вонзил вилку в стол.

— До мужа, что ли? — Кажется, я задал дурацкий вопрос.

— До всех доберусь. Кровопийцы!

— Ради бога! — вздохнул я. — Все уже позади.

— Для меня ничего не прошло и никогда не пройдет.

— Слушай, если тебе нужен помощник, ну там пиво разливать или бочки открывать, я свободен, — сказал я. — Работы я пока не нашел, а искать я ее могу и отсюда. Как остальные-то поживают?

— Дэн, — ответила Ципа, — открыл рыбную лавку в Нидербери.

— Где это?

— Где-то здесь, недалеко, не знаю точно. А красотка Беатрикс по-прежнему в министерстве иностранных дел. Так занята, что со своим мужем-писателем спит только по выходным. Остепенилась, что и говорить.

— Беатрикс... — с горечью произнес я.

— Знаю, знаю, — поспешила ответить Ципа и добавила: — Завтра я еду в Кардифф. Там сбор оркестра. Инструменты привезут отдельно. Редж не хочет платить за хранение, ну и черт с ним, — не без лукавства закончила она.

— Мы едва сводим концы с концами, — стал жаловаться Редж. — Я надеялся получить хоть что-нибудь после смерти отца, а мне досталась лишь лицензия и пивная. Пивоварни своей у меня нет, а пиво сейчас никто не варит, алкогольные напитки — по карточкам. Зарабатываем на закусках.

— Которые готовлю я, — вставила Ципа, — но недолго мне мучиться. Только не расстраивайся — вот повалит сюда народ, особенно американцы, смотреть на Артуровы развалины, тогда и развернешься.

— И для этого я изучал испанский и каталанский, — угрюмо проворчал Редж.

— Все зависит от тебя, — сказал я ему. — Тебя никто не заставляет здесь сидеть.

— Хотел пожить спокойно. Вернуться, так сказать, в первозданное состояние. Знаешь, мать пишет, что видела меч. — Я не уловил связи. — В Ленинграде, в Эрмитаже. Там устроили выставку трофеев из Восточной Германии. Так что Дэн был прав, и отцовская энциклопедия не врет, и та книжка, написанная моим тезкой. В Ленинграде считают, что это чудом сохранившийся меч Аттилы, и буква "А" на клинке — тому доказательство. Меч Артура для этих безбожников — не святыня, а всего лишь музейный экспонат.

— С ума сойти, — все еще не верил я.

— Ты готов сойти с ума от такой безделицы? А если завтра эти изуверы сбросят на нас атомную бомбу и настанет конец света, ты снова станешь сходить с ума? Безумие становится нормой.

— Как живется твоей матери в стране изуверов? — спросил я.

— Она о многом умалчивает. Письма проходят через цензуру. Послушай, — повернулся он к Ципе, — я пойду прилягу. А ты можешь излить свою страдающую душу любимому брату. — Сгорбившись, как старик, он зашаркал вверх по лестнице.

Я поцеловал сестру, извинившись, что не сделал этого сразу как вошел.

— Значит, не ладится у вас.

— Мы хотели ребенка, — ответила Ципа, — но не получилось. Во мне ничего не удерживается. Он говорит, что для меня дети — барабаны и колокольчики. Наверно, он прав. Невозможно иметь все, что захочешь. Трудно оставлять его одного, но я думаю, он сам здесь не задержится. Школе в Бридженде требуется учитель испанского. Валлийцам нравится испанский.

— Значит, вы оба здесь не задержитесь. Ну и что дальше, каждый будет жить сам по себе?

— Не знаю, ей-богу, не знаю. Но не думаю, что мы расстаемся навсегда. Надо как-то попытаться преодолеть прошлое, правда? Он очень много пережил, в том числе из-за меня. Я-то совсем не мучилась. Теперь снова возьму в руки палочки и начну отбивать ритм.

— Знаешь, я никогда не понимал разницы между барабанщиком и ударником.

— Барабанщик у них уже есть, Джек Этеридж нашел одного очень хорошего беженца-еврея из Дрездена по фамилии Апфельбаум. Его выгнали из Германии эти кретины, когда стали бороться за арийскую чистоту в музыке. Он занят только в классических вещах, а меня будут приглашать играть современные, где есть экзотические инструменты, — Рихарда Штрауса, например, или Бенджамина Бриттена. Кроме того, мне придется замещать Апфельбаума, когда он будет занят в другом оркестре. Теперь многие работают в нескольких местах сразу. Денег ведь платят немного.

— Небольшой приварок к семейному котлу?

— Можно и так сказать. Редж без конца твердит о самородке, который лежит в банке на имя его матери. Теперь на этом помешался. Каждое утро просматривает в газетах цены на золото и подсчитывает, сколько этот самородок стоит. Бубнит, что целое состояние без толку пропадает.

— Вот бедолага.

— Ты знаешь, я тоже так думаю. Бедный Редж.

В этот вечер я разливал напитки по кружкам и считал мелочь. Посетителей было немного. Тоскливо здесь живется, что и говорить. Старики медленно, стараясь продлить удовольствие, потягивали пиво. Те, что помоложе, играли в дартс. Тупые, без проблеска мысли в глазах лица. Расстреляй их из пулемета — никто не заметит потери. Тем не менее природа распоряжается по-своему: оберегает серость и уничтожает таланты, обрекая их на голод и мучительную смерть. Я часто думал о том, сколько ярких личностей погибло в Освенциме.

У стойки бара появилась молодая, состоятельная на вид и никому не известная пара, муж и жена, а может, и любовники, явно городские, — путешествуют, забрели случайно в деревенский трактир. Казалось, война их не коснулась. Очевидно, желая произвести впечатление на присутствующих, он заказал сухой мартини и очень удивился, когда выяснилось, что в этом захолустье знают рецепт. Редж ответил, что, к сожалению, не сможет смешать коктейль, мартини весь вышел.

— Немудрено, только у носатых его теперь и найдешь, — сказал благоухающий дорогим одеколоном упитанный мужчина, обращаясь к своей бледной и тонкой, как тростинка, спутнице.

— Вы имеете в виду евреев? — вежливо спросил Редж, глядя на его красноватый мясистый нос. — Что ж, здесь три еврея, но ни мартини, ничего прочего вы от них не дождетесь. И если через три секунды вы, любезные господа, отсюда не уберетесь, придется мне расплющить ваши нежные арийские носы. А ну, выметайтесь отсюда, подонки.

Завсегдатаи трактира оживились, услышав голос хозяина, но я не заметил одобрения в их взглядах. Так он всех клиентов распугает, а клиент, как известно, всегда прав. После закрытия, когда мы мыли посуду, я спросил:

— Так значит, три еврея?

— Это я из солидарности, — ответил Редж. — Я, как ни странно, иногда чувствую себя евреем, хоть и не обрезанный, и бар-мицвы у меня не было. Кто такие евреи? Народ, который согнали, как валлийцев, с родной земли, да еще и разбросали по всему свету. Страдающий, угнетенный народ.

— Скоро у евреев снова будет своя родина, — ответил я, — но я туда не стремлюсь. Я вообще не причисляю себя к какой-либо расе или нации. — Тут я припомнил газетную статью. — Слушай, это действительно был ты? На фотографии в газете, когда короновали липового принца Уэльского?

— Да, мы с матерью привезли напитки и закуски для публики. Пиво в бутылках, хоть это теперь незаконно, да кто здесь на законы смотрит. Были сандвичи с рыбой, миссис Эванс пирожков напекла. Липа, говоришь, но ведь еврейское государство ты липой не считаешь. Если эти двое подонков, которых я выгнал, англичане, я готов вымести отсюда всех англичан.

— Ты это серьезно? А в партию ты часом не вступил?

— В какую еще партию? — удивился Редж. — На, полюбуйся. — Он протянул мне номер "Вестерн мейл" с воззванием в четверть страницы, украшенным ощерившимся драконом:

"Кимру — наша родина. Славный край Кимру, а не Уэльс, что на языке саксов значит 'земля чужаков'. Все на борьбу за свободу Кимру, за нашу собственную власть! Не подчиняйтесь английским законам, не платите англичанам налоги. Бастуйте против захватчиков. Боритесь за права Кимру".

И подпись: "Артур, принц Кимру".

— Господи! Обхохочешься, — сказал я.

— Что ж, — задумчиво ответил Редж, вытирая стаканы, — я думаю, заявления малых наций о своих правах, будь то валлийцы, баски или каталонцы, всегда кажутся смешными великим державам. Но все это безнадежно. Им никогда не победить. Единственное, что мне нравится в валлийском, пардон, кимрском национализме, так это то, что англичане получили неожиданный пинок под зад. Ненавижу этих самодовольных палачей.

— Не можешь простить им Ялту?

— И это тоже.

— При чем здесь простые люди? Они же не виноваты. Если валлийские националисты станут жечь английские рыбные лавки — я читал в "Дэйли миррор", — такими методами им ничего не добиться. Настоящий враг — правительство. А если Уэльс и добьется местного самоуправления, что невероятно, то в вашем правительстве появятся такие же морды, что и в Вестминстере.

— Но все-таки кимрские морды.

— Значит, ты на их стороне?

— Я на своей стороне. — Он никак не мог оттереть губную помаду с одного из стаканов, яростно плюнул в него и снова вымыл. — Знаешь, мне хочется действовать.

Я понял, что он так и не отказался от мести.

— Однажды ты уже совершил убийство.

— Да, это оказалось на удивление просто.

— Но толку-то от этого никакого.

— Не скажи! Кстати, помнишь, ради кого я это сделал? — он кивнул головой в сторону комнаты, куда ушла спать Цина.

Я провел у них не больше недели. Спал на бывшей кровати Беатрикс и, вдыхая сохранившийся запах ее тела, мучился воспоминаниями. Сестру свою я почти не видел. Она уехала в Кардифф на репетицию нового оркестра готовиться к первому концерту в городской ратуше. Если верить ее словам, ночевала она у одной из скрипачек, снимавшей квартиру рядом с центральным парком. Оркестр уже дал несколько концертов классической музыки, их даже транслировали по радио, но играли в основном те произведения Моцарта, Бетховена и Брамса, в которых не было партий металлофона и челесты. Поэтому Хоровое общество Гламоргана планировало пополнить репертуар кантатами "К неведомым берегам" Воана Уильямса и "Благие сирены" Парри, поскольку музыка без пения у валлийцев не пользуется успехом. Этот оркестр, созданный на юго-западе Британии и состоявший из беженцев с континента, вполне мог бы называться новым европейским интернационалом. Для них логичнее было бы исполнять "Хари Янош" Кодая (там как раз большая партия для ударных), а не "Валлийскую рапсодию" сэра Эдварда Германа.

Общество Реджа меня тяготило. За постой я расплачивался тем, что помогал ему разливать пиво и готовить толстенные сандвичи с консервированным мясом или рыбой. Утром я бродил по полям и проселкам, любуясь пышной листвой платанов, но как только в голове возникал вопрос: "К чему все это?" — меня начинало тошнить, как Рокантена. Как-то я пришел на Артуровы развалины, когда там толпились американские туристы, щелкавшие фотокамерами, чтоб запечатлеться на фоне каменных ножен. Британию они воспринимали как неизбежный перевалочный пункт: дождливая погода, жизнь по карточкам, — все стремились в Париж. Вдруг откуда ни возьмись среди скучающих американцев появился живчик-валлиец.

— Я обращаюсь к вам от имени свободной страны Кимру, которую вы привыкли называть Уэльс, — прокричал он. — Я прошу вас, американцев, помочь нам в справедливой борьбе за освобождение. Вы тоже боролись и победили англичан в Войне за независимость. — Он говорил с сильным валлийским акцентом, а слово "независимость" произнес, делая ударение на каждом слоге, прозвучало оно как-то фальшиво. — Мы ждем от вас денежной помощи, но не менее важно, чтобы вы рассказали о нас на родине сынов свободы, ну и дочерей, конечно. Всякое, даже самое скромное, пожертвование будет принято с великой благодарностью, diolch yn fawr[1]. Еще мы хотим, чтоб вы знали: название вашей страны имеет валлийское происхождение, Америка происходит от ap Meuric, то есть сын Мориса, и не кто иной, как Ричард Америк, снарядил экспедицию Джона Кабота во время его второго плавания в Америку в 1498 году.

Для меня, как и для американцев, это стало открытием. У туристов челюсти отвисли: "Надо же, никогда об этом не слыхивали", но вопросов оратору никто не задавал. Многие полезли в бумажники, чтоб помочь борцу за самоопределение фунтами, которые он с удовольствием принимал. Я поддержал его двумя полукронами и спросил, откуда он почерпнул такие исторические сведения. "Придет время — узнаете", — от-

1. Огромное спасибо (*валл.*).

ветил заговорщик. Вначале я не думал, что он имеет отношение к "Сынам Артура", – решил, что пройдоха нашел легкий способ поживиться. Да и кто сейчас принимает всерьез националистическую болтовню? Но вечером я убедился, что есть люди, настроенные очень серьезно. Редж уже запер бар, и мы собирались мыть стаканы, когда раздался громкий стук в дверь и пьяные крики. "Господи, опять они", – сказал Редж и пошел открывать. Как выяснилось, это были двое его бывших однополчан по Гибралтару, а с ними тот самый живчик, которого я видел утром. Он уже успел изрядно набраться и во всю глотку орал: "Присягайте своему законному принцу! К черту саксонские законы о лицензии!"

– Здесь посторонние, – сказал он, покосившись на меня, – а ну-ка, дружок, выйди: на этой территории имеют право находиться только законные представители, сыновья этой земли, а ты, сразу видать, не кимр.

Подбадривая себя воинственным кличем, он по-хозяйски прошел за стойку и трясущейся рукой налил в кружку пинту валлийского эля. Его товарищи наблюдали за ним трезвыми глазами.

– Это мой шурин, – объяснил ему Редж, – а этот бар принадлежит мне. Если вы хотите заказать что-нибудь, пожалуйста. Допивайте свое пиво, высочество сраное, и выкладывайте английские денежки. И еще сделай одолжение, канай отсюда.

Лысый приятель Реджа, присевший у щита для дартса, сказал:

– Мы едем в Тредегар и хотели навестить тебя по-дружески. Мы не в обиде, что ты никогда не стесняешься в выражениях. У нас к тебе дело. Только тебе это под силу, и мы снова хотим тебя об этом попросить.

– Опять вы за свое, – сказал Редж и, повернувшись ко мне, сказал: – Иди-ка ты спать. Как изволили выразиться их доморощенное высочество, это наше валлийское дело.

– Ты язык-то попридержи, – тихо пригрозил принц Кимру и, подняв свою кружку, прокричал: – Смерть чужакам! Да здравствует знамя нашей славной родины! – Он жадно припал к кружке, расплескивая ее содержимое.

Я ушел наверх в спальню и оттуда слышал неразборчивую речь и звон разбиваемой посуды. Типичный валлийский бред.

Утром мы молча пили чай с гренками, пока я не решился спросить, как понимать вчерашнюю сцену. Редж подтвердил мое мнение о том, что все это – валлийский бред, и, помолчав, сказал:

– Один. Опять один. Придется нанять малышку Меган.

– Что еще за малышка? Только не говори, что это валлийская девушка, это и так ясно.

– Девчонка из деревни. Присматривает за своей больной теткой. Много я ей платить не могу, да и нужна она только по вечерам.

– Ваш валлийский принц совсем мне не понравился, – заметил я.

– Я ведь сказал уже, ерунда все это. Марионетка. Таких, как он, пруд пруди. Как только из него вытянут все денежки, его превратят в великомученика: устроят покушение, чтоб свалить на англичан, или что-нибудь вроде того. Братья, помните о нашем убиенном принце и требуйте справедливого международного суда над грязными английскими политиканами. Он и не подозревает о том, какая роль ему уготована. Допивай поскорее чай, к автобусу не успеешь.

Итак, я вернулся в Манчестер, чтобы снова приняться за поиски работы. Наконец я получил место преподавателя физкультуры в одном из недавно открытых колледжей, основную часть студентов которого со-

ставляли демобилизованные, решившие избрать профессию учителя. Кроме того мне позволили читать факультативный курс истории западной философии. Я не был уверен, что Аристотель пригодится будущим учителям начальной школы, но на собеседовании я пытался убедить директора и двух инспекторов училищ Его Величества в том, что в нашем стремительно меняющемся мире философия может оказаться подспорьем как для детей, так и для учителей. Им не нравилось, что у меня нет опыта работы в гражданском учреждении. Только из уважения к моему диплому мне позволили в свободное от физкультуры время надевать мантию магистра, но при условии, что я пожертвую пять фунтов в виде вступительного взноса в Союз учителей.

Поселился я в крошечной квартирке рядом со студенческим общежитием. Кормили бесплатно в столовой колледжа. На месте колледжа, который находился неподалеку от Болтона, что в тридцати милях от Нидербери, где Дэниел Тэтлоу Джонс держал рыбную лавку, раньше располагалась американская военная база. Как-то я вывез свою команду регбистов на матч с местной командой в Нидербери. После игры мы зашли в местный паб выпить по кружке пива. Там я и встретил Дэна. Он так провонял рыбой, что все старались держаться от него подальше. Дэн меня не узнал, и мне пришлось напомнить о наших прошлых встречах и родстве. Я спросил, как поживает его сестра.

– Вышла замуж за гнусного янки. Он в одном месте, она – в другом. Работает с русскими или против русских, потому что знает русский. Я и сам по-русски говорю, – ответил он.

Об этом я знал. В паб вошел худой, с улыбкой до ушей человек в грязном плаще. Ему обрадовались: местный шут и кривляка. Увидев Дэна, он заткнул нос, как от нестерпимой вони. Дэн угрюмо выругался. Я решил вразумить посетителей бара:

– Запах рыбы есть признак святости и добра. Согласно апокрифам с помощью запаха рыбы Фома изгнал демона Асмодея. Рыба – символ Иисуса Христа.

Хозяин недовольно пробурчал, что в его заведении о религии не говорят. Дэн допил пиво и, не попрощавшись, ушел. Явно не все дома. Жаба, боготворящая принцессу. Вся семейка с приветом.

В течение шести лет британских подданных бросали в разные части света, не спрашивая их согласия. После войны для выезда из страны даже в соседнюю Францию требовалось разрешение властей. С фотографии в британском паспорте на представителей иммиграционной службы в Булони хмуро взирал усатый еврей. Его живая копия улыбалась им в предвкушении бордо, сигарет “Голуаз”, петуха в винном соусе и временной передышки от британских карточек. К счастью, у меня был паспорт. На следующий день после моего отъезда на каникулы во Францию пришла телеграмма от отца: МАТЬ ПРИ СМЕРТИ. ПРИЕЗЖАЙ. ПАПА. Пришлось занять денег – ту малую сумму, что разрешили обменять, я уже успел истратить на французскую кухню, – и я срочно вернулся в Лондон искать кратчайший путь в Тель-Авив.

Самолетом до Каира, оттуда поездом до Хайфы. Последний участок небезопасен, железная дорога во многих местах заминирована. Недавно к северу от Реховота террористы взорвали поезд с отбывающим на родину британским гарнизоном. Мне посоветовали лететь на Кипр через Париж, Рим и Афины, а в Ларнаке или Фамагусте сесть на любой подходя-

щий морской транспорт. Военный самолет, переделанный в пассажирский, вез в основном киприотов, турок и греков. Обе группы, стараясь перекричать друг друга, распевали свои народные песни. Только одна парочка, турецкий Ромео и греческая Джульетта, просидела всю дорогу обнявшись, молча удивляясь глупости людей, одержимых межнациональной ненавистью. А я думал о своей матери. Хорошо ли я знал ее? Часто ли я виделся с ней? Чем измерить мою любовь к ней? Принесли обед. Я с жадностью выпил лишь остывший чай, но мясо есть не мог. Стюардесса, приличная английская девушка, чувствовала себя очень неуютно среди кудахтающих и свистящих ей вслед черноглазых дикарей. Старший стюард, ее широкоплечий защитник и покровитель, здорово врезал одному из парней, пытавшихся облапить ее. Мама, мама. Эти слова тяжело и монотонно пульсировали в моей груди. Что с ней, жива ли она? После трех посадок для дозаправки самолет наконец пошел на снижение над заливом Анталья. Мы вылетели на рассвете, а сейчас слепящее южное солнце садилось. Пассажиры, захрапевшие к концу полета, проснулись и, увидев внизу остров, похожий на морскую раковину, радостно оживились, но уже при высадке между ними то и дело вспыхивали драки. Ночь была темная, безлунная, полиция аэропорта светила на драчунов фонарями. Война, всюду война. И в Палестине тоже война.

Ночь я провел в грязной гостинице в Никосии. Из соседнего сада, благоухающего цитрусами, доносился жуткий вопль брачующихся кошек, но уснуть я не мог из-за нескончаемого пения, плясок и грохота тарелок под окном. На рассвете, предвещавшем страшную жару, я выпил чашку густого турецкого кофе, съел пресную лепешку с абрикосовым джемом и поехал в Фамагусту. Автобус был забит старухами в черных платках, стариками, сплевывавшими прямо на пол жевательный табак, и курами в клетках. В проходе величественно прохаживался серый гусак. Добравшись до гавани, я нашел греческий сухогруз "Аврио", который вез зерно и чугун в Бейрут, заплатил выше положенного в фунтах и оказался на борту среди подозрительной немытой публики, подкреплявшейся лепешками с анчоусовым паштетом. У меня из съестного осталась только подтаявшая плитка шоколада, да еще пара апельсинов, но запах паштета меня не прельщал. Увидев мой паспорт, иммиграционный чиновник в Бейруте брезгливо сплюнул и махнул рукой в ту сторону, где, по моим предположениям, находился железнодорожный вокзал. Загаженный поезд довез меня до Акры, а затем до Хайфы. На фоне общей грязи и запустения единственными свидетельствами цивилизации казались разрушенные храмы древних богов, сиротливо взирающие на современный позор Средиземноморья. Автобус до Тель-Авива был на удивление чистым, но салон до предела раскалился от палящего солнца. Многие пассажиры, одетые по-европейски, читали газеты на иврите. Один молодой человек углубился в немецкую книжку. Женщина, говорившая с дочкой на идише, обещала купить ей конфеты и мороженое в Тель-Авиве, но малышка, не чаявшая дождаться лакомства, разревелась.

Квартира отца находилась в деловой части города, далеко от апельсиновых плантаций. По голой бетонной лестнице я поднялся на третий этаж безликого современного здания. Мебель, которую родители привезли с собой из Англии, совершенно не годилась для средиземноморского лета — и так дышать было нечем. Это было одной из примет новой родины: ашкеназы привозили с собой обитую плюшем мебель, еще не осознав, что Израиль не только всеобщая идея, но и страна с тяжелым

климатом. Бедуины на солнце не жаловались, а евреи, прибывшие с севера, изнывали от жары. Отец был одет в широкие штаны и грязную просторную полосатую рубашку не по размеру. На голове у него я с удивлением обнаружил ермолку. Я спросил, что с матерью.

– Умерла, – ответил он, – еще до того, как я отправил телеграмму. Не хотел говорить сразу. Долго ты сюда добирался.

Я объяснил почему.

– Она не болела. Бомба. Дочь Израиля отправилась поклониться Святому Городу – а тут нарушение перемирия. Где, спрашивается, были эти чертовы войска ООН?

– Ты и Ципоре послал телеграмму?

– Нет. Побоялся, что у нее снова случится выкидыш. Да и не хочу я, чтобы она сюда приезжала, нечего здесь женщине делать. Пусть думает, что мать жива, и поклянись сейчас же памятью матери, что ты ей ничего не скажешь. Я сам скажу, когда сочту нужным. Пусть хоть в ее сознании мать остается живой. Несчастная жертва.

– Уже похоронили?

– Конечно. Все как полагается у ортодоксов, которые правят этим светским государством. Кадиш, все по закону. Хочешь поглядеть на могилу? Завтра. Все сделали очень быстро. При здешней жаре труп моментально разлагается. Тело удалось опознать по сумке, которая осталась у нее в руках. Говорят, еле оторвали – так крепко были сжаты ее пальцы. Теперь все кончено. Сам президент, старый друг твоего деда, присутствовал на похоронах. Ты, наверно, думаешь, что напрасно приехал. Скоро поймешь, что это не так.

– Неважно выглядишь, – сказал я, плохо соображая. – Ты хоть что-нибудь ешь?

– Ем ли я? Это нас едят в этой стране. Живьем. Я пью. Не виски, нет, здесь это никому не по карману. Арак. Можешь найти это слово в Коране, там, где сказано, что пить запрещено. Эти уроды рано или поздно и до меня доберутся, но прежде я хотя бы одного сам прикончу. Между прочим, по-арабски арак значит пот. Попотеют они у меня, но не простым потом, а кровавым.

Я стоял на толстом ковре, который здесь был совершенно не к месту. Потом я присел за полированный круглый стол. На нем остался кусочек пергаментной бумаги с последним шутливым стихотворением матери. Эпиграмма была написана вчерне, карандашом. Мама не успела обвести строчки тушью. В этом климате, вдруг подумал я, чернила сохнут быстро, но что толку, если она никогда больше ничего не напишет. Как я ни пытался выжать из себя слезу, хотя бы ради отца, ничего не вышло. Я с трудом разобрал бледный черновик стихов:

Подобно древу знанья
В густой тени долин
Смущает взор Адама
На ветке апельсин.

Он медлит. Только Ева,
Плода уже вкусив,
Полна стыда и горя,
Глядит на Тель-Авив.

— Бедная, бедная мама, — вырвалось у меня. — Бедные Богом проклятые евреи.

— Не проклятые. Здесь мы на нашей земле обетованной.

— За которую вы расплачиваетесь безвинными жертвами. Тебе здесь нечего делать, папа. Возвращайся домой.

— Если не можешь биться головой о Стену Плача, как я, так хоть бы выдавил слезинку. Это же твоя мать, она дала тебе жизнь, вскормила тебя, любила, а ты сидишь тут и упражняешься в цинизме.

— Да, — сказал я, закуривая, — она родила и вскормила меня, а потом мы с Цилой жили как сироты. Я понимаю, ты не виноват, тебя работа гоняла по всему свету. Но если мне сейчас и нужно поплакать, то о тебе. Я увезу тебя отсюда домой.

— Мой дом здесь. И не нужны мне твои слезы. Переживу.

— Пойдем хоть поедим где-нибудь.

— Ты приезжаешь, слышишь самую страшную новость, а думаешь только о том, как набить желудок.

— Герои Гомера оплакивали своих павших товарищей, потом подкреплялись, чтоб хватило сил оплакивать дальше.

— Прекрати раздражать меня хрестоматийной чушью.

— И ты говоришь мне это здесь, в колыбели цивилизации.

— Ты находишься в стране, которая рождается в кровавых муках. Только героев нет — одни жертвы. Но время героев придет. Дай-ка мне сигарету. — Он глубоко затянулся и тяжело выдохнул. — Ты ведь не пострадал во время войны?

— В том смысле, что меня не покалечили? Да, это так, но героем не стал. Я только помогал натаскивать будущих героев.

— Эту дрянь когда-нибудь пробовал? — спросил он, доставая из буфета красного дерева бутылку арака.

— Нет, и пробовать не хочу.

— Ну и ладно, — ответил он и отхлебнул прямо из горлышка. Этикетка на бутылке была на трех языках: английском, иврите и арабском. Сделав глоток, он содрогнулся: — Жуткая дрянь, ты прав. — Взгляд его смягчился. — Ну что ж, не зря я тебя сюда затащил. Хоть полюбуюсь. Выглядишь ты хорошо, мой мальчик. Как человек, который умеет владеть собой. Подтянутый, в прекрасной форме. Тут есть люди, которые хотят с тобой поговорить.

— Я здесь никого не знаю.

— Какой у тебя контракт с твоим колледжем?

— А почему ты спрашиваешь?

— Ты мне сначала ответь.

— В этот колледж никого на постоянную работу не принимают. Там что-то вроде срочных курсов. Как только мой курс отучится, придется искать новое место. Неужели мне могут здесь предложить место профессора философии?

— Я ведь писал тебе, евреям нужна философия или нечто подобное. Нет, место профессора тебе не предложат. Пойдем перекусим где-нибудь. Ты прав, что толку голодать. Я надеюсь, ты не против кошерной пищи?

— Запрет на бифштекс с кровью в стране, где кровь льется рекой? А ермолка у тебя на макушке — это что, серьезно?

— Вполне серьезно. Что еще делает нас евреями, как не религия? Диаспора нас развратила. Семя, пущенное на ветер.

— Звучит как грех Онана.

— Можно и так сказать. Идем, тут за углом есть одно заведеньице. Ничего особенного, зато кошерное.

Окна полуподвального ресторанчика были распахнуты настежь. Музыку, транслируемую "Голосом Израиля", перебивали новости "Голоса Иерусалима". Шумная улица в шумном городе. Ресторан назывался "Двойра". Со стеклянных дверей посетителям улыбалась огромная разноцветная пчела. Внутри детский гомон — родители пичкали ужином капризных чад. Что ж, это было как раз то, что отцу необходимо видеть: жизнь продолжается. Он обменялся с хозяином грустным приветствием на иврите. Мы поели черных маслин, переваренную курицу с водянистым шпинатом и завершили трапезу апельсинами и черным кофе.

— Никогда не понимал правил кошерных, — сказал я. — Почему я не могу выпить кофе с молоком?

— Нельзя варить агнца в молоке матери, — ответил отец.

— Никогда не слыхал про такое блюдо.

— Со временем поймешь. Поживешь здесь месяц-другой — и все станет ясно.

— Но я не собираюсь здесь оставаться.

— Завтра поговоришь с нужными людьми. Они тебя ждут. И все про тебя знают.

— Откуда, скажи ради бога, то есть ради Иеговы?

— Эль. Здесь мы называем бога Эль. Я тебе все расскажу. Тогда, на похоронах, один человек из службы безопасности Хаима Вейцмана... — Он сделал паузу, допивая горький кофе. — Мы с ним разговорились о наших семьях, и тут всплыло твое имя. Оно показалось ему знакомым, но он сказал, что должен свериться с картотекой. Ты не представляешь, чего только у них там нет, в этой картотеке. Помнишь тренировочный лагерь, где вас обучали гражданские инструкторы?

— Понятно. Алеф, Бет и Гимел?

— Еврейского алфавита мы не касались. Я им должен позвонить, пока ты здесь. Я это сделаю утром. Знаешь, как на иврите "завтра"? "Махар". Звучит как боевой клич.

— Зовешь меня к оружию? Мне вовсе этот призыв не по душе. Я одной войной по горло сыт. Разбирайся сам. Я встречаться с ними не намерен.

— Встретишься, хотя бы из вежливости, не говоря уж о прочем. Ты не обязан, это верно, но подумай о твоей бедной матери. Бедняжка наша. Давай еще по чашечке кофе.

— Я черный не люблю. Есть способ его забелить, не нарушая заповедей Книги Левит?

— Обойдемся без иронии. Кофе с молоком попьешь утром. Я сам приготовлю. Я уже привык готовить себе завтрак. — Подняв лицо к потолку, а может, к своему Элю, он вдруг прокричал: — Ненавижу этих подонков! — И, уткнувшись в тарелку с апельсинными корками, прошептал сквозь слезы: — Бедная девочка. Она же никому никогда зла не делала.

Посетители ресторана не обращали внимания на его крики и слезы: тут привыкли к публичным оплакиваниям. Мы пошли обратно в квартиру отца. Я прыгал через две ступеньки, а он медленно плелся сзади, опираясь на перила, как на костыль. Когда мы поднялись наверх, он, еще не отдышавшись, провел меня в крошечную, похожую на чулан комнатенку, где стояла раскладушка, накрытая тонким одеялом, — прямо поход-

ная койка. Распахнув окно, я услышал доносившиеся с противоположной стороны улицы неразборчивые призывы "Голоса Иерусалима". Спал я как убитый, будто мой сон охранял сам Иегова.

На следующее утро, после обещанного кофе с молоком и черствого медового пирога, отец повел меня на могилу матери. Это было маленькое кладбище, устроенное в центре шумного города, неподалеку от редакции "Палестайн пост". Я не удивился, увидев могильный камень с эпитафией на иврите. Любимая жена покоилась под надписями, напоминающими бараньи кудряшки. На могиле лежал подсохший букетик гвоздик, вчерашний, как сказал отец. Он расплакался, а успокоившись, резко сказал:

— Тебе пора на встречу. Я позвонил, пока ты еще храпел. Аденоиды у тебя, что ли? Мы здесь рано встаем.

— Где я должен с ними встретиться?

— Дома. Я могу их угостить араком или кофе. Я хочу присутствовать.

— В качестве моральной поддержки? Скорбящий вдовец вдохновляет сына на ратные подвиги.

— Перестань, это не смешно и не красиво. Я все-таки твой отец.

Ровно в десять в квартиру вошли именно те трое, о которых я вспомнил: Алеф, Бет и Гимел. В Англии, в дешевых черных костюмах, они напоминали мне героев Кафки. Сейчас, в сандалиях, фланелевых брюках и расстегнутых у ворота белоснежных сорочках, под которыми виднелась густая черная растительность, они выглядели как типичные жители Средиземноморья.

— Шалом, старший сержант, — приветствовал меня Алеф, а может, Гимел.

— Доброе утро, господа. Сейчас перед вами гражданское лицо, магистр философии.

— Поздравляем, — сказал Бет.

Его акцент из центральноевропейского превратился в израильский. По-моему, раньше у него были скверные зубы, но теперь он сверкал ослепительной улыбкой. Неудивительно, Палестина — крупнейший производитель искусственных зубов.

— Итак, расскажите нам все, что вам известно.

— О чем?

— Вкратце, об истории вашей страны.

— Моя страна — Англия.

Отец печально покачал головой. Они тоже покачали головами, хотя и не столь печально. Отец достал бутылку арака и пошел на кухню варить кофе.

— Об Израиле мне известно немного, — сказал я, — например, что это — светское сионистское государство, провозгласившее независимость на следующий день после истечения на этой территории британского мандата, не помню какого мая 1948 года. Потом ООН приняла решение разделить Палестину на восемь или девять секторов, если не ошибаюсь, но евреи стали проникать в районы, закрепленные за арабами. Захватили всю Галилею, весь Негев...

— Ну, скажем, не весь, только до залива Акаба, — протянул Алеф.

— Мне также известно, — добавил я смелее, — об арабских беженцах, которых больше полумиллиона. Они в панике оставили свои дома после бойни, устроенной бандой "Штерн". Я слышал, что арабов силой выгоняют с насиженных мест, чтобы поселить там евреев.

— Что ж, неплохо, — ответил Бет. — Шестьсот тысяч — вот точное число беженцев. Бойня, как вы выразились, произошла в деревне Дейр-Ясин под Иерусалимом, а организация, которую вы спутали с бандой, называется "Иргун Цви Леуми".

Беседа стала чересчур напоминать защиту диплома в Манчестере.

— Я сюда приехал не в поисках работы и не для того, чтобы учиться, — сказал я. — Как и все в Англии, я черпаю информацию из газет.

— Занимающих по преимуществу антисионистские позиции, — уточнил Бет.

— Я заметил, что вы сочувствуете арабам, — сказал Алеф. — Хочу вам напомнить, что именно арабы убили вашу мать. Арабы никогда не соглашались с декларацией Бальфура, и ни одно арабское государство до сих пор не признало Израиль ни юридически, ни фактически. Евреев, живущих на своей земле, они считают чужаками, хотят, конфисковав нашу собственность, вышвырнуть нас отсюда или вообще уничтожить. Арабы — наши враги. Это ясно как божий день.

— Куда уж яснее, — сказал я. — Нищие крестьяне с женами и ребятишками — наши враги. Арабский ребенок, копающийся в грязном песке, — враг Израиля. Я думаю, скоро для них начнут строить концентрационные лагеря.

Вошедший с кофейником отец, услыхав мои слова, расплакался и затряс головой.

— Ну, тут вы перегибаете палку. Израиль делает для коренного арабского населения все, что в его силах. В Яффе евреи издают газету "Эль Йом" на арабском. Мы планируем ввести в школах арабский язык. Но арабские государства поклялись уничтожить Израиль, и у нас есть на это ответ. Или будет, — сказал Бет.

Все трое смотрели на меня так, будто этим ответом должен был стать я. Наконец Алеф сказал:

— Ваш отец говорил нам, что вы изучали философию.

— Я ее по-прежнему изучаю.

— А я основательно изучал только двух немецких философов. Один из них Кант, который различал феномен и номен. Номен, или "вещь в себе", отражает реальную суть происходящего, но мы можем судить о нем только через феномен, — поделился своими познаниями Алеф.

— Мне это прекрасно известно. Не пойму только, какая связь между Кантом и уничтожением арабов? Мне всегда становится не по себе, когда философия начинает пахнуть порохом.

— Хорошо. Тогда давайте вспомним Гегеля. Он полагал, что действительность, даже божественная, реализуется в государстве. Феномены, с которыми нам приходится сталкиваться при создании государства, не имеют ничего общего с номенами, по крайней мере мы так считаем. Убийство ребенка, копающегося в песке, есть феномен, качественно отличающийся от понятия о безопасности государства, но ради безопасности государства мы вынуждены иметь дело с такими феноменами.

— Это же чистой воды гитлеризм, — сказал я.

— Мы полагаем, что Гитлер не читал философских трактатов. Его мозг не способен был их понять. Правда, Гитлер обладал и многими другими качествами. — Была ли его усмешка знаком восхищения Гитлером? — Некоторые из его последователей действительно искали какое-то метафизическое обоснование для уничтожения нашего народа. Наверное, самым ценным даром является способность не ведать, что

творишь. Я просто пытаюсь донести до вас мысль, что мы должны смотреть на мир философски, а не давать воли чувствам.

Отец кивнул, разливая по чашкам кофе:

— Я ему говорил, что Израиль нуждается в философах.

— Это верно, очень верно, — подтвердил Гимел. — Но в первую очередь нам нужны отлично подготовленные вооруженные силы. — Брызги слюны на мгновение повисли в пыльном воздухе комнаты. Он резко повернулся ко мне. — Вам ничего не известно об израильской военной мощи. Сто тысяч мужчин и женщин уже в строю, и с каждым днем прибывают новые, обученные, из Восточной Европы, в основном из Венгрии. Нам хватило боевой выучки, чтоб разбить египтян. Я имею в виду подразделение "Хагана", экипированное в Чехословакии. Но мы не можем полагаться на Восточную Европу после того, как на нее наложила лапу безбожная антисемитская империя. Антисемитизм уходит корнями в далекое прошлое. Его не нацисты выдумали.

— Я всегда это подозревал, — ответил я.

Мое саркастическое замечание ввело собеседников в уныние, и все стали молча пить кофе. Алеф первым отодвинул свою чашку (настоящий старый английский фарфор) и сказал:

— Это название уже упоминалось, но я повторю: "Иргун Цви Леуми". Добавьте к ней боевиков из "Штерна" — и вот вам сила для упреждающего удара. "Штерн", кстати, скоро расформируют. Они действительно головорезы, готовые крушить все подряд. Но Израиль не может себе позволить бросаться людьми и оружием. Крупные сражения — расточительство, если вы еще помните, чему мы вас учили. Сороконожку следует поражать в голову, а не отрывать ей лапку за лапкой. Удары нужно наносить в самое сердце врага. Устрашать либо удалять его вождей. Совершать убийства, истреблять младенцев, насылать чуму, перекрывать воду, как делали наши предки в Египте. Библия — не самое плохое руководство для диверсантов.

Мне было уже не до смеха.

— Понятно. Вы переносите на местную почву то, чему учили нас в борьбе с нацистами.

— Совершенно верно. Мы уверены, что вы не позабыли отнюдь не джентльменские методы, которым мы вас обучили. Теперь, после некоторой переподготовки, вы могли бы передать свой опыт другим. Речь идет о выживании нашего народа.

— Прежде, помнится, речь шла о выживании всего человечества.

— Это правда, — ответил Бет. — Теперь задача у́же, но четче. Речь идет о выживании нашей собственной нации, о вступающих в жизнь мальчиках и девочках, и полнокровных сабрах, и хлипких иммигрантах.

— Что значит сабра?

Отец обрадовался возможности внести свою лепту в разговор:

— Сабра — еврей, родившийся здесь. Если я не ошибаюсь, происходит от "цабар", плод кактуса на иврите. С такой этимологией не поспоришь.

Бет кивнул.

— Значит, вы хотите привлечь меня к террористической деятельности? — спросил я.

Они дружно улыбнулись. В те годы этот термин еще не имел столь дурной репутации, как в конце XX века.

— Запугивать врага, подбрасывая "молотовский коктейль" в каирские кафе, посылать исламским лидерам бандероли с динамитом и прочее?

— Ну что вы, теперь мы стали умнее, — самодовольно заметил Алеф. — Вам предлагается трехгодичный контракт с правом продления, звание капитана с перспективой быстрого роста. Можете подписать бумагу хоть сейчас.

— Ничего я подписывать не буду, — ответил я и, повернувшись к отцу, добавил: — Ты попытался заманить меня в ловушку кровной мести, а я хочу мира. Покоя хочу.

Алеф, Бет и Гимел при слове "мир" скривились так, будто я произнес непристойность. Отец уткнулся в стену, не замечая бурого скорпиона, выползшего из-за массивного книжного шкафа, и зарыдал.

C*hwech*[1]

Мы подходим к самому важному событию в моем повествовании и переносимся в Ленинград. Людмила Джонс открывает дверь квартиры на улице Мизинчикова, 32, видит на пороге своего сына Реджинальда и в полном замешательстве произносит по-русски:

— Я не понимаю...

— Но я же писал тебе, — удивился Редж, — и открытку послал уже из Москвы.

— Я ничего не получила. — Она с трудом подыскивала английские слова.

— В Советской России налажена только техника ликвидации.

— Выражайся аккуратнее, — предостерегла мать, — никогда не знаешь, кто может услышать.

На площадке этажом ниже стоял сутулый старик в рубашке без воротничка и пиджаке без пуговиц. В руках он держал кувшин с широким горлом и, разинув беззубый рот, пялился на элегантно одетого иностранца. Пропустив сына в квартиру, мать заперла дверь. Так вот он каков, повседневный быт Советской России. Окно маленькой квадратной гостиной выходило на Фонтанку. У окна кресло-качалка, еще с дореволюционных времен. Шаткий стол, производства новой эпохи, накрытый грубой броской скатертью. На полу два выцветших розовых половика. Узкий коридор ведет на кухню без двери, а две комнаты, двери которых закрыты, наверное, спальни. Редж в который раз пожалел об утраченном обонянии: чтоб окончательно возненавидеть быт Советской России, не хватало неистребимого запаха капусты, лука и прокуренных стен. Как будто он читал русскую книгу в дурном переводе. Послышался горестный старческий кашель, и Людмила позвала дядю Бориса. Одна из дверей отворилась. Шаркая тапочками, к ним вышел старик, одетый в старую английскую пижаму и плащ, который служил ему халатом. Это и был двоюродный дедушка Реджа.

— Bore da. Ydych chi wedi codi eto? Ydw[2], — сказал старик.

— О господи, — только и смог вымолвить Редж.

— Я учу дядю Бориса валлийскому. Чтоб развлечь его как-нибудь.

1. Шесть (*валл.*).
2. Доброе утро. Что стоишь на пороге? Заходи (*валл.*).

Дед Борис был древний, как сам Господь Бог, с седыми немытыми волосами и нечесаной, пожелтевшей от табака патриаршей бородой. Он сидел, раскачиваясь в качалке, и одобрительно разглядывал внучатого племянника.

– Rydw i'n edrych yn well, on'd ydw i?[1]

– Ydych, yn wir[2], – ответила Людмила. – Реджинальд не говорит по-валлийски. Говори с ним по-русски.

– Как на фотографиях, что ты мне показывала. Похож, – сказал старик. – А где остальные дети?

– Как поживают твои брат и сестра? – спросила Людмила.

– Дэн торгует рыбой, а Беатрикс по-прежнему работает в министерстве иностранных дел. Спроси лучше, как я здесь очутился, – сказал Редж, с некоторым опозданием целуя мать.

Она успела немного оправиться от неожиданного визита и оживилась.

– Присаживайся, – сказала Людмила. – Что это ты привез?

– Настоящий английский чай, – ответил Редж и вынул из кармана плаща, брошенного на стул, жестянку.

– Смотри, дядя, английский чай. Побалуемся сегодня.

– И вещички у него неплохие, английские, – отметил старик.

– Ничего особенного, – ответил Редж, – от "Маркса и Спенсера".

– Маркс? При чем тут Маркс?

Редж сел к столу.

– Я здесь, что называется, в порядке культурного обмена. Сначала московское "Динамо" учило нас играть в футбол, а Большой театр – танцевать. Теперь я здесь с симфоническим оркестром Южного Уэльса и хоровым обществом Гламоргана. Это, конечно, не первоклассные ансамбли, но мы не собираемся развеивать советскую иллюзию о превосходстве их искусства над западным. Я приехал в качестве мужа одной из оркестранток и переводчика. Мы уже дали концерт в Большом зале Московской консерватории. Сам товарищ Сталин присутствовал. Следующий концерт здесь, в Ленинградской филармонии.

– Товарищ Сталин, – с благоговением произнес старик. – Неужели товарищ Сталин говорил с тобой?

– Он говорил со всей аудиторией. Встал, веско произнес: "Музыка – массам" – и сделал вот так. – Редж повернул левую ладонь большим пальцем вниз. – Мне показалось, этот жест означал, что нашу музыку массам слушать не следует. Сам он, правда, обратил внимание на симпатичную музыкантшу, исполнявшую главную партию ударных. Ему понравилось, как она звенела колокольчиками в "Картинках с выставки" Мусоргского. Ты, мама, конечно, догадываешься, о ком я.

– Евреечка, жена твоя. Где она сейчас?

– В "Астории", спит. Путешествие из Москвы оказалось довольно утомительным.

– А как Беатрикс поживает со своим евреем?

– Не нравится мне твой антисемитизм, мать. Боюсь, возвращение на историческую родину его усугубило. Как ты сама?

Вместо ответа Людмила отправилась на кухню заваривать чай. Она по-прежнему была хороша поздней зрелой красотой. В весе со времен

1. Хорошо я по-вашему говорю, правда? (*валл.*)
2. Правда, хорошо (*валл.*).

Уэльса не убавила. Полные стройные ноги обуты в старые шлепанцы, пышные седеющие волосы убраны в небрежный пучок на затылке. Даже выцветший синий в цветочек халат не портил общего впечатления. Вернувшись, она сказала:

– Тебе этого не понять. Здесь мой дом.

– Еды достаточно?

– Скоро будет лучше. Здесь с едой всегда было туго.

– Не скучаешь без нас?

– Надеюсь, что у Дэна все хорошо, а вы с Беатрикс всегда были непутевые, как говорил ваш бедный отец.

– А мы без тебя скучаем.

– Мне надо здесь присматривать за дядей Борей.

Когда она ушла в кухню, старик сказал:

– Славная она девочка. А мне уж недолго осталось.

Он вынул из кармана плаща мятую пачку папирос "Тройка" и прикурил от спички, чиркнув ею о задубевший ноготь.

– Эти папиросы вас погубят.

– Мокрота от них легче отходит, – закашлявшись, сказал Борис. – Лучше эту дрянь отхаркать, чем внутри копить.

– Поговаривают, что нашего короля сгубит курение.

– Все равно, эта гадость убивает не так быстро, как революция. Лучше уж от папирос помереть. На мой век хватило с избытком. В блокаду мы тараканов ели – как видишь, выжил.

– Многим не довелось выжить.

– Не довелось... Она снова замуж выйдет.

– Простите, я не понял?

– Мать ваша снова замуж выйдет. Она еще не старуха. Встречается с одним мужчиной, Григорием зовут. Она вдова, и он вдовец. Шеф-повар в "Метрополе".

– Опять повар. Невысоко она метит. У вас же в семье большой человек есть.

– Больших людей теперь не осталось. Всех больших людей в революцию убрали, ради этого ее и устроили. Ты, наверно, Юрочку имеешь в виду. Он в Москве и вечно занят.

Редж не стал рассказывать деду, что Юрий Петрович Шульгин находится в Ленинграде, но задерживаться здесь, да и вообще в Советском Союзе, не собирается. Редж затеял дело, в котором не признался бы даже матери. Она внесла в комнату самовар и блюдо с зефиром ее собственного изготовления. Стаканы с выгравированными на них серафимами уже стояли на столе.

– Дай тебе бог здоровья, ангел ты мой, – сказал старик.

Когда Беатрикс Джонс приехала в Гилверн навестить брата, на ней были темные очки, хотя для Южного Уэльса солнце – редкость, особенно в конце зимы. Она слегка прихрамывала, но была, как всегда, подтянута и элегантна, в серо-синем костюме, чулках с бронзовым отливом и белой норковой шубке, купленной на деньги свекра. Довольный тем, что сын женился не на шиксе, а на представительнице великой расы, он не скупился на подарки и чеки. Редж сидел на кухне и читал "Дон Кихота" в подлиннике. У раковины мыла посуду девушка, напевая "Ревнивое сердце, не бейся".

– Что, опять тебе досталось? – взглянув на сестру, спросил Редж.

— Даже больше, чем раньше. Сейчас-то почти прошло. — Она на секунду сняла темные очки, показав синяк под глазом. — Он стал очень нервным и агрессивным. Закончил, наконец, свой роман, но теперь не уверен в успехе. Я сказала, что в любом случае стоит отослать рукопись издателю.

— Кретин. Ты сама-то что об этом романе думаешь?

— Очень длинный. Тысяча двести машинописных страниц. Мы долго спорили по поводу названия. Я пыталась убедить его, что "Вопль к небесам" слишком претенциозно, и преуспела, правда, перед этим он разбил кофейник. От кофе он совершенно сатанеет. Мы остановились на "Крещении невинных". Моя идея, конечно.

— Звучит не очень по-еврейски.

— Будем считать, что это промежуточный вариант. Американские издатели очень придираются к заглавиям. Еще я настояла на посвящении Дэниелу Тэтлоу Джонсу.

— Попробовал бы он не согласиться, свинья неблагодарная.

Пухленькая пегая блондинка продолжала мыть посуду, покачивая бедрами и напевая себе под нос "Если б знала, что придешь ты, испекла бы я пирог", но при этом прислушивалась к разговору.

— И такие мужики попадаются, — вставила она на своем деревенском валлийском, услыхав последние слова Реджа.

— Спасибо за поддержку, Меган, — сказал Редж. — Но уверен, твоя тетушка тебя заждалась. Приходи завтра к пяти. Пока.

Состроив ему глазки, она ответила:

— Как же, я понимаю, вы тут вдвоем не соскучитесь. До скорого.

— Меган, это — моя сестра, миссис Рот.

— Правда сестра? — Она оценивающе оглядела наряд Беатрикс. — Шикарная шубка. Наверно, стоит будь здоров.

— Спасибо, Меган.

Меган, вертя попой и не переставая напевать "Ревнивое сердце", удалилась.

— Что у тебя новенького? — спросила Беатрикс.

— Ципа стала весьма предупредительна: прежде чем прийти домой, звонит по телефону. Как будто напоминает, что следовало в свое время сделать мне. Все по-старому.

— Я приехала к тебе не только как сестра, — сказала Беатрикс. — Найдется немного виски? Без содовой.

— Найдется, карточки уже отменили, — ответил Редж, вставая. Он вернулся с бутылкой "Джонни Уокера" и двумя стаканами. — Не понимаю, зачем ты с ним живешь, из мазохизма, что ли?

— По крайней мере, хоть Ципа занимается любимым делом, здесь бы она совсем закисла, — сказала Беатрикс.

После того как брат с сестрой поплакались друг другу в жилетку, Редж узнал, в чем состояла истинная цель ее визита.

— Ты хочешь сказать, что местный оркестр — это посредственность?

— Я понимаю, тебе трудно судить объективно, там твоя жена. Просто оркестр еще слишком молод, и дирижер у них не самый лучший. Это не мое мнение, я в музыке не разбираюсь, Мэллори из Совета искусств так считает. В процесс культурного обмена втянута целая сеть правительственных учреждений, в том числе и министерство иностранных дел. Ты можешь поехать с ними переводчиком. Русские тебе переводить

не позволят, но мы должны им показать, что у нас есть люди, понимающие русский.

– Я? – крайне удивился Редж. – Это невозможно. Они меня вышвырнут оттуда. Мне даже визы не дадут. Да и кто присмотрит за трактиром?

– Ты же мечтал от него избавиться.

– Верно, пока не заглянул в газету. Вакансий полно, но я вдруг представил, как меня сажают на скамью подсудимых за то, что я надрал уши ученику. Теперь все равны, и дети, и взрослые. Нет уж, пусть все остается как есть. Хозяин трактира – если вдуматься, звучит гордо. А в России я сразу в драку полезу. Здешние клиенты уже привыкли к моим вспышкам, им даже нравится: как-никак развлечение.

– Ты должен поехать, – сказала Беатрикс. – Помнишь Юру Шульгина? Юрия Петровича?

– Наш кузен. А-а, понятно. Он теперь, наверно, советский министр культуры. Значит, вся эта культурная катавасия – его идея?

– Естественно. Но дело не только в культуре. – Она шепнула ему на ухо еще кое-что.

– Откуда тебе это известно? – снова удивился Редж. – И если это правда, то зачем ему это?

– Он мне писал, зашифрованно, конечно. Этот шифр мы придумали в шутку, еще во время войны. Я тогда сказала, что, если он когда-нибудь захочет выбраться из России, пусть черкнет мне по-дружески письмо, в котором трижды будет использовано слово "петрушка". Когда я получила первое письмо с "петрушкой", я решила, что он просто вспомнил старую шутку. Потом я получила еще одно письмо. Там это слово повторялось четыре раза, он писал, что пора бы мне понять: петрушка – не только душистая приправа к блюдам, но и лекарственная трава, очень хорошо растет на влажной подмосковной почве. Советовал мне попробовать рыбу с петрушкой и даже водку с петрушкой. Написал даже ее латинское название – arum petroselinum.

– Как, ты говоришь, петрушка по-латыни? – спросил Редж. – Надо же, не знал до сих пор.

– А как по-гречески свиное рыло?

– Чушь какая-то.

– Твоя жена глупышка, – вспомнила вдруг Людмила, разливая ароматный английский чай. – Она думала, что петрушка – такая музыка.

Редж вздрогнул: он не говорил про петрушку, только подумал о ней, прокручивая в голове разговор с Беатрикс.

"Его начальница, – говорила Беатрикс, – уходит на пенсию в следующем году. Некая Мария Ивановна Шверник. Влиятельная дама. Думаю, она родственница Шверника из Политбюро. После ее ухода Юрий окажется под ударом. Он, как и все, боится Сталина. С его стороны было неразумно всю войну проработать на Западе. В общем, я полагаю, его можно будет спрятать среди валлийских хористов".

Мать Реджа наслаждалась крепким чаем с вареньем из крыжовника. Старик кашлял и шумно прихлебывал.

– Я, пожалуй, приведу ее к вам, – сказал Редж.

– Евреечку свою? Так она же по-русски не говорит, а я английский почти забыла. И по-еврейски не понимаю.

— Она тоже не говорит по-еврейски. Ты ведь ни мою женитьбу, ни брак Беатрикс никогда не одобряла?

— Вы всегда делали, что хотели. Я вам не мешала. Теперь я у себя дома, присматриваю за дядей Борисом.

— Приходите на концерт завтра вечером, вместе.

— Дядя Борис по ночам из дому не выходит. Ему вредно, воздух сырой и холодный. А кто же за трактиром без тебя присматривает?

— А тебе-то что за дело? Одна девчонка по имени Меган и женщина, которую зовут Гвен. Она раньше работала в "Ангеле" в Абергавенни, а потом ушла — хозяин к ней приставал. Там все в порядке.

— Да, все это в прошлом. Но отец твой хороший был человек.

— А я разве думал когда-нибудь иначе? Кстати, когда мне будет оказана высокая честь познакомиться с моим русским отчимом?

Мать вскинула брови.

— Я рассказал ему про Григория, — просипел старик.

— Он не умеет так вкусно готовить, как твой отец, но народ все равно к нему ходит. А я за дядей Борей присматриваю.

— Недолго тебе со мной маяться осталось, ангел ты мой. Непременно сходи завтра на концерт. Они ведь из самой Англии приехали. И Григория возьми с собой.

Редж посмотрел на часы. Полчетвертого.

— Рад, что ты в добром здравии, мама, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — Мне еще по делам надо. Я ведь здесь не как турист.

— Спасибо за чай, — сказала мать.

Встре́ча с Юрием Петровичем Шульгиным была назначена на Невском проспекте у третьего с северного конца фонаря. "Электрические яблочки, — думал, глядя на фонари, Редж, — работы Павла Николаевича Яблочкова". Юрий Петрович давно и нетерпеливо бродил взад-вперед в ожидании Реджа. На нем был изрядно поношенный, хотя и добротный костюм, пошитый в Лондоне. Родственника он узнал не сразу, но Редж, у которого в кармане лежала фотография Шульгина, окликнул его сам и весело помахал ему рукой. Щеки Юрия Петровича заметно округлились и порозовели, как будто начиная с 1945 года он работал в агропроме, а не в министерстве культуры. Шляпу, явно отечественного производства, он нахлобучил, как русские актеры, изображающие шпионов, по самые уши. Голубые, такие же, как у Людмилы, глаза беспокойно забегали. Обменявшись с Реджем крепким рукопожатием, он сказал:

— Здесь много народу, но это не страшно. Давайте прогуляемся.

Действительно, по случаю теплого весеннего денька на улицы высыпал чуть ли не весь город: мужчины в мешковатых костюмах и несвежих рубашках с расстегнутым воротом и девушки в невзрачных платьицах, но с модными кудряшками.

— Услуга за услугу, — сказал Редж. — Скажите честно, вам знаком хотя бы один из наших дипломатов, перебежавших к вам?

— Мое ведомство этим не занимается.

— Когда Беатрикс мне все рассказала, я удивился вашему упорству. Мне показалось, что вам грозит опасность.

— Говорите потише. Она объяснила вам ситуацию?

— Да, о покровительстве мадам Шверник мне известно. Простите, если мой тон кажется вам ироничным.

Юрий Петрович остановился и посмотрел Реджу прямо в глаза:

— Боюсь, я не совсем вас понимаю.

— Это, конечно, не мое дело, и мне на это совершенно наплевать, но я полагаю, наше министерство иностранных дел рассчитывает извлечь из вашего побега какую-то выгоду. Ну, скажем, дезинформация или нечто подобное.

— Я не имею никакого отношения к разведке, если вы на это намекаете.

— Ладно, не важно. У меня в кармане британский паспорт на имя Б. Р. Лоуренса. Вообще-то так зовут героя поэмы Браунинга "Монолог в испанском монастыре". Не обращайте внимания, просто мы с сестрой любим пошутить. Фотография в паспорте ваша, времен войны, с печатью министерства иностранных дел. Да вы почти и не изменились.

— А вот вы похудели.

— Тому виной проклятая сталинская тирания. Я есть не могу с тех пор как увидел, что творилось в Одессе.

— Да, ужасное время, и конца ему не видно. Хотя Сталин стареет, как и все. Когда-нибудь и его кондрашка хватит. Дай ему волю, он весь мир потянет за собой в могилу.

— Для этой цели требуется все воинство небесное, а туда ему путь заказан.

— Вы можете отдать мне паспорт прямо сейчас?

— Не боитесь? Ведь за нами наверняка следят. Вон, гляньте-ка на того типа с бегающими глазками в замызганном плаще.

— Наверно, вы правы. Я слишком наивен в делах такого рода.

— Но вы выбрали момент как нельзя удачнее. Пароход "Салтыков" полностью зафрахтован для оркестра и хористов. Один из хористов, позабыв, что в Москве не левостороннее движение, угодил под правительственный ЗИС. Прошу прощения за цинизм. Даже если при посадке пассажиров начнут считать по головам, все сходится. Уверен, что вы прибудете в Тилбери без всяких осложнений.

— Я намерен сойти в Хельсинки и попросить политического убежища в британском посольстве. Не забывайте, "Салтыков" — советский корабль.

— Говорите тише, — на сей раз напомнил Редж.

— Да никто нас не слышит.

— А теперь вот что, — сказал Редж. — Я прошу вас оказать мне взаимную услугу. Мне нужен один предмет из Эрмитажа.

Остановившись как вкопанный, Юрий Петрович широко распахнул голубые глаза, раскрыл рот и в течение десяти секунд не отрывал взгляда от Реджа, лицо которого оставалось невозмутимо серьезным. Интеллигентного вида старик горестно покачал головой, приняв их за гомосексуалистов, а проскользнувшая мимо юная парочка захихикала.

— Вы шутите, — вымолвил наконец Шульгин.

— Ничуть. Советское государство выставило на обозрение всего мира предмет, представляющий уникальную историческую ценность. Доблестные советские войска изъяли этот предмет у погибающего Третьего рейха, который в свою очередь похитил его у монахов-бенедиктинцев. Дело в том, что этот предмет принадлежит Великобритании.

— Ваше правительство уполномочило вас совершить преступление против Советского Союза?

— Совершить преступление? Это предстоит вам. А я планирую, если можно так выразиться, романтический акт возмездия. И совершаю я его по собственной воле, а не ради отечества, утратившего былое величие.

— Вы сошли с ума! Кража государственной собственности означает неминуемую смерть.

— Какое нам с вами дело до государства? Существует справедливость, которая не зависит от политического строя. Покидая Советский Союз, мы надежно спрячем этот предмет среди музыкальных инструментов. Наши таможенники, возможно, примут его за ударный инструмент. Кстати, в некотором роде это и есть ударный инструмент. Раньше с его помощью наносили удары по врагу.

— Тут без бутылки не разберешься, — пробормотал Юрий Петрович. — Так вы говорите о мече Аттилы?

— Меч с буквой "А" на клинке. В деревянных ножнах. Как нам обоим хорошо известно, сейчас он на выставке. Я бегал взглянуть на него сегодня утром, как только мы приехали из Москвы. Прежде чем найти зал трофеев, я пропахал по Эрмитажу три версты, как говаривали мои предки. Заодно посмотрел и Фаберже, и импрессионистов. План таков: вы, как представитель министерства культуры, показываете куратору свое удостоверение и письмо на официальном министерском бланке, в котором сказано, что несколько экспонатов с выставки приказано срочно перевезти в Москву. Ввиду спешности, о причинах которой вы говорить не уполномочены, некоторые предметы изымаются немедленно. Под расписку, разумеется.

— Мне дурно. Я должен присесть.

— Генералиссимус Сталин и большой злодей Лаврентий Павлович Берия, конечно, очень рассердятся. Но только на меня. По возвращении в Англию я все возьму на себя. Вы в этом не замешаны. Не стоит путать одно с другим. Вы не вор, вы всего лишь изменник. Простите, я хотел сказать, перебежчик.

— Я отказываюсь вам помогать.

— Интересно, почему? Из верности отечеству? Из страха? Или из-за того и другого? Опасаетесь, что такой поступок сделает ваш побег вдвойне подозрительным? Только мне на это плевать: вот возьму и брошу ваш поддельный паспорт в Неву.

— Когда? — тихо промолвил Шульгин.

— Вот это другой разговор. "Салтыков" отчаливает в 18.00. У нас будет достаточно времени после обеда.

— Никогда не предполагал, что так все сложится.

— Понимаю, но все имеет свою цену, а за свободу приходится платить дороже всего. Парадокс, но время учит, и это правда.

— А я вот ничего не понимаю.

Редж с Ципой занимали большой неудобный номер в гостинице "Астория". Двуспальная кровать была продавлена, подушки тонюсенькие, простыни светились от ветхости. Свет в бра над кроватью можно было погасить, только вывернув лампочки. Телефон барахлил, а когда снимали трубку, изрыгал непристойные звуки. Наступило время белых ночей, но жалюзи на окнах отсутствовали, поэтому спали они плохо.

Ципа толкнула в бок задремавшего Реджа:

— Ты во сне говорил по-русски. Звал кого-то по имени. Кажется, Марию.

— Правда? Звал? Ничего не помню.

— Не могу уснуть. Дай-ка мне сигарету. Я здесь не в своей тарелке, жутковато как-то среди чужих.

– Здесь не все чужие, – он зевнул. – Триста валлийских хористов и девяносто оркестрантов. Ты просто обложена друзьями.

– Сейчас я бы хотела обложиться одеялами, а не друзьями. По ночам здесь холодно. Наверно, ты звал во сне ту русскую девушку. Неужели война никогда не кончится?

Редж протянул ей сигарету и закурил сам. Во рту он ощущал скверный привкус.

– Изжога замучила. Четыре часа ждал обеда, и тот оказался несъедобным. – Затянувшись, он добавил: – В Москве я встречался с человеком по имени Петр Лаврентьевич Соколов. Раньше он жил в Свердловске. Теперь работает инженером-электротехником в столице. Он сам ко мне подошел после концерта.

– И что же?

– Он сказал, что Мария Ивановна умерла естественной смертью в тяжелую зиму 1947 года. Вот я и вспомнил ее во сне. Она работала врачом в лагере где-то в Сибири. Умерла от воспаления легких. Он видел патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти.

– Ну и?..

– Я ему не верю. Точнее, не верю тому, чему верит он. Такой худенький невзрачный человечек в сломанных очках. Интересно, что она в нем нашла?

– Как он узнал о тебе?

– Мое имя тоже стоит в программке. Ну да, ты же не читаешь по-русски. Убили ее, не иначе. А мы здесь бисер мечем перед этими свиньями.

– Простые люди ни в чем не виноваты, а мы играем для них. Пора бы тебе забыть ее.

– Я пробовал забыть и попробую еще раз. Она мне действительно нравилась – это не было попыткой отомстить тебе. Как подумаешь, что все мы только мусор, который можно легко смести, становится страшно.

– Гарри разделяет твое мнение. Он ведь и диплом на эту тему защитил. А теперь учит израильтян сметать арабов.

– Однажды мне приснилось, что она – это ты. Мы ведь не властны над нашими снами, в том мире действует наше второе "я". Сколько же в нас всего намешано. Сны иногда пугают. Наверно, вся наша жизнь – попытка пробудить второе "я". Не то "я", что ест, любит и творит музыку, а другое, сокрытое. Господи, спаси нас от нас самих.

Ципа теперь хорошо понимала Реджа и многое ему прощала.

– Давай постараемся уснуть. В десять репетиция. У русских в медных ударных слишком много олова. Надо было привезти свои.

– Мы и так под завязку три самолета загрузили. А мне еще надо подготовить вступительное слово.

– Для этого тебя сюда и послали. О господи, ты, наверно, опять что-то затеял. Подозреваю, что ты не ограничишься объявлением номеров. Пожалуйста, не делай глупостей, а то тебя отправят на Лубянку или еще куда подальше.

– Мы им покажем, что такое настоящая музыка. – Он оживился, затушил сигарету и, обняв жену, процитировал: "И в тот час, что они пировали..."

– Не приставай. Мне надо выспаться, иначе утром я буду страшная, как ведьма.

– Нет, не будешь. Никогда. А сейчас подходящий момент.

– О чем ты?

— Просто чувствую, что момент подходящий.

Они уже крепко спали, когда раздался громкий стук в дверь. Редж проснулся и заботливо обнял нагое тело жены. Она распахнула карие глаза, спросонок не понимая, где они.

— Нам ничего дурного не сделают, — тихо сказал он. — Лежи спокойно. И молчи. Будто нас нет.

За дверью послышалось сопрано с ярким валлийским акцентом. Звали мистера Джонса. Завернувшись в простыню, он с облегчением подошел к двери и высунул голову. Три девушки-хористки пришли жаловаться на завтрак, состоявший из слабого чая и подсохшей кровяной колбасы. Они требовали, чтобы Редж поговорил с администрацией.

Ленинград славен своими архитектурными шедеврами. Гастролеры надеялись, что им предоставят бывший зал Дворянского собрания во дворце, построенном Росси, но выступать пришлось в зале Филармонии, который вмещал больше слушателей. Редж, стоя на лестнице, наблюдал, как собирается публика. На улице накрапывал дождик. Ленинградцы были одеты бедно, но их дружелюбные лица сияли в предвкушении духовной пищи. Ципа права: простой народ — жертва кучки палачей. Появилась мать Реджа, одетая лучше остальных, в заграничное платье. Ее сопровождал приземистый мужчина средних лет в кепке. Он крепко обнял будущего пасынка, после чего у Реджа рассеялись последние сомнения относительно задуманного. Первым номером программы шли "Картинки с выставки" Мусоргского, переложенные Равелем для оркестра.

— Он надеется, — сказала мать, указывая на своего спутника, — послушать приятную музыку.

— "Музыка — массам!" — произнес Редж по-русски, к великому удовольствию Григория, который ничем не напоминал бы покойного отца, если бы не исходивший от него запах подгоревшего масла и сходство во взгляде, беспокойном, как у человека, привыкшего одновременно распоряжаться и следить за множеством кастрюль.

Редж проводил их до кресел в партере и, придав лицу надменное, как у Григория, выражение, направился на сцену. Хор, занятый только во втором отделении концерта, ожидал за кулисами. Оркестранты уже заняли свои места и настраивали инструменты. Поднявшись на сцену, Редж приветственно помахал скрытой за скрипачами и духовиками Ципе в красивом черном платье с глубоким вырезом. Ципа ответила ему негромкой барабанной дробью. Румяные отпрыски валлийских крестьян резко отличались от оркестрантов, в основном бежавших из Европы евреев. Довольную англосаксонскую физиономию, лишенную всяких признаков вселенской скорби, здесь трудно было увидеть. Редж присел рядом с дирижерским пультом, чувствуя себя немного неловко в окружении фраков, хотя и весьма потрепанных. Послышалась мажорная барабанная дробь. Ей ответил бас-тромбон. Граждане Советской России до отказа заполнили зал. Редж надеялся, что его закаленный войной голос долетит до каждого. С потолка свисали микрофоны: концерт транслировался по радио, значит, его услышат не только в зале. Наконец появились Меир Гиллон, первая скрипка, и дирижер Джек Этеридж. Их приветствовали жидкими аплодисментами. Русские не щедры на похвалу, особенно авансом. Настало время произнести вступительное слово.

— Товарищи! Граждане как свободного, так и несвободного мира! — обратился Редж к залу. — Наш оркестр был недавно создан в Великобритании. Он состоит из людей, семьи которых пострадали во время гитлеровской агрессии, хотя в нем заняты и те, кто имел счастье родиться в свободной стране. Мы открываем концерт посвящением Лондону, написанным тогда, когда этот великий город являлся столицей великой империи, которая сейчас упразднена правительством социалистов. Сочинение называется "Увертюра Кокни". Кокни — это сказочная страна изобилия и беспечности, а само слово "кокни" происходит от немецкого "пряник". В этой сказочной стране складывают дома из пряников. Но в английской традиции этим же словом довольно презрительно называют лондонский простой люд, а в буквальном переводе кокни означает "петушиные яйца".

Этеридж поправил очки и с сомнением поглядел на Реджа с высоты дирижерского пульта: в Москве его речь была гораздо короче.

— Итак, "Увертюра Кокни" сэра Эдварда Элгара.

Этеридж взмахнул палочкой. Скрипки дружно взяли нижнее соль и понеслись вверх. Концерт начался. Вкушая бравурную мелодию, прославляющую великий город, публика озадаченно соображала, что же такое петушиные яйца. Не меньшей загадкой стала и симпатичная девушка, лихо заправлявшая ударными. По окончании увертюры слушатели неуверенно похлопали, видимо пытаясь понять, чем эта капиталистическая музыка могла заслужить одобрение партии и правительства. Редж снова поднялся и пояснил:

— Медленная часть в середине произведения, прослушанного вами, рассказывает о Карле Марксе, раздумывающем о прибавочной стоимости в тиши библиотеки Британского музея.

После этой отсебятины он объявил следующий номер — "Картинки с выставки" Мусоргского в аранжировке Равеля — и ушел за кулисы, прежде чем труба взяла первые такты "Promenade".

Напротив входа в зал Филармонии была стоянка такси, но Реджу пришлось постоять в очереди под моросящим дождем не менее четверти часа, прежде чем он сел в машину и попросил угрюмого водителя отвезти его на улицу Мизинчикова, 32. Таксист, куривший папиросу за папиросой, согласился подождать его не более пяти минут. Однако целых три минуты ушли у старого дяди Бориса на то, чтоб отворить дверь. В руках у дяди был томик Горького. Он читал, лежа в постели. "Непредвиденные обстоятельства, — объяснил Редж, — строго секретно". Он оставит в спальне матери один очень ценный предмет, о котором она пока не должна знать. Редж не мог придумать, куда бы его запрятать. Старик кашлял и бубнил, какой замечательный писатель Горький. В спальне матери, крошечной, но уютной, стоял грубо сколоченный комод. В верхнем ящике лежали вещи, напоминающие о Манчестере и Южном Уэльсе, фотографии и документы, перевязанные шерстяной нитью. Наконец Редж нашел, что искал, радостно обнял источавшего чудовищный запах дядю Бориса и выскочил на улицу. Таксист не уехал, но стал жаловаться, что у него кончились папиросы. В Филармонию Редж вернулся, когда хористы уже заняли места на сцене. Юноши в черных фраках и девушки в белых платьях странно смотрелись на фоне красного серпасто-молоткастого флага, растянутого на заднике. Приглашенные для следующего номера ленинградские духовики, нахмурив брови, уткнулись в партитуры. Редж с ходу начал:

— Сюжет произведения, которое вы сейчас услышите, взят из Ветхого Завета, первой и самой большой части Библии, которая в вашей стране официально запрещена. Поэтому вы можете следить только за светским сюжетом и не обращать внимания на упоминания о богах. Итак, древние евреи порабощены Валтасаром, бородатым вавилонским тираном. Впрочем, и в наше время многие народы не избежали такой участи. Но не важно, бородатый это тиран, усатый или безусый — рано или поздно наступает час расплаты. Письмена, начертанные на священной стене, гласят, что тирана ожидает высший суд и меч карающий падет на его голову. Эту музыку написал не еврей. Пусть этот факт послужит утешением для тех, кто страдает антисемитизмом. Ее написал человек нерелигиозный, мой соотечественник, но она несет благую весть всему миру. Это клич свободы. Так пусть весь мир восстанет против тиранов!

Он ожидал услышать все что угодно: ропот недовольства, свист, крики негодования, но только не бурные аплодисменты. Некоторые даже прокричали "ура". О боже, эти люди с промытыми мозгами и не заподозрили, о ком он говорил. Ведь Гитлер, который сдох в своем берлинском бункере, тоже был усат. Борьба за свободу — это прекрасно, только не в Советской России. Редж готов был выпалить прямо в зал: "Будь проклят Сталин, убийца женщины, которую я любил!", но перед его глазами вдруг встали образы лоснящегося Черчилля и прилизанного Энтони Идена. В следующую минуту он спиной ощутил исполненный ужаса взгляд жены, внезапно проникшей в тайны русского языка, и, опустив голову, сошел со сцены под бурные аплодисменты и одобрительные возгласы. Он заперся в уборной (так здесь называли туалет), борясь с подступившей тошнотой, и ощутил неуместное сексуальное возбуждение. До Реджа долетел приглушенный звук первого тромбона, вслед за которым теноры и баритоны хора грянули: "Так говорит Господь устами Исайи: сыновей, что родишь ты, заберут у тебя и будут они евнухами в доме царей вавилонских. Рыдай, рыдай, ибо день гнева Его настал".

Сидя на стульчаке и вытирая со лба холодную испарину, Редж думал о том, что все в этом мире имеет оборотную сторону. Вавилоняне, которые тоже считались евреями, молились золотым и медным истуканам, а ленинградские умельцы смешали медь с оловом и низвели священный металл до утильсырья. Богохульство здесь в чести. Ударный инструмент, который он похитил, помечен загадочной буквой "А". Гобой взял чистое ля (в музыкальной грамоте "А"), но та же нота прозвучала совсем по-другому, когда ее повторил оркестр. Звуки ударных нестройно спорили с духовыми, как тезис с антитезисом. Мысли путались. Он уже начал сомневаться, а нужен ли ему этот чертов меч.

Следующие номера Редж объявлять не пошел: валлийские и английские народные песни а капелла и заключающий программу национальный гимн Кимру. У матери последняя мелодия наверняка вызовет ностальгические слезы. Он подумал о том, что никогда больше не увидит свою мать.

Стремление Юрия Петровича Шульгина во что бы то ни стало покинуть Родину казалось вполне естественным, но об истинных его причинах оставалось только догадываться. Ему не грозило наказание за долгосрочное пребывание на загнивающем Западе, поскольку он находился там в качестве сотрудника советского посольства. Более вероятным объ-

яснением его неожиданного бегства представлялось то, что в свое время Шульгину было приказано докладывать органам госбезопасности о похождениях Марии Ивановны Шверник, которая была замечена в лесбийской связи с женой китайского посла (для китаянки однополая любовь была естественна в силу культурной традиции). Китайцы могли использовать эту связь в целях влияния на советскую политику на Дальнем Востоке, ведь родственник Марии Ивановны входил в Политбюро. Сталин Швернику доверял, но, как часто бывало, эти доверительные отношения становились единственным и достаточным поводом для будущей опалы и даже ареста. На самом деле должность Шульгина в министерстве культуры являлась прикрытием для слежки за беглым английским дипломатом по фамилии Поттс, который занимал пост главного редактора советского журнала для англоязычных стран "Советские новости". Подозревали, что англичанин – западный агент и использует журнал для пересылки шифровок в виде вольных переводов Пушкина. Возможно, что и подчиненные самого Юрия Петровича заподозрили его в однополой связи и доложили об этом куда следует.

Как бывший дипломат, Шульгин располагал секретными сведениями о намерениях Советского Союза в отношении Западного Берлина. Решили, что он слишком ценен, чтобы оставлять его в утратившей былое влияние Британии, поэтому по просьбе дружественной американской разведки переправили в Вашингтон. Редж получил благодарственное письмо от шефа британской разведки Эм-Ай-6, переданное через Беатрикс. В письме говорилось, что Редж образцово выполнил сложную миссию по переправке ценного агента Шульгина на Запад. На самом деле все выглядело куда прозаичнее, чем в шпионских фильмах, где перебежчиков задерживают на сходнях парохода. Для Беатрикс передача письма брату стала последним поручением министерства: она оставила работу в Лондоне, чтобы уехать с мужем в Нью-Йорк.

Что касается похищения из Эрмитажа, то операция прошла на удивление гладко. В течение нескольких месяцев и Редж, и Советское правительство, считавшее, что решиться на такое мог только идиот-самоубийца, хранили полное молчание. Советский Союз не желал выставлять себя на посмешище перед целым миром, а у Реджа были на то свои причины. Он ничего не рассказал даже жене. Обнаружив среди своих музыкальных инструментов старый меч в ветхих деревянных ножнах, Ципа приняла на веру слова мужа: это русская царская реликвия, что-то вроде иконы, которую он по дешевке купил в антикварном магазине, чтобы с выгодой перепродать в Англии.

Уже дома, когда Ципа уехала на очередные гастроли, однажды вечером, после закрытия бара, Редж, оставшись совсем один, с благоговением и некоторым страхом взял в руки Каледвелч. Если король Артур действительно существовал, он держал в руках именно этот меч, поднимая свое воинство на защиту христианской империи от варваров. Теперь меч принадлежал только Реджу. Он поглаживал старый клинок, и в нем сильнее разгоралась страсть, но это не было вожделением ценителя старины или искусства – скорее похоть, сродни той, которую вызывала картина Валтасарова пира.

Меч был длиною почти в половину его роста. Края его затупились и зазубрились, но острие не пострадало. Металл клинка потускнел от времени и условий, в которых он хранился. Редж даже подумал, не вернуть ли ему былой блеск с помощью чистящего порошка, но затем решил,

что в начищенном виде меч утратит прелесть старины и не будет внушать священного трепета. Ясно различимая на клинке буква "А", украшенная гравировкой, при электрическом освещении тускнела, так же как и металл, словно пугаясь неестественного света. Редж решил, что следует покончить с суеверием и прекратить вздыхать над ним, как над живым существом. В конце концов, это просто кусок старого кованого железа, а не волшебная палочка, прикоснувшись к которой можно творить чудеса. Деревянные ножны — вообще трухлявый брусок ясеня без всяких украшений и надписей и явно более позднего происхождения. Но, ложась спать, Редж все-таки не расставался с мечом. Дурных снов он не навевал, да и мыслей никаких, если не считать воспоминаний об американском фильме про рыцарей Круглого стола. Вернув Каледвелч из долгого изгнания, Редж испытывал физическое удовлетворение и упивался легкой победой над двумя ордами варваров. Оставалось только проверить, входит ли он в каменные ножны, открытые при раскопках. Ему предстоит совершить таинство вложения легендарного меча в его изначальное хранилище. От этой мысли Редж испытывал неведомый ему дотоле религиозный трепет. А вдруг то, что люди называют совпадением, есть часть божественного или, напротив, дьявольского замысла? Случайное совпадение? А что, если это не больше чем кусок древней, покрытой ржавчиной стали?

Редж дождался ясной лунной ночи, одолжил у брата Меган велосипед и, уложив меч на руль, отправился к месту раскопок. Бросив велосипед у разбитых ворот, он вынул меч из ножен. Клинок заблестел в лунном свете, словно соскучился по небесам за много веков, проведенных в темных подземельях. Редж поднял меч, взмахнул им раза три и, спотыкаясь о рытвины, пошел к развалинам. Ухнул филин. Часы на колокольне ближайшей церкви пробили полночь. Редж спрыгнул в раскопанную яму и отыскал каменную плиту с надписью GLAD ART REG.

Ему вдруг пришло в голову, что надо прочесть молитву или какое-нибудь заклинание, но он отогнал эти мысли и, затаив дыхание, вложил меч в каменные ножны. Меч вошел легко, по самую рукоятку, будто жаждал вернуться в давно покинутый дом. Теперь никаких сомнений в его подлинности не оставалось. Но когда Редж потянул оружие на себя, то с удивлением и страхом обнаружил, что не может вытащить его из каменной плиты. Это под силу лишь тому, кто обладал правом извлекать его из каменных ножен, rex quondam et futurus[1]. Да нет, чушь все это. Редж попробовал еще раз, но меч не поддался. От напряжения Редж взмок. Он опустился на колени и несколько раз глубоко вздохнул. Повертев рукояткой, он наконец понял, что существует угол поворота, при котором меч легко выходит из камня. Всему есть объяснение, чудес не бывает. Редж усмехнулся, но, увидев пролетевшую над самой его головой летучую мышь, снова замер от страха, как будто ему явился волшебник Мерлин. Наверняка внутри каменных ножен был стопор. Когда рукоятку поворачивали вправо, лезвие от него освобождалось. Трудно поверить, что люди во времена темного Средневековья могли быть столь изобретательны. А Мерлин, если такой существовал, был, вероятно, великим фокусником. Дрожа всем телом, Редж обеими руками сжимал Каледвелч. Он уверял себя, что, несмотря на темноту, различает зазубрину у

1. Правитель настоящего и будущего (*лат.*).

самого острия, которая, скорее всего, и цепляется за каменные ножны. Все просто, ничего сверхъестественного.

Домой он вернулся усталый, запер дверь и поставил меч вертикально на стул. Меч не устоял и с глухим лязгом упал на пол. Редж бережно поднял его и вслух извинился. Он обращался с мечом, как с дорогим существом, говорил с ним, как с любимым сиамским котом. Жаль, что в этот символ королевской власти нельзя вдохнуть жизнь. В современном английском языке слова, обозначающие предметы, утратили родовую принадлежность, если не считать кораблей. Меч Зигфрида носил мужское имя Нотунг, хотя в немецком "меч" – среднего рода. Оставив попытки разгадать, какого рода Каледвелч, по вечерам Редж читал ему вслух на каталанском роман из библиотеки Дон Кихота "Тирант Белый", который начинается словами: "Во славу Господа нашего Иисуса Христа, да святится Имя Его, и Пресвятой Богородицы Девы Марии". Стенные часы на кухне били так громко, что, казалось, весь протестантский Уэльс содрогался от этого папского приветствия. А Каледвелч, хоть и оставался предметом неодушевленным, наслаждался текстом, как кот жирными сливками. Редж не считал себя сумасшедшим. Днем он безропотно отдавал дань унаследованной от отца отнюдь не рыцарской профессии.

Когда Ципа приехала с гастролей домой и Редж ей все рассказал, к ней вернулись подозрения насчет душевного здоровья мужа.

– Послушай, тебе следует посоветоваться с доктором.

– С доктором? Если только с профессором археологии. По-твоему, святая Елена была сумасшедшей, когда нашла крест, на котором был распят Христос? Пойми, это – подлинная вещь, меч настоящий. Ты ведь настоящий, правда? – сказал он, обращаясь к мечу.

– Унеси эту проклятую штуку из дома. Сдай ее в музей.

– Он уже побывал в музее в безбожной стране и в монастырских подвалах насиделся. Он слишком долго провалялся без дела, а теперь будет освящать наше супружеское ложе.

– Господи! Что ты несешь?

– Он будет лежать под подушкой.

– Ну уж нет, там ему точно не лежать. Ты понимаешь, что украл его? Нас всех могут за это посадить.

– Украл? Это русские его украли у немцев, а сами прикрываются болтовней о репарациях. Ты не путай. Бенедиктинцы хранили его по просьбе британцев, которые о нем забыли. Теперь я, осознавая всю его ценность, храню меч для своего народа. – И он поклонился оружию.

– Если он принадлежит британскому народу, отдай его королю или премьер-министру.

– А они вернут его русским и еще извиняться станут. Нет, я говорю совсем о другом народе. Когда англо-норманны называют себя британцами, это звучит оскорбительно для кельтов.

– Тогда отдай его валлийцам.

– Валлийцы смешались с англо-норманнами. Валлийской нации больше нет.

– Почему? Есть кучка одержимых, которые орут всякую чушь, грабят банки и доводят старушек до сердечного приступа. Порадуй их.

– Да кто они такие, чтобы представлять Британию? Шайка горячих голов? Затеяли игру от нечего делать, когда сидели в Гибралтаре. Нет уж. Каледвелч будет храниться у меня, а когда мир излечится от безумия, он снова станет символом веры и рыцарства.

— Подонок Генрих Гиммлер тоже любил рассуждать о рыцарстве. Он считал рыцарством уничтожение евреев. Надеюсь, вы будете счастливы вдвоем.

— Счастливы? При чем тут счастье? Что ты имеешь в виду?

— Если берешь эту чертову железяку к себе в постель, тогда и трахайся с нею. Или я, или она — выбирай.

— Ты все равно уйдешь греметь своими трещотками в такт с пархатыми, которых поперли из Европы.

Ципа, все это время барабанившая пальцами по столу, присела и посмотрела ему прямо в глаза:

— С пархатыми, говоришь? Очень в духе твоей матушки.

— Прости, я не хотел, — устыдился Редж, почувствовав себя последним мерзавцем. — Не знаю, что на меня вдруг нашло. Я повешу его на стену. Или уберу в шкаф, вместе с Библией. Прости, я не знаю, как у меня язык повернулся такое ляпнуть.

— На следующей неделе у меня концерт в Кардиффе. Я сама отвезу меч в русское консульство.

— Только попробуй, я тебя им же и прикончу. — Он снова смутился и обмяк. — Конечно, я не сделаю этого. Но и ты ничего не сделаешь. Я спрячу его подальше, пусть лежит среди бочек в подвале. Ты его больше не увидишь. Действительно, подумаешь, железка какая-то. — Он явно кривил душой, и она это поняла.

— Ты — врун, а когда не лжешь, то просто скрываешь правду. Да еще, оказывается, и антисемит.

— Нет, нет же. Я люблю тебя. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я безумно тоскую. — Он протянул к ней руки. — Вспомни, тогда ночью, в Ленинграде, я говорил тебе правду.

— Что ты тогда говорил?

— Я говорил, что следует тщательно подбирать слова, потому что боги любят ловить нас на слове. Я сказал тогда тебе: вот подходящий момент. Я это чувствовал.

Ципа глубоко вздохнула и ударила кулаком по деревянным ножнам. Лежавший на столе меч подпрыгнул.

— Когда я читаю ноты и считаю паузы, мне все ясно. Иногда мне кажется, что и твои мысли я могу прочесть, как ноты, но потом вижу, что я тебя совсем не понимаю.

— Ты должна понять главное: я боготворю тебя. Идем ляжем. У нас есть час до открытия бара.

— И после всего сказанного ты надеешься, что я отвечу согласием?

— Я спрячу его в подвале. Ты его больше никогда не увидишь.

Как только Ципа уехала в Кардифф репетировать, а затем играть концерт Бриттена и симфонию Брамса, Редж извлек из подвала Каледвелч, принес ему извинения за непочтительное обращение и смазал парафином. Устроив меч в кресле, почитал ему вслух "Смерть Артура" Мэлори. Редж ликовал, думая, что такое чувство, верно, испытывал император Константин, читавший Евангелие прямо в седле, в которое был вбит гвоздь от подлинного Распятия. Как странно, что предмет, описанный Мэлори, находился теперь в кресле Реджа, который знал секрет, неизвестный Мэлори, — дырочка, просверленная в клинке примерно в дюйме от острия, благодаря которой каменные ножны не выпускали меч. Редж владел истиной, освобожденной от мифического налета, доказательством подлинности меча, владел предметом, кото-

рым мог любоваться дважды в день. Однажды он проболтался о своей тайне вертихвостке Меган. Новость не произвела на нее никакого впечатления. "А что толку-то от него?" — спросила она в лоб, и Редж не нашелся что ответить.

Через два месяца после возвращения из Ленинграда Ципа точно знала, что беременна. По утрам ее мучила тошнота, и ей не требовалось медицинского подтверждения: наконец-то ее организм вел себя так, как предписано природой. Она занялась подсчетами, чего раньше никогда не делала, и как-то за завтраком, запихивая в себя яйцо всмятку, сказала об этом Реджу. От радости он пустился в пляс.

— Я же говорил, — кричал он, — что момент подходящий! Тут не обошлось без белых ночей и перцовки! — "Или того, что припрятано сейчас в подвале среди пустых бочек из-под пива", — подумал он про себя. — Хочешь прилечь, милая? Я принесу тебе кофе в постель. Отмени все репетиции. Никакого барабанного боя, договорились?

— Брось. Если верить медицинской энциклопедии, это случится не раньше чем через двести семьдесят четыре дня.

— Совсем недолго ждать. Ребеночек уже есть, а барабанный грохот ему вреден.

— Ты уверен, что это мальчик? Может, скажешь еще, что в Ленинграде тебе было откровение?

— Вообще-то мне все равно кто, просто каждый мужчина мечтает о сыне. Но главное — это мечта о новом поколении, которое не унаследует наших грехов.

Ципа посерьезнела и выпрямилась.

— Ты понимаешь, что это — еврейский ребенок? Отец не в счет. Напишу-ка я матери, хотя она мне и не пишет. Родители обрадуются.

— Сначала прекрати грохотать. Напиши матери, что уйдешь из оркестра.

— Через две недели у нас концерт в Альберт-холле. Я не могу отказаться. Там две большие партии, в "Петрушке" и в "Болеро" Равеля, где ударные звучат двадцать минут без перерыва. Не волнуйся, со мной все будет в порядке.

— Я тебе запрещаю.

— Отстань.

Мне довелось послушать, как моя сестра орудовала на своей музыкальной кухне. Я приехал в Лондон решать "террористский вопрос": капитан в штатском с британским паспортом в кармане получил задание организовать доставку бомбы с часовым механизмом в иракское посольство. С Ципой мы встретились в номере гостиницы на Гросвенор-сквер, которую облюбовала компания "ЭльАл", а палестинские арабы уже успели использовать как тренировочный полигон, к счастью без последствий. Она заказала в номер бифштекс с кровью. Я заметил, что это не кошерно.

— Ты что, ортодоксом стал? — удивленно уставилась она на меня. — Не помню, чтобы Левит запрещал есть конину, а это, несомненно, конина.

— Приезжай в солнечный Израиль. Там знают толк в настоящем мясе. Нет, серьезно. Папа жаждет увидеть внука. А если ты родишь там, он просто будет на седьмом небе от счастья.

— Я знаю. Он мне писал. А я писала матери. Почему он о ней ни словом не обмолвился? Она что, ушла от него?

Женское сердце не обманешь.

— Боюсь, что она ушла от всех нас.

— О боже. — Ципа отодвинула от себя тарелку с кониной. — Когда? Что случилось?

— Сердце, — соврал я. — Отец побоялся сообщить тебе сразу, не хотел расстраивать. Оправдывался тем, что у тебя может выкидыш случиться.

— Так вот почему ты тогда так неожиданно уехал.

Она не плакала. Как и я, сестра провела не много времени в обществе матери. Отсутствие ее теперь воспринималось скорее как небытие, чем как смерть.

— Значит, отец один остался. Шаркает по кухне, сам себе кофе варит, — сказала она печально, словно не раз видела эту картину своими глазами. — Ты с ним живешь?

— Нет. Но часто навещаю. Жить я обязан в казарме.

— Стыдно признаться, но я не чувствую утраты. Только шок. Они же всегда были вместе. Для отца это страшный удар.

— Мысль о тебе вернула его к жизни. Ему бы стало еще легче, если бы ты приехала. Но у тебя своя жизнь. У тебя есть Редж.

— Редж сумасшедший.

— Ты всегда так говорила.

— Нет, правда, он совсем спятил. Разговаривает с этим чертовым мечом, как с собственным ребенком, зачатым от Святой Троицы.

— С мечом? Ну-ка, расскажи поподробнее.

Она рассказала.

— Да, бедовый парень, — задумчиво протянул я. — И на кой же дьявол он это сделал?

— Я как-то открыла их энциклопедию. Хотела посмотреть статью "Беременность", а книга сама раскрылась на слове "Бенедиктинцы". Я прочла там про британский королевский дом и монастырь в Монте-Кассино. Редж всегда болтал о какой-то семейной миссии, о незыблемых ценностях, хотя их семейка — самое непредсказуемое, что я когда-либо наблюдала. В общем, он прячет меч в подвале и навещает свое сокровище по нескольку раз на дню.

— Началось это с Испании, верно? Незыблемые ценности, честь и святой долг. Кто бы знал, что такое абсолютная ценность! Если он и спятил, это помешательство сродни донкихотству. А рассуждает он как настоящий иудей.

— Редж? Не смеши меня. — Кажется, ее рассердили мои слова. — Он бредит христианским рыцарством и жаждет крови варваров и язычников.

— Осквернающих святыни, — уточнил я, — в том числе и сарацинов. Между прочим, "Освобожденный Иерусалим" написан христианским поэтом.

— Бедная мама. Бедный отец. — Ее женская интуиция и тут не подвела, связав смерть матери с Иерусалимом. — Вы обязаны были сказать мне сразу. Ты мне правду сказал про сердце? Я иногда тоже газеты читаю. Там часто пишут о евреях, убитых арабскими бомбами. Скажи мне правду.

— Это случилось в Иерусалиме. Любой человек умирает от остановки сердца. Она была до смерти напугана, вот сердце и не выдержало.

Отец страшно переживал. Зона военных действий — не место для женщины. Поэтому он и не хотел, чтобы ты примчалась туда, как я.

— Значит, ты сейчас в увольнительной?

— Не совсем. Я не участвую в военных действиях. Служу в частях командос, учу других, что надо делать. Мне приходилось уже руководить нашим десантом в Рас-Буруне, но об этом в газетах не пишут. А здесь мне предстоит небольшая миссия на Квинсгейт, 21. Это называется террор, то есть запугивание врага. О работе больше не спрашивай.

— И не собираюсь. Ты когда-нибудь слышал о Хаиме и Деборе Кишон?

— На арабские имена не похоже.

— Они пианисты. Я с ними играла Бартока. Хаим переложил концерт Равеля для двух фортепиано и ударных. Они работают и над другими вещами. Это так необычно — фортепиано и ударные. Бриттен пишет для них кое-что.

— Что ж, неплохая возможность для тебя, но неужели ты способна думать о карьере, когда природа требует свое?

— Ну, время еще есть. Я думаю, пришла пора съездить в Израиль. Я этого хочу.

— Там сейчас война.

— Тут тоже совсем недавно была война. Бомбы на нас падали градом.

— Отец будет очень рад. А как же Редж?

— Реджа это не касается. Я теперь думаю о себе и о ребенке. А Редж пусть наслаждается обществом Экскалибура. Он и спать с ним будет, когда я уеду. Сказал, что у него теперь тоже есть ударный инструмент. Я же говорю, свихнулся. Слушай, я эту конину, пожалуй, выкину в окно. Как полагаешь, на Гросвенор-сквер много собак?

— Случилось то, что и должно было случиться, — так однажды вечером, сразу после закрытия бара, сказал Реджу Алед Рис.

— С чего вы взяли? — возбужденно запротестовал Редж.

Рядом с Аледом стояли темноволосый смуглый тип, похожий на индуса, чье имя Редж не разобрал, и молодой человек по имени Терри Макмагон, названный так в честь своего отца.

— Ты же сам хвастался Меган Причард, — ответил Алед Рис. — Она решила, что это шутка, но ее брат Том рассудил иначе. Том один из наших, как и ты.

— Нет, я просто идиот, а не один из ваших.

— Каждый честный валлиец с нами заодно, — подтвердил тип из Тигровой бухты.

— Я молился в ожидании этого дня, — сказал Алед Рис. — Эта миссия была тебе предначертана. Твой брат знал, где искать меч. Наивные люди — кладезь информации.

— А где же остальные? — спросил Редж, стоя за стойкой бара как за баррикадой, с чистой пивной кружкой в руках. — Где этот придурок, которого вы зовете принцем Кимру?

— Забудь о нем, — ответил Рис. — Другие двое тоже оказались ни на что не годными. Только болтать горазды. Остальные при деле.

— Грабят банки или почту взрывают, как в Лланфинидде.

— Видно, что газеты читаешь. Лучше покажи его нам.

— Зачем? Разве он что-то для вас значит?

— А ты как думал? — сказал на это Терри Макмагон.

— На самом деле, — ответил Редж, — это просто старая железяка, которую я купил у антиквара в Ленинграде за пару фунтов. К тому же какое вы имеете право вламываться в частное владение и требовать, чтобы я показал вам вещь, которая принадлежит только мне?

— Это не праздный интерес, — ответил Алед Рис. — Где он?

Он поднялся из-за стола и направился к стойке бара. Редж выставил вперед пивную кружку как оружие.

— Если вы надеетесь пройти дальше стойки, вам это не удастся. Я привлеку вас к суду за посягательство на чужую собственность.

— Мы не хотим драки, — сказал смуглый тип. — У нас и так достаточно врагов. Не хватало нам еще устраивать братоубийственные бои.

— Ты что-то не очень похож на валлийца, — сказал ему Редж, — скорее на араба.

— Так ты еще и расист? Верно, мать моя с примесью арабской крови, из Восточной Африки, но отец — чистокровный кельт. Это он рассказал мне о всех несправедливостях, которые выпали на долю нашего народа.

— Послушай, — сказал Терри Макмагон. — Народу нужны вещественные доказательства. Нехорошо получается: говорим о свободном Кимру, а показать людям нечего. Флаг у нас есть, но Алед верно говорит, нам нужен меч Артура. Я сам вначале смеялся, когда он мне про него рассказал, но есть все-таки святыни, неподвластные времени, как Стонхендж, например. Соберем народ и прессу и поднимем этот меч, тогда саксы станут принимать нас всерьез, верно? Это же великий символ свободы, а ты его от своих спрятал.

— Как только вы выставите его на всеобщее обозрение, — ответил Редж, — русские потребуют его обратно. Я сам назначил себя хранителем меча.

— Сам себя и выдал, — сказал Алед Рис. — Я знал, что ты наврал все про старую железяку. Как ты осмелился осквернить Каледвелч, запрятав его в кабаке? Меч принадлежит народу Кимру. Ты совершаешь грех, скрывая его от наших людей. Отдай его законным представителям свободного Кимру.

— Докажите, что вы ими являетесь, — потребовал едва сдерживавший себя Редж. Столь же оскорбительно слышать, как треплют имя любимой женщины в общественном нужнике. — Кто сказал, что вы — представители свободного Кимру? — повторил Редж. — И "Плэйд Кимру" заявляет об этом, и валлийские демократы в парламенте. Вы — просто шайка головорезов. Обожаете насилие. Вы такие же представители валлийского народа, как моя задница.

— Грех сквернословия, — грустно покачал головой Алед Рис, — плюс цинизм и недоверие. Малые нации всего мира подымаются на борьбу за свободу, а ты думаешь только о своей заднице. Поставь кружку на место. Пока я здесь, я не допущу кровопролития. Займись им, Терри.

Редж отбил край кружки о стойку и выставил вперед острый край стекла.

— А ну попробуй, Терри.

Терри встал со стула, поднял его над головой и с размаху опустил на правую руку Реджа. Редж с проклятьями выронил кружку и левой рукой схватил металлический вантуз для раковины. Повторный удар стулом выбил и это оружие.

— Так-то лучше, — сказал Алед Рис. — Ну, веди. Если бы не упирался, нам бы не пришлось прибегать к крайним мерам. Ты не прав, мы не сторонники насилия.

В темноте Редж попытался закрыть вход на кухню, но его ловко отпихнули. Терри Макмагон нашарил рукой выключатель, и при свете все увидели Каледвелч в деревянных ножнах, лежавший на кухонном столе рядом с раскрытым томиком Мэлори. Редж хотел схватить меч, но похожий на индуса тип его остановил. Алед Рис осторожно, как к спящей собаке, приблизился к столу, нежно взял в руки ножны и вынул меч, тускло блеснувший в электрическом свете. Редж выругался. Его непрошеные гости благоговейно притихли. Алед Рис поднял меч, нацелив острие к потолку, и произнес:

— У меня нет сомнений, что это он. Смотрите и знайте: это самая священная христианская реликвия народа Кимру. Наш великий предок разил им саксов.

— А сам-то ты кто? — насмешливо спросил Редж. — Протестант небось?

— Я — христианин, — сказал Терри Макмагон. — Моя мать приняла католичество, когда вышла замуж. Не это сейчас важно — важна свобода нашего народа.

— Важно то, — прорычал Редж, — что у вас в руках предмет, которому цены нет, а вы загоните его тому, кто больше заплатит. Что вас, кроме денег, интересует? Ради них вы всю эту националистическую болтовню и затеяли.

— Опять цинизм, — сказал Алед Рис, делая выпад мечом в сторону Реджа. — Да, деньги нам нужны. Движению не хватает средств, но нам никогда и в голову не придет...

— Если это действительно он, — сказал смуглый тип, — то и вправду стоит целого состояния.

— Это, — сказал Алед Рис, направляя меч на восходящую луну в окне, — вещь бесценная. Разговоры о деньгах тут неуместны. Это — чудо. Пятнадцать столетий он пролежал во тьме. Вы только глядите, как он сияет в лунном свете.

— На вид ничего чудесного в нем нет, — возразил Терри Макмагон, — на свалку пора, но ты прав в одном: врагов мы повергнем в ужас. Народ теперь о нас узнает только потому, что мы владеем истинным оружием свободы.

Беатрикс сидела в своей квартире на десятом этаже дома на 69-й улице и читала журнал "Тайм". Ее муж порвал экземпляр журнала, купленный им самим: не хотел, чтоб она видела рецензию на его роман. По требованию издателя книга называлась "Кровь на снегу" — название для дешевого триллера, а не эпического повествования о войне. Рецензент язвительно отмечал, что роман выглядит крайне бледно на фоне недавно вышедшего произведения Нормана Мейлера "Нагие и мертвые". "Автору, господину Роту, явно не хватает убедительности, поэтому он пытается воздействовать на читателя вычурной манерой изложения, которой, в свою очередь, старается замаскировать абсолютную неправдоподобность сюжета. То, что сам господин Рот провел войну за письменным столом, предоставив воевать другим, было бы не столь уж существенно, если бы не бросался в глаза тот очевидный факт, что все события списаны с чужих слов. География Польши и Украины в романе Рота не имеет ничего общего с реальной картой Европы, с которой он мог бы, между

прочим, свериться. Русские и нацисты напоминают персонажей, сошедших со страниц комикса. Американцы — слишком стереотипны. Автор увяз в сугробах фолкнеровского языка, а его гнев по поводу нечеловеческих страданий, через которые проходят простые солдаты, выражен весьма фальшиво. У Мейлера стилизация под Дос Пассоса по крайней мере служит художественной цели автора — у господина Рота она делает роман еще более тяжеловесным. Книга Рота тяжела еще по двум причинам: она неудобоварима и не дает пищи для размышлений. На фоне могучей прозы Мейлера она выглядит пустышкой для младенцев. Господину Роту придется подождать следующей войны хотя бы для того, чтоб убедиться: настоящий снег не похож на резаную бумагу".

Рецензия не удивила Беатрикс. Заглянув как-то в письменный стол мужа, она нашла газетные вырезки, присланные издателем. Только в рекламных объявлениях о романе говорилось что-то лестное. Но в голове Рота уже зрел замысел второго романа. Это случилось после разговора о золотом самородке, который его фантазия превратила в семейное проклятие. Беатрикс была уверена, что Ирвин ошибся в выборе занятия. Однако ему это пока не мешало. Отец заявил, что готов снабжать их деньгами еще год, но если сын не добьется литературной славы по истечении этого срока, ему придется занять должность в отцовской компании. Жить с Ирвином было очень трудно. К тому же Беатрикс маялась от безделья, занимаясь только надзором за приходящей прислугой, негритянкой, которая все время фальшиво напевала на кухне. Эхо ночных ссор молодой пары гулко разносилось по большой квартире. Беатрикс превратилась в боксерскую грушу, на которой Ирвин отводил душу, израненную литературными неудачами. Затем, немного разрядившись, терзал ее на двуспальной кровати, накрытой кроваво-красными простынями, а в довершение требовал, чтоб и она сделала ему больно.

После всех истязаний обессиленная Беатрикс лежала в мягком широком кресле и просматривала старые номера "Тайма". По телевизору показывали Рея Милланда в "Потерянном уик-энде". Ирвин тем временем совершал свой ежевечерний обход баров. Она уже решила, что терпеть его далее не намерена.

В разделе зарубежных новостей Беатрикс наткнулась на заметку о валлийских националистах. Писали о комическом фарсе, разыгранном ими на средневековых развалинах. Меч был извлечен из каменных ножен не без затруднений, что неудивительно, ведь не сам король Артур вытащил его оттуда, а пьяный валлиец, во всеуслышанье объявивший себя законным наследником легендарного короля. Эта комичная церемония вполне соответствовала мертворожденной идее валлийской независимости, тем более что новоявленный Артур упал носом в грязь прямо на глазах у собравшейся публики. Уэльс давно уже является неотъемлемой частью Великобритании (в сноске точно указывалось, как давно), что было официально закреплено восхождением валлийских Тюдоров на британский престол. Все это выглядит пародией на требования Ирландской республиканской армии, которые все-таки можно счесть законными, и здорово отдает романтикой, так свойственной валлийцам.

Пьяный Ирвин вернулся домой поздно. Он пробормотал что-то нечленораздельное и, спотыкаясь, отправился в туалет, где его стало громко и мучительно рвать. В испачканном бирюзовом свитере он явился в гостиную и поставил пластинку Брамса. При первых звуках "Вариаций на тему Гайдна" он оживился и потребовал ужин. "В холодильнике есть

курица", – сказала Беатрикс. Он стал отчитывать жену за то, что она до сих пор не научилась готовить. Почему он должен есть холодное куриное дерьмо? Затем, с не свойственными ему наигранными еврейскими интонациями и акцентом, он заявил, что раз так – пусть тащит свою гойскую жопу в постель и готовится к хорошей вздрючке, но через минуту он грохнулся на пол. Пластинка без конца все повторяла одну и ту же музыкальную фразу, Беатрикс выключила проигрыватель, набросила на мужа одеяло и отправилась спать.

Зачем она вышла за него? Наверно, ее женская природа устала повелевать и решила покориться. Ирвин все еще нравился ей в постели, по крайней мере в трезвом виде. Но Беатрикс недаром изучала в университете экономику: она понимала, что проценты с вложенного ею капитала неуклонно падают. Американцы считали, что сексуальная гармония – необходимое условие для супружества, а новая сексуальная связь – достаточный повод для развода. Уйти от Ирвина было нетрудно, но ей казалось, что это слишком простой и не совсем честный выход. От матери с отцом она усвоила урок супружеской верности до гробовой доски. Она знала, что мать готовится дать клятву верности другому в той стране, где на развод, как и на брак, смотрели с большевистским цинизмом. Стопроцентная англичанка Беатрикс стала замечать, что в Нью-Йорке, где выходили русско-еврейские газеты, русская половина ее существа проявляла себя все больше. Отсутствие еврейской крови спасало Беатрикс: ей были неведомы чувства вечных изгнанников. Она хотела работать и уже начала получать письма с предложениями из Вашингтона – вероятно, с подачи Юрия Петровича Шульгина. Более заманчивое предложение пришло из Манчестера от профессора Намьера: для нее есть место преподавателя советской истории в родном университете. Разочарование по поводу брака с бездарным писателем оказалось не таким уж глубоким. Вкусив прелестей семейной жизни, она перестала ими дорожить. Пожив в Нью-Йорке, который здорово отличался от остальной Америки, нашла его более скучным, чем Манчестер. Теперь ей нужна независимость, а значит, деньги.

Беатрикс услыхала, как Ирвин, кряхтя и спотыкаясь, пробирается в спальню. Он долго не мог нашарить выключатель, одежду разбросал по полу. Раздевшись донага, он подошел к ней, гордо демонстрируя свою мужскую состоятельность, и попытался взять ее сзади, но она его резко отпихнула: "С меня довольно, хватит!"

Я читал тот же самый номер "Тайма" значительно позже, сидя в офицерской столовой в Тель-Авиве, и думал о Беатрикс. Потом раскрыл лондонскую "Таймс", где обсуждались этические аспекты кражи из ленинградского Эрмитажа. В целом хищение национальных сокровищ – тема деликатная. Вопрос о подлинности и исторической ценности похищенного меча не затрагивался, хотя предпринятый в Англии лабораторный анализ деревянных ножен подтвердил их древнее происхождение. В статье поднималось несколько этических проблем. Являются ли хищение государственной собственности и обычная бытовая кража равными по тяжести преступлениями? Валлийские националисты с гордостью заявляли о возвращении национального достояния бриттов из России, которая, в свою очередь, считала меч одним из военных трофеев. Советское правительство было возмущено хулиганской выходкой Запада, требовало от Великобритании привлечения виновных к ответственности и в связи с этим наложило арест на ряд шедевров Национальной га-

лереи, присланных в Москву в рамках программы дружественного культурного обмена. Автор статьи, некий П. Дж. Тревельян, считал, что британское правительство должно согласиться с требованиями Советов, но выступал против коллективной ответственности за воровство. Сумасбродная выходка частного лица не должна повлечь за собой политических осложнений, но кража есть кража, где бы и кто бы ее ни совершил, так что Британия обязана приложить все усилия для розыска принадлежащей дружественному государству собственности, тем более что ни одно здравомыслящее правительство не захочет наживать потенциального врага в лице Советского Союза.

Статья в "Дейли мейл" отражала противоположную точку зрения. В ней, как и в других популярных изданиях, придавалось огромное значение возвращению Экскалибура на британскую землю, хотя все газеты, и в первую очередь "Дейли мейл", писали об Артуре как о короле англосаксов и дружно настаивали на том, что его меч, один из символов британской нации, должен находиться в Вестминстерском аббатстве. О валлийцах даже не упоминалось. Вся эта история показалась мне нелепостью. С другой стороны, что значил бы Ковчег Завета для народа Израиля, если бы он все еще существовал? Деревянный ящик с двумя каменными скрижалями, который левиты унесли с собой после взятия Иерихона? Потом он попал к филистимлянам, которые Ковчег и выставили на алтаре своего храма в Азоте. В конце концов Ковчег поместили в святая святых храма Соломона. Владеть такой реликвией — честь для религиозного народа, отстаивающего свои права. Может, и вправду Каледвелч имеет огромное значение?

Валлийское название "Каледвелч" всплыло в пригороде Ньюпорта. Эдвард Гоулайтли, англичанин, управляющий верфью, выходя из машины на Сент-Вулос-авеню, был захвачен в качестве заложника четырьмя неизвестными в масках, говорившими с валлийским акцентом. Сначала он решил, что это розыгрыш. Он только что вернулся из отпуска в Италии, где захват заложников с незапамятных времен считался делом обычным, но кто бы мог подумать, что такое возможно в тихом Южном Уэльсе. Заложнику завязали глаза и увезли в машине, стоявшей около его собственного дома. Ехали долго, неизвестно куда. Когда повязку сняли, он увидел, что сидит у разбитого окна в грязной кухне, освещенной единственной лампочкой без абажура, в окружении похитителей.

— Мы вынуждены были на это пойти, — сказал один из них, не снимая маски, — вы не должны видеть наших лиц, чтоб не распространяться о приметах, когда мы вас отпустим.

— Когда вы меня отпустите?

— Надеемся, что скоро. Все зависит от того, как быстро раскошелится ваша супруга. Эти деньги пойдут на справедливое дело. Наш девиз "Уэльс — для валлийцев".

— Сколько?

— Наши руководители требуют десять тысяч. Это немного, но, как говорится, с миру по нитке...

— Она не станет платить, — просипел пятидесятилетний страдавший астмой мистер Гоулайтли. — Но даже если и согласится заплатить, какие вы можете дать гарантии? Я слышал, что такого рода вещи происходят, но не здесь.

— Здесь мы только начинаем. Она заплатит, будьте уверены. Хотите чашку чаю? Простите, ужина предложить не можем. Вы ведь в это время ужинаете, верно? Вот вам несколько сухариков, и все.

– Должен вас предупредить, – сказал мистер Гоулайтли, – что я – диабетик.

– Значит, сахару вам в чай не класть?

– Это значит, что мне необходимы инъекции инсулина, если вам известно, что это такое.

– Знаем, слыхали, верно, Джек?

– У младшего Робертса то же самое. Ему тоже уколы нужны. Сбегаешь в аптеку, приятель?

– У вас нет рецепта, – сказал мистер Гоулайтли.

– Да, жаль. И доктора поблизости нет. Придется обойтись без уколов.

– В таком случае получите труп вместо денег, – сказал мистер Гоулайтли.

– Вот это нам ни к чему. Почему мы должны вам верить? Может, это хитрый ход.

– Не хотите – не верьте. Скоро сами убедитесь.

– Да, неудачный мы сделали выбор. Что скажешь, Джек?

– Завяжите этому придурку глаза и отвезите его туда, где мы его взяли. Первый блин комом. Не всегда же везет.

Валлийцы пока еще не очень преуспели в деле террора, но начинали делать успехи на этом поприще. Доктор Льюис, единственный дневной посетитель трактира, пересказывал Реджу статью в "Вестерн мейл" об ограблении ломбарда в Тредегаре. Хозяин-еврей хотел ударить одного из грабителей чучелом аллигатора, но, замахнувшись, упал замертво – от инфаркта.

– Вы неважно выглядите. Надо вам прописать что-нибудь тонизирующее, – сказал доктор.

– Да нет, я себя нормально чувствую, – ответил Редж.

– Что значит нормально? Вокруг теперь все ненормально. Куда мы идем, черт его знает. Мы не видим будущего, а прошлое окружаем романтическим ореолом. Живем в атомную эпоху, но никто толком не знает, что это такое. Разжигаем войны по мелочам, потому что боимся большой войны. Слишком много малых народов требуют независимости, а принимается в расчет мнение только двух держав. И этот ваш нелепый романтический поступок. Какое нам дело до короля Артура, даже если он и существовал когда-то? Вы вообразили себя титаном в духе Микеланджело, разящим мечом язычников, посягнувших на римское христианство. Кстати, христианство довольно циничное. Вспомните всех этих епископов и императоров, постоянно враждовавших друг с другом. От великой империи не осталось ничего, кроме прогнившей системы. Рим лихорадило от финансовых неудач, порочности нравов и восстаний рабов. Империя была обречена. И варвары ее одолели, так уж распорядилась история. Потом они сами приняли христианство, так что выходит, король Артур зря старался. Кельтам была отведена только одна роль в истории – передать слово Божие тевтонам. Британские кельты не способны править самостоятельно, и шотландцам с ирландцами это не по плечу: они романтики и балаболы, им лишь бы пить да петь. А король Артур, в существовании которого лично я сомневаюсь, скорее всего, страдал сифилисом и в бой ввязался, чтоб быстрее свести счеты с жизнью. Заранее знал, что проиграет. Тьфу.

– В те времена сифилиса еще не было, – заметил Редж.

— Старая развалина и рогоносец к тому же. А все эти поиски святого Грааля и священного копья — не что иное, как сказки о снадобьях от неурожая и импотенции.

— Вам бы на митингах выступать.

— Кто, по-вашему, выковал меч для Аттилы, или Артура, или для любой другой бряцающей оружием свиньи? — не унимался доктор. — Кельты сами захватили эту землю и загнали ее коренных обитателей в рудники, заставив ковать оружие для новой расы господ. Их низкорослые смуглые потомки до сих пор клепают велосипеды. Гунны ни в какое сравнение с кельтами не идут — жили грабежом, жрали конину, пили кобылье молоко, ремесел не знали, только насиловать и убивать умели. А теперь эти самозванцы "Сыны Артура" размахивают ржавым мечом во имя мифической эпохи, повторяю, когда единственной серьезной проблемой является противостояние между янки и русскими. Ну на кой черт вам эта железка?

— Должны же оставаться романтики.

— Ну да, так же как астматики и сифилитики. Восславим туберкулез, породивший последние стихи Китса, и сифилис творца Девятой симфонии. Запомните мои слова: романтические идеи всегда ведут к разочарованию, а там и до насилия рукой подать. Так и возникает террор ради террора. У Ирландской республиканской армии хотя бы своя история, ей все такси в Белфасте принадлежат. Но Уэльс от такого избави боже! Объясните, чего они хотят: насильно ввести язык, пригодный только для песнопений, и отгородиться от окружающего мира? Главное противоречие нашего времени, хотите вы этого или нет, существует между личностью и коллективом, а под коллективом я подразумеваю не только мощное государство, но и международные картели. Презираю этих бессовестных скотов, которые любезно снабжают меня бесплатными образцами новых лекарств.

Доктор Льюис прикончил уже третью порцию виски и потребовал следующую.

— Вы сегодня не в духе, — наливая, заметил Редж.

— Не в духе? Я хотя бы лечу больных, пытаюсь, во всяком случае. Нянчусь с телесными оболочками, в которых обитают души. Тело — сложнейший механизм, а вот душа — нет. Души теперь штампуют на конвейере. Два великих коллектива, Америка и Россия, — голова одна, да шляпы разные. Все их разногласия состоят лишь в том, какой шаблон души навязать всем нам, чтоб потом скормить эти трафаретные души всеядному Молоху. — Выпив еще, доктор спросил: — Ваша жена по-прежнему гремит на барабанах и цимбалах?

— Не вижу связи между ней и Молохом.

— Никакой связи. Хотя при желании всегда можно найти связь одного явления жизни с другим. Беременность протекает нормально, выкидыш ей не грозит. Она может продолжать музыкальные занятия, только бы не спутала свой собственный живот с барабаном.

— Она может съездить в Израиль?

— А что мешает ей съездить в Израиль? Солнце и апельсины полезны, даже очень. Почему бы ей не родить ребенка в Израиле? — Он мутными глазами взглянул на Реджа. — Да и вам солнце не повредит. Продайте этот трактир кому-нибудь, кто действительно для этого создан. По-моему, вам пора возвращаться в большую жизнь.

— Для чего? Преподавать испанский?

— Почему бы и нет? Или, скажем, любой язык, на котором говорят евреи. Мир гораздо шире валлийского трактира. Вам, наверно, покажется это забавным, — задумчиво произнес доктор, — но мне бы очень хотелось принять роды у вашей жены под сенью цитрусов в цвету.

— Я не понял. Вы что, собираетесь практиковать в Израиле? Там полно своих врачей. Зачем им валлиец?

— Это я-то валлиец? Ну да, акцент у меня валлийский и живу я здесь так давно, что все уже привыкли считать меня местным. Так вот знайте: фамилия моего отца была Леви. Он ее изменил на Льюис. Можете закрыть рот, я все же не дантист, а терапевт.

В первый и последний раз меч Каледвелч был выставлен на всеобщее обозрение в павильоне Глендовер-холл в Суссекс-Гарденз на Эджуэр-роуд, месте сбора лондонских валлийцев. Зал вмещал две тысячи человек, на его большой сцене мог разместиться Лондонский валлийский хор в полном составе. Свисавшие с потолка пыльные штандарты валлийских полков прикрывали золотистые трубы органа. Освящение Экскалибура широко рекламировалось в газетах и листовках, из которых явствовало, что церемония не будет сугубо валлийской. За вход денег не брали, поэтому публики собралось немного — люди усмотрели тут какой-то подвох. Под звуки гимна "Mae hen wlad fy nhadau"[1], слов которого никто не понимал, в зал вошли десять человек и заняли места в первом ряду. Редж удивился, что не узнал никого из них. Он решил, что это и есть вожди "Сынов Артура", а Алед Рис и его подручные — всего лишь мелкие сошки. Один из "вождей" был одет в арабский бурнус и скрывал глаза под темными очками. Меча пока не показывал. Вынос для пущего эффекта оставили на финал. Собравшиеся валлийцы с нетерпением ожидали красивых речей. Первым на сцене появился древний старичок в мешковатом сером костюме. Он не без труда поднялся на трибуну с микрофонами. Никто не знал, кто он такой, но фотографы лихо щелкали камерами. Старик представился: профессор Гриффитс из Кардиффского университета. Говорил он с акцентом, хотя и без валлийской напевности:

— То, что я собираюсь сказать, не имеет отношения к политике. Меня не трогают заявления некоторых представителей валлийского народа о необходимости обретения герцогством Уэльс, или Кимру, независимости и самоуправления. Союз Уэльса и Англии столь древен, что о возврате к прошлому, на мой взгляд, говорить не имеет смысла. Я смотрю на эти заявления как на крик кельтской души. Кельты вправе требовать признания своего вклада в славную историю этого острова, Европы и западной цивилизации в целом. Я хочу сказать о другом. Прошлое — это источник, питающий настоящее, и каждый дошедший до нас фрагмент прошлого делает нас духовно богаче. Меч Каледвелч, или Экскалибур, наконец вернулся к нам из тьмы веков, причем не как миф, а как живое свидетельство истории, которая формирует настоящее, а значит, и будущее. Трудно со всей уверенностью утверждать, что меч, который вам сегодня представят, подлинный Экскалибур. Мы знаем, что эта реликвия восходит к пятому веку нашей эры. Советские археологи полагают, что это меч Марса, найденный Аттилой в придунайских торфяных болотах, но мне эта гипотеза представляется столь же романтической догадкой, как и легенда о передаче меча римскому полководцу Аэцию,

1. "О древний край моих отцов" (*валл.*).

затем Амвросию Аурелиану и, наконец, римскому наместнику в Британии Артуру. У нас нет доказательств верности той или иной версии, но любые серьезные доводы будут тщательно изучены.

В зале послышался ропот недовольства: люди пришли не для того, чтобы слушать осторожные речи ученого сухаря. Кто-то за спиной Реджа проворчал:

— Хватит рассуждать, покажите нам эту штуковину, а мы уж сами решим, настоящая она или нет.

Профессор Гриффитс продолжал:

— Мы живем в эпоху, когда две великие державы хотят уничтожить прошлое. И Соединенные Штаты, и Советский Союз мечтают построить будущее, оборвав все нити с прошлым. Истории место только в музеях и в кино, где над темным прошлым можно потешаться как над свидетельством невежества и грязи, чтобы светлое будущее на его фоне казалось лучезарнее. Но не стоит забывать: настоящее есть всего лишь зыбкая граница между известным и неизвестным. Будущего, каким бы прекрасным оно ни грезилось, еще не существует, а настоящее призрачно и неуловимо. Возможно, это прозвучит парадоксально, но все, что мы можем ожидать от будущего, это более глубокое знание прошлого. Окончившаяся совсем недавно мировая война совершила невероятный бросок в будущее, создав оружие такой силы, о котором в мирное время мы рассуждали бы как о далеком несбыточном мифе. Война столь же неожиданно вернула нам и осколки нашей древней истории. Я имею в виду развалины кельтско-римской крепости в Брекоишире, а также храм Митры и римские бани в Лондоне, невольно открытые нам вражескими люфтваффе. И как из небытия возник из огня и дыма этой войны легендарный меч. Я заканчиваю и призываю вас сохранять здоровый скептицизм, когда вы воочию увидите то, ради чего здесь собрались, но не забудьте при этом и воздать должное прошлому, которое он символизирует. Те же из вас, кто происходит от древних кельтов, я надеюсь, захотят больше узнать о своем культурном наследии и о том месте, которое оно занимает в истории мировой цивилизации.

Под жидкие аплодисменты профессор вернулся на место. Редж, сидевший в третьем ряду, оглядел зал. Валлийцы нетерпеливо скрипели жесткими деревянными сиденьями, не ласкавшими их худосочные зады. Тысяча с небольшим человек, одетых бедно, но опрятно, переживших долгую войну и уравниловку, в результате которой они все обнищали, замученные посулами лживого правительства, давали согласие присутствовать на жалкой демонстрации былого величия и пришли поглядеть на что-то вечное, незыблемое. Что для них сейчас Артуров меч? Разве только напоминание о старых добрых временах, когда вожди заботились о своем народе.

К микрофону вышел толстый человек в очках. Аудитории он не представился, значит, будет говорить о политике. Резким движением он запустил руки в карманы расстегнутого пиджака, продемонстрировав набитый авторучками жилетный карман, и заговорил как типичный валлийский демагог:

— Diolch yn fawr[1] профессору Гриффитсу за его высоконаучный доклад, который даст нам всем богатую пищу для размышлений в будущем, когда мы сможем позволить себе такую роскошь. Но сейчас нас больше

1. Большое спасибо (*валл.*).

интересует, как действовать в настоящем, и перед актом освящения мы хотим представить вашему вниманию нашу программу. Будьте уверены, мы, "Сыны Артура", чьи ряды растут и ширятся как на родине, так и за рубежом, хотим восстановить независимость Кимру, вернуть себе контроль над нашими природными ресурсами, многие из которых еще не разведаны, отдать зеленые поля и луга тем, кому они принадлежат по праву рождения – валлийским крестьянам, и перекрыть чужеземцам доступ к нашим родным рекам и озерам. Если нас сегодня слушают англичане, пусть знают, что это не пустая угроза: мы будем вредить им до тех пор, пока не осуществим нашу мечту. Парламентская демократия есть бесполезный фарс. Мы поклянемся на этом мече, принадлежащем королю Кимру во веки веков, изгнать иностранных захватчиков любыми средствами. Никто в Англии отныне не сможет чувствовать себя в безопасности, потому что мы объявляем войну. Не войну больших армий, воздушных линкоров и морских армад, а войну длинных ножей в темных переулках и бомбовую войну в общественных местах, войну, направленную на то, чтоб, запугивая английских обывателей, заставить их сказать своим избранным лидерам: "Довольно! Дайте Уэльсу свободу!".

Его прервал голос с ирландским акцентом, долетевший с задних рядов:

– Размечтались. Пусть сначала уберутся из Ольстера.

– Борьба кельтов – это борьба за общее дело, – продолжал, кивнув ирландцу, толстяк. – Мы должны сообща сражаться против английского господства. Мы ценим поддержку наших ирландских братьев, так же как и единомышленников в Северной и Южной Америке. Освобождение малых наций есть главное дело современной эпохи.

– А почему здесь этот черномазый? – раздался явно валлийский голос.

– Пожалуйста, без расистских реплик. Естественно, что наше дело находит понимание и на Ближнем Востоке. Я передаю слово господину Ибрагиму ибн Мохаммеду Сауду.

Ибрагим ибн Мохаммед Сауд в бурнусе и темных очках подошел к микрофону. Говорил он недолго, на безукоризненном английском, избегая всякой романтической чепухи:

– Проклятие колониализма есть не столько проклятие угнетения, сколько проклятие расточительства. Валлийский уголь горит в топках британских кораблей и паровозов, но богатство Уэльса не ограничивается углем. Грядет новая эксплуатация минеральных ресурсов, которыми богаты недра Уэльса, что приобретает особое значение в наш атомный век. Да простят мне краткий экскурс в мифологию, но мы, арабские народы, всегда считали валлийцев потерянным племенем исмаилитов, или катанитов, что переселилось на север, в земли, которых не достигло слово Пророка. Может быть, эта легенда и не имеет исторической подоплеки, но не следует относиться к ней с презрением. Борьба палестинских арабов с сионистскими захватчиками ничем не отличается от борьбы валлийцев против англичан. И саблю и меч куют из одного металла. Да здравствует свободный, процветающий Уэльс!

Его лаконичную речь приветствовали снисходительными аплодисментами. Следующий оратор с тщательно уложенной седой шевелюрой взошел на трибуну, рукоплеща предыдущему. Он, как и его соотечественник, не представился, в отличие от толстяка одет был в дорогой серый костюм. Говорил он властно и политики почти не касался:

— Пусть вас не смущает внешний вид меча Каледвелч. Он, безусловно, старый, время наложило на него свои следы, и выглядит как и положено выглядеть старому, побывавшему в боях клинку. С нашей стороны было бы гораздо разумнее представить вашему взору декоративное оружие, вроде того меча, которым английский король наградил защитников Сталинграда. Но то, ради чего мы собрались, — настоящий боевой меч. Он символизирует доблесть древних, подтвержденную недавним актом искупления. Наши братья-кимры выхватили Каледвелч прямо из рук захвативших его русских не потому, что испытывают к ним вражду. Мы не питаем ненависти к русскому народу и его правительству. Такого рода чувство недостойно доблестных кимров. Русские ошиблись, не распознав исторической ценности меча, и поставили Каледвелч вровень со множеством прочих трофеев, захваченных у нашего общего врага. Русские — народ упрямый, к новому невосприимчивый, но со временем они поймут и простят нас. Позвольте мне сказать...

— Нет уж, позвольте мне сказать, — воскликнул Редж, вскакивая с места. — Меч был спасен из русского плена только одним валлийцем, и этот валлиец — я. Его бесцеремонно отобрал у меня мой бывший однополчанин, причисляющий себя к основателям "Сынов Артура". Хотя я теперь и признаю правомочность этой экспроприации, ясно понимая, кому по праву принадлежит Каледвелч, я все же намерен добиваться справедливости: я требую, чтобы честь доставки меча на родину принадлежала не каким-то безымянным братьям-кимрам, а тому, кто действительно это сделал. Пропустите меня к микрофону.

Раздались аплодисменты. Редж видел, как сидевшие в первых рядах важные персоны раскрыли от удивления рты. У одних на лицах был написан восторг, у других — замешательство. Редж добрался до трибуны.

— Представьтесь, — попросил прерванный оратор.

— Реджинальд Морроу Джонс. Это имя стоит в моем паспорте и на недавней советской визе. Советский перебежчик Юрий Петрович Шульгин, живущий ныне в Вашингтоне, с удовольствием подтвердит, что я и есть тот человек, который организовал похищение меча из ленинградского Эрмитажа. Полагаю, я заслужил право участвовать в церемонии освящения. Покажите наконец его всем нам.

Зал поддержал Реджа бурными аплодисментами. Свет притушили, зазвучал орган. Музыка ничем не напоминала кимрскую. Из суфлерской будки в середине сцены появился молодой человек в коричневом костюме с длинным, завернутым в черный креп предметом. Рабочий сцены в нарукавниках направил на молодого человека яркий юпитер, и тот оказался в кругу света. Он благоговейно снял с меча черное покрывало и поднял оружие над головой. Аудитория, похоже, была разочарована, послышались смешки. Подумаешь, кусок зазубренного железа. Прошлое всегда скромнее, чем оно нам представляется. Последний оратор попросил присутствующих встать. Большая часть зала поднялась с мест.

— Меч Артура призывает нас поклясться в том, что наша родина вновь станет великой и свободной, что она покончит с упадком и рабством! Так поклянемся же!

В это время в задних рядах прогремел взрыв. Женщины завизжали, а Редж, воспользовавшись суматохой, бросился на меченосца. Совладать с парнем оказалось непросто, но, прицелившись, Редж двинул ему тяжелым ботинком в пах, и тот, скорчившись от боли, выпустил свою ношу. У запасного выхода раздался второй взрыв, повалил дым. Люди, в

панике позабыв про меч, кинулись к выходу. Чей-то голос с ирландским акцентом кричал: "Британцы — вон!" Реджа попытались схватить. Он отбивался мечом. Миновав рояль и ряд складных стульев, он добежал до задника сцены, где, к счастью, наткнулся на дверь, ведущую за кулисы. В коридоре стояли два констебля, сержант и несколько мрачных типов в темных штатских костюмах и шляпах, один из которых мучительно напоминал незабвенного майора Машука. Сержант не очень уверенным голосом приказал Реджу сдать оружие, но в ответ Редж сделал выпад мечом. Один из констеблей схватил его сзади, но он заорал по-русски, что у него прямой приказ из Москвы, так что пусть эти посольские шестерки убираются прочь подобру-поздорову. Каледвелч не должен стать очередной жертвой Ялты. Редж перекинул через себя повисшего у него на спине констебля и откатился в сторону по пыльному полу. Кто-то из штатских ударил его ботинком в ребра, а Редж пырнул его мечом. Клинок пропорол темно-серую штанину и вонзился в икру. Сержант пытался вмешаться и решить дело мирно. Редж весь в пыли поднялся на ноги. Сержант приказал ему отдать меч господам из министерства внутренних дел и прекратить безобразие. Раздался еще один взрыв, но сержант сказал, что наряд снаружи примет меры. Редж притворился, что сдается, и с поклоном протянул свое сокровище, вкусившее русской крови, тому, кто был похож на майора Машука, но в последний момент пырнул мечом обтянутый жилетом живот. Коридор уже был забит "Сынами Артура", которых не сумела сдержать полиция. В адрес Реджа раздались проклятья. Он видел, как один из посольских вытащил пистолет. Ну нет, обойдемся без пальбы. Пятясь и защищаясь мечом, он чудом добрался до двери. Полицейский, стоявший у черного входа, бросился ему наперерез. Редж пихнул ему под ноги полную мусора урну и сбежал по разбитым ступеням к машине.

Автомобиль с докторской наклейкой на ветровом стекле мчался, превышая скорость и не замечая светофоров. Когда, повернув направо на Марилебон-роуд, они остановились у Юстонского вокзала, доктор Льюис, он же Леви, сказал:

— Все-таки вы неисправимый романтик. Успокойтесь и радуйтесь жизни, хотя поводов для радости и немного. А русские пусть радуются "Положению во гроб" ван дер Вейдена Старшего, "Магдалине" ван дер Вейдена Младшего и "Мощам святого Губерта" Дирка Баутса. Уверен, эти вещи они никогда не вернут. Что еще взять с потомков черносотенцев.

Редж с недоумением поглядел на доктора.

Первому президенту Израиля Хаиму Вейцману было далеко за семьдесят. Он болел, жить ему оставалось недолго, но он считал необходимым выступить с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в американском Конгрессе и в своем родном Манчестерском университете, так что нужно было поторопиться. Меня назначили начальником его личной охраны не столько из уважения к моим боевым заслугам, сколько из уважения к памяти деда, его покойного друга. Сначала он собирался отправиться в Америку первым классом обычного рейса компании "ЭльАл", но должность главы нового суверенного государства обязывала его лететь на персональном самолете с президентскими регалиями на фюзеляже. Итак, я со своими четырьмя подчиненными, одним из которых был молодой иммигрант из Лланелли, прекрасно устроились в комфор-

табельных креслах. Я дремал или лениво просматривал номера "Тайма" и "Ньюсуик", глазел в иллюминатор и прихлебывал лондонский джин, закусывая кошерными деликатесами, которые подавала стюардесса из новой породы израильтянок, худощавая сабра без всякого намека на чувственность, столь угнетавшую Рокантена. Мне приходилось тренировать девушек ее типа: все они вели себя крайне строго, не допуская флирта. Ими можно было восхищаться, но любить невозможно. Вообще, в Израиле моя интимная жизнь почти затухла. Секс там считался прерогативой избранных, так же как чтение Канта или Гегеля. Я частенько тосковал по студенческой жизни, особенно по домику в тихом пригороде, где можно неспешно заниматься любовью. Я мечтаю о чистой постели, законной жене, напевающей по утрам на кухне, пока я бреюсь, и ароматному кофе. Сидя в удобном кресле, я думал о том, что, несмотря на приличное офицерское жалованье, отдельную комнату и бесплатный стол в офицерской столовой, я вряд ли стану продлевать свой контракт.

Перед отлетом Вейцман подчеркнул, что визит неофициальный, поэтому наше пребывание в Соединенных Штатах не должно привлекать внимания. У Израиля много врагов, и торжественная церемония встречи у трапа самолета может спровоцировать их на неблаговидные поступки, так что лучше не обременять американские службы безопасности. В аэропорту Айдлуайлд нас встретили чиновник из Госдепартамента и, естественно, израильский посол. Быстро покончив с въездными формальностями, нас повели к автомобильному кортежу. Габариты машин соответствовали значимости гостей. В сопровождении моторизованной бригады полицейских кортеж проследовал через Квинс в Манхэттен. Разместили нас в гостинице "Плаза" у Центрального парка. Мой номер находился через дверь от президентского. Представитель израильского посольства выдал мне и моим подчиненным пистолеты "Барак" 45-го калибра. Официально они нам не полагались: американцы не любят иностранцев с оружием.

Визит проходил довольно гладко. Правда, нашелся один араб-фанатик, который в здании ООН стал орать: "Джихад!" и попытался выстрелить в Вейцмана, но американские охранники его сразу скрутили. В Вашингтоне Вейцмана встречали очень тепло. Там обошлось без инцидентов. Субботу и воскресенье он планировал провести в Коннектикуте у своего старого друга Аарона Рапопорта, занимавшегося историей науки, а в понедельник нам предстоял перелет в Манчестер. В Лондон Вейцман заезжать не собирался, считая, что нынешний кабинет настроен антисемитски, но к Манчестеру, в особенности к университету, испытывал ностальгические чувства. Ехать в Коннектикут с израильской охраной ему казалось неприличным — пусть лучше пара тихих американцев в кустах позаботится о его безопасности. Так что я со своими ребятами получил неожиданный отпуск на выходные. Я похлопал себя по карману, где лежала пачка долларов, и пошел прогуляться по вечернему Манхэттену в поисках невинных забав.

В слабо освещенном баре на 57-й Восточной улице я увидел Ирвина Рота. До этого мы встречались только однажды, в Лондоне, в конце войны, а недавно я наткнулся на его фотографию на обложке его толстого скверного романа. Непонятый мрачный гений Ирвин Рот объяснял посетителям бара, кто он такой. Когда я вошел, он говорил, что роман

Нормана Мейлера дерьмо. Бармен попросил не выражаться в общественном месте.

– Вы Ирвин Рот? – обратился я к нему. – Позвольте вас угостить. Это самое малое, чем я могу выразить восхищение вашим литературным мастерством.

Он повернулся ко мне, обрадовавшись как ребенок, и заказал виски со льдом.

– Между прочим, – сказал я после обычного "за вас", – мы уже встречались однажды, в Лондоне. Тоже в баре. Вы сидели там вместе с моей однокашницей. Потом вы поженились.

– Однокашник, – передразнил он мой британский акцент. – Один из легиона тех, кто с ней трахался, вернее, кого она трахала. Знаю я о ее выдающихся успехах в учебе. Так здорово научилась брать в рот, что стала миссис Рот.

Плохого писателя всегда можно распознать по тому, как он восхищается собственными каламбурами. Я старался сдерживаться.

– То, что вы говорите, отвратительно. Она была и остается для меня красивой и достойной женщиной. У меня по отношению к ней были самые честные намерения. Поздравляю вас с победой, которая не досталась мне.

– Слушай, – сказал он с угрозой в голосе, – брось этот высокий стиль. Честные намерения. Пошел ты подальше, дружок, со своими намерениями. У меня они тоже были честные, а она сбежала. Обратно в Англию захотелось. Чтобы трахаться как истинная леди: после чая, со спущенными занавесками. "Ах, как это было чудесно, милый, давай еще выпьем чаю". И чтоб никаких грубиянов с волосатой грудью. Это не по-английски. Не жантильно. Отвали, как человека прошу. И не смей мне нести тут про честь и происхождение и прочее дерьмо, потому что натуру не спрячешь – ну, если только за гребаными английскими занавесками.

– Попридержи-ка язык, парень, – снова напомнил бармен.

– А что, не так, не так, что ли? У вас у всех кишка тонка, у всех до единого. Очаровательные хлюпики, подул ветерок, и вас нету.

– Прошу заметить, – едва сдерживая себя, ответил я, – сейчас вы говорите с евреем, офицером израильской армии.

– Прогнила ваша армия насквозь, только и годится что на удобрения для апельсинов. Хватит с меня этой мерзости, сыт по горло.

Мне надоел его тон.

– Платить за все будешь сам. Из своего жирного гонорара за американскую сагу про истинное мужество.

Он уловил в моих карих, как у него, глазах искры сарказма.

– Я могу купить и продать тебя с потрохами, – сказал он. – Говорю же, проститутка она. Но страсть – штука ужасная, с этим трудно бороться. Я хочу стянуть с нее трусики, а она мне: "Давай почитаем Пушкина в оригинале, милый, это так же романтично, как Байрон, мы ведь культурные люди". Ничего, скоро прибежит обратно. А когда прибежит, пусть только ступит за порог, отдеру по первое число, как истинную леди, и высеку, как последнюю суку, чтоб всю эту благородную дурь из башки выбить.

– Куда она ушла? – спросил я.

– Откуда же мне, твою мать, знать? Болтала, что работать собирается, хрен ее знает.

— Где она? — снова спросил я.

— Решила вспомнить годы своего легендарного студенчества, когда ее тискали под шелковицами и платанами. Это великий город, дружок. Она обмолвилась как-то, что раз ее покойный папаша-валлиец в нем выжить смог, и она не пропадет. А брак наш потерпел кораблекрушение. Это она так выразилась очень поэтично, не женщина, а литературный гигант. Обойдется и без моей помощи.

— Я хочу знать, где она.

— Налей-ка мне еще, любезный.

— По-моему, вам довольно, мистер Рот, — сурово сказал бармен. — Я на вашем месте закусил бы. Вредно на пустой-то желудок.

— Верно, давай пожрем. Как это по-вашему — маахол?

— Еда на иврите, — кивнул я. Меня вдруг осенило. — Так она в официантки пошла, что ли? В каком-нибудь ресторане работает?

— Трахается на кухне, — пробормотал Рот, — да так, что все кастрюли и сковородки гремят. Отвали ты от меня, иди на хрен, строй свой Новый Иерусалим и сдирай шкуры с арабов. С меня хватит. Привет, Ральф, — кивнул он вошедшему бородатому карлику в очках, грязной рубашке и старой вельветовой куртке. — Откуда ты, агнец божий?

Если судить по одежде и манере держаться, еще один неудавшийся писатель, гордый своей непризнанностью. Рот, в отличие от него, был одет так, что в любую минуту мог позировать лучшим фотографам. Я расплатился и незаметно вышел. "Нью-Йорк, как мне только что напомнили, в самом деле город великих возможностей", — подумал я, задыхаясь от уличного пекла.

Я вернулся в "Плазу", взял телефонную книгу и стал изучать список русских ресторанов. Знал я только "Русскую чайную" возле Карнеги-холла. Тут я вспомнил, что один из моих подчиненных, сержант Яша Гроссман, обедавший в одиночку в гостиничном ресторане за счет израильского правительства, родом из Нью-Йорка. Я застал его за второй порцией иерусалимских артишоков под винным соусом. В глазах, жадных до еды, проглядывала вселенская скорбь, которую не погасило обретение земли обетованной. "Русские рестораны? — переспросил он с бруклинским акцентом. — В Бруклине их навалом, а на Манхэттене ими владеют не русские. У них там только русские костюмы и балалайки для экзотики. Посмотрите в "Желтых страницах", — посоветовал он, прикончив артишок. — Если хотите совершить турне по городу на такси, майор, я могу вас сопровождать, хотя мне и здесь хорошо".

Я поднялся к себе в номер и раскрыл телефонный справочник. Ресторан "Невский проспект" больше не существовал. Я насчитал четыре русских ресторана: "Бифштексная", "Пчела", "Свекла" и "Иван". За казенный счет я обзвонил все. Полным тревоги голосом я просил к телефону официантку по имени Беатрикс, Бити или Трикси: дело в том, что ее брат только что прибыл в Нью-Йорк с очень важной новостью. "Какая из себя?" — "Красивая блондинка". — "Послушайте, мистер, мы заняты, — отвечали мне без церемоний. — Что мы, всех по имени должны помнить? Если не хотите ничего заказывать, не отнимайте у нас время". Я позвонил еще в одно место под названием "Кухня", и там меня спросили: может быть, я имею в виду повара? Может быть. Я взял такси и помчался во Флэтбуш.

Ресторан назывался "Кухня" потому, что кухня была открыта для всеобщего обозрения. Она представляла собой подобие алтаря, где правила жрица, которой помогал служка-мальчик. Борщ варился прямо у вас на

глазах, потом в тарелку бухали деревянную ложку сметаны и добавляли нарезанный соленый огурец. И все это проделывала Беатрикс. В белом халате и поварском колпаке. Лицо и руки раскраснелись от жаркой работы. Я решил сесть и, не нарушая порядка, заказать обед. Ресторан был полон. За одним со мной столиком сидел похожий на страхового агента толстяк с маленьким сыном, которого он с ложки насильно кормил борщом.

Спешить мне было некуда: я ее нашел. Я заказал котлету по-киевски и бутылку пива. Котлета по-киевски весело прыснула маслом, так что я едва уберег свой галстук, и была очень хороша. Названия блюд в меню походили на англо-русский словарь — Беатрикс продолжала благое дело установления отношений между народами. "Это ведь она своими руками готовила", — думал я, а в это время она подходила к моему столику, оставив кулинарный алтарь на попечение маленького помощника.

— Неужели это ты, — сказала она.

— Очень возможно. Присаживайся.

— Нет, я не могу сидеть с посетителями. Ну и встреча. — От нее пахло подгоревшим маслом.

— Ничего удивительного. Я ведь тебя искал.

— Как же ты узнал, где я?

— При некотором воображении всегда можно найти, кого ищешь. Твой муж сказал, что ваш брак потерпел кораблекрушение. Его я, правда, встретил случайно. В баре.

— Ну конечно, где ж ему еще быть. Пьяный?

— Пьяный. Он намекнул, будто ты зарабатываешь на билет домой. Но он уверен, что ты раскаешься и вернешься, потому что мечтаешь, чтоб тебя изнасиловали прямо на полу в прихожей.

— Не раскаиваюсь и не вернусь. Я уже скопила сотню долларов. — На кухне что-то вспыхнуло. — Мы закрываемся через час. Тогда и поговорим.

Она побежала тушить пожар. Я загляделся на ее точеные ноги. Малыша за моим столиком уже не кормили борщом, и он с удовольствием переключился на ванильное мороженое.

Ресторан закрылся, и Беатрикс вышла ко мне в простом оранжевом платье. От нее слабо пахло горелым жиром. Ожидая ее на тротуаре, я непрерывно курил. Она сказала, что снимает квартиру вместе с одной девушкой, помощницей библиотекаря в университете Лонг-Айленда. Соседка ее сегодня дома, поссорилась со своим другом. Беатрикс предложила зайти в какой-нибудь бар и там поговорить.

— Ты поедешь со мной в "Плазу". Никаких шуточек. Никаких сексуальных домогательств, даже несмотря на долгую разлуку. Если хочешь, можешь поспать в президентской постели. Он уехал на выходные.

— Президент?

Я рассказал, почему я в Америке, и добавил:

— В президентском самолете для тебя найдется бесплатное место. Старый Хаим любит общество красивых девушек, говорящих по-русски. Так что есть шанс сохранить твои сто долларов.

— Ты с ума сошел. И в качестве кого же я займу это место?

— Да хоть в качестве моей суженой. Кстати, кто-то собирается разводиться?

— Мне кажется, тут что-то не так.

— Просто первое, что в голову пришло. Но если я назвал тебя суженой, а ты не возразила, есть надежда превратить эту фантазию в реаль-

ность. Постарайся уместить эту мысль в твоей головке, которая, смею напомнить, восхитительна.

— Мысль или головка?

— И то и другое.

Я взял такси.

Водитель-итальянец болтал без умолку. Услышав наш выговор, он спросил, не из театра ли мы. Сам он умеет и любит работать с марионетками. Он даже показал нам, как у него это ловко получается, сняв ладони с руля, когда мы ехали по Бруклинскому мосту. Жаль только, театр марионеток теперь не в моде. Мы с Беатрикс делали вид, что слушаем. Она не позволила даже взять ее за руку. В вестибюле "Плазы" ею откровенно любовались, а один пышущий жаром армянин без шеи попытался прижаться к ней в лифте. В номере я снял галстук и заказал по телефону джин с тоником. Потом спросил ее, зачем она вышла замуж.

— Я думала, что можно построить разумные отношения на нерациональной основе. Пришла пора расплачиваться. Секс — это не любовь.

— Никто никогда и не говорил, что это любовь. Но секс может стать поэзией и страстью и тем самым превратить обыденность брака в абсолютную ценность.

— Ты все еще рассуждаешь как первокурсник.

— Благодарю Бога, сохранившего мою невинность. Но не твою. Признайся, ты ведь втюрилась в него из-за его еврейства. В вашей семье, наверное, есть какой-то ген, влекущий к смешанным бракам. Ну что ж, сейчас перед тобой другой еврей, который сделал тебе предложение намного раньше твоего мужа.

— Я хочу вернуться к работе. Именно для этого я коплю деньги, а вовсе не на дорогу домой. Дома больше нет.

Я смотрел в ее усталые глаза и представил, как прекрасны они утром, когда она пробуждается. Беатрикс рассеянно взглянула в мои глаза, в которых, наверно, светилось сдерживаемое желание, и сказала:

— Не знаю, что на него нашло. Он все твердит: "К черту Моисеев секс, на кой нам заселять пустыню".

— Пустыню надо заселять.

— Ты можешь представить меня в роли еврейской мамы? Какая из меня мать? У меня отсутствует материнский инстинкт. Нет, семья не для меня. Я хочу делать карьеру.

— Знаешь, я не задержусь на этой службе. Буду преподавать философию там, где не рвутся бомбы. Я хочу мирной жизни.

— Вот этого ты нигде не найдешь. И никто уже не найдет. — Она откровенно зевнула. — От пекла устаешь больше, чем от работы. — На лице ее появилось озабоченное выражение: — Я не могу уйти из ресторана просто так. Мне следует хотя бы предупредить.

— Позвони им сейчас или утром. Президентская кровать тебя дожидается. Сейчас схожу за ключом.

— Мне и здесь хорошо.

Скинув туфли, она, не раздеваясь, плюхнулась на мою постель, но это не выглядело приглашением. Она меня совершенно не стеснялась, повысив или понизив до уровня брата. Пришлось мне самому спать в президентской постели.

В записной книжке я нашел нужный телефонный номер и позвонил в Коннектикут. Хаим Вейцман, уже навеселе, взял трубку.

— Вот так неожиданность, — удивился он.

— Нет, не совсем, — ответил я. — Разлука, примирение, теперь помолвка. Она выпускница Манчестерского университета, да, шикса, но наполовину русская, говорит на одном из языков еврейского рассеяния.

Вейцман пребывал в весьма игривом настроении и не стал возражать.

Багаж Беатрикс был скромен, как и ее платье. Мы съездили за ним в Бруклин. Ее соседка Джанис, заплаканная из-за ссоры со своим дружком или по какой-то другой причине, опешила от неожиданности и поначалу только приговаривала: "Ну и дела", но скоро пришла в себя и, когда Беатрикс упаковывала книги, зажала меня в углу прихожей под плакатом с изображением корриды и свирепо потребовала обращаться с Беатрикс ласково.

— Да я ей вроде брата, — отвечал я.

— Ладно заливать, братец, знаю я вас, мужиков.

Господи, мне бы ваше знание, думал я, мне бы хоть что-то знать наверняка. Хоть бы достало сил выполнить задание: все-таки израильское правительство платит мне за охрану президента.

К счастью, дорога домой всегда короче. Беатрикс сидела впереди рядом с Вейцманом, а я со своей командой сзади, ближе к сортиру. Вейцман бегал туда раза четыре в течение полета (старость, мочевой пузырь пошаливает, подмигнул он мне во время последнего захода). Каждый раз, с облегчением выходя из туалета, он поздравлял меня. По-русски говорит лучше него, умна необыкновенно, просто находка для нашей новорожденной республики, и не важно, что шикса.

Гражданскими сумерками считается время после того, как солнце опускается ниже шести градусов над горизонтом и работать на улице без освещения уже нельзя. Более глубокие сумерки называются астрономическими. Вейцман, Беатрикс и я прибыли в родной Манчестер в неуловимый момент между первыми сумерками и вторыми. Президент настоял на неофициальном характере визита: он этот город знает лучше, чем любой консульский чиновник. Проректор университета прислал три лимузина, чтоб отвезти нас в отель "Мидлэнд". Наша сопровождающая, растрепанная блондинка с кокетливо-скорбной физиономией, стуча высокими каблуками, провела нас мимо очереди, стоявшей у пункта таможенного контроля для досмотра ручной клади. Мы шли через красивый, увешанный люстрами зал: Беатрикс и Вейцман позади проводницы, мы, вооруженные еще в посольстве в Вашингтоне, но с миролюбивыми улыбками, — за ними. Я не видел, как темноволосый человек с пистолетом в вытянутых вперед руках проталкивался сквозь толпу встречающих около выхода. Беатрикс заметила его первой. Она толкнула Вейцмана, и тот тяжело рухнул на пол. В нее попали три пули, и она грациозно, словно танцуя под аккомпанемент барабанной дроби, сделала три шага назад и упала прямо на Вейцмана. Раздались крики, но не ее.

— Значит, теперь вы хотите республику, — ухмыльнулся Редж. — Ну тогда вам больше не нужна королевская регалия, за которой вы, очевидно, пришли. Кстати, позвольте представить вам нового хозяина. Ллуэлин Прайс. А вы мистер Прайс, познакомьтесь, пожалуйста, с Аледом Рисом и его компаньонами. Они у него часто меняются, так что, боюсь, не знаю их имен. "Сыны Артура". Вы наверняка слышали об этой организации. Неудобные посетители. Всегда являются к закрытию.

Ллуэлин Прайс, изучавший содержимое бара, обернулся и кивнул. Низенький строгий человечек с синеватой щетиной, похожий на священника. Сегодня он весь день играл в дартс с посетителями и всех обыгрывал, словно желая показать, кто здесь хозяин. Его счет, написанный мелом на доске, выглядел как ода победителю.

— Может, лучше выйдем? — сказал Алед Рис.

— Собираетесь избить меня в темноте?

— Не валяй дурака.

Двое компаньонов Аледа Риса были похожи на турок. Какое-то время они, не раскрывая ртов, стояли снаружи, в тени шелестевшего кроной большого вяза, непонятно зачем ковыряя древесную кору. Редж закурил трубку.

— Это что-то новенькое, — заметил Алед Рис, — помнится, ты всегда сигареты курил.

— Даже наш король от них помирает. Узурпатор из рода Ганноверов. Считай, что это верноподданнические чувства наоборот.

— Ты прав насчет нашей республики. Это произойдет не скоро, но работа продолжается.

— Грабите старушек и взрываете почтовые ящики как раз в тот момент, когда чей-нибудь ребенок опускает туда открытку, адресованную Санта-Клаусу.

— Мы вынуждены идти на это.

— И в чьих же руках окажется Уэльс? В руках концессионеров, скупающих месторождения? Я недавно читал в "Таймс" статью одного геолога. Уран обнаружен в Колорадо, Бельгийском Конго и, хочешь верь, хочешь нет, у Брекнокских маяков.

— Отдай нам эту вещь.

— Вещь, говоришь? Зачем? Чтоб вернуть русским?

— А что, русские к тебе наведывались? Или, может, полиция?

— Приходил один в штатском, хотел серьезно поговорить. Акцент у него был странный, похожий на ольстерский.

— Кимры ценят всяких друзей. Мы хотим получить его назад. Где он?

— Если твои дружки хотят выбить из меня информацию силой, отойдем подальше, чтоб новый хозяин не слышал. А лучше всего пройдемся к месту раскопок.

— Мы не приветствуем насилие, но при необходимости можем к нему прибегнуть.

— Другого я и не ожидал. Одно только скажу: он не уедет вместе со мной из этой страны. Он останется там, где ему и следует быть. В стране Ллегр, где когда-то правил Артур.

— Ну что, врезать ему? — спросил один из турок, а может, македонцев.

— Не надо, погоди, Янто. Он может находиться только в одном месте.

— Интересно, где же это? — полюбопытствовал Редж.

— Сам знаешь где, и я знаю. Мы его все равно найдем. — Помолчав, он спросил: — Уезжаешь, значит? Разочаровался в послевоенной Британии? Неудивительно, черт возьми. В Штаты, конечно, в бывшую колонию?

— Еду к жене. Багаж уже отправлен. Не такой уж и большой. Даже не верится, как мало я нажил. Только одна вещь осталась. Нет, не то, что ты думаешь. Это скорее семейная, чем национальная реликвия. Хотя о каких национальных реликвиях можно говорить, когда нации больше не существует?

— У тебя всегда в голове каша. Ничего не понять.

— Нация, — произнес другой турок, а может, албанец. — Национальное самосознание. Национальные сокровища. Национальная культура. Сообщество народов, объединенных в государство. Это мы проходили.

— Да, вижу! — похвалил Редж. — Воюющая нация — тоже неплохо звучит.

— О цинизме твоем я наслышан, — сказал первый. — Пора тебе кое-что в башку вбить, чтоб умнее стал, если ты не возражаешь. — Он вопросительно поглядел на Риса. Тот пожал плечами.

В дверях появился новый хозяин и сказал, что Реджа просят к телефону. Срочно. Междугородняя.

— Ну ничего, мы тебе покажем, — пригрозил специалист по национальным вопросам. — И не вздумай притащить с собой какой-нибудь тяжелый предмет. Ты хоть и циник, но человек образованный и должен понимать: то, что мы делаем, справедливо.

Редж пошел к телефону.

— Били тебя? — спросил я.

— Нет, только попугали. Вот твой звонок меня действительно напугал.

Мы прогуливались перед завтраком среди древнеримских руин в кибуце недалеко от Кесарии. Меня послали туда обучать кибуцников военному делу. До побережья рукой подать. Террористы наладились высаживать десант на надувных лодках, незаметных для радаров.

— Воюющие нации, — пробормотал Редж, подбросив ногой древнеримский черепок. — Хочу показать тебе одну вещь. Мне ее один янки показал, писатель, зовут Саул. Не тот Саул, что в Книге Деяний, а тот, которому Давид играл на арфе. А мы до сих пор не решили, как назвать нашего маленького сабру. Это же чудо, правда? Бомба взорвалась прямо в радиостудии. Слава богу, она в это время сидела за своей челестой и почти не пострадала.

— Меня в это время здесь не было.

— Я знаю. Ты в это время сам бомбы подкладывал в Сирии или где-то там. Теперь кругом одни бомбы. Но здесь это хотя бы по-настоящему. А воюющие кельты — театр марионеток. Это здесь. — Он пнул ногой древнюю истертую плиту из песчаника. В ней была выдолблена грубая ниша, над которой виднелась надпись REG ART. — Он, что же, и здесь побывал? По-моему, это невозможно.

— Наверно, это означает REGULUS ARTIFEX или что-то в этом роде. Имя какого-нибудь раба. После нас остается лишь имя. Имя — это, вероятно, наш единственный шанс обрести бессмертие.

— Как же нам его назвать? Да, кстати, как мне теперь себя называть? Есть в иврите какой-нибудь эквивалент имени Реджинальд? Я думаю, Джонс будет Иоканан или что-то подобное.

— Ты же знаешь, что евреем стать нельзя. Достаточно того, что Ципора — еврейка.

— Понятно, и Циной ее больше называть нельзя. Непочтительно. Мы на территории действия закона Моисея.

— Ему-то бог не позволил ступить на землю обетованную.

— Скотина он все-таки, этот ваш бог. — Редж посмотрел на небо, словно ожидая карающей десницы, потом окинул взглядом апельсиновые рощи. — Корни деревьев переплелись с римскими руинами. А апельсины хороши. И бананы тоже. Этот Саул, забыл его фамилию, сравнил

эти сады со стадом лошадей: жеребцы сплетаются с кобылицами, как банановые пальмы с апельсинами в цвету. Красиво.

— Долго ты здесь пробудешь?

— Пока Ципа, прости, Ципора не поправится. Ей нужен покой. Мне вообще-то нравится выращивать апельсины, но тянет в город. Я сейчас учусь читать испанские слова, написанные буквами иврита. Забавно, что сефарды испытывают ностальгию по их испанскому изгнанию.

— Всех нас мучит ностальгия по чему-нибудь. Джордж Герберт сказал что-то вроде того, что усталость заставляет нас припасть к божественным стопам. "Бог и есть наш дом", — писал Вордсворт. Хотел бы я верить в Бога. — Редж снова поднял голову к безоблачному небу, но Бога, похоже, не волновали чьи-то сомнения в его существовании: достаточно того, что он об этом знал. — Удел философов — быть скептиками или учителями философии.

— А твой отец не расстроится? Я имею в виду отказ от кровной мести.

— Отец собирается жениться на симпатичной пухленькой вдове из Кракова. С ним все будет в порядке.

Редж потянул носом душистый воздух, но не ощутил запахов. Потеря обоняния лишила его значительной доли удовольствий на земле Израиля. Даже трава была пропитана ароматом апельсиновых рощ. Хотя с севера и приносило ветром запах порохового дыма.

— Она теперь преподает, — сказал Редж. — Вы снова будете вместе. Ваши кафедры рядом.

— Я не надеюсь получить там место. Пойдем-ка лучше завтракать.

Мы шли, спотыкаясь об остатки древней Кесарии, мимо безруких идолов, огромной каменной маски у входа в бывший театр и разрушенной коринфской колоннады. По пути в столовую Редж спросил:

— А как бы ты его назвал?

— Не знаю. Имя для ребенка — одна из родительских мук. Тут нужно быть осторожным, человеку всю жизнь его носить. — Или, невольно подумалось мне, пока его не сразят вражеские пули.

На завтрак был крепкий чай в стеклянных стаканах с подстаканниками, яичница, козий сыр, сладкий лук, черные маслины, твердые сочные помидоры и соленые сардины. За столом шел высокоученый спор Саула, забыл его фамилию, с одним шведом, чья жена была похожа на Ципору. Сестры за общим столом не было. Она сидела с ребенком в корпусе для семейных пар. Скоро она едет в Иерусалим, чтобы работать преподавателем по классу ударных в консерватории. Выходит, что все мы будем учителями. С двумя академическими зарплатами Редж и Ципора смогут позволить себе няню. В нянях Израиль не испытывал недостатка: юные сабры нуждаются в заботе не меньше апельсиновых саженцев.

— Так что же случилось с мечом? — спросил я Реджа. И он мне рассказал.

Saith[1]

Посреди улицы три кошки глодали рыбьи головы и потроха, которые бросил им Дэн. Одна из них, пятнистая, громко урчала. Закат Страстной

1. Семь (*валл.*).

пятницы был скрыт в дыму горевшего в нескольких кварталах отсюда склада. Говорили, что на складе осталась невзорванная бомба. А пожарники начали забастовку. Нынче бастуют все кому не лень. Электричество отключили, и половина палтуса в холодильнике протухла. Хотя Дэну уже было все равно, отключили электричество или нет, — дела в лавке расстроились окончательно. Мелким магазинчикам становилось уже не под силу конкурировать с супермаркетами. Пивные, правда, процветали и накануне великого праздника не закрывались круглые сутки, будто в дни ярмарки. В Нидербери ревностно чтили старинный обычай в день смерти Христа пить не просыхая. Дэн прошел со свечой в темную кладовую, вынул из холодильника протухшего палтуса, разрубил его на три части и подбросил кошкам еще. Пусть полакомятся — все равно больше ни на что не годится. На прилавке оставалась только копченая семга, но и ее никто не хотел брать.

Поскользнувшись на мокрой брусчатке у входа в лавку, брат Дэна Редж вошел с тяжелым саквояжем в руках.

— Умираю, пить хочу, — сказал он, снимая плащ. — Господи, пошли Лазаря, чтоб омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой.

— Как же ты доехал, поезда ведь не ходят из-за забастовки?

— Невероятный случай. Встретил в Ньюпорте сослуживца с того проклятого корабля, что вез русских, как скот на убой, в Одессу. Он ехал на машине сына с двумя внуками. Подбросил меня до Челтенхема, а там я успел на последний автобус. В Стоуке меня подобрал попутный грузовик. Потом десять миль шел пешком, вот и хочу пить, — повторил он. — И возьми наконец у меня этот саквояж, у меня уже руки отваливаются. И дверь не забудь запереть. Совсем в глотке пересохло.

Когда братья открыли дверь, свечи, которые горели в пивной, задуло сквозняком и на новых посетителей обрушилась дружная брань. Те, кто сразу учуял исходящий от Дэна неистребимый запах рыбы, начали ругаться еще сильнее. Редж уплатил за пиво, и братья пристроились с кружками в темном углу.

— Фу, полегчало, — сказал Редж, залпом выпив полкружки.

— Что ты там прячешь?

— А то ты не знаешь, черт возьми.

— Опять что-то спер, ворюга?

— Нет, на сей раз не спер, — соврал Редж. — Мать сама дала мне ключ тогда, в Ленинграде. Он принадлежит тебе и Трикс. Это теперь целое состояние.

— Как она там? — спросил Дэн, подразумевая, конечно, не мать.

— Ты мою вторую телеграмму получил?

— Прямо перед тем как почта забастовала. Как она?

— Пулевые ранения оказались не опасными, ничего важного не задето. Ее ранило в локоть, запястье и плечо. Повезло. Во всех газетах о ней писали. Видел?

— Я газет не читаю, там сплошное вранье.

— Шок был сильный, ее до сих пор таблетками пичкают. Все зовет какого-то Дэна, так мне по телефону передали. Бредит тобой. Я отвезу тебя туда.

— Где она?

— В шикарном частном санатории в Дидсбери. За счет израильского правительства. А что это за толстый ублюдок, который на нас уставился и морду кривит?

— Ты забыл, что запаха не чувствуешь.

— Да, последствие боевого ранения. Как твоя-то дырка?

— Никак не высохнет.

— Посмотри на этих лоботрясов. При свечах они выглядят благороднее.

Краснорожие пьяницы у барной стойки смеялись и знай себе прихлебывали из кружки.

— Торговцы синтетическим дерьмом. Вон тот, видишь, тощий — хозяин магазина игрушек. А рядом с ним тип с трясущимися руками...

— Господи, кажется, я его знаю. Как же это он...

— Ты о ком?

— Нет, это не он. Мне показалось, что за мной был хвост. Они поклялись снова его отобрать у меня. Что это за вспышки?

— За углом пожар. Так и сгорит все дотла. Кругом бастуют, никому дела нет. Подонки. Как же мы туда доберемся?

— На своих двоих. С Божьей помощью. Страстная пятница обычно лунная. Если повезет, поймаем попутку. Ну, давай угощай, теперь твоя очередь.

— У меня в кармане пусто. Придется опять тебе.

Редж подошел к стойке. Невзрачный человечек в дорогом, прекрасно сшитом костюме спросил его, как он может выносить такую вонь. Редж ответил, что от родного брата и не такое снесешь.

— Почему он не пользуется специальными средствами? — удивился тот.

— Легко советы давать, когда денег куры не клюют, — бросил ему Редж.

— Почему этот день называют Страстной пятницей? — спросил брата Дэн.

— Потому что в этот день страстно жаждущие крови евреи пригвоздили к кресту другого еврея и, сгорая от страсти, стали ждать, когда тот испустит дух.

— И поэтому ее назвали Страстной?

— Ладно, допивай и пошли отсюда. Ей бы следовало называться черной пятницей, но этот эпитет закрепился за понедельником, причем за каждым. В цивилизованном государстве понедельник должен быть выходным. Тогда вторник станет черным. Как ни крути, все плохо. Весь мир — лечебница, принадлежащая разорившемуся богачу, — процитировал Редж. — Элиот украл эту цитату из кантаты Баха — Die ganze Welt ist ein Krankenhaus.

— Кто такой Элиот и тот, другой умник?

— Забудь. Идем.

Они вышли из бара через черный ход. В кабинке без дверей кряхтел и стонал какой-то мужчина. Каменная раковина со сломанным краном была ярко освещена почти полной луной. На кирпичной стене сортира виднелась надпись мелом: “Мыла нет и не будет”. Редж и Дэн, спотыкаясь в полутемном переулке, вернулись в рыбную лавку, затерянную среди других мелких магазинчиков. Объевшиеся тухлой рыбой кошки лежали посреди тротуара и умывались, готовясь к ночным похождениям. У дверей лавки топталась какая-то старуха. “Уходи, бабка, закрыто”. Она продолжала канючить, что хочет купить копченой селедки на ужин для зятя. Дэн отвесил ей семги и опустил монеты в карман испачканных рыбьими потрохами штанов.

— В таком виде нельзя ехать. Переоденься во что-нибудь приличное.

— У меня остался мундир с демобилизации. — Дэн пошел наверх по темной лестнице туда, где, судя по всему, находилась его спальня. — Значит, говоришь, прихватить эту чертову штуку с собой?

— Да. Мы возьмем его с собой.

— Слава богу, наконец-то от него избавлюсь. Светится по ночам, как тухлая селедка. Да еще и говорит.

— Правда? Он с тобой разговаривает?

— Так, бормочет что-то по-валлийски, когда качается на шнуре.

— Здорово. Давай тогда пошевеливайся.

Дэн принес Каледвелч, завернутый в грязный, провонявший рыбой полосатый фартук.

— Отработался, — сказал он и запер лавку.

Им предстояло пройти пешком не менее двух миль по главной улице Нидербери. Дэн, кряхтя, тащил тяжелый саквояж. Ноша Реджа была гораздо легче.

— Что ты теперь с ним будешь делать?

— Он мой. Я за него отвечаю. И я распоряжусь им, как считаю нужным.

— Значит, он твой? Ты и есть Аттила, Артур или кто там еще? А что ты сделал с отцовскими книжками?

— В этой его энциклопедии полно вранья. Там, например, есть статья на три страницы об антропологии, где приводятся кулинарные рецепты новогвинейских папуасов. Еще написано про две неизвестные пьесы Шекспира: "Если меня не знаешь, то никого не знаешь" и "Возьми и брось". Они якобы хранятся в банковском сейфе в Остине, штат Техас. А Бетховен, оказывается, написал Десятую симфонию, где в последней части есть соло для фортепиано.

— А он что, не написал ее?

— В общем, я отдал энциклопедию доктору Льюису, а семейную Библию отправил в Израиль с багажом. Пригодится при изучении иудейской культуры. Как ты думаешь, те двое за нами — это хвост?

— Давай на всякий случай свернем в подворотню и поглядим.

Подворотней Дэн назвал дыру между лавчонкой, торговавшей порножурналами, и парикмахерской. Они прошмыгнули вглубь. Подворотня, в лунном свете походившая на зияющую рану, вывела их на канал Стэнли. На противоположном берегу торчали трубы заброшенной фабрики. Тусклый свет луны, пробивавшийся сквозь дымовую завесу, осветил фигуры людей на корме баржи, груженной отходами. Баржа подошла к шлюзу, и по палубе забегали двое парней.

— На той большой реке на Украине был паром. Этот придурок на барже очень похож на паромщика. Тот решил, что мы немцы, и сдал нас красным. Тогда-то меня и ранили.

— Забудь об этом, Дэн, бога ради, забудь. Думай о том, что было до войны. Ведь неплохо жилось. Вспомни, какие люди у нас обедали, хотя тебе их имена незнакомы. И Джек Трой, который играл женские роли, и сопрано Джули Фалкон, и греческие жонглеры, и танцовщица Лавиния Эннис. Великий Зенон распиливал пополам женщин, весь зал падал в обморок, думая, что кровь настоящая, а отец ходил серьезный, как генерал, среди своих котлов и сковородок. Все знаменитости у нас бывали. Помнишь судью сэра Оливера Ардгура?

— Да, хорошее было время, — согласился Дэн.

Позади раздался взрыв. Плиты мостовой задрожали прямо у них под ногами.

— Господи Иисусе, — пробормотал Редж.

— Взорвалась все-таки. Все время об этом болтали. Смотри, сколько грязи накидало. Идем скорее.

Выйдя из подворотни между полуразвалившимся складом и разрушенной фабрикой по производству корсетов, они с опаской огляделись. Вокруг никого. Они пошли дальше по темной улице, где разорившиеся частные заведения уступили место государственным: управлениям бескормицы, дезинформации, безработицы и бессмысленного распределения. Навстречу им выскочил здоровый кобель и, преградив дорогу, принялся яростно лаять. Редж обнажил Каледвелч, но пес злобно зарычал, как будто его надули, подсунув вместо кости железо. Дэн безуспешно пытался отогнать его тяжелым саквояжем. Редж запустил в собаку валявшейся палкой, но и это не помогло. Наконец появился хозяин.

— Полно тебе, Брюс, улица тебе не принадлежит, — сказал он и пристально оглядел братьев Джонсов. — Читали газету? Да нет, не сегодня, сегодня же срамная пятница, как мой покойный отец ее называл. А в газетах только политика или скандалы да разврат. Пишут о девочках, изнасилованных в лесу, мальчишках, разгуливающих с ножами, а сами полицейские — сплошь преступники. Про политиков вообще говорить нечего. Я только про футбол и читаю. Сам не играю, толстый стал, разве такой я был в пятнадцать-то лет. Лежать, Брюс. А ведь мне его кормить надо. Хоть бы одна партия задумалась о том, что бессловесные твари тоже есть хотят. Как бы хуже не стало, ведь эти, в правительстве, знай гребут себе наши денежки. Пошли домой, Брюс, пора чем-нибудь подкрепиться. — Он оттащил пса за ошейник. Пес рычал и упирался.

Луна скрылась. С неба полило как из ведра. Братья спрятались под навесом у входа в одну из лавок.

— А что это там в витрине? — спросил Дэн.

— Это, дорогой мой братец, презервативы, средства защиты от перенаселения. Экономя на детишках, простые люди могут купить телевизор и автомобиль. Вон, кстати, едет.

Дэн проголосовал, но ни эта, ни следовавшая за ней машина не остановились. Мимо бесшумно проехал роллс-ройс "Серебряный призрак".

— Есть же у кого-то бабки, — прорычал Дэн. — Одни воевали, а другие наживались. Ты видел эту парочку на заднем сиденье? Чья-то жена в обнимку с чьим-то мужем. Когда у них пепельницы полны окурков, они их не чистят, новые покупают. Почему мы всего этого не имеем?

— Действительно, почему?

— И тачка их немереных денег стоит, небось не на нынешние бумажки куплена.

— Дождь кончается.

В самом деле, тучи рассеивались. Снова показалась мутная луна. Шлепая по лужам, они пошли дальше. Слева было кладбище, где, к их удивлению, в это время суток кого-то хоронили.

— Господи, факелы, — сказал Редж. — Кто же это так грешил, что и похоронить его при свете дня нельзя?

— Помнишь, в детстве, — сказал Дэн, — мы разожгли огонь на одной могиле на Южном кладбище? Коробок спичек тогда стоил всего пенни. Как подумаешь, что одним коробком можно было целый мир спалить, да

только ветер всегда пламя задувал. — Потом он спросил с отчаянием в голосе: — Ну скажи, почему они это делают? Зачем убивают невинных?

— Потому, что для многих злодейство — удовольствие, — пробормотал Редж. — Запретный плод сладок.

— Забыл, как звали тех двоих из нашей группы, которые покончили с собой. Не могли идти дальше, бедняги.

— Забудь об этом, Дэн, пожалуйста, постарайся забыть. Глянь, луна опять светит.

Редж обнажил Каледвелч, надеясь увидеть, как он засияет в лунном свете, но металл лишь тускло отсвечивал. Рядом с ними затормозил старый "форд", хотя на этот раз они не голосовали. Дэн мрачно взглянул на седого водителя в грязном плаще. Тот, виновато улыбаясь тонкими губами, пролепетал что-то о долге милосердия.

— Я вас знаю, — сказал Дэн, — вы учитель начальной школы на Флэксфилд-стрит.

— Вы у меня учились? Наверное, давно это было. Садитесь, подвезу. Далеко не могу, только до Тертона, если вас это устроит.

— Спасибо, — сказал Редж, — нам по пути.

— Вы меня выпороли однажды, — вспомнил Дэн, сидевший на заднем сиденье, — ужасно больно было.

— Значит, заслужили. Хулиганили, наверно. А вас я тоже драл? — спросил он Реджа.

— Нет, я в другую школу ходил, в общую.

— Понятно. Там девочки писаются от счастья, когда их тискают на задних партах. Я всегда работал с мальчиками. Но потом власти решили, что все, хватит, отработался. Чего только я не насмотрелся за все эти годы.

— Помню, больно было ужасно, — снова беззлобно усмехнулся Дэн.

— Для порядка. Я никогда не был садистом. Я очень разборчив в удовольствиях и в любви. Вы, наверно, такой же? — спросил он, покосившись на Реджа. Тот отрицательно покачал головой.

— А что это за длинная штуковина у вас на коленях?

— Оружие.

— Ясно. Несмотря на долг милосердия и Страстную пятницу, придется вас высадить. Уж больно несет от вашего дружка на заднем сиденье, дышать нечем.

— Это рыбой пахнет, — ответил Редж. — А на заднем сиденье мой брат.

— Прекрасно. Ну все, вылезайте. Простите, что было больно.

Они выехали на окраину города. Жилые дома и магазины здесь попадались гораздо реже. Братья прошли мимо ломбарда, украшенного тремя потемневшими колоколами и какими-то жуткими на вид безделушками, выставленными в витрине. На стене висела рваная киноафиша с изображением гигантской гориллы, которая кидала в кровавую пропасть полуобнаженных крошечных людей. "Страсти-то какие", — пробормотал Редж. Они миновали бывшую протестантскую часовню, где теперь играли в лото, и пошли вдоль кирпичной стены, усеянной битым стеклом. За ней находился городской приют для умалишенных. Вся стена была оклеена предвыборными плакатами с портретами фальшиво улыбающихся типов. Среди них была и реклама мадам Зельды, ясновидящей. Из окон сумасшедшего дома доносились дикие вопли. Редж поднял меч, но демоны безумия не отступили. Потом шел участок дороги,

покрытый свежим асфальтом. Тут же с Великого четверга стоял каток и валялись лопаты, брошенные, видимо, забастовщиками. В придорожных канавах квакали лягушки. Они вышли за черту города. Снова хлынул дождь.

— Я бы не отказался от кружечки пива, — сказал Дэн, увидев трактир. — Сколько у тебя денег осталось?

— Еще хватит на два билета до Манчестера, если, конечно, забастовка кончится, и даже мне на билет до южного побережья. Ну и на пару кружек пива и пирог с требухой наскребу.

Они зашли в трактир.

Тощая, как швабра, хозяйка неохотно налила им по кружке темного пива. "Констебль тутошний — форменная скотина, — сразу же сообщила она. — Того и гляди лицензию отнимет". В банке на стойке бара красовались маринованные угри, лондонский деликатес. И акцент у хозяйки был лондонский. Братья поделили пополам пирог со свининой, по вкусу напоминавший старую газету. Отставной матрос с всклокоченной бородой ораторствовал у тлеющего камина. Кивнув в сторону его слушателей, Дэн тихонько сказал:

— Видишь того, с черной повязкой на морде? Рак челюсти. Я его знаю. Конченый человек. Ворует свинец с церковных крыш. А коротышку рядом с ним видишь? Карманник, промышляет в ярмарочные дни. Остальные — пьяницы-фермеры. Разжились торговлей свиньями, подыхавшими от глистов. Что за чертово местечко.

Матрос между тем говорил:

— В Гибе это было. По пути из Гиба в Сеуту. Вам и невдомек, где это.

— Я там был, — подал голос Редж.

— Ну тогда ты поймешь, о чем я. Взяли их на борт. Помятых и побитых, прямо из бардака.

— В Гибралтаре нет бардаков.

— Это ты мне будешь рассказывать? — матрос отвернулся от Реджа. — Ну, шкипер наш им и говорит: "Я понимаю, вам крепко досталось. Война, и море штормит, но не забывайте, что вы британцы и гордиться этим должны. А ведете себя как скоты. Шевелите мозгами, учитесь, читайте Библию". Помешан он был на Библии, иногда целые куски наизусть шпарил прямо на ветру, на палубе. Ну а когда налетели мы на магнитную мину, шкипер наш заорал: вот он пришел, судный час, — и стал читать из Матфея. Это уже в Северной Атлантике было. Потом еще из Откровения что-то бубнил — так ко дну и пошел не замолкая. А я вот что вам скажу: Библия — сплошное вранье.

— Кружки давайте, — сказала хозяйка.

— Ну и несет же от тебя, приятель, — сказал Дэну человек с черной повязкой. — Где-то я тебя раньше встречал?

— Я на церковных крышах не гуляю.

Он перевел взгляд на Реджа.

— И твою морду я видел.

— А я тебя что-то не припомню.

— Кто вы вообще такие и что это за штука у вас?

В это время открылась дверь и вошел констебль, высокий молодой человек, больше похожий на гангстера. Сначала он обратился к хозяйке:

— Я, пожалуй, выпью кружечку, миссис, хоть я и на службе. Ладно, чего там, — добавил он, окинув взглядом весь зал, — есть большие пре-

ступления и есть мелкие проступки. Пропустить кружечку в рабочее время — не криминал. Тем более что старшого нет. Простыл бедняга.

— Почему же это не криминал? — спросил Редж.

— А вы кто такие, — спросил констебль, — и что это у вас за штука? И саквояж какой огромный.

— Частная собственность, — ответил Редж. — Путешествуем. Зубные щетки, пижамы, смена белья. Хорошо тут у вас, но нам пора.

— Что-то больно тяжелая смена белья. Прямо как гиря. Эй ты, вонючка, — бросил он Дэну, — а ну открой саквояж.

— Э-э нет, — сказал Рэдж, вытащив Каледвелч. — А ну, посторонись!

— Не дури! Сопротивление полиции — серьезное преступление. Призываю всех в свидетели.

— Я ничего не видел, ничего не знаю, — сказал человек с черной повязкой.

— Теперь-то нам хвост обеспечен, — буркнул Дэн, устремившись к выходу.

Констебль преградил ему дорогу. Редж сделал угрожающий выпад мечом, а Дэн двинул констеблю саквояжем в пах.

— Извини, не хотел делать тебе больно, — сказал он, — просто мы очень торопимся. — Констебль, мыча от боли, согнулся в три погибели. — Правда, не хотел, — повторил Дэн, открывая дверь.

Они бежали под проливным дождем.

— Значит, теперь мы в бегах, — сказал Редж, когда Дэн остановился, чтоб отдышаться. — По крайней мере с точки зрения полиции, но не думаю, что констебль станет поднимать шум. — И он завернул мокрый Каледвелч в полосатый фартук.

Никакой погони и полицейских свистков слышно не было.

— Надо найти пристанище на ночь.

В ближайшей деревне постоялого двора не было, но на южной окраине стоял большой особняк, занятый министерством социального обеспечения. "Смотри, кажется, попутка?" Но ревущий автобус затормозил у ворот особняка и из него, шатаясь, вышли калеки, которых сопровождали медсестры из "Госпиталя надежды". "О боже, ты только взгляни, что могло случиться с нами!" Это были инвалиды войны: у одного снесено пол-лица, другие с ожогами, слепые, безрукие. Дэн и Редж спрятались за широким стволом вяза. Автобус уехал. Дождь лил не переставая. Промокшие насквозь братья молча шли на юг, пока не набрели на сарай, оказавшийся фермерским гаражом. В нем стояли два трактора, пустые канистры и ржавый домкрат, на полу валялся промасленный брезент.

— По крайней мере тут сухо, — сказал Редж. Дэн молчал.

Они сели на шершавый бетонный пол, привалившись к стене. Спать не хотелось. Отдышавшись, Дэн сказал:

— Ребята называли ту дорогу "жопа". Погода была точь-в-точь как сейчас. И грохот стоял несусветный.

— Забудь, Дэн, забудь.

Церковные часы вдалеке пробили полночь.

— Вот и кончилась Страстная пятница и наступила суббота. — Редж наткнулся промокшим ботинком на что-то легкое и подвижное, на ощупь деревянное. Позже он понял, что это была игрушка, детская лошадка на колесиках.

— А еще там было большое замерзшее озеро и мужчина с четырьмя детьми, умиравшими от голода. Это было на Украине.

— Забудь, Дэн.

Редж задремал. Ему приснились русские великаны. Когда он проснулся, он увидел яркую, почти полную луну, которая отражалась в тусклом металле трактора. Снаружи доносился плеск. Дэна рядом не было. Редж со стоном поднялся и вышел из сарая. Голый Дэн мылся в бочке с дождевой водой.

— Ты с ума сошел.

— Отмываюсь от рыбного запаха. Чтобы не говорили, что от меня несет, — объяснил Дэн.

— Ты же заболеешь, — чихнув, сказал Редж.

— А ты разведи костерчик в углу. Обсушимся.

Это была дельная мысль, только с топливом проблема. Правда, в углу нашлось немного хвороста и соломы, там же валялась страница из "Дейли миррор" в масляных пятнах. После нескольких попыток Редж запалил бумагу зажигалкой. Потом он вспомнил про деревянную лошадку и, разломав ее, бросил в костер. Дров все равно было мало. Промасленная мешковина больше дымила, чем разгоралась. Редж выглянул наружу и под навесом, куда не добрался дождь, нашел сухой хворост. Он с трудом разжег костер, вновь и вновь чиркая зажигалкой. Огня хватило, чтобы высушить ботинки. Дэн пытался вытереться вывернутым наизнанку пиджаком и одолженным у Реджа носовым платком. Редж взглянул на часы — почти четыре утра. В животах урчало. Надо идти дальше. Дэн на всякий случай затоптал костер. Отмылся он от рыбы или нет, Редж определить не мог.

Через некоторое время они набрели на полуразрушенный дом, в котором, однако, кто-то хозяйничал. Ставни оторваны, окна выбиты, дверь и вовсе отсутствовала. Палисадник вокруг дома обильно зарос бурьяном. Однако изнутри слышались звуки гитары, а из разбитого окна тянуло дымком. Дэн и Редж прошли сквозь заросли сорняков и заглянули в дверь. В камине горел огонь. На полу у камина сидели двое грязных молодых людей и девица. Парень с гитарой повторял один и тот же ми-мажорный аккорд. На вошедших Дэна и Реджа все трое посмотрели без страха, но и без радости. Из темного коридора вышел бородатый старик в джинсах и расстегнутом военном кителе, из-под которого виднелась волосатая грудь. Он кивнул гостям и бесстрастно произнес:

— Покайтесь.

— В чем? — спросил Редж. — Простите, вы не против, если мы немного погреемся и обсушимся у камина? Ночь была долгая и беспокойная.

— Но взойдет заря, и солнце засияет для тех, кто покается. Каждый несет в себе все грехи мира.

Девица с немытыми соломенными волосами громко зевнула. Она была в армейских брюках и застегнутом на все пуговицы дорогом меховом жакете, явно краденом.

— Удалитесь от грешного мира. Воспитывайте в себе смирение. Живите как птицы небесные.

— От меня не пахнет? — спросил Дэн.

— Чуть попахивает рыбой, — принюхиваясь, сказал старик. — А что у вас в сумке, еда?

— Увы, — ответил Редж.

— Ну, что ж поделаешь. Тогда пусть нам Джеффри споет.

Гитарист взял свой бессменный ми-мажорный аккорд и монотонно затянул:

Нам опостылел белый свет,
В нем ничего святого нет.
Мы вырыли могилу,
Где света нет.

И в этой яме не важна
Ни вера, ни вина.
И лживая людская речь
Здесь больше не слышна.

Не видно в яме той ни зги,
Лишь вечно давит на мозги
Не туча грозовая –
Обманка роговая.

– Ад вы неплохо описали, – заметил Редж.

– Ад здесь, на земле, – сказал певец с длинными, давно не чесанными волосами.

– Это образование довело вас до жизни такой? – спросил Редж. – Кстати, что, по-вашему, представляет собой роговая обманка?

– Очень просто. Химическая формула $CaNa\,(Mg, Fe)_4\,(Al, Fe, Ti)_3Si_6O_{22}(OH)_2$, – ответил гитарист. – Минерал из группы амфиболовых, к которым также относится асбест. Название последнего происходит от греческого sbennynai, то есть гасящий.

– Лихо! – Реджа передернуло. – Ради этого стоило учиться.

– Речь не о преисподней, – сказал старик. – Сквозь ад мы уже прошли. Мы ищем выход через очищение огнем.

– Огонь-то у вас скоро погаснет, – сказал Дэн.

– Чем вы живете? – спросил Редж.

– Просим милостыню. Бенедиктинцы тут неподалеку помогают. Молоко по утрам и буханка хлеба из их пекарни нам обеспечены. Еще мы варим суп из съедобных трав.

– И нам пришлось травой питаться, – сказал Дэн, – когда мы шли через Польшу из лагеря. Но у нас выхода не было, а вам, придуркам, я вижу, нравится такая жизнь. Совсем рехнулись.

– Лагерь? Вы, наверно, бывший военнопленный. Мы против насилия.

– Значит, вам нечего защищать, – сказал Редж.

– Защита подразумевает готовность к нападению. Дилис, пора тебе произнести утреннее пророчество.

– Напророчьте конец забастовки на железной дороге, – ехидно попросил Редж.

– Слышите? – девушка подняла вверх грязный палец с обкусанным ногтем. Свисток, прозвучавший вдалеке, означал, что везут молоко. – Нет, я произнесу пророчество только после того, как поем, не раньше.

– Пошли отсюда, – сказал Дэн, – воняет тут.

– Кто бы говорил, – усмехнулся гитарист.

– Так вы говорите, вам помогают бенедиктинцы? – спросил Редж, прижав к себе Каледвелч.

– Англиканские бенедиктинцы. В трех милях отсюда монастырь, – ответил старик. – Пожалуйста, не просите у них. Это наша кормушка.

Дэн и Редж вышли.

— Если верить карте, которую я запомнил еще со времен школьного похода, где-то здесь должно быть озеро.

— А эти Бенни Дикцы, — сказал Дэн. — Те же самые, про которых ты в отцовской книжке читал?

— Не совсем. Я не знаю точно, связаны ли они с Монте-Кассино, но не думаю, что на него они имеют право. Он вышел из глубины веков. Пусть туда же и вернется.

— Ну и ну, — сказал Дэн.

Рассвет Великой субботы возвестил окончание тревожной ночи, когда братья подходили к последней на их пути деревушке. Бледная луна садилась за горизонт. На крошечном железнодорожном полустанке в окнах будки станционного смотрителя горел свет. Сонный грузчик таскал молочные бидоны. Поезд уже ушел, но раз движение восстановилось, значит, будет следующий. Дэн и Редж продрогли. Дэна знобило. За полустанком поднимался заросший лесом склон. Хотя Редж и не мог чувствовать запахов, ему казалось, что пахнет сырой землей и мхом. Птицы еще молчали. "Это там, за холмом". Редж шел впереди. Дэн недовольно плелся сзади. Ноги застревали в мокром валежнике. Вскоре им открылся берег холодного озера. В темной воде таял свет уходящей луны. Дэн вспомнил реки и озера, которые ему довелось повидать во время долгого похода через Восточную Европу.

— Какое же это озеро? Так себе, пруд, — сказал он.

— Неважно. Ты же сам говорил, что мир можно поджечь одним коробком спичек ценою в пенни. Сойдет и это. Главное, вода. Теперь надо произнести последнее слово: "Тогда сэр Бедивер легко поднял меч и пошел к берегу, и там он обернул перевязь вокруг рукояти и..." — Редж запнулся. — Артур говорил о богатырском мече, а ты посмотри на этот, — он выпростал оружие из грязного фартука, — посмотри на этого жалкого ржавого ублюдка. Пора с ним кончать. — Но Редж все еще колебался, зато Дэн был настроен решительно.

— Верно, — сказал он, раскрыв саквояж, выудил из старого армейского тряпья кусок желтого металла и, размахнувшись, кинул его в воду метров на двадцать от берега. Самородок сразу пошел на дно, как свинец, как золото.

Редж так опешил, что лишился дара речи.

— Ради всего святого, а его-то за что? — спросил он после долгой паузы.

— Издевательство все это да еще чертовски тяжелая штука. — Дэн был в ярости. — Если это деньги, не надо мне их. Да и не деньги это вовсе. Он все только собирается превратиться в деньги, но почему-то не превращается. Так и подохнуть можно, не дождавшись этих денег. А мне что же, так и таскаться с ним, пока он не станет деньгами? Она хотела, чтоб мы хранили его и лелеяли. А мне он не нужен, к дьяволу его.

Пока Редж приходил в себя, запели птицы.

— Мы всегда тебя недооценивали, Дэн, — сказал он наконец.

— Гляди-ка, — радостно закричал Дэн, — видел, как рыба плеснула? Эх, жаль, я удочку свою не взял, а то бы сейчас славно позавтракали. Ладно, — сказал он строго, будто отдавая приказ, — теперь ты давай бросай. А потом пойдем к поезду.

Редж ухватил Каледвелч за середину клинка и, размахнувшись, бросил. Каледвелч трижды перевернулся в воздухе и, упав плашмя на воду, легко пошел ко дну.

— Господи, — ахнул Дэн, — ты слышал крик?

— Ничего я не слышал. Ничего похожего. Блеснул, как селедка, и просвистел на валлийский манер. Никаких чудес. Последним волшебником на этой земле был Мерлин. Пошли на станцию, в Манчестер пора.

Попыхивая трубками, мы прогуливались среди созревших апельсинов и мандаринов, аромат которых Реджу был недоступен.

— Так, значит, не появилась из воды рука феи озера в венецианской парче и чуда не случилось? — спросил я.

— Девушка в белом бросилась в озеро от неразделенной любви, и рука ее в последний раз показалась из воды, но ухватиться было не за что, — припомнил Редж старую сказку, — и тогда ветер пригнул к воде ветви осины. Нет, чуда не случилось. Просто канул в воду. Аминь. Кончено. Consummatum est[1].

— Жалкое отмщение за несметные убийства.

— Доктор был прав. Прошлому отомстить невозможно. Закон здесь не помощник. Правосудие бессильно. Наказание не соответствует преступлению. Между ними — вечность. Лета — вот река прощения.

— К чему это ты?

— Мне нужно было сердцем, всем своим существом прикоснуться к романтическому прошлому, чтобы понять, что это всего лишь железо, ржавое железо. Теперь я должен научиться жить в сегодняшнем мире.

— Вот он перед тобой, сегодняшний мир. — Я не стал добавлять, что и этому миру от прошлого не уйти. — "Здесь вечный бой", — процитировал я кого-то вслед канонаде, доносившейся с учебного стрельбища. — Видел заметку в "Джерузалем пост" про валлийских националистов?

— Да, видел. Идиоты! Собирались похитить новорожденного принца Чарльза. Но здесь-то все серьезно. А ты действительно решил уехать?

— Нельзя же без конца воевать. Тебе, Редж, мирная передышка тоже не повредит. Ты хладнокровно убил врага, стал свидетелем величайшего злодеяния, ты касался железной десницы короля, которого никогда не существовало, и торговал пивом, ты зачал еврейского ребенка. Чего ты еще хочешь от жизни?

Он пожал плечами. Не знал, что ответить. Мне казалось, то, чего он действительно желал, носило характер отрицания: не жить в этом столетии. Или жить вне времени, как мы все этого хотели. Я, например, собирался учить студентов в Манчестере, сменив военный мундир на мантию профессора. Римские развалины, среди которых мы бродили, напоминали о величайшей несправедливости и о невозможности восстановить справедливость в нашем мире. А в цитрусовых рощах, независимо от законов Моисея, поспевали душистые плоды. Жаль только, что Редж не чувствовал их запаха.

Лугано, июль 1987 года

1. Свершилось (*лат.*).

Клаудио Магрис

Дунай

Сентиментальное путешествие от истоков великой реки до Черного моря

Главы из книги

Перевод с итальянского А. Н.

К *вопросу о желобах*

Табличка

Глубокоуважаемый!

Асессор из Венеции синьор Маурицио Чеккони подал нам идею выставки (проект прилагается) на тему "Архитектоника путешествий: история и утопия гостиниц". Устроить ее намечается в Венеции, а к финансированию привлечь различные учреждения, организации и общества. Если Вы заинтересованы в сотрудничестве...

Любезное предложение, поступившее несколько дней назад, не относится к какому-либо конкретному человеку или нижеперечисленным лицам, похвальный порыв общественной организации обращен к человечеству или, во всяком случае, к обширному и текучему слою культурных людей. Приложенный проект — творение профессоров Тюбингена и Падуи — составлен по всем законам логики и снабжен библиографией. В нем учтено все: неминуемые и непредвиденные препятствия в пути, разветвленность дорог, неудобства стоянок, внезапно застигшая путников ночь, разная продолжительность этапов путешествия. Маршрут представляет собой эскиз целой жизни, если учесть, что путь — ее метафора и на земле мы лишь гости.

Разумеется, по сравнению с миром в планетарном масштабе рискованность и таинственность любого приключения выглядят ничтожными. Еще мореплаватели Бодлера, пустившиеся на поиски неведомого и готовые терпеть любые бедствия и невзгоды, в итоге причаливают к той же

© Garzanti Editore s. p. a., 1986
© "Иностранная литература". Перевод, 2004

самой скуке, что была оставлена дома. Однако движение лучше, чем ничто: смотришь в вагонное окошко на проносящийся мимо пейзаж, подставляешь лицо свежему ветерку, овевающему деревья на бульваре, сливаешься с шумливой толпой, и что-то наполняет и переполняет тебя; твое "я" расширяется и сжимается, словно каракатица, а черный сгусток, выплюнутый из ротовой полости, растворяется в чернильного цвета море. Но ненавязчивое ослабление вселенских связей, когда надеваешь пижаму вместо мундира, есть всего лишь школьные каникулы, а вовсе не обещание великих перемен, дерзновенного полета за неведомые пределы. Все тщета, говорил Готфрид Бенн, и тщету эту ощущаешь, даже когда распахивается неумолимая лазурь под натиском сомнительной реальности. Самонадеянные и не терпящие возражений пророки внушают нам, что графа "Все включено" в гостиничных тарификациях включает и внезапно поднявшийся ветер. Но, к счастью, есть еще и приключения, и они не поддаются всякого рода классификациям и диаграммам; правда, остается методологический соблазн — так, нанятый асессором профессор из Тюбингена сознает, что проза жизни угрожает одиссее, а конкретный, неповторимый опыт индивида воодушевляет, когда цитируешь третью страницу великого семинариста Гегеля: метод есть построение опыта.

Деревянный желоб, по которому стекает тоненькая струйка воды, призывает отнестись с симпатией к методично разработанному проекту, обнаруженному мной в почтовом ящике; к скромному искусству фуги, что таится под аркадами логических построений. Дерево приятно пахнет, в нем есть мужественная стойкость Рыцаря безлюдной долины. Бреге — или Дунай?.. Бронзовая лента темной, чуть побледневшей воды, несколько островков снега в лесу — и жизнь уже предстала тебе свежим, ветреным днем, обещанием ясного неба. Счастливое стечение обстоятельств, радость, воцарившаяся в душе от слова "глубокоуважаемый", пробуждают доверие к миру и приятие синтеза гегелевской логики и гостиничных категорий, коим знаменателен проект немецкого коллеги.

Как славно, что в путешествиях есть своя архитектоника и можно будет донести до вас камень-другой. Хотя путешественники не столько воссоздают пейзажи (это прерогатива оседлой личности), сколько разрушают их, как гофмановский барон фон Р., что, путешествуя по миру, коллекционировал виды и, если что-то мешало ему любоваться панорамой, он приказывал спиливать деревья, обрубать ветки, сравнивать с землей холмы и фермы. Но ведь в разрушении тоже есть своя архитектоника, оно следует своим законам и расчетам, ибо это искусство разбирать камни и перекладывать их наново, создавая новый порядок. Как только лиственная стена падала, обнажая вид далеких развалин замка в лучах заката, барон фон Р. несколько мгновений созерцал желанное зрелище и поспешно удалялся, дабы никогда больше к нему не возвращаться.

Всякий опыт есть результат строгого метода, даже далекий призрачный закат для барона фон Р. или напоенный снегом воздух, овевающий желоб в Шварцвальде. А строгая классификация, которую являет нам жизнь в своих беспощадных проблесках, выставляет на всеобщее обозрение нерастворимый осадок тайны и волшебства. Таким образом, проект двух экспансивных ученых, построенный как "Трактат" Витгенштейна (1.1, 1.2, 2.11, 2.12 и т. д.), позволяет разглядеть сквозь узкие щелки между цифрами бесконечные перипетии странствий. К примеру, в проекте разграничены гостиницы: "люкс", приличные, скромные, сельские, портовые, экскурсионные, крестьянские, королевские, монастырские, благо-

творительные, аристократические, принадлежащие цехам ремесленников, таможенные, почтовые, перевалочные. Только ученые таблицы способны передать метафизический юмор бытовых предметов и повседневных событий, выделить их связи и последовательности; в разделе E, посвященном "Эпизодам" (то есть тому, что можно наблюдать в гостинице), читаем: "2.13. Эротика — ухаживание — проституция. 2.14. Водные процедуры. 2.15. Спальни. 2.16. Пробуждение".

Не знаю, к какой категории отнести гостиницу "Ной-Экк" в Шварцвальде (всего в нескольких километрах от того желоба), где двадцать три года назад подставка под кружку пива "Фюрстенберг" — картонный кружок с красным драконом на золотом фоне и синей окантовкой — решила мою судьбу. Отъезд и возвращение, le voyage pour connaître ma géographie[1], как говорил один псих из Парижа. Табличка в нескольких метрах от желоба указывает, что это исток (единственный ли?) Дуная, и даже подчеркивает, что он самый главный. Мелодичная река (так окрестил ее Гёльдерлин, стоя у истока), говорящая на тайном языке богов, дорога, связывающая Европу с Азией, Германию с Грецией, дорога, по которой поэзия и слово в мифологические времена донесли немецкому западу смысл бытия. На берегах реки для Гёльдерлина еще жили боги, таинственные, непонятные людям, но все ж таки живые, вполне реальные. Германия томилась во сне, скованная прозой жизни, но обреченная на пробуждение, освобождение и примирение в утопическом будущем, в поэзии сердца.

У реки много имен. Среди разных народов Дунаем и Истром назывались соответственно верховья и низовья, а иногда и вся река целиком. Плиний, Страбон, Птолемей то и дело задавались вопросом, где кончаются первые и начинаются вторые — быть может, в Иллирии или у Железных Ворот? Река "bisnominis"[2], как называл ее Овидий, тянет за собой немецкую культуру вместе с ее мечтой об одиссее духа, о возвращении домой, на восток, к смешению с другими культурами, к самым фантастическим метаморфозам, в которых вершится и разрушается ее история. Германист, путешествуя по реке, составляющей его мир, возит с собой багаж из цитат и выдумок. Если поэт доверяется утлому суденышку, то псевдопоэт, следуя совету Жан Поля, старается собирать по пути образы, старые предисловия, театральные афиши, вокзальные разговоры, стихи и ругательства, эпитафии, отвлеченные рассуждения, газетные вырезки, трактирные и приходские объявления. "Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient"[3], — гласит один из заголовков Ламартина. Впечатления и мысли о ком? Когда скитаешься один, как чаще всего бывает, приходится платить из своего кармана, но иной раз жизнь к тебе благоволит, давая возможность увидеть мир, хотя бы мельком, отрывочно, вместе с четырьмя-пятью друзьями — из тех, что даже на Страшном суде согласятся выступить в твою защиту.

В перерывах между путешествиями, возвращаясь домой, мы пытаемся перенести содержание пухлых папок на чистый лист бумаги, перенести тексты с конвертов, из блокнотов, брошюр, каталогов, превратив их в тексты машинописные. Литература — она как переезд: что-то теряется, что-то, запрятанное в чулан, наоборот, всплывает. Мы и впрямь почти

1. Путешествуя, познаю свою географию (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. С двумя именами (*лат.*).
3. "Воспоминания, впечатления, размышления и пейзажи во время путешествия на Восток" (*франц.*).

сироты, пишет Гёльдерлин в стихотворении "У истоков Дуная"; река бежит, сверкает под солнцем жизни, но блеск ее — лишь оптический обман, когда свет застит глаза и тебе чудятся пятна на стене, мерцание неона в просвете туч, соблазнительные видения, красочные обложки.

В отблесках небытия вспыхивают консервные банки на берегу, словно окна в лучах заката. Река не имеет никакой цельности, и путешествовать вообще аморально, говорил Вейнингер, когда сам путешествовал. Но река — это старый наставник дао, она журчит меж берегов, проповедуя о большом колесе судьбы и спицах в этом колесе. В каждом путешествии бывает хотя бы что-то от юга: растянутое время, отрешенность, плеск волны. Не заботясь о сиротах, оставшихся на берегу, Дунай течет к морю, к великому своему предназначению.

Донауэшинген против Фуртвангена

"Здесь берет начало главный рукав Дуная", — гласит табличка у истоков Бреге. Несмотря на это лапидарное заявление, многовековые споры об истоках Дуная не утихли до сей поры. Да, распри меж городами Фуртванген и Донауэшинген идут и поныне. Их усугубляет недавно высказанная и поддержанная известным седиментологом Амедео (втайне он еще историограф) гипотеза о том, что Дунай проистекает из крана. Не будем углубляться в библиографию, начиная от Гекатея Милетского, предшественника Геродота, и кончая подшивками журнала "Мериан", что продается в киосках; довольно вспомнить, сколько веков Дунай не имел известных истоков, как и Нил, в чьих водах, кстати сказать, он отражается и растворяется, если не in re, то по крайней мере in verbis[1] — в сравнениях и параллелях, коих на протяжении веков встречается немало в ученых трактатах.

Этим самым истокам посвящены размышления и догадки Геродота, Страбона, Цезаря, Плиния, Птолемея, Сенеки, Помпония Мелы, Эратосфена; истоки, по их мнению, находятся: в Герцинском лесу, у гипербореев, в Пирене, в краю кельтов или скифов, на горе Абноба, в Гесперии; другие гипотезы касаются разветвления реки: один рукав впадает в Адриатическое море, другой же (притом описания очень разнятся) — в Черное. Если от мифа, согласно которому аргонавты спустились по Дунаю до Адриатики, перейти к доисторической эре, мы и вовсе заплутаем на огромных просторах имманентности, запутаемся в исполинской географии: истоки пра-Дуная из бернского Оберланда окажутся на месте пиков Юнгфрау и Айгера, древний Дунай, куда впадали пра-Рейн, пра-Неккар и пра-Майн, тот, что в середине третичного периода, в эоцен, от шестидесяти до двадцати миллионов лет тому назад, впадал примерно там, где сейчас находится Вена, в залив Тетис, который считается океаническим предком сарматского моря, некогда покрывавшего всю Юго-Восточную Европу.

Нечувствительный к древности с ее индогерманскими префиксами, Амедео оставляет без внимания пра-Дунай и вклинивается в современные дебаты между Фуртвангеном и Донауэшингеном, двумя городками в Шварцвальде, отстоящими друг от друга на 35 километров. Официально истоки

1. На деле... на словах (*лат.*).

Дуная находятся в Донауэшингене, чьи обитатели гарантируют законность такого утверждения. Со времен императора Тиберия маленький родник на холме считается началом Дуная, к тому же в Донауэшингене сливаются еще две реки — Бреге и Бригах, — и слияние это являет собой (согласно бытующему мнению, которое подтверждают путеводители, архивы и фольклор) исток Дуная. Incipit[1] реки, обрамляющей Центральную Европу, находится на территории древней княжеской резиденции и остается ее частью, как замок Фюрстенберг, как дворцовая библиотека, где хранятся рукописи "Песни о Нибелунгах" и "Парцифаля", как пиво, носящее имя здешних князей, как музыкальные фестивали, прославившие Хиндемита.

"Hier entspringt die Donau" ("Здесь зарождается Дунай") — гласит табличка в парке Фюрстенбергов в Донауэшингене. А другая табличка, которую установил д-р Людвиг Орляйн у истоков Бреге, уточняет, что из всех конкурирующих истоков реки этот дальше всего отстоит от Черного моря, а именно на целых 2888 километров, то есть на 48 с половиной километров дальше, чем Донауэшинген. Д-р Орляйн — владелец земель вокруг истоков Бреге, которые находятся в нескольких километрах от Фуртвангена, — выдержал с Донауэшингеном битву гербовых бумаг и аттестатов. Это было повторением Французской революции в "убогой немецкой миниатюре": битва буржуа-либерала, мелкого землевладельца, с феодальной знатью, защищенной своими гербами. Бравые обыватели из Фуртвангена сплотились вокруг д-ра Орляйна, и всем памятен тот день, когда местный бургомистр пред лицом сограждан с вызовом выплеснул в родник Донауэшингена бутылку воды из Бреге.

Гомункул

Такая шутка, говорил Джиджи за бутылкой "Гутеделя" в аустерии на берегу Бреге, — когда расчлененные члены компании, по крайней мере временно сочленяются, может прийти на ум только сыну нашего столетия, человеку, сомневающемуся в том, существует ли еще природа и является ли она до сих пор таинственной хозяйкой Вселенной, или же ее уже заменили суррогаты. Недаром Дунаю именно сейчас, в наши дни, угрожает проект гигантской гидроэлектростанции между Веной и Хайнбургом. По прогнозам зеленых она нарушит экологическое равновесие плодородных почв по берегам Дуная с почти тропическим изобилием флоры, фауны и вообще всякой жизни. Джиджи, публицист классического стиля и сангвинико-меланхолического темперамента, но прежде всего педантичный гастроном и без пяти минут кардинал, несколько раздражен тем, что Мария Джудитта, пытаясь защитить (хоть и не слишком рьяно) результаты прошлогодних экспертиз, ни с того ни с сего употребила выражение "выйти из туннеля" — Джиджи таких выражений не выносит.

Для Гёте, продолжает Джиджи, противоестественного, судя по всему, вообще не существовало: широкая его натура охватывает и приемлет все, ибо она наделена необходимой тонкостью и ироничностью, чтобы создавать и приводить в движение все формы, даже те, что отрицают природу и кажутся людям противоестественными. Всякий индивид — даже самый сиротливый и бесплодный, отторгнутый от лона природы, — сам

1. Начало (*лат.*).

того не ведая, принадлежит ей и исполняет роль, отведенную ему в вечной игре: и кран, и желоб повинуются богу текучести.

Но не все за нашим столом разделяют такое мнение. Вторая природа, окружающая нас — лес из символов и конструкций, — внушает подозрение, что за ней нет никакой первой, что искусственные формы и всякая там биоинженерия видоизменили или растоптали ее законы, считавшиеся вечными. Именно австрийская культура, возникшая на просторах Дуная, безжалостно показала противоестественность постмодернизма, заклеймила его глупость и все же приняла, потому что от судьбы не уйдешь.

И в самом деле, даже поздний, загадочный Гёте предвидел нечто подобное, ведь во втором томе "Фауста" он не только рассказывает о рождении Гомункула — существа, выведенного в лабораторных условиях, но и предвещает полную победу искусственного и поражение или даже смерть древней Матери, которую под влиянием моды заменят искусственные создания, фикции. Если смотреть с перекинутых к модернизму и постмодернизму мостков, каковыми является второй том "Фауста", то водопроводные краны выглядят гораздо живее и реальнее рек; они куда эффективнее жизненного потока — чем и грозит нам Апокалипсис. Встревоженные люди, протестуя против строительства ГЭС близ Хайнбурга, твердят об обезвоживании, иссушении земли и жизни, плодородного и чистого материнского *амниона*, о древнейших илистых поймах, что исчезнут навсегда.

Бездельники, философствующие в аустерии по-над Бреге, в глубине души боятся, что рождены на свет подобно Гомункулу и плодородие их сердец может быть иссушено наравне с руслом реки, о котором они словоохотливо рассуждают. При этом они втайне надеются, что и на них падает сдержанная улыбка, какую все-таки позволил себе Гёте по отношению к карнавалу, где царят разного рода фокусы и уловки, безжалостно описанные во второй части "Фауста". А для нас в той аустерии осталась по-мефистофелевски нерешенная дилемма старика Гёте: являет ли собой природа-созидательница необозримый горизонт, вобравший в себя переменчивый опыт, где люди уже неразличимы, или она тоже попала под неумолимые жернова искусственного, за которым нет никакой жизни? Что есть атомная бомба: злодейское изобретение человека, грозящее нарушить вечную гармонию, или ничтожное явление, имитирующее в смехотворно малом масштабе деление ядра и гигантские взрывы на Солнце, сотворенном Господом Богом для оживления и обогрева Земли?

Антитеза, по правде говоря, оставляет нас довольно равнодушными, ведь даже если бы разрекламированный конец света оказался обычным ливнем, возвещающим приход лета, он так или иначе мог бы быть истолкован всего лишь как завершение определенного сезона. Обутые в деревянные сабо ножки обслуживающей нас официантки, что снуют туда-сюда по дощатому настилу ad maiorem Dei gloriam[1] и в назидание присутствующим, вполне достаточный повод, чтобы еще немного задержаться на этом свете или хотя бы только в этой аустерии, послушать банкующего Джиджи, поглядеть на лица вокруг него. Мария Джудитта трудится над сосисками с горчицей. Сосредоточенно слушает Франческа, очаровательная в своей незначительности, как Эффи Брист[2] у Фонтане, как вода в

1. Во славу Божию (*лат.*).
2. Речь идет о главной героине романа немецкого писателя Теодора Фонтане (1819–1898) "Эффи Брист" (1895).

ближайшем ручейке, столь же ясная и открытая, как гладь спокойного моря, по которой лишь изредка пробегает рябь от налетевшего бриза, — и эта гладь в своей мягкой, безмолвной бесконечности гораздо более непостижима, чем разверзшиеся мрачные бездны.

В горном потоке Гёте узрел неистовую юность и свежесть, которые изливаются на равнину, попутно оплодотворяя землю. Во времена "Бури и натиска", в эпоху предреволюционных надежд река стала символом гения, жизненной и творческой энергии, прогресса. В пятом томе "Энциклопедии" "энтузиазм" сравнивается с тонким ручейком, который разрастается, змеится, становится все шире, мощнее и в конце концов впадает в океан, "наполнив богатством и плодородием омытые им земли". Но несколько десятилетий спустя Грильпарцер, австрийский поэт XIX века, в стихах совершенно иного настроя мечтал остановить ручеек; он видел, как ручей растет, и воспринимал это как символ затерянности в истории, как утрату маленького, но гармоничного мирка тихого и ясного детства, видел, как ручей бурлит и суетится, пока не растворится в море, в небытии.

Дунай — австрийская река, и австрийским же является неверие в историю, которая разрешает противоречия, уничтожая их, неверие в синтез, преодолевающий и отменяющий правила игры, в будущее, которое приближает смерть. Наверное, потому сегодня старая Австрия и представляется нам родиной, что породила людей, которые усомнились в том, что у их мира может быть будущее, и не пожелали разрешать противоречия старой империи, сознавая: в любом случае окажутся разрушены некие основополагающие элементы и тем самым будет приближен ее конец. Чтобы оказаться у истока Бреге, надо спуститься по пологому склону всего на несколько метров. Там начинается река, оттуда она течет вниз. Следуя по ее течению, можно увидеть, где она замедляет свой бег, где разветвляется, ибо, как учит Рильке, что мечтать о победах — выжить бы, и только.

Колея времени

Музей часов — слава Фуртвангена; это лес приборов всех типов и форм (драгоценных, самодельных, самозаводящихся, музыкальных), которые отмеривают время. Среди них царят, разумеется, часы с кукушкой из Шварцвальда; одни считают их создателем богемского мастера, другие — Франца Антона Кеттерера (было это примерно в 1730 году) либо его отца Франца. Есть здесь часы маятниковые, астрономические, планетарные, кварцевые. Сам собой напрашивается вопрос: а течет ли время независимо от этих приборов, которые отбивают его, двигаясь каждый на свой лад, или же оно есть совокупность мер и обозначений?

Среди этих бесчисленных маятников уже не думаешь об Аристотеле, Блаженном Августине, метафизических проблемах времени — тебя занимают куда более скромные хронологические несоответствия. К примеру, несколько месяцев назад Итальянское социальное движение праздновало сорокалетие Республики Сало. На плакатах взметнувшиеся в фашистском приветствии руки с зажатыми в них кинжалами — и это аллегория эластичности, гибкости, которые приобретает индивидуальное или историческое время. В период знаменитой избирательной кампании 1948 года год 1918-й считался далеким прошлым, не способным разжечь страсти, а ведь именно тогда закончилась Первая мировая вой-

Клаудио Магрис. Дунай

на и воссоединились Триест с Италией. Минуло всего тридцать лет, а те события уже были брошены на жертвенник, где гаснет гнев врага. Сорок лет, отделяющие нас от Республики Сало, — достаточно краткий временной разрыв, за который страсти поостыть не успели, поэтому заранее объявленный митинг вполне мог вызвать беспорядки, драки, а значит и пострадавших.

Бывает, современными кажутся события давно минувших лет и далекими, навсегда вычеркнутыми из жизни, — факты и переживания месячной давности. Время истончается, удлиняется, сжимается, собирается в осязаемые сгустки либо рассеивается, разреживается, тает, словно пелена тумана, словно у времени не одна колея, а много: они пересекаются и снова расходятся, и по ним оно летит в самых разных, порой противоположных направлениях. В последнее время к нам стал приближаться 1918 год: конец Габсбургской империи, казалось, давно отошедший в прошлое, вдруг вернулся в настоящее, превратился в предмет острой полемики.

Не бывает одного-единственного поезда времени, что везет только в одну сторону и на постоянной скорости; рано или поздно он встречается с другим поездом, идущим ему навстречу из противоположной точки, из прошлого, и на каком-то отрезке пути, в настоящем, это прошлое оказывается совсем рядом с нами, в нашем сегодняшнем настоящем. Цельные отрезки времени, которые учебники истории именуют, скажем, четвертичным периодом или эпохой Августа, а наша житейская хроника — лицейскими годами или возрастом любви, — они, эти отрезки, загадочны и трудно соизмеримы. Сорок лет, миновавших после провозглашения Республики Сало кажутся кратким мигом, сорок три года belle époque — очень долгими; наполеоновская империя в нашем восприятии просуществовала гораздо дольше, чем эпоха христианской демократии, а на деле как раз наоборот.

Великие историки вроде Броделя[1] углубленно изучали именно этот загадочный аспект временно́й протяженности, двусмысленность и поливалентность того, что мы именуем "современностью". Это слово приобретает различные значения в зависимости от движения пространства, как в научно-фантастических повествованиях. Франц Иосиф остается современником тех, кто живет в Гориции, поэтому там то и дело натыкаешься на следы его присутствия, и он же персонаж седой древности для тех, кто обитает в Виньяле-Монферрато. Для Гамсуна, который родился до битвы при Седане и был еще жив в начале Корейской войны, эти два события каким-то образом расположились на едином горизонте, тогда как для Вейнингера, который умер молодым в 1903 году, они относились бы соответственно к прошлому до его рождения и к далекому будущему, то есть к миру, который он не мог себе даже представить.

"Ungleichzeitigkeit" — "неодинаковая временность", разделяющая чувства и привычки людей и социальных классов, есть, по словам Блоха, одна из ключевых проблем истории и политики. Мы не в силах постичь, как для наших детей может быть неведомым, невозвратным прошлым то, что для нас все еще остается неотпускающим настоящим. В этом смысле каждый человек — одновременно виновник и жертва непонимания; тем, кто лет на десять-пятнадцать моложе меня, трудно осознать, что истрийский исход после Второй мировой войны я по-прежнему вос-

1. Фернан Бродель (1902–1985) — французский историк, занимался преимущественно экономической историей Западной Европы XVI–XVIII вв.

принимаю как настоящее и, с другой стороны, сам не понимаю, почему для них периоды между 1968, 1977 и 1981-м — совершенно разные эпохи, тогда как для меня они, несмотря на все различия, накладываются друг на друга и сливаются в одно целое, словно волнующиеся травы на лугу.

История обретает реальные параметры лишь некоторое время спустя — когда события уже свершились, а общие связи, установленные и записанные в анналах, придали событиям масштабность, определили их роль. Вспоминая разгром Болгарии — событие, решившее в известной степени исход Первой мировой войны, а следовательно и ознаменовавшее конец целой культуры, — граф Каройи[1] пишет, что, хотя и пережил его, но не постиг всей значимости, "поскольку в тот момент 'тот момент' еще не стал 'тем моментом'". Точно так же для Фабрицио дель Донго битва при Ватерлоо, когда он в ней участвовал, таковою еще не была. В настоящем без примесей — а ведь в этом измерении мы как раз и живем — истории нет; нет такого мгновения настоящего, которое было бы осознано как фашизм или Октябрьская революция, ибо в каждую мельчайшую долю времени есть только сглатывающий слюну рот, движение руки, взгляд в окно. Зенон отрицал движение стрелы, выпущенной из лука, поскольку стрела в каждое мгновение неподвижна в данной точке пространства, а последовательность неподвижных мгновений не может считаться движением. Таким образом, надо отметить, что историю создает не последовательность таких мгновений без истории: ее создают сопоставления и дополнения, внесенные историографией. Жизнь, говорил Кьеркегор, можно постичь, лишь оглядываясь назад, хотя жить надобно, глядя вперед — на то, чего еще не существует.

В В*ахау*

Зулейка

На доме номер четыре по Пфарплац, где теперь находится приходской отдел Линца, висит доска: на этом месте, согласно преданию, стоял дом, где родилась "Марианна Юнг, по мужу Виллемер, — Зулейка Гёте". Впрочем, эта любовная история не слишком проникнута религиозным духом, хотя в жизни Гёте прослеживается несомненная связь между сердцем и церковью, начиная с юношеской любви его к Фредерике Брион.

Марианна Юнг родилась, по всей вероятности, 20 ноября 1784 года и была "дочерью искусства": служила хористкой, танцевала в кордебалете, выходила в костюме Арлекина из огромного катящегося по сцене яйца. Банкир и сенатор Виллемер, прусский консул и автор политико-педагогических брошюр, а также большой театрал и любитель послепремьерных банкетов, увидел шестнадцатилетнюю артистку во время этого представления во Франкфурте и увез к себе, заплатив матери две тысячи гульденов и посулив пожизненную ренту. В деревенском доме между Франкфуртом и Оффенбахом, рядом со старой мельницей, Марианну обучили хорошим манерам, французскому, латыни, итальянскому, пению и рисованию. После четырнадцати лет сожительства Виллемер

1. Граф Михай Каройи (1875—1955) — в 1918 г. — председатель Совета министров, в начале 1919 г. — президент Венгрии; с 1919 г. в эмиграции.

надумал на ней жениться, озабоченный появлением на их тихом горизонте Гёте.

Шестидесятипятилетний Гёте переживал один из высочайших творческих взлетов — писал стихи для "Западно-восточного дивана", гениальные вариации на темы персидской лирики Хафиза (которого читал в переводах Йозефа фон Хаммера Пургшталя), решив вдохнуть новую жизнь в вечную зарю Востока и отвлечься от бурных событий последних наполеоновских кампаний.

Гёте с удовольствием рядится в персидские одежды и погружается в традицию, где полнота чувственной реальности в каждой своей составляющей превращается в символ, в котором видится божественная полнота жизни. Его существование, очень переменчивое и сдобренное вином, открыто в бесконечность, оно эфемерно и одновременно вечно, словно маки, похожие на шатры везира. Теперь его привлекает не четкий греческий профиль, а плеск бегущей воды. Но вода — это тоже форма, граница; это подвижная, но узнаваемая фигура, таящаяся в игре фонтанных струй. Великий классик никогда не откажется от формы, определенности и завершенности, от того, что выглядит иным, но ищет форму, которая, подобно водяным струям или же любимому телу, не застынет и не окаменеет, иначе говоря, будет вечно струиться, воплощая в себе жизнь.

В одном из стихотворений "Дивана" прекрасная Зулейка говорит о том, что все вечно пред очами Бога, что можно любить эту божественную жизнь саму по себе, каждое мгновение в ее хрупкой и мимолетной красе. Зулейка и себя считает лишь неуловимым мигом — гребнем волны или окаемом облака, но она безмерно счастлива тем, что на краткие секунды воплощает в себе ритм этого текучего движения. Ее не завораживает и не тревожит бесконечная изменчивость; она чувствует себя почти что целиком растворенной в разнообразии и непостоянстве жизни, и ей ни к чему торопиться и понуждать себя саму к метаморфозе, ей, как и Гёте, ни к чему ломать метр и рифму катрена, чтобы угадать свободную мелодию будущего и чтобы вплести в нее свою песню.

Гёте знакомится с Марианной, и в "Диване" Марианна становится Зулейкой. Так рождается на свет величайшая, одна из лучших за все времена, любовная поэзия, но вместе с ней рождается нечто, еще более великое. "Диван" и божественный любовный диалог, заключенный в нем, подписан именем Гёте. Но Марианна была не только его возлюбленной, воспетой в стихах, она была еще и автором нескольких великих стихотворений, а в более широком смысле — и всего "Дивана". Гёте включил ее стихи в сборник под своим именем; и только в 1869 году, много лет спустя после кончины поэта и через десять лет после смерти Зулейки филолог Герман Гримм, которому Марианна поведала тайну и показала бережно хранимую переписку с Гёте, открыл миру, что именно она написала изумительные — их очень мало — стихотворения для "Дивана".

Эти стихи, положенные на музыку Шубертом, облетели весь мир — но под именем Гёте, ситуация не изменилась и до сих пор: поклонникам этих песен всякий раз приходится читать комментарии Эриха Трунца к изданию сочинений Гёте, чтобы узнать, какие строки принадлежат перу тайного советника, а какие написаны маленькой балериной, что выходила из яйца в костюме Арлекина и стоила банкиру две тысячи гульденов.

Не только мимесис поражает в созвучии голосов, сливающихся в страстном диалоге, будто тела влюбленных или чувства и духовные ценности при совместном существовании. Здесь явственно видится еще и

то, что мужчина злоупотребляет своей властью — типичный, но одновременно и крайний случай, когда мужчина присваивает творение женщины; мужчина ставит свое имя под тем, что сделала женщина. Но и это еще не все. Марианна написала в "Диван" всего несколько стихотворений, и теперь они принадлежат к шедеврам мировой лирики, и больше она никогда и ничего не создала. Когда читаешь ее песни о восточном и западном ветре, песни любви, которые кажутся дыханием самой жизни, трудно себе представить, что позже ни строки не вышло из-под ее пера. Как сказочка первоклассницы об умирающей розе, лирика Марианны — свидетельство высочайшего поэтического дара, таинственного соединения и совпадения разных элементов, которые и создают поэзию, подобно тому как определенный градус конденсации водяного пара, вызванный случайным или, по крайней мере, трудно предсказуемым сочетанием факторов, вызывает дождь, а значит, увеличение спроса на зонты и острую нехватку такси.

По поводу истории создания своих шедевров австриячка Марианна могла бы повторить дорогую сердцу Музиля поговорку: "Es ist passiert" — "Так уж вышло", то есть неожиданно произошла гармоничная смычка души с миром; рука вывела слова, будто бы рассеянно чертя что-то на песке или листе бумаги, не думая ни о патентах, ни об исключительном праве собственности на этот набросок. Марианна безвозмездно отдала собственные творения Гёте, ибо в своей преданности поэту хорошо понимала, что в любовном союзе бессмысленно разделение на "твое" и "мое". Но ее стихи, вышедшие под чужим именем, свидетельствуют о суетной бессмысленности любого имени в конце страницы или на обложке поэтического сборника, потому что поэзия, как воздух, как времена года, не принадлежит никому, даже автору.

Возможно, Марианна Виллемер чувствовала, что поэзия обретает смысл, лишь когда рождается из чувств, подобных тем, которые испытала она, а когда миновал благословенный миг, ушла и поэзия. "Однажды, раз в жизни, — писала она много лет спустя, — я ощутила нечто возвышенное, способность изъясняться проникновенными, доходящими до сердца словами, но со временем эти слова не то чтобы перестали существовать, а просто стерлись из памяти". Она была несправедлива к самой себе, ибо мудрость и стойкость, с коими она перенесла эту утрату, как раз и свидетельствовали о благородстве души и глубине чувств, по своей поэтичности не уступающих стихам, которые снизошли на нее в минуты страсти. Марианна выказала несравненно больше благородства и великодушия, чем Гёте, который перевернул эту страницу своей жизни, предав ее забвению с жестокостью здоровой, но неуверенной в себе натуры. Даже Виллемер, до конца относившийся к Марианне с любовью и уважением, оказался душевно щедрее поэта.

Разумеется, Марианна с ее умом и тонким литературным вкусом могла бы и без вспышки чувств, случившейся в 1814—1815 годах, написать тома хороших стихов, достойных войти в историю поэзии. Всякий участник литературного кружка мог бы и сам стать неплохим сочинителем и нередко им становится. По-настоящему плохих книг сравнительно мало, а творческий провал — это и вовсе аномалия на фоне усредненного и вполне сносного общего культурного уровня, равно как грубая орфографическая ошибка — на фоне всеобщей грамотности. Вот и Марианна Виллемер могла бы накропать пяток или даже десяток поэтических и

прозаических сборников, какие в каждой стране выходят тысячами — в ритме работы желез внутренней секреции.

Но она предпочла молчать. Несколько ее стихотворений стали шедеврами мировой лирики, но этого, увы, недостаточно, чтобы войти в историю литературы, которая представляет собой целостную систему и не может удовлетвориться несколькими строчками, как бы совершенны они ни были. Ей нужен куда более весомый вклад — неважно, банальных или гениальных страниц, — чтобы иметь возможность включить их в издательский цикл, в систему распространения, дабы следом пошли потоки рецензий, дипломных работ, а также дискуссии, конференции, премии и главы в школьных учебниках. В этом механизме стихи Марианны ровным счетом ничего не значат. И потому автор несравненных строк "Дивана" не причислен к сонму поэтов, Марианна осталась в истории литературы просто женщиной, любимой и воспетой Гёте.

Торт для эрцгерцога

В 1908 году Франц Фердинанд, эрцгерцог Восточной Австрии и наследник трона Австро-Венгерской империи, назвал корону Габсбургов терновым венцом. Это определение буквально витает над музейным залом, посвященным пребыванию эрцгерцога в замке Артштеттен, что находится в 80 километрах от Вены, близ Дуная. Там Франц Фердинанд и похоронен вместе с возлюбленной женой Софи. Выстрелы из пистолета в Сараеве помешали Францу Фердинанду надеть корону, но даже если б он стал императором и правил столько же, сколько Франц Иосиф, его бы не похоронили в Склепе капуцинов, подобно его предкам: он пожелал покоиться рядом с женой, а Софи Чотек фон Чоткова-унд-Вогнин была всего-навсего графиней, хотя и принадлежала к одному из самых древних и знатных чешских родов, но она не могла претендовать на место в склепе Габсбургов, точно так же, как ее слишком скромное происхождение не позволяло ей жить в Хофбурге и пользоваться императорскими каретами или театральными ложами.

Теперь оба они покоятся в усыпальнице артштеттенской церкви, рядом с замком, в двух простых белых саркофагах. "Franciscus Ferdinandus, Archidux Austriae-Este". На могильной плите он не назван наследником трона, не упомянуты и прочие титулы и регалии. Латынь свела жизнь эрцгерцога к трем главным событиям, помеченным соответствующими датами: Natus, Uxorem duxit, obiit. Жизненный путь Софи также сужен до этих трех событий. Родиться, жениться, умереть — вот в чем, по мнению наших лаконичных предков, смысл существования. Хоть эрцгерцога, хоть любого другого. Все прочие жизненные характеристики, даже самые громкие, играют второстепенную роль и не заслуживают того, чтобы их увековечили в мраморе. В этой усыпальнице покоится не просто невезучий наследный принц, но личность универсального масштаба, человек, разделивший всеобщую судьбу.

Женившись на Софи, пойдя на предосудительный мезальянс с графиней (всего-навсего), он не только закрыл своим наследникам путь к трону — он обрек их на унижения, на злобную травлю придворной камарильи, которая нашла способ потешиться над ними даже после Сараева, на похоронах их отца. Франц Фердинанд не отрекся от трона ради любви, как какой-нибудь сентиментальный обыватель, ибо не мыслил жиз-

ни без исполнения монаршего долга перед империей и, только следуя своему высокому призванию, мог считать себя достойным любви, ставшей венцом этого призвания, но не пожелал он и отречься от любви ради трона, что было бы не меньшим лицемерием.

Этому браку противились все, даже брат Франца Фердинанда эрцгерцог Отто, который любил, например, появиться в гостинице "Захер" нагишом, но при сабле, любил вторгнуться на коне в еврейскую похоронную процессию или спровоцировать драку между своими врагами и своими же сторонниками. Как истинный экстремист, начисто лишенный предрассудков, эрцгерцог Отто свято чтил придворную иерархию. В ненависти аристократии к Францу Фердинанду сквозит мещанство круга, почитающего себя элитой и свысока взирающего на прочих, наподобие того пьяного из анекдота, который толчется на клумбе в полной уверенности, что она и есть настоящий мир, а за ее оградой тюрьма, где томятся все остальные.

В залах замка Артштеттен, воссоздающих жизнь Франца Фердинанда, ощущается присутствие весьма противоречивой личности — человека, который старомодно считал, что власть монарха сродни Божественной, но был намерен употребить ее против привилегий аристократии, во благо самых угнетенных народов империи. Письма, фотографии, документы являют нам натуру неистовую и упрямую, вздорную и фанатически властную, но беззаветно преданную долгу и способную на глубокие чувства.

Кроме того, здесь присутствуют знаки счастья в любви и семейной жизни — супругам, убитым в Сараеве, можно только позавидовать. Софи на всех портретах необыкновенно хороша и покойна. Она чем-то напоминает Ингрид Бергман и будто вся окутана блаженством, полным тайного значения. Такой ясный взгляд бывает лишь у истинно счастливых людей, а фотографии эрцгерцога с женой говорят о взаимном доверии, нежности, полной гармонии чувств. Эта гармония распространяется и на детей. Вот маленькая Софи на карнавале в Шёнбрунне; на головке розовый бант, взгляд устремлен вверх. Рядом два брата, Максимилиан и Эрнст, которого Гитлер, аннексировав Австрию в 1938-м, отправит в Дахау. Открытки, которые Франц Фердинанд посылал детям, адресованы Их Высочествам, а подписаны "папочка".

Однако от мягкости и благородства Франца Фердинанда не остается и следа на охотничьих фотографиях: на них наследник трона жаждет крови, демонстрирует ненасытное стремление к особого рода рекордам — как иначе объяснить 2763 чайки, убитые за один день, или желание довести счет убитых им собственноручно оленей до 6000? Развалясь на груде мертвых косуль, эрцгерцог и его спутники выставили вперед животы и плотоядно улыбаются, довольные богатой добычей.

Семейная хроника включает подарки, школьные табели, праздники, солдатиков, сласти. Должно быть, малютка Софи в том самом 1908-м, когда в розовых платьицах посещала Шёнбрунн — ее отец в ту пору уже размышлял о терновом венце, — с удовольствием отведала торт, о котором пишет известный пирожник Оскар Пишингер, владелец носящей его имя кондитерской фирмы, в письме к Ее Светлейшему Высочеству, супруге эрцгерцога, возведенной мужем в ранг герцогини. Письмо, написанное с нижайшим почтением и массой профессиональных подробностей, гласит: отправитель посылает на пробу Ее Светлейшему Высочеству торт, изготовленный по собственному его рецепту, имея дерзость надеяться на августейшее одобрение. Засим следуют новые заверения в

совершеннейшем почтении, изъявления глубочайшей благодарности и подтверждается надежда на то, что герцогиня не оставит своим вниманием его сладкий шедевр.

Из дома эрцгерцога наверняка последовал ответ, притом, по некоторым сведениям, ответ неосторожно ободрительный, поскольку в следующем письме кондитер выражает глубочайшую признательность и радость, ибо получил официальное разрешение именовать "Герцогиней Софи" некоторые из своих воздушно-кремовых Krapfen[1]. А о торте, как ни странно, больше ни слова, возможно, он не имел успеха, но Оскар Пишингер компенсировал эту неудачу своими Krapfen, одно название которых отныне гарантировало благосклонность широкой публики. Но тут герцогиня, видимо, раскаявшись в своем легкомыслии, сочла нужным охладить пыл зарвавшегося пирожника. Вскоре он сообщает ей об изготовлении и отправке в Бельведер, который занимало семейство эрцгерцога во время пребывания в Вене, шести Krapfen, по заказу Ее Светлейшего Высочества, должно быть, по две на ребенка – прямо скажем, маловато для августейшего семейства, даже при той скупости Франца Фердинанда, что стала притчей во языцех.

В этих письмах прослеживается бытовая история: загадочное молчание относительно торта, явное волнение, с каким Оскар Пишингер готовил пресловутые Krapfen, подзатыльники, которыми он щедро награждал своих подручных, холодный и скупой заказ, микроскопическая коробочка, доставленная в огромный Бельведер.

Чуть поодаль мы видим несколько фотографий, запечатлевших последствия покушения в Сараеве и очень похожих на далласские. В те мгновения прозвучали самоубийственные для Европы выстрелы, и по иронии судьбы с них началось освобождение Азии и Африки, ведь не будь тех смертельно ранивших нас выстрелов, старушка Европа еще неизвестно сколько продолжала бы угнетать два соседних континента.

Krapfen "Герцогиня Софи", как и ныне знаменитый торт Пишингера, пережили эрцгерцога. Мир не рухнул, а семейная история находится под опекой социологов и церкви. Объявление, вывешенное в церкви в Арштеттене, гласит, что на следующей неделе будет проводиться День заботы о тещах и свекровях.

Кирлинг, Хауптштрассе, 187

В одной из этих комнат 3 июня 1924 года умер Кафка. Маленький двухэтажный дом, где сейчас находятся скромные квартиры, тогда был санаторием доктора Хоффмана в деревушке близ Клоштернойбурга. В этом санатории Кафка, надеясь на выздоровление, провел две последние недели своей жизни. На пороге выведено: "Привет". Комната Кафки, по-видимому, была на втором этаже и выходила окнами в сад. Нынешнего домовладельца зовут герр Бахер. В привратницкой висят объявления о том, что трубочист приходит каждый третий понедельник месяца, что воспрещается колоть дрова в доме и поднимать по лестнице тяжелые сундуки без письменного разрешения.

Звоню в квартиру на втором этаже. Пожилая фрау Дунай радушно приглашает меня войти и позволяет выглянуть на балкон. Перила дере-

1. Пышек (*нем.*).

вянные, на веревках развешано белье, в углу стоит тряпичный медвежонок. На балконе этажом ниже, где хлопочет фрау Хашер, красуются оленьи рога и прочие охотничьи трофеи, которые никак не ассоциируются с последними часами Кафки, когда он, превозмогая боль, правил корректуру сборника "Голодарь", содержавшего одноименный рассказ — притчу о совершенстве, которое выхолащивает жизнь.

Отсюда Кафка, сидя в своем шезлонге, глядел на сад. Теперь там выстроили сарай, где хранятся тачки, косы и прочий инвентарь. Кафка видел расплывавшуюся перед глазами зелень, цветущие растения, как и положено в начале лета. Видел ту самую жизнь, которую высасывала из его тела бумага, оставляя внутри ощущение чистой и бесплодной сухости. Перед этой пышной, почти женственной зеленью Кафка, вероятно, чувствовал — при всем своем величии — едва ли не гротескное отчаяние из-за мужской неуверенности в себе, что побуждало его к постоянной, методичной обороне и самоутверждению. На фоне этой эпической зелени Кафка наконец-то обрел женщину, Дору Димант, которой не побоялся довериться, на которой думал жениться, с которой хотел прожить оставшуюся жизнь. Видимо, даже у смертного порога не поздно постичь истину таких слов: "Чем был бы я без нее?" — так говорит он о Доре. Решительность, с какой Кафка принял ее помощь, возвышает его над собственными персонажами, в которых он отобразил свое нежелание признать себя слабым, смириться с немощностью.

Возможно, болезнь лишила его упрямой тяги к перу, отгораживавшей от жизни, и взамен дала мастеру смирение, в котором ему отказывала литература. Возможно, его спасение было в слабости, в физической неспособности быть самодостаточным и продолжать писать. В дневниках Кафка вспоминает, что его иудейское имя — Амшель. В этом имени выражено то, чего он был лишен: человеческое тепло, любовь, семья. От всего этого он отрекся, "лишь бы стать Францем Кафкой", то есть писателем. То, что случилось с ним перед смертью, когда любовь к Доре вернула его в лоно иудаизма, а также помогла решиться на брак, не имеет никакого отношения к литературной биографии Кафки, уверяет Джульяно Байони, а "касается только человека, чье иудейское имя — Амшель".

Амшелю удалось сделать шаг, на который Кафка был неспособен, — смириться со слабостью, отдаться любви, признать, что без Доры он ничто. Если мужчина без женщины не человек, как сказано в его любимом месте Талмуда, то человеком смог стать Амшель, хотя бы и на смертном одре, а не Франц, излагающий и толкующий свою одиссею на пути к Амшелю, то есть к человеку.

В соседней комнате Альберто Каваллари склоняется над графиком температуры: 12 апреля у Кафки было 38,5. Шекспировский лик Альберто сосредоточен и напряжен, когда он вчитывается в список больных, которые находились вместе с Кафкой в санатории Винервальда: Краус Ольга, Ковач Бьянка, Кисфалуди Этелька. На его благородном и хищном лице я читаю великую, бескорыстную любовь к миру, сострадание к тем, кто скрывался за этими безвестными именами, желание воздать должное их судьбам, сохранить память о них, восстановить истории их жизни, призвав на помощь чутье старого летописца. На миг наши взгляды встречаются поверх регистрационного журнала, и этот миг будет, подобно трем именам, навечно сохранен в комнатах бывшего санатория. Здесь, как было принято писать в Средние века, воистину почил Некто.

Клаудио Магрис. Дунай

Кафе "Централь"

Манекен поэта

Вена. В кафе "Централь" за столиком слева, недалеко от входа, сидит манекен, изображающий Петера Альтенберга: запавшие, печальные глаза и знаменитые моржовые усы. За другими столиками разместились посетители, и среди них манекен Альтенберга – сидит, читает газету. Я поглядываю на него и как-то даже забываю, что этот усатый, неподвижный, чем-то мне знакомый господин в старомодном костюме – просто кукла. Как часто бывает в кафе, заглядываю краешком глаза в его газету; она сегодняшняя, та же, что читаем мы: должно быть официант каждое утро вкладывает ему в руки свежую.

За этими венскими столиками в начале века Петер Альтенберг (бездомный поэт, любивший безликие гостиничные номера и красочные открытки) писал свои летучие, искрометные притчи, делал наброски, посвященные мелким, неосязаемым деталям, таким, как тень, упавшая на лицо, легкий шаг, резкий или безнадежный жест, – и жизнь представала во всей своей эфемерной грации, а история выказывала пока еще незаметные морщинки-трещинки, символ близкого упадка. Вот так и мой сосед-манекен растворялся в предзакатных сумерках, прятался в безымянном безмолвии, голодал в первые послевоенные годы, отвергая любые предложения работы под тем предлогом, что может заниматься только завершением собственной жизни. За одним из этих столиков сидел и Бронштейн, он же Троцкий, на чей счет прошелся некий австрийский министр, ответив на предупреждение секретных служб о революционных приготовлениях в России анекдотическим: "А кто революцию-то будет делать? Уж не господин ли Бронштейн, что просиживает целыми днями в кафе 'Централь'?"

Кукла мало похожа на подлинного Альтенберга, ибо тот, делая наброски своих апологов на столешнице, как на палубе корабля, терпящего бедствие, знал, сколь смутны и жизнь реальная, и жизнь выдуманная, и сам не считал себя более настоящим, нежели этот манекен. Свое существование он воспринимал как театр, где сам был зрителем, и призывал относиться к нему не более, но и не менее серьезно, чем к драме Шекспира, в которой чувствуешь себя внутри и вне ее и время от времени сходишь со сцены, чтобы прогуляться, подышать воздухом, сочетая пережитое с воображаемым.

В кафе "Централь" ты находишься вроде бы одновременно внутри и снаружи – и то и другое иллюзия. Сквозь высокий стеклянный купол, под которым расположилось нечто вроде оранжереи, льется дневной свет, поэтому иной раз забываешь про стекла, благо над тобой не каплет. Великая венская культура обнажила нашу жизнь во всей ее ирреальности и абстракции; нашу жизнь почти целиком поглотила машина массовой информации – и она стала театрализованным представлением. Альтенберг, Музиль и выдающиеся их современники отдавали себе отчет, сколь трудно отделить жизнь, даже свою собственную, от ее растиражированной копии; "утку" насчет банковского кризиса от реального кризиса, побуждающего клиентов закрывать счета; реальную драму Майерлинга от клише, превратившего ее в спектакль. В наши дни выставляют свою жизнь напоказ именно те, кто заклеймил жизнь, выставленную на-

показ. Вполне натуральный манекен Альтенберга олицетворяет собой эту фальшь в квадрате, а местом действия, или же сценой, где разыгрывается этот спектакль о спектакле жизни, становится Вена.

Но при всем их ироничном цинизме бродяги, строчившие свои опусы за этими столиками, цепляясь за осколки иллюзий, за последний оплот несокрушимой индивидуальности, — нечто неповторимое, не поддающееся выхолащиванию. Они не торопились ниспровергать скрытую, непостижимую истину и, в отличие от красноречивых теоретиков ничтожности всего сущего, не желали радоваться ее падению во прах. Восприятие современной действительности как зрелища (что гениально изобразил Олтмен в своем фильме "Нэшвил") в Вене усугубляется барочным представлением о мире как театре, где люди, порой сами того не ведая, играют роли вселенской значимости. Так или иначе наш деревянный сосед ненавязчиво рекомендует не принимать происходящее слишком уж всерьез, не забывать о том, что жизнь так сложилась по чистой случайности, а могла бы сложиться иначе.

Дом Витгенштейна

Он находится в третьем округе, а точнее (как со знанием дела указывают путеводители), на Кундмангассе, девятнадцать. Дом знаменитый, построен в 1926 году Паулем Энгельманом для Витгенштейна, который был соавтором архитектурного проекта. Поначалу кажется, будто дóма, заказанного Витгенштейном для сестры, не существует вовсе, так как после тринадцатого номера по этой улице сразу идет двадцать первый, остальные пропущены. Улица разрыта, словно бы здесь затеяли ремонт, да бросили. С трудом выясняем, что дом — с другой стороны, вход в него с Паркгассе. Здание напоминает несколько втиснутых друг в друга кубов, а проще говоря, пустую коробку грязно-охряного цвета. Сейчас здесь разместилось болгарское посольство, которое купило и отреставрировало дом в 70-е годы. Шесть вечера, дверь открыта, окна освещены, но никого не видно; на веранде стоит столик с четырьмя перевернутыми стульями. В саду возвышаются бронзовые статуи Кирилла и Мефодия, двух славянских святых, — их явно установил не Витгенштейн.

От строгой геометрии, заказанной философом, который дотошно исследовал возможности и пределы мышления, веет таким безнадежным аскетизмом, что невольно сжимается сердце. Чего же он хотел — построить себе жилье или доказать несбыточность того, что принято называть домашним очагом? Кто знает, какими идеальными рамками ограничил Витгенштейн свое бытие, какие перспективы и образы вычеркнул из своего сознания, оставил за гранями этих кубических форм...

Баронесса, не любившая Вагнера

Юная баронесса Мария Вецера терпеть не могла музыку Вагнера, поэтому 11 декабря 1888 года, когда Венская опера в цикле вагнеровских постановок разродилась "Золотом Рейна", у Марии, пока мать и сестра слушали рулады гнома Альбериха, который навеки проклял любовь ради золота, появился случай встретиться с наследным принцем старой империи эрцгерцогом Рудольфом Габсбургом (их знакомство состоялось

незадолго до этого). Она вышла из дома, села вот на этом самом углу Марокканергассе в присланный эрцгерцогом фиакр и прибыла в императорский дворец, где прислужник тайно провел ее в покои наследника трона. В девять баронесса была уже дома и дожидалась возвращения матери и сестры из театра.

Случившаяся в Майерлинге трагедия, загадочная смерть Рудольфа и Марии в охотничьем домике 30 января 1889 года, почти целый век занимала народное воображение, породив героико-романтический культ самоубийства на почве любви, а также не один кинороман и разного рода гипотезы о темных интригах, плетущихся ради государственного блага. Эта трагедия обернулась нехитрой сентиментальной историей, повествующей о том, как некие банальные, но роковые препятствия обрывают жизненный путь человека, неудержимо увлекая его в бездну самоуничтожения.

Марии Вецере к моменту смерти не исполнилось и восемнадцати. Прошлым летом она полюбила эрцгерцога издали, полюбила со всем пылом незащищенной души, что воздвигает себе этакий поэтический жертвенник, ибо иначе жизнь становится для нее пустой и унылой. Эрцгерцогу же перевалило за тридцать; он прославился своим либерализмом и дерзкими, непредсказуемыми выходками, расплачиваться за которые приходилось в основном его супруге, эрцгерцогине Стефании.

Баронесса Елена Вецера в своей знаменитой книге под названием "Майерлинг" пишет, что ее дочь, встретившись с эрцгерцогом на скачках, поведала своей камеристке о том, как Рудольф заметил ее, как некоторое время спустя благосклонно кивнул ей на бульварах Пратера и как она вскоре поклялась себе всю жизнь любить его одного. На кратком, счастливом и несчастном отрезке между отрочеством и юностью Мария пережила то самое воспитание чувств, когда все душевные порывы устремляются навстречу всепоглощающей страсти.

Первый робкий обмен взглядами, первые тайные свидания, первые взаимные обеты стали настройкой чувственного оркестра и вылились в апофеоз любви. Через несколько недель все было кончено: выстрел в висок, трупное окоченение, подробный отчет судебно-медицинской экспертизы, который, вместо того чтобы прояснить, лишь нагнетает туман таинственности вокруг истории в Майерлинге. Фарфоровое личико юной баронессы на портретах отличается той полудетской невыразительностью, что вызывает в памяти школьные трагедии из-за плохой оценки или замечания учителя; для большинства они проходят бесследно, для единиц сплетаются в тугой узел случайного и абсолютного, который можно разрубить только вместе с жизнью.

Елена Вецера воссоздает наиболее тягостные детали той истории и предлагает одну из версий ее финала — версию, которой противоречат многие другие, еще менее достоверные, например, измышления императрицы Зиты. На вышедшую в 1891 году книжку австрийская полиция наложила арест; написана она просто и трогательно, с большой материнской любовью, но заметна в ней и не менее сильная потребность соблюсти приличия. Баронесса Вецера защищает дочь от тех, кто пытался возложить на нее ответственность за трагедию, а главным образом себя от обвинений в том, что она была в курсе преступной связи и якобы потворствовала ей.

Тоном оскорбленного достоинства баронесса излагает подробности полицейского расследования, превратившего историю тайной романтической страсти в грязную сплетню. Подаренный любовником и случайно обнаруженный портсигар, клубок лжи, оправдывающий его присутствие,

подметные письма, своднические уловки баронессы Лариш, описание мертвого тела Марии, тридцать восемь часов остававшегося без внимания прозектора и спрятанного в карете во избежание скандала, переговоры властей с родственниками, наспех сколоченный гроб, поспешное погребение, анонимная могила, последующее перезахоронение.

Стремление соблюсти приличия — тоже страсть во всей ее неразумной однобокости, страсть, не захватывающая человека целиком, а лишь утрирующая одну из черт его характера. Как явствует из книги, страсть Рудольфа и Марии носила экзальтированный, абстрактный характер, поэтому нельзя отождествлять ее с любовью, как нельзя путать разгул буйной фантазии с поэтическим вдохновением.

Такая любовь-страсть типична для позднего романтизма, а романтизм, по словам Броха, есть подмена утраченного абсолюта любым суррогатом, заменяющим все духовные ценности. Когда суррогат ищут в любви, она превращается в напыщенную, хотя и выстраданную риторику, в слащаво-сентиментальный пафос. Это любовь не к предмету страсти, а к своему разыгравшемуся воображению. Романтический ореол любви-смерти бесплоден, он не облагораживает ни тело, ни душу.

Такую страсть можно считать великой в той мере, в какой велика изображающая ее поэзия. Флобер сумел раз и навсегда показать, что страсть бывает в одно и то же время истинной и ложной: неудовлетворенные душевные искания Эммы Бовари обесценивают любовь, но тот накал, с которым она переживает свою лишенную поэзии судьбу, наполняя ее фальшивой поэзией, есть истинное свидетельство отсутствия любви.

Восемнадцатый век, светский и распутный, расчленил любовь, по крайней мере внешне, посредством химического анализа страстей, поставил, как гласит всем известное выражение, мозг на место сердца. Но, по сути, именно эта сухая математика позволила вскрыть (к примеру, в "Опасных связях") головокружительные бездны любви, ее коллизии, ту безоглядность, с которой любовь выламывается из рамок приличия. Esprit de géométrie открывает простор esprit de finesse[1]. Циничная, начисто лишенная иллюзий культура сумела развенчать немало восторженных заблуждений; пришедший ей на смену сентиментализм в страхе перед этой рассудочностью торопился воспеть бесхитростные добродетели и впадал в новое заблуждение, принимая состояние души за истину, субъективную психологию за нравственность, чувственную экзальтацию за поэзию жизни.

Если персонажи альковных романов с Макиавеллиевой хитростью дают лживые клятвы в вечной любви, при этом понимая, что лгут, то романтизированный герой лжет самому себе и тем самым тянет предмет своей страсти к краху ради собственного удовольствия, не думая о других, в полной уверенности, что повинуется высшей воле. Эрцгерцог Рудольф, красавец с затуманенным взором, убежденный в божественной природе собственной похоти, делая Марию героиней своей драмы, властно режиссирует чужую жизнь.

На фотографиях Майерлинг предстает во всей красоте и умиротворении типично австрийского пейзажа, созданного для семейного отдыха; на этом фоне легче представить себе отца семейства Франца Иосифа в костюме охотника, нежели трагические события. Печальное известие принесла императору Катерина Шратт, в чьих ласковых объятиях он на-

1. Дух геометрии... тонкости чувств (*франц.*).

Клаудио Магрис. Дунай

ходил отдохновение от буйного нрава императрицы Елизаветы. Однако не факт, что часы, проведенные с фрау Шратт, потчевавшей его венским кофе, были менее насыщенными, чем страсть эрцгерцога. Поди знай, что творится в чужой голове и в чужом сердце. Даже ученые ныне уже не так самонадеянны, как профессор фон Хоффман, светило венской медицины, объяснявший студентам трагедию Майерлинга "преждевременным расхождением черепных швов", обнаруженным при вскрытии у Его Императорского Высочества эрцгерцога Рудольфа.

Турки у ворот Вены

На площади Карла, неподалеку от Венской оперы, красуется декоративный шатровый свод над крышей "Кюнстлерхаус", где разместилась главная из многочисленных выставок, посвященных трехсотлетию турецкой осады и битвы 1683 года. "Турки у ворот Вены" — одна из величайших лобовых стычек Востока и Запада. У посетителя выставки на миг возникает ощущение, что он очутился в шатре, не уступающем по высоте церкви Святого Ульриха, шатре, который турецкий полководец Кара Мустафа с присущей ему манией величия приказал расставить на месте нынешнего Седьмого округа Вены.

Фантастические параметры воображаемого шатра заставляют вспомнить фигуру Великого везира, который воплощал в себе устремления Оттоманской империи ко всему грандиозному и чрезмерному. В двадцати пяти тысячах шатров турецкой армии, обступивших Вену в начале июля 1683-го, Кара Мустафа разместил, кроме всего прочего, полторы тысячи своих наложниц под охраной шестисот черных евнухов; для них в срочном порядке были возведены роскошные фонтаны, купальни и тому подобное.

Ныне голова везира хранится в Венском историческом музее, где проходит аналогичная выставка. Потерпев поражение от императорских войск под командованием Карла Лотарингского в союзе с польской армией, возглавляемой королем Яном Собеским, Кара Мустафа обратился в бегство и вновь потерпел поражение при Гране. В Белграде к нему пожаловал посланец султана с шелковым шнурком, коим обычно душили высоких сановников империи Полумесяца, навлекших на себя немилость "тени Бога на земле". Великий визирь расстелил молельный ковер и подставил шею палачам, приняв свою судьбу именем Аллаха. Несколько десятилетий спустя, когда императорские войска заняли Белград, кто-то догадался выкопать прах из могилы и привезти голову в Вену в качестве трофея.

Войдя в импровизированный шатер, посетитель сам становится экспонатом, невольно представляя себя то на месте одного из сотен пленных, обращенных завоевателем в рабство, то на месте одного из рыцарей Собеского, которые в течение целого дня после победы грабили турецкий лагерь, не пощадив и шатер везира.

Устроители выставки не ставили цель противопоставить победителей побежденным или цивилизацию варварству, понимая, что всякая победа и всякое поражение недолговечны и следуют чередой в истории любого народа, как здоровье и болезнь, молодость и старость в жизни человека.

Бродя среди победных трофеев — или же обломков кораблекрушения, — посетитель чувствует себя не столько наследником Карла Лота-

рингского и Яна Собеского, спасших 12 сентября 1683 года Вену и Европу, сколько сыном всеобщей истории, представленной в отдельных фрагментах, разбросанных по полю битвы, – крестов и полумесяцев, монашеских клобуков и тюрбанов...

Выставка решительно подчеркивает свое отличие от того, как прежде отмечалось это событие. Пятьдесят лет назад канцлер Дольфус, лидер Христианско-социальной партии, восхвалял освобождение Вены с позиций корпоративного, авторитарного католицизма; некоторое время спустя в бронзовом мемориале национал-социалистов на знамени побежденных турок вместо полумесяца была отчеканена звезда Давида: турок отождествляли с образом врага, то есть с евреями, и сегодня перед лицом всеобщей ненависти к иностранной рабочей силе этот фальсифицированный образ рискует стать трагически достоверным. "Мы не хотим стать завтрашними евреями", – гласит лозунг на картине Акбара Бехалама на выставке турецких художников в Музее XX века (выставка посвящена современной Турции и ее эмигрантам).

Тень нового, принципиально иного конфликта нависла над отношениями турок и европейцев, в частности немцев, и лишь разумное осмысление проблемы способно предотвратить надвигающуюся катастрофу. Изгнанные триста лет назад турки возвращаются в Европу уже не с ятаганами, а с трудолюбием и упорством гастарбайтеров, готовых сносить нищету и унижения. Они пускают корни, исподволь, неустанным трудом завоевывая чужую землю. Германия (как и другие западные страны) изрядно озабочена тем, что в школьных классах становится все меньше немецких и все больше турецких детишек; Запад с высокомерным негодованием реагирует на результаты работы механизма, им же запущенного. Не исключено, что наступит момент, когда исторические, социальные и культурные различия сделают дальнейшее сосуществование невозможным; наше будущее зависит от того, сумеем ли мы разрядить эту мину взаимной ненависти или допустим, чтобы новые битвы за Вену сделали людей чужаками, врагами.

История показывает, как трудно определить, кто свой, а кто чужой, не говоря уже о жестокости и бессмысленности подобного разделения. В XVIII веке, вспоминает Алессио Бомбачи, сами турки считали слово "турок" оскорблением, а их история стала чередой вековых войн с разными народами, перекочевавшими из Средней Азии. Осознание национальной общности начало формироваться у турок лишь на закате Оттоманской империи. Первым объединяющим названием, которое присвоили Турции разные, и часто враждебные друг другу народы, был Рим (мамалик-и-Рум) – так одно время именовалось государство сельджуков.

Но любая история и любая самобытность в основе своей имеют то же многообразие этнических и культурных элементов, вследствие чего каждый народ, как и любого индивида, можно считать "сыном полка". Габсбургский орел, преградивший путь Великому Турку, принял под свое крыло не меньшее количество племен и культур. Во время Первой мировой войны, когда Габсбургская и Оттоманская империи уже были союзницами, австрийские плакаты и лозунги провозглашали вечное братство с бывшим врагом.

Смыкание Европы с Оттоманской империей стало отличным примером тому, как два несхожих мира в процессе кровавой борьбы проникают друг в друга и от этого взаимно обогащаются. Замечательного западного писателя Иво Андрича, отобразившего взаимопроникновение двух миров, не случайно привлекает образ моста (он постоянно обраща-

ется к нему в своих романах и рассказах), перекинутого через бурные реки и глубокие пропасти обычаев и верований; на этом трудном пути, связывающем народы, нередко скрещиваются мечи, но мало-помалу он сплачивает противников в мире, разнообразном, но едином, как эпическая фреска; точно так же в балканских ущельях смешиваются, становясь похожими друг на друга, враги — турецкие солдаты и гайдуки.

Одним из главных экспонатов выставки является великолепная карта первой осады Вены в 1529 году войсками султана Сулеймана Великолепного, чью гибель при штурме Сигетвара приспешники несколько дней скрывали, дабы не деморализовать войско. К набальзамированному телу подводили гонцов, а мертвый султан неподвижно и невозмутимо восседал на троне, являя величие, доступное лишь смерти. На карте Вену опоясывают голубые участки океана — таким представлялся тогда огромный мир. Турки называли Вену "городом золотого яблока", которое, как в сказке, необходимо добыть любой ценой. Кочевникам азиатских степей город, вероятно, представлялся столицей объединенной римско-мусульманской империи; по мнению выдающегося румынского историка Йорги, именно такую империю они задумали создать, невзирая на утверждение персидского поэта-мистика Джалаледдина Руми о том, что созидание — удел греков, турки способны лишь разрушать.

Нечто среднее между кинофильмом и романом, выставка вводит нас в осажденный город, знакомит с его героизмом, жестокостью, истерией, а затем мы перемещаемся на поле битвы, воссозданное в большом зале с применением аудиовизуальных эффектов. Кара Мустафа совершил стратегическую ошибку, оголив холмы, и этот промах стал роковым для оттоманского войска, расколотого молниеносной атакой Карла Лотарингского. Армия христиан насчитывала от шестидесяти до восьмидесяти тысяч солдат, в мусульманской числилось примерно сто семьдесят тысяч. Потери соответственно составили две тысячи (не считая четырех тысяч погибших в осажденном городе) и десять тысяч, а к ним надо прибавить бессчетное количество раненых, пленных, страдающих различными болезнями, павших во время отступления от рук преследователей. Хотя в ту пору многочисленными были примеры как зверской жестокости, так и рыцарского великодушия. Собеский объявил Карлу Лотарингскому (как сообщает нам итальянский хронист), что король остался в Польше, на поле же вышел простой польский солдат, однако состоявшаяся 15 сентября встреча Собеского с императором Леопольдом, вернувшимся в Вену, проводилась с целым рядом протокольных нарушений и вызвала взаимное недовольство сторон.

Историей дышат и события, изображенные на сценическом заднике: например, фальшивая легенда о появлении в осажденной Вене первого кафе, открытого неким ловким предпринимателем, армянином из Галиции Колчицким. Подобно прочим экспозициям, венские выставки, посвященные туркам, внушают смутное ощущение нереальности нашей жизни и нашей истории. Они разворачиваются, как отснятый, а потом смонтированный фильм; чем он кончится, мы пока не знаем, но конец уже там, в коробке.

Словно продолжение выставки, организаторы представляют нам парк и дворец Бельведер — знаменитую резиденцию принца Евгения Савойского, славного победителя турок, который в 1683 году в Вене был еще юн и лишь пробовал свои силы. Жизнь там и сама по себе была символична. Строгая симметрия парка с его статуями и фонтанами являет

собой некую аллегорию сменяющихся времен года и апофеоза победы над Полумесяцем, торжества цивилизации, знающей свои пределы, над дикостью бескрайних просторов.

Мы, эпигоны и туристы, бродим среди этой симметрии, в излюбленных нами четко отмеренных границах, и напоминаем массовку из какого-нибудь фильма Абеля Ганса. А на дымчато-серых картинах и фотографиях, выставленных современными турецкими художниками в Музее XX века, видим другие лица и другие жесты; полные достоинства или униженности лица и жесты нынешних эмигрантов, которые еще (или уже) не принимают участия в великом действе. "Наши предки проезжали здесь на конях, а мы метем эти улицы, — гласит честная, не ищущая утешения подпись под фотографией. — И виноваты в этом мы, а не австрийцы".

Лукач в Вене

В кафе "Ландтман" на Ринге, что возле "Бургтеатра", Вольфганг Краус, эссеист и основатель Австрийского литературного общества, ставшего в годы "холодной войны" в полном смысле слова мостиком, и мостиком весьма необычным, между западным миром и восточными странами, рассказывает мне про лекцию, которую читал в подвале этого кафе Лукач. Было это, по словам Крауса, году в пятьдесят втором. Речь Лукача произвела на него впечатление серой советской пропаганды; слушать ее пришли немногие, не больше тридцати человек, но одновременно она транслировалась по радио почти во всех соцстранах.

Лекция, получившая такой скромный и в то же время всемирный резонанс, высвечивает парадокс личности, способной поставить свою жизнь на службу высшей цели и спуститься с высот большого стиля до уровня вульгарных микрофонов, а затем вновь возвыситься от жалкого угодничества до благородной самоотверженности, свойственной беззаветному служению.

Лукач — чистейший антипод венского духа, которому он, кроме того, как истинный венгр, естественно, не симпатизировал. Вена, та самая Вена, где он был в эмиграции, — это город, сосредоточивший в себе серьезнейшие современные проблемы, а их он все разом заклеймил в "Разрушении разума", своего рода карикатуре на собственный образ мысли. Вена — город крушений, хотя и замаскированных иронией, город, где скептически относятся к универсальной системе ценностей. Наряду с повальным скепсисом здесь можно обнаружить, да и то случайно, лишь блеклый отсвет трансцендентности, абсолютно чуждый диалектической мысли. Лукач — философ по преимуществу современный, он мыслит масштабными категориями, стремится заключить весь мир в систему, установить в нем (нужно это или нет) шкалу незыблемых ценностей. Вена же — город постмодернизма, в котором реальность уступает место собственному отражению; жесткие критерии здесь размыты, универсальное реализуется в трансцендентном либо растворяется в эфемерном, а духовные ценности подчинены земным нуждам.

Как выразился Аугусто дель Ноче, "Разрушение разума" пронизано тайным страхом, что Ницше одержит верх над Марксом. В западном обществе произошло и происходит вот что: страсть к истолкованиям, жажда власти, помноженная на автоматизм социальных процессов, всеохватная, тщательно продуманная и широко внедренная система

Клаудио Магрис. Дунай

потребления, неосознанное коллективное либидо подминают законотворческую мысль, способную привести к изменению мира. Культура-зрелище повергла в прах революционную идею.

"Разрушение разума", где Лукач сражается с призраком Ницше, наблюдая его триумфальное воскрешение, антиавангардистская, антинигилистская и, следовательно, антивенская книга, хотя Вену можно считать в чистом виде сатирой на всякое безапелляционное отрицание, на постмодернистский апломб, прикрытый флером добродушного легкомыслия. Но Лукач не разбирался в этих метафизических нюансах, в этих театральных перевертышах венской жизни. "Пока говорил, он был прав", — высказался о Лукаче Томас Манн, желая подчеркнуть силу его диалектики. Кафка, чье призрачное видение мира заставило старика Лукача свести с ним счеты, мог бы объяснить Манну, что иной раз бывают правы те, кто молчат. Но в молчании нет диалектики, нет гегельянства, в нем есть мистика, или ирония, или то и другое. Молчание — не Маркс, а Витгенштейн, или Гофмансталь, или Вена.

Кабаре жизни

Криста Ната везет меня на старое еврейское кладбище, что значится под номером 9 по Зеегассе. В 50-е годы Криста была символом "Венской группы", легендарного, ныне канонизированного венского авангарда. Будучи дружна с Артманом, Байером, Рюмом, которые окрестили ее Майке, она с упоенным недоумением взирала на выходки этих ниспровергателей всего, кроме самих себя. Пожалуй, она была поэтичнее их всех, за исключением разве что Байера, а ныне поэзии в ней еще больше. Она прекрасна и лишена иллюзий; хорошо зная, чем все кончится, она умеет уважать и любить других, в отличие от многих литературных акробатов, которые начинают с высмеивания буржуазных нравов, а кончают тем, что бичуют самих себя.

Воскресенье, улицы пустынны. Мы заходим выпить кофе в гастхаус Фукса на Рогергассе. Вена, Вена Канетти, чрево мира, Вена, близкая нам даже в своей деградации. Несколько посетителей демонстрируют разные стадии опьянения. Старый хорват беседует сам с собой, даже не замечая, что ему то и дело подставляют стакан. За другим столиком трое играют в карты; в облике одного есть нечто зверское, брейгелевское; другой весь раздулся (не иначе, от пива), фигура его поражает каким-то бесформенным женоподобием, третья — женщина, лицо у нее расползается, как на полотнах экспрессионистов. Вдруг входит псих с молотком и гвоздями, начинает заколачивать их в столики, в скамейки. Это сценки, характерные для настоящего венского кабаре, — такими они бывают в грубой, реальной жизни, для литературы недоступной, ибо литература становится фальшиво-назидательной, когда пытается воссоздать эту наготу. Хозяйка спокойна и приветлива, но чувствуется, что лет через несколько станет на одну доску с нынешними клиентами, уродливыми персонажами кабаре. "Выглядишь на пятьдесят", — отвешивает ей комплимент один из пьяниц. Криста поднимает на меня глаза, словно хочет спросить: а ее недавно стукнувшие пятьдесят, может, они какие-то другие, не только внешне, но и внутренне?

Космическая одиссея

Огромное здание на берегу дунайского канала, Обере Донауштрассе, 95, Центр IBM. Мемориальная доска у входа напоминает о том, что здесь, в помещении давно несуществующих бань "Диана", 15.2.1867 г. Иоганн Штраус впервые исполнил вальс "На прекрасном голубом Дунае". Наверняка бани "Диана" выглядели намного привлекательнее этого стеклобетонного короба, но электронные мозги, втиснутые в бывший храм бренности, где некогда цивилизация пыталась увильнуть от вселенской трагедии, не будоражит вихрь вальса, дышащего в унисон с миром, как гениально подметил Кубрик в своей "Космической одиссее". Коль скоро японцы уверяют, что компьютер в недалеком будущем отразит всю сложность человеческой натуры, стало быть, и эти мозги рано или поздно выдадут нам кружащийся ритм счастья, который ускользает и возвращается в своей ностальгической нежности, неспособной преодолеть бренность бытия.

Электронные мозги, как и сконструированный ими космический корабль, присутствуют в музыке безвоздушного пространства, где перемещается летательный аппарат. Знаменитый вальс несет в себе печать вечности; не только отзвук прошлого (эпохи Франца Иосифа, окончившейся, согласно старому афоризму, со смертью Штрауса), но и постоянную проекцию прошлого в будущее, подобно тому как отголоски минувшего, преодолевая расстояния, где-то, когда-то, для кого-то становятся будущим.

Терминал IBM – безусловно, центр делового мира, но ведь и Штраус, истинный артист, которым восхищался сам Брамс, некогда был своего рода фабрикой, которая лихорадочно производила продукцию легкого потребления, хотя она тем не менее и сохранила свою волшебную поэтичность. Читая надпись на доске, ощущаешь себя чем-то вроде Хэла, электронного мозга из "Космической одиссеи", который настолько очеловечился, что стал совершать ошибки, испытывать пылкие чувства и страх. Поэтому поклонников вальса нисколько не шокирует тот факт, что главным человеком 1982 года был провозглашен компьютер.

Где Гайдн, там нечего бояться

Айзенштадт – родина Гайдна. Здесь он родился и здесь похоронен. Здесь находится музей, посвященный жизни и творчеству композитора. "Винеришес Диариум" от 18.X.1766 г. сравнивает его музыку с кристальной родниковой водой и (тоже, видимо, в порядке комплимента) с поэзией Геллерта, ныне известной лишь германистам. Возможно, Гайдн – одно из последних – или редких tout court[1] – выражений гармоничной целостности, светлого творчества. Его вокальный квартет под названием "Старик", выставленный в музее, – как песня "Lieber Augustin"[2], или эпитафия Заутера, или простая мелодия нищего шарманщика, – полон чистейшего прощального умиротворения. "Hin ist alle meine Kraft, / Alt und schwach bin ich... <...> Der Tod klopft an meine Tür / unerschreckt mach'ich ihm auf, / Himmel, habe Dank! / Ein harmonisher Gesang / war

1. Зд.: просто-напросто (*франц.*).
2. "Милый Августин" (*нем.*).

mein Lebenslauf"[1]. Этот внутренний покой оберегал Гайдна от французских бомб во время осады Вены; мало того — он с детской непосредственностью успокаивал остальных. "Где Гайдн, там нечего бояться", — говорил он с уверенностью абсолютно свободного человека, который, по словам Фрейда, подсознательно убежден, что ничего с ним не случится.

Нечто более мрачное и величавое

Еще одна остановка в Вене. Чужой и вместе с тем родной город. "Вспомни чувство бесконечной оторванности в незнакомой гостинице", — писал Д'Аннунцио 10 апреля 1900 года в Вене, где был по случаю премьеры "Джоконды" с Элеонорой Дузе в главной роли. Такое чувство одиночества и душевного родства — это то, что ощущает человек, возвращаясь домой после долгого отсутствия.

Человеческая личность вбирает в себя конкретные места, улицы, на которых ты жил и оставил частицу себя. Карта Монте-Невозо с названиями рощиц и тропинок — это и мой портрет, образ пережитого мною. Места могут быть своеобразным атавизмом, платоническим анамнезом души, узнающей в них себя. Вена — одно из таких мест: здесь я нахожу знакомое, родное, как в дружбе и любви, которые с течением времени лишь обновляются. Вена всегда была перекрестком, местом встреч для людей именитых и безвестных, отсюда, видимо, и ощущение родства. История собирает эти встречи воедино и рассеивает их в вечных скитаниях, что стали нашей судьбой.

Город — это одно большое кафе, место сколь привычных, столь и случайных посещений. Здесь невольно думаешь о смерти, о том, как в последний раз перешагнешь порог этого кафе. Город побуждает каждого, подобно персонажу Рота из "Склепа капуцинов", задать себе вопрос: а что же такое смерть? Но и у него нет ответа. Я смотрю на гробницы императоров и вспоминаю отрывок из недавно прочитанной рукописи одной писательницы, где она рассказывает о том, как в детстве священник спросил ее, что такое смерть, и в ответ на ее молчание дал такое определение: "Это отделение души от тела". Девочка осталась разочарована, ибо смутно представляла себе, еще не умея выразить словами, "нечто более мрачное и величавое". Ей, разумеется, пришло на ум вовсе не величие этих пышных захоронений и не величие, которое габсбургский чиновник посулил писателю, сетовавшему на свою безвестность: "Погодите, вот уйдете в мир иной, и тогда увидите, увидите, как сразу станете знаменитым".

1. Нету в теле прежней силы,
   Уж недолго до могилы... <...>
   Смерть стучится в дверь монаха.
   Отворяю ей без страха
   И обиды не тая.
   Небу возношу я славу.
   Песнью светлой, величавой
   Жизнь была моя (*нем.*).

Франсин Проуз

Жизнь муз

Главы из книги

Перевод с английского Сергея Нещеретова

Введение

Весной 1932 года восьмидесятилетняя Алиса Плезенс Лидделл Харгривс сошла с борта корабля в Нью-Йорке, чтобы получить почетную степень доктора философии, присвоенную ей Колумбийским университетом как вдохновительнице и *воплощению* Алисы в Стране чудес. Ученый титул музы — пожалуй, в первый и последний раз в истории науки — был присвоен изящной, чуть надменной и все еще привлекательной старой даме в честь столетия со дня рождения Льюиса Кэрролла, которого она знавала под именем Чарльза Доджсона и с которым виделась лишь урывками после того, как родители враз оборвали дружбу одиннадцатилетней девочки с разменявшим четвертый десяток математиком.

Церемония в ротонде Нижней библиотеки, украшенной по этому случаю белыми цветами, началась с неловкости: ректор университета Никлас Марри Батлер уселся на увитый цветочной гирляндой трон, предназначавшийся Алисе, и та стоя выслушала главу храма науки, который так резюмировал ее "докторские заслуги": "Ваше детское очарование пробудило в математике причудливые фантазии... Вы движущий мотив, по Аристотелю — "целевая причина" сего поистине выдающегося вклада в английскую литературу".

Муза Льюиса Кэрролла была облачена в нарядный коричневый костюм, украшенный букетиком розовых бутонов и ландышей. Приняв награду, она заговорила о старом друге, почти полвека как умершем, будто о живом. Неколебимой веры были исполнены слова: "Мистер Доджсон все видит и так же, как я, радуется почестям, оказанным ему вами". Это сошествие богини в земной мир присутствующие встретили овацией: взорам их явилась тень маленькой девочки, что золотым летним полднем на речном берегу пробудила гений писателя.

Желание истолковать тайну вдохновения, установить, кто или что есть "движущий мотив" искусства, схоже с тягой разгадать секреты чародея. Желание ребяческое, противоречивое: как бы истина ненароком не испортила праздник! Быть может, именно таинственность и усиливает восхищение? Так или иначе, человеческой натуре присуще стремление увидеть сквозь стенки ящика, как иллюзионист распиливает ассистента пополам, или проникнуть в мозг поэта, где сию минуту сложится сонет во всей своей первозданной красоте...

© Francine Prose, 2002
© С. Нещеретов. Перевод, 2004

Магия разнится с искусством, в частности, тем, что она объяснима. Гудини, пожелай он того, поведал бы поклонникам, как срывал с себя цепи и смирительную рубашку под водой. Однако художнику не дано описать во всех подробностях алхимический процесс, обращающий знание анатомии и технику фресковой живописи в Сикстинскую капеллу. Создать *нечто* значит пропустить через себя умаляющий и странный опыт, который сродни мистическому озарению или одержимости духами: творящий не знает, *где исток его творения.* Как если бы фокусник понятия не имел, каким образом кролик оказался в цилиндре.

Однако признать это непросто, и отсюда — наши поиски мифа, который раскрывал бы тайну происхождения искусства или хотя бы повествовал о ней. Проще всего объяснить ее божественным вмешательством, но головокружительная быстрота, с которой наши представления о божественном меняются от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, не позволяет этого. Древние греки полагали роль божества непреложной. Знаменательно, что они избрали девять из сонма богинь, по здравом размышлении сделав этих небесных сестер существами более отвлеченными, особыми и неуловимыми, чем их священные соплеменницы со своими пикантными историями измен, ревностью и смертными возлюбленными, принимающими обличья животных и растений. Может статься, чутье подсказывало грекам, что немаловажные, хоть и незаметные деяния муз не вмещаются в тесные рамки преданий и толков...

Музы не щадили тех, кто бросал вызов им самим или их предводителю. Неразлучного с флейтой сатира Марсия, хвастливо провозгласившего себя более искусным музыкантом, чем Аполлон, они привязали к дереву и живьем содрали с него кожу. Дочери Пиэра, оспаривавшие первенство муз, превращены были в сорóк. Девять богинь ослепили фракийского певца Фамирида, который ставил свое искусство выше их, и выдрали перья из хвостов у сирен в отместку за услышанные дерзости. Как ни прискорбно, но искусство было бессильно — так уж водится — сделать муз *милее.* Все же их благословение вдохновляло и ободряло и поэта, и его слушателей. "Счастлив всякий, возлюбленный музами, — писал Гесиод. — Сладок звук, слетающий с уст его". Вступая в песню "с глубоко растревоженным сердцем, тот поэт, служитель муз, что возносит хвалу героям минувшего... забывает вскоре о меланхолии и гонит прочь память о тревогах".

Согласны мы или нет с Гесиодовой хвалой психотерапевтической пользе поэзии, но эти строки "Теогонии" дышат верой в непосредственную причастность муз к творчеству художника. Или же, по крайней мере, живописуют, каким виделся древним грекам источник искусства, когда боги (олимпийские вседержители, отнюдь не чуждые низменным страстям) дозволяли в конце концов священному плавно перетекать в мирское. Но едва боги перестали нисходить на землю для бесед с пастухами и плотских утех, культуре понадобилось новое толкование того, как выражается в ней сила жизни.

Отделив эрос от агапе[1], христианство разверзло пропасть между религиозным и мирским искусством. Образ Иисуса на кресте мог вдохновить великого художника, пишущего Распятие, но одновременно мог и

1. Агапе (*греч.* любовь) — основное понятие христианской любви, которая в противоположность эросу — страстной любви — имела значение деятельной, одаряющей любви. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

расхолодить эротического поэта. Больше не было божеств, ведавших лирикой, любовной песней, танцем. Недоставало новой, альтернативной мотивации творчества как такового — всего того, что не есть продукт воли и находится как бы вне власти художника. Поскольку о возврате к язычеству речи быть не могло, оставался лишь один путь — вниз, от божественного к бренному. А раз уж для большинства любовь — это либо высшее приближение к абсолюту, либо осознание себя вместилищем хаотических, буйных сил, в страсти стали видеть объяснение вдохновения. Отчего художник сочиняет, рисует? Да от влюбленности. Неслучайно дама сердца трубадура, идеальный, недосягаемый предмет куртуазной любви, стала компромиссной фигурой, стоящей где-то между Богородицей и реальной женщиной из плоти и крови.

Со временем смещение от небесного к телесному начинает выглядеть столь неотвратимым, что, когда Гомер призывает богиню петь его устами, а Данте повествует в "Новой жизни", как стих за стихом меняются его чувства к Беатриче, — современный читатель без труда понимает: оба имеют в виду музу. Мы сознаем, что божественная муза, к которой взывают Мильтон и Спенсер, принадлежит к более чистой, высокой и почтенной ветви того же семейства, что и Гала Дали, бесстыдно-земная муза и избранница Сальвадора. Если работа у сюрреалиста спорилась, говорили — это любовь к Гале. Точно так, согласно молве, Каллиопа[1] вдохновляла златоустого афинского барда. Господь ли вещает устами художников или бог любви? Разница как будто невелика. Но существует она безусловно. В самом деле, о женщине можно узнать больше, чем о богине. Гомеровская муза не имеет возраста. Но у Данте сказано, что первая его встреча с Беатриче, случившаяся во Флоренции в 1274 году, была встречей двух детей девяти лет от роду, эта цифра: девять кругов ада, девять муз — прошла через всю жизнь поэта. Лицезрение Беатриче в красных одеждах стало опытом обращения, началом новой религии. Incipit vita nuova[2]. Он увидел ее — и для него началась новая жизнь.

Ровно через девять лет в девятом часу дня Данте вновь повстречал Беатриче, на сей раз облаченную в белое. Она взглянула на него и поклонилась. Уже дома Данте привиделось, как незнакомец в малиновом плаще, держа на руках нагую Беатриче, заставляет ее проглотить пылающий комок, оказавшийся сердцем Данте. После ужасающей трапезы незнакомец рыдая заключает деву в объятья, и вдвоем они возносятся на небо. Пробудившись, Данте сочиняет сонет о привидевшемся, но смягчает его резкость, — тем самым он как бы преподносит нам урок претворения болезненной фантазии в искусство.

Так начинается "Новая жизнь" — сорок две главы, написанные между 1292 и 1300 годами и заключенные в раму любовной истории с ее наперед известными вехами: Беатриче ревнует (еще одно сновидение — любовь диктует стихотворные строки, которые гасят ревность), Беатриче высмеивает поэта; все это вызывает половодье чувств, становится поводом для пристального самосозерцания, рождает новые сонеты, баллады, песни. Похоронив отца, Беатриче тоже умирает — от чумы. Начатая спустя два года после ее смерти "Новая жизнь" демонстрирует удивительный авторский дар памяти: Данте дословно воссоздает беседу, которую в девятилетнем возрасте мысленно вел с самим собой на латы-

1. В древнегреческой мифологии муза эпической поэзии.
2. Началась новая жизнь (*лат.*).

ни, выслушивая то свое сердце, то свой разум, то свои инстинкты. Заключительная глава "Новой жизни" – обещание чтить память Беатриче по-новому, более возвышенно; и клятву эту он исполняет в "Рае".

"Новая жизнь" есть высший извод тогдашней светской поэзии с ее декларативными формулами, туманом умолчаний, обморочными поклонами богу любви и одновременно – подлинные записи о любви поэта к Биче, дочери Фолько Портинари, ставшей женой банкира. Наша безоглядная очарованность этим сочинением отчасти объясняется мифом о мальчике, который увидел издали свою музу-дитя, чей образ навеки запечатлелся в его сердце, отчасти – ощущением, что Данте говорит о чем-то более глубоком и сложном, чем история детского увлечения. Как бы то ни было, поэт-флорентинец и его муза настолько пленили последующие поколения, что спустя столетия Данте Габриель Россетти примерил на себя и на свою музу Лиззи Сиддал образы Данте и Беатриче, путая собственную жизнь и личность с тем, что было вычитано о давно умерших влюбленных, и пренебрегая на свою беду реалиями (богемная безбытность, пристрастие к опию), отличавшими Лондон прерафаэлитов от Дантовой Флоренции.

Затея с воскресением музы былой эпохи была обречена. Ибо если жизнь муз о чем и свидетельствует, так это о том, что каждый исторический период создает музу по своему образу и подобию и наделяет ее теми качествами, добродетелями и изъянами, каких заслуживают эпоха и ее художники. В Лондоне XVIII столетия, где гремела слава Сэмюэля Джонсона, замечательного мастера стиля и блистательного собеседника, Эстер Трейл – злая на язык, энергичная, смышленая супруга богатого и хлебосольного пивовара – могла во время обедов, которые давал ее муж, *общаться* с доктором Джонсоном и тем самым служить музой литературы и светской беседы. Викторианские музы – Алиса Лидделл, Лиззи Сиддал – являются нам в ореоле целомудрия, наивности и сдержанности, равно как и в искажающем свете пресных викторианских фантазий о детстве и девичестве. Связанная поочередно с Ницше, Рильке и Фрейдом, Лу Андреас-Саломе больше всех годилась в музы, соединяющие век девятнадцатый с двадцатым. В не столь давние времена Ли Миллер, блистательный фотограф, использовала навыки, обретенные ею в качестве музы Мана Рэя[1], чтобы из таковой развиться в художника.

Подобно Гале Дали, музы XX века зачастую играли роль рекламно-торгового агента, а не только вдохновительницы, что было жизненно важно в обществе, только начинавшем осознавать коммерческую ценность постановки на поток творческого труда. Йоко Оно во многом была духовной преемницей Галы. По чистой случайности обе музы и их избранники оказались постояльцами нью-йоркского отеля "Сент-Реджис" в одно и то же время. При всей своей сметливости Гала и представить себе не могла масштаб и действенность пробивных способностей Йоко, хотя, по правде говоря, музе харизматичного битла достался куда более ходкий товар, чем музе немытого усатого сюрреалиста, помешанного на кузнечиках и козьем помете. И все же Йоко, не в пример Гале, чувствовала себя неуверенно, ибо в душе ее, как и в душах ее современниц, таилось вполне обоснованное подозрение: быть музой, а не творцом не столь уж сладко. Сначала она пыталась заключить с мужем своего рода соглашение о попеременном разделении труда – затея замечательная,

1. Ман Рэй (1890–1976) – американский фотограф и художник.

пусть и неосуществимая, — от чего в конечном счете отказалась, а дальше была борьба между ними (даже после его смерти) за то, кто же творец и кто муза.

Да и едва ли слово "муза" слетело бы с губ Оно или Леннона, ибо само это понятие подвергается все большему осмеянию в наши неромантичные времена. Даже выражая в предисловиях благодарность разным людям, современные писатели неохотно называют источник своего вдохновения и отдают ему дань — не потому ли, что опасаются встречных исков своих муз и того, что придется делиться авторским гонораром? Главная героиня кинофильма Альберта Брукса "Муза" (1999) способна лишь подтвердить обоснованность подобных страхов: в исполнении Шерон Стоун голливудская богиня режиссеров и утративших вдохновение сценаристов предстает пустоватой, легкомысленной, ветреной и в довершение всего меркантильной: она предает высококонцептуальные киноидеи ради роскошных драгоценностей от Тиффани.

Слово "муза" звучит в наши дни так парадоксально и неоднозначно, что сегодня одну лишь Сьюзен Фаррелл[1] всюду аттестуют как музу — так же она аттестует себя и сама, — возможно, оттого, что балет по-прежнему очень крепко укоренен в эстетике и языке прошлого. Время от времени это слово нет-нет да и мелькнет в статье или эссе. Рецензия в "Нью-Йорк таймс" на ретроспективную выставку Йоко Оно, прошедшую в Японском обществе Нью-Йорка зимой 2000-2001 года, представила ее как музу — вряд ли художницу сие звание повергло в трепет. Но в общем и целом, как отметила Арлен Крок в своем провокационном эссе "Муза умерла?", опубликованном в одном из номеров "Нью-Йоркера" за 1996 год, понятие музы — "катастрофичное для современного феминизма" и противное основным догматам фрейдистской психологии — стало диковинным, даже подозрительным анахронизмом: "В Америке на излете столетия занятия искусством и размышления об искусстве кажутся все более тоскливым, чтобы не сказать пустым времяпрепровождением. Заикнитесь о музе — вам ответят улыбкой. Уже неведомо, что это за птица, и станет ли ведомо вновь, сказать трудно".

Спору нет, феминизм заставил переосмыслить миссию музы как жизненного призвания. Не укрепляет ли идея музы вредные стереотипы творческой, продуктивной, активной мужественности и пассивной женственности, одновременно почитаемой и унижаемой, безропотно выставляющей свою наготу напоказ в качестве манекенщицы или любовницы-вдохновительницы? Не пора ли музе на покой, не упразднить ли ее заодно со всеми прочими старомодными, плоскими, пронафталиненными сексистскими мифами? Пожалуй, не стоит сводить все к альтернативе — нужно дать мужчинам и женщинам равные возможности, пусть выбирают судьбу творца, музы или того и другого вместе, даже если пример Джона и Йоко (как и Фрэнсиса Скотта и Зельды Фицджеральд) показывает, как трудно отделить труд созидания от труда вдохновения.

Пожалуй, редчайшее в истории муз содружество Сьюзен Фаррелл и Джорджа Баланчина свидетельствует, что роли вдохновляемого и вдохновляющего, художника и музы можно развести и поделить между мужчиной и женщиной — партнерами по творчеству, которое не по силам

1. Сьюзен Фаррелл (р. 1945) — американская балерина.

им поодиночке. Однако подобное слияние признавали не все: Фаррелл неизменно называли музой Баланчина, и никто, кажется, не вспоминал, что верно и обратное.

Признание того, что Фаррелл и Баланчин могли быть музами друг для друга, рождает запутанные и щекотливые вопросы: бывают ли музы у *женщин*-творцов, мыслима ли муза мужского рода? Таковы, почти неизбежно, самые первые вопросы, возникающие, когда речь заходит о музах. Ответ очевиден: музы положены художникам-мужчинам, тогда как их коллегам-женщинам — Вирджинии Вулф, к примеру — довольно больничной сиделки мужского пола, вроде Леонарда Вулфа.

Вряд ли в биологической природе мужчины заложено нечто такое, что не позволяет ему быть источником вдохновения, энергии, страсти, предметом счастливой или несчастной любви. И в самом деле, жизнь муз вновь и вновь свидетельствует о том, что такие частности, как пол, физиология и то, что привычно считают "нормальным", "органичным" гетеросексуальным влечением, ничего не значат в союзе эроса и творчества. На ум приходят странные пары, вроде Чарльза Доджсона и Алисы Лидделл или Галы и Сальвадора Дали. История изобилует также примерами однополости художников и их муз: Дягилев и Нижинский, Уистен Хью Оден и Честер Колмен, Ромэн Брукс[1] и Натали Барни; все они сумели приручить стихию вдохновения, зачастую вопреки сильному давлению общественной цензуры и необходимости сохранять свою связь в тайне. Так, самой обаятельной и понятной из всех книг Гертруды Стайн оказалась, в конце концов, псевдоавтобиография ее преданной музы Алисы Б. Токлас[2].

Самый подходящий кандидат на роль музы-мужчины — Денис Финч Хеттон, лихой авиатор, возлюбленный Карен Бликсен. В романе "Прощай, Африка!" (изданном под псевдонимом Исаак Динесен) она пишет, с какой радостью обретала в Денисе, наведывавшемся на ее кенийскую ферму, слушателя своих нескончаемых рассказов; это одно из лучших литературных свидетельств тому, как из любви рождается сплав вдохновения, признательности и писательского дара: "У Дениса в характере была черта, весьма мне дорогая, — он любил слушать истории... Меняются моды, вот и искусство внимать рассказу теперь в Европе утрачено. Африканские же туземцы, не обученные грамоте, сохранили его; обратитесь к ним с фразой 'Человек брел по равнине и встретил другого человека...' — и вот уже они ваши, их воображение стремится вдаль по неведомой тропе на равнине, где сошлись те двое. Но белые, даже чувствуя такую потребность, не способны следить за устным повествованием. Стоит им чуточку остыть от суеты и забыть о срочных делах, как они засыпают. А потом просят одолжить им книгу... У них неистребимая привычка вбирать впечатления глазами.

Денис же, в основном воспринимавший жизнь на слух, предпочитал слушать, а не читать; явившись на ферму, он, бывало, интересовался: 'Есть что-нибудь новенькое?' В его отсутствие у меня рождалось множество историй. Вечерами он усаживался поудобней на подушках, разложенных у самого камина, и сосредоточенно выслушивал от начала до конца длинную историю, которую я рассказывала, устроившись прямо на полу со скрещенными ногами — на манер Шахерезады. Он следил за

1. Ромэн Брукс (1874—1970) — американская художница.
2. "Автобиография Алисы Б. Токлас" — произведение американской писательницы Гертруды Стайн (1874—1946), стилизованное под автобиографию ее секретаря и спутницы жизни Алисы Б. Токлас.

ходом событий пристальней, чем я, и в самую решительную минуту, когда появлялся герой, прерывал меня словами: 'Этот человек умер в самом начале, ну да ладно'".

На первый взгляд все здесь представлено в самом лучезарном свете: мы видим, как воодушевляет и ободряет рассказчицу предельно внимательный, по-настоящему чуткий слушатель, — картинка сродни образу золотого полдня, когда Чарльз Доджсон очаровывает Алису своими сказками. Да и разве умение дать художнику почувствовать, что ему (или ей) внемлет идеальная аудитория, не есть одно из непременных свойств таких прославленных муз, как Лу Андреас-Саломе, нареченная Фрейдом "великой понимательницей"? Но кое-что в самом подборе слов и построении фраз содержит намек на то, что отношение Карен Бликсен к Денису Финчу Хеттону на самом деле было совсем иным, чем отношение мужчин-художников к их музам.

Сравнивая себя с Шахерезадой, Бликсен как бы не исключает присутствия кровожадного султана — жестокой "музы" Шахерезады, угрожающей казнью как высшей карой за творческую неудачу (поистине действенный, если не радикальный способ лелеять вдохновение!). Вольно или невольно, но Бликсен уподобляет неудержимо свободного Финча Хеттона диким зверям: львам, пернатым хищникам — частым гостям на ее ферме. Его нельзя было вызвать или отослать, он появлялся лишь если сам того хотел, так что у нее были основания беспокоиться о том, удержит ли она его внимание своим рассказом. И потому ее истории служили стражами и "гарантами" его любви, а значит (в духе Шахерезады), и их совместной жизни, которая измерялась продолжительностью его визитов.

Думается, мало кто из художников-мужчин терзался подобными страхами, не много найдется и таких, что опасались бы прискучить или разонравиться своей музе. По вкусу нам это или нет, налицо простое неравенство, и обусловлено оно половой принадлежностью художника и музы. Разумеется, способность муз дарить или отнимать вдохновение есть важная способность: чтобы превозмочь творческий ступор, сценаристы готовы метать голубые бархатные футляры от Тиффани к стопам муз "от Шерон Стоун". Но даже когда муза умеет быть неуловимой и неприступной и тем самым удерживает свою власть и влияние, творец-мужчина обычно меньше думает о том, как остаться притягательным для нее, чем о собственных чувствах. Художники нечасто творят *для* музы — ради завоевания или упрочения ее любви и восторга, — а все больше для самих себя и для мира, а также во имя многочисленных, хоть и неясных императивов искусства. Музы суть инструменты, которые помогают им достичь высокого накала эмоций и страстей, оживить атмосферу, облегчить и упростить творческий труд.

Очень многие музы, скорее всего, исполняли функцию чистого холста, на который проецировал себя художник, и в этом еще одна причина малочисленности муз среди сильного пола. Как ни рискованно обобщение, но женщины, видимо, менее склонны идеализировать мужчину и доводить его образ до высот безличной абстракции. Возможно, в целях выживания человеческого вида они научились быть особо внимательными к конкретным нуждам и характерным свойствам *отдельной личности*, меж тем как мужчины сплошь и рядом полагают, что для искусства лучше, если они будут поклоняться музе, играющей универсальную

роль, будь то идеальная женщина или, как это было в случае Чарльза Доджсона, идеальный друг-ребенок.

Неслучайно забота о пище, уход, помощь, поддержка, традиционно почитаемые за женскую работу, входят в обязанности муз, так сказать, по совместительству. Трудновато представить Дениса Финча Хеттона хлопочущим, как множество "настоящих" муз, по хозяйству и пекущимся о разнообразии стола Карен Бликсен...

Наша культура достигла точки, где чуть ли не все: географические предпочтения, честолюбие, любовь к шикарной жизни, поруганное детство, бедность – стало более серьезным поводом для занятий искусством, чем пожар чувств или глас любви. Гоген, как и очень многие другие, жаждал славы и успеха, и голод – волк, подстерегающий за дверью, – блестяще справился с ролью музы. Равно как и сублимация, по Фрейду, плюс всегдашние долги. Об одной из удачливых галерейщиц восьмидесятых поговаривали, что она добивалась от своих подопечных стабильной продуктивности, приучая их к элитным ресторанам, гаванским сигарам, экзотическим авто. Покупавший все и вся примерно с этой же целью Бальзак заставлял себя сочинять без сна и отдыха. Он был еще и кофеманом, что также подстегивало творческий процесс.

В общем, сегодня невозможно говорить всерьез о том, что кто-то – чья-то муза, не ощущая известной неловкости; не оттого ли нынче с особой охотой вспоминают муз в ироничных кругах модной индустрии? И уже не гетеросексуальный поэт или живописец ловит эротическую искру, исходящую от любовницы или музы, а дизайнер-гомосексуалист взирает на то, как стильная женщина подбирает себе гардероб и наводит лоск, – иначе говоря, богиня раскрывает ему секреты женской красоты и самолюбования. Лулу де ла Фалез, говорят, была музой Ива Сен-Лорана. Заметка в январском выпуске журнала "Нью-Йорк" за 2001 год сообщает: "11 декабря дизайнеры Марк Джекобс и Стивен Спрауз наверняка получили изрядную порцию вдохновения на открытии нового бутика Луи Виттона на Пятой авеню. Наблюдалось столпотворение муз! Джекобс прибыл в сопровождении Зои Кассаветес, Мишель Хикс и Деборы Хэрри".

Приход музы в моду, возможно, знаменует возврат к духу Ренессанса, когда от музы не требовалось *делать* что-либо, а только быть красивой, а то и проще – *быть*. Беатриче могла улыбнуться Данте или не улыбнуться, а Лаура стала идеалом Петрарки (и второй прославленной музой Возрождения), просто выйдя из авиньонской церкви Святой Клары 6 апреля 1327 года. И хотя (или потому что) она была замужем за другим и у нее было несколько детей, хотя она так и не отозвалась на нежные чувства Петрарки и хотя они подолгу не общались друг с другом, Петрарка продолжал боготворить Лауру вплоть до ее кончины, последовавшей в 1348 году. Его любовь – тема сотен сонетов "Книги песен".

Может, случайно и неосознанно, но Данте и Петрарка, носители средневековой и ренессансной поэтической традиции, догадались, что при отсутствии, отдаленности или недосягаемости музы сам собой отпадает вопрос, как поступить, если она вдруг *снизойдет* с эфирных твердынь и воплотится в женщину. Сложности естественным образом возникают, если художник не очень-то жалует женщин – во сто крат более неуживчивых, своевольных, упрямых, чем какая-нибудь греческая наяда, плавно входящая в мастерскую с лирой или лавровым венком в руках.

Порой сама идея музы способна пробудить в определенного склада мужчинах внутреннего женоненавистника; особо подвержены этому иные биографы муз, часто до того презирающие своих героинь, что их книги — такие, как "Фрау Лу: заблудшая ученица Ницше" Рудольфа Биньона — напоминают садистическую посмертную порку. Такой подход вполне в русле традиции, освященной веками и восходящей к Гесиоду, который хулил ленивое, низкое "заклятое племя женщин, всю их породу". Бытующие представления о музе вызывают у автора непреодолимое желание разъяснить, почему у женщин нет надежды "выбиться" из муз в художники.

"Она либо муза, либо ничто, — заключает Роберт Грейвс. — Речь не о том, что женщине лучше воздерживаться от сочинения стихов; только пусть уж она пишет как женщина, а не как прославленные мужи... Именно копирование мужской поэзии вносит фальшивое звучание в работу почти всех женщин-поэтов. Женщина, которую влечет поэзия, должна, по-моему, стать либо музой безгласной, вдохновляющей пиита своей женственной аурой... либо музой в абсолютном смысле... — беспристрастной, преданной, суровой, мудрой".

В работе "Хор муз" (1953) французский историк и философ Этьен Жильсон вторит пессимистичной грейвсовской оценке творческого потенциала прекрасного пола: "Может статься, общественные условия подорвали созидательную мощь женщины... Так считают многие; и это звучит вполне, а то и абсолютно убедительно... При таком количестве музыкантш отчего нет равных не скажу — Баху, но Моцарту или, наконец, Шопену? Самим чувствам женщин, кажется, приходится изливаться при посредстве композиторов-мужчин".

И все же судьба Ли Миллер внушает надежду, что и музе *дано* реализовать себя в ином качестве, сделаться творцом не менее ярким, чем тот, кого она вдохновляет. На общем фоне ее история выделяется: это история музы, достигшей заметных результатов в избранном ею деле; правда, затем Миллер попала в обычный семейный ад, в атмосферу отчуждения и творческого бесплодия.

Жильсон и Грейвс самонадеянно заявляют, будто жены — музы никудышные, ибо очень и очень многое (излишняя фамильярность прежде всего) мешает супруге художника вдохновлять своего благоверного. Грейвс мрачно предостерегает, что "одомашнение" музы на самом деле способно погубить талант поэта. "Причина, по которой очень мало молодых поэтов продолжает в наши дни печататься, перевалив за двадцать, может быть, не в том, как думалось мне раньше, что о них теперь плохо заботятся или что им трудно заработать на достойную жизнь... Причина в другом: нечто умирает в поэте. Возможно... это и утрата чувства к Белой богине: женщина, которую он принимал за музу или которая была ею, обернулась домостроительницей и сделала его любителем уюта себе под стать. Верность удерживает его от разрыва, особенно если она мать его детей и гордящаяся своей ролью примерная хозяйка; закат же музы суть закат поэта... Белая богиня должна быть вне дома; это всегда 'другая женщина', и тонкой женской натуре воистину тяжко управляться с этой ролью дольше года-двух, ибо желание самоубийства, освобождающего от домашней обыденности, таится в сердце каждой менады и музы".

Что ж, положим, не *каждой*. Музам часто приходилось идти на крайние меры, чтобы продолжить карьеру вопреки семейным обязанностям

и чтобы участь "жен от искусства" обошла их стороной. Набор осознанных и неосознанных методов, к которым прибегали музы, лишь бы не стать шестернями каждодневного арт-производства, весьма широк. Миссис Трейл свою ношу перекладывала на служанок; Лиззи Сиддал доводила себя до полной беспомощности, злоупотребляя дурманом; Лу Андреас-Саломе практиковала воздержание; Ли Миллер, блюдя свои интересы, подчеркивала свой профессионализм и оставалась уклончивой, недоступной, а позднее не разлучалась с алкоголем и депрессиями. На стороне Алисы Лидделл были юность и суровая мать, на стороне Галы — ее отталкивающая натура. Сьюзен Фаррелл едва не пожертвовала карьерой, только бы избежать участи жены гения, тогда как Йоко Оно пыталась убедить Леннона, что роль спутника — это *его* роль...

Но другие примеры, такие как брак Черис Уэстон и фотографа Эдварда Уэстона[1], показывают, чему противились ее сестры-музы: они бунтуют, когда их обязанности видоизменяются и от позирования в обнаженном виде среди дюн нужно переходить к сортировке негативов и покупке диетических крекеров. Объяснимое чувство обиды и безотчетный антагонизм порой заставляют разжалованную музу желать воздаяния за вклад в работу художника — тем самым она совершает роковую ошибку, немыслимую, предостерегает Жильсон, для истинной музы. Агрессивная лжемуза "чересчур деятельно стремится расширить рамки своей роли; ей мало просто быть, предоставив художнику остальное. Она вмешивается в работу, преувеличивает свою причастность к ней и претендует на права созидателя. Разве не скверно, когда тебя низводят до положения счастливой случайности? Однако стоит музе потребовать признания собственной полезности, и художнику грозит беда. Данте вознес Биче к небесам, но нигде у него не сказано, что это она автор 'Божественной комедии'. Лишь только муза посягает на результат работы художника, вопреки признанной им самим мере ее участия, и взаимопонимание безвозвратно утрачено — настает час расставания".

Черис Уэстон грезила о разделенной славе, как же иначе? Алиса Лидделл и в восемьдесят лет наслаждалась, не без пользы для себя, положением "первопричины" творчества Кэрролла. Эстер Трейл вела счет вдохновленным ею сочинениям доктора Джонсона: три политических памфлета, новое, отредактированное издание "Словаря", а также "Жизнеописания поэтов". В мемуарах и в документальном телефильме Сьюзен Фаррелл характеризует "Медитации" как первый из серии поставленных для нее Баланчиным балетов. Музам ведомо, что они музы, хотя они вправе признавать себя таковыми или нет. А то обстоятельство, что музе может быть выгодно — психологически, материально или профессионально — принять доставшуюся роль, вряд ли упоминается в предписаниях для муз Жильсона и Грейвса.

Между тем, предпочитая вымышленную музу женщине реальной, художник не просто движим идеалом и желанием избегнуть неприятных проявлений сластолюбия, ревности, домашней рутины и т. п. Дело в том, что художники, как и прочие смертные, в один прекрасный день открывают для себя, что сила желания долговечней трепета обладания. Не оттого ли загорается неутоленная страсть в потаенных недрах творческого духа, что художника упорно влекут эмоции и впечатления детства и юности, той поры, когда романтические бредни куда верней и даже

1. Эдвард Уэстон (1886—1958) — американский фотограф.

предпочтительней чувственных услад? А сама эта ненасытимая страсть — разве не метафора искусства? Ведь завершенный труд крайне редко дает такую же радость, как исходный порыв — замысел, который побуждает творца браться за дело и дерзать вновь и вновь...

Вероятно, склонность идеализировать союз между художником и музой рисует нам образ юного, прекраснодушного и беспорочного художника, более всего нуждающегося в поддержке музы. Мы видим Лу Андреас-Саломе, которая дает опериться поэтическому дару Рильке, знакомя юношу с наслаждением и болью любви, укрепляя в нем сознание своей миссии, обучая извлекать из опыта искусство и даря опыт, пригодный для такой метаморфозы. Причем возраст художника совсем не важен: Сэмюэль Джонсон утратил покой из-за Эстер Трейл в пятьдесят семь. Сверх того, отношения между художником и музой со временем могут меняться. Благотворное вначале влияние Галы на работу Сальвадора Дали переродилось в разрушительное: снедаемая алчностью богиня надоумила его расписываться на чистых листах литографской бумаги, предоставив делать оттиски другим; ценность его искусства при этом падала, репутация оказалась подорванной. Песни с пластинок "The White Album", "Plastic Ono Band" и "Imagine" — плоды любви Леннона к Йоко — среди лучших в его наследии. Но в менее радужные дни их супружества, незадолго перед смертью, Леннон выпускал (с подачи Йоко) серые, гладкие записи, безжалостно компилируя фрагменты своего раннего творчества.

Памятуя о разительном несходстве между историями муз — и даже между разными периодами жизни одной музы, — уместно ли делать обобщения? Все же наметим несколько тем. Многих из названных муз угораздило навлечь на себя стойкую неприязнь современников. Ненавистников Галы было не перечесть. Свирепость, с которой остальные битлы и поклонники отторгали Йоко, была сплавом ревности, расовых и половых предрассудков и, наконец, раздражения. Уильям Россетти на дух не переносил музу своего брата на том преимущественно основании, что Лиззи Сиддал была умна, горда и, как и супруг, слишком привержена опию...

К тому же в жизни муз есть некий повторяющийся мотив: творческое вдохновение является предметом общественного интереса. Союз "муза — художник" притягивает любопытство и привлекает внимание и ближнего их круга, и мира стороннего. Дружба Кэрролла с маленькой Алисой и ее сестренками имела огласку, достаточную, чтобы он счел более благоразумным не препятствовать слуху о его флирте с их гувернанткой. Когда домом для Йоко и Джона стал весь свет, их настиг шквал репортерских атак и публичных дискуссий. Любовная и личная жизнь той или иной музы не раз давала пищу фантастическим толкам и сумасбродным гипотезам, надолго ее переживавшим. Биографы Лиззи Сиддал "авторитетно" высказываются на тему ее сексуальной жизни; по возвращении Сьюзен Фаррелл в "Нью-Йорк сити бэлей", от которого ее отлучили после разлада их с Баланчиным романа, вся труппа сбежалась поглазеть на их первую совместную репетицию. Понятно, что пристальный интерес такого рода не помогает музе и художнику налаживать "нормальные" отношения, хотя — судя по характерам вышеупомянутых влюбленных — шансы на гармонию и без того были невелики...

При всех чудачествах и странностях, все эти художники и их музы отнюдь не были лишены некоторых свойств, привычек и стереотипов поведения, присущих обычным влюбленным. Подчас именно с музой ху-

дожник ведет оживленные воображаемые беседы, точь-в-точь такие, как каждый из нас с человеком, глубоко задевшим душу. "Путешествие к Западно-Шетландским островам" Сэмюэля Джонсона родилось из его писем к миссис Трейл, что означает: путешествуя, он отбирал и обрабатывал впечатления, способные, по его мнению, занять и развлечь даму сердца.

Как и многие любящие, художники проявляют трогательную склонность к переоценке объекта своих чувств. Ницше причислял сентиментальный стишок Лу "Гимн жизни" к шедеврам поэзии. А Леннон, похоже, верил в то, что Йоко гениальна. В свой черед для муз в высшей степени характерно сочувственное понимание, благодаря которому художник мнит себя *понятым* до глубин, никому иному неведомых.

Если посмотреть ретроспективно, музам всегда приходилось брать на себя ответственность за реальную жизнь, что было неизбежно, после того как из божественных созданий они превращались в бренные и обретали земной облик. Подобно большинству женщин, музы тревожились о том, чем питаются их избранники. Лу кормила Рильке овсянкой и отправляла в лес за орехами и ягодами; Ли Миллер навязывала Ману Рэю строгую до эксцентричности диету; Йоко приобщала Джона к радостям скудного рациона долгожителей.

Кормилица и диетсестра, наперсница и зеркало — таковы знакомые всем роли, которых ожидают, а то и требуют от женщин, таковы же и формы женско-мужского взаимодействия. И все же среди муз нет ни одной "традиционной" женщины (буде такое существо встречается в природе).

Каждая из них необычна — либо с точки зрения того, какой она была, или того, что сделала, или того, какими неповторимыми и героическими качествами наделил ее художник. Каждая — дитя своего времени, и каждая преодолела и опередила его благодаря личной отваге, своеобразию и решимости или благодаря той мистической роли, которую сыграла в претворении опыта художника в искусство. Истории муз одновременно и освещают, и делают глубже тайны эроса и созидания, ибо каждая муза по-своему отделяет человеческое от божественного, бренное от вечного.

Йоко Оно

Начало этой истории знает каждый. И все же давайте чуть-чуть помедлим и насладимся прелестными, нелепыми противоречиями, неодолимыми превратностями любви, рожденной от встречи художника с его музой в галерее, где муза готовилась к концептуальному арт-шоу. Если всякая эпоха получает ту музу, какую заслуживает, удел нашего времени — Джон и Йоко, художник и муза, обходящиеся, подобно Данте и Беатриче, Петрарке и Лауре, без фамилий.

Трудно было бы придумать другой миф "муза — художник", столь полно вобравший в себя символы и болевые точки шестидесятых и семидесятых: рок, новейшее искусство, власть, карьера, секс, наркотики, феминизм, общественный радикализм, Вьетнам, убойная мощь репортерского слова и культ кумиров. Неуклюжие, часто мучительные попытки Джона и Йоко пересмотреть традиционные гендерные роли подорвали наше доверие к данной теме, вынудив нас, представителей обоих

полов, побороть наши истинные чувства по отношению к неприятно напористым, бросающим вызов женщинам и мужчинам, открыто проповедующим феминистские принципы. "Только когда рядом оказалась женщина, которая указала на предрассудок, его заметил и я... Всегда одно и то же: сплошные предрассудки! Нескончаемые предрассудки — и ночью и днем. Не знаю, как они выдерживают".

Заявления такого рода (бесспорные, но звучащие как бы с чужой подачи, почти механически) лишь подогревали возмущение толпы, множились слухи, будто Джон одержим суккубом — чуждым инородным духом в обличье японки-художницы. Поразительно, как часто эту современную до мозга костей музу заглазно обвиняли в ведовстве; впрочем, слухи эти Ленноны в дальнейшие годы даже не удосужились рассеять, осваивая азы сантерии, опекая местных botanicas и немногословных колумбийских brujas[1]. Джон, говорим мы, уподобился Йоко политическим краснобайством, мечтательной болтовней о женщинах и облаках, любви, мире, искусстве, но за всем этим можно нащупать главное: за нашими обвинениями в феминизме и авангардизме кроется пагубный эдипов комплекс — то чувство смятения и одиночества, которое охватывает нас, когда близкий человек влюбляется и становится другим.

Все в романе Джона и Йоко казалось одновременно сиюминутным и вечным. Внешняя атрибутика: молнии фотовспышек, рок-звездность, наркотики, сумасшедшие деньги и регулярные судебные тяжбы — скроена была под стать той эпохе. И все же в основе этого романа угадывается лав-стори "на все времена", востребованная в любую эпоху: Элоиза и Абеляр, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда; эротический магнетизм, преодоление преград, страсть, преобразившая жизнь, измена, разлука, печаль, примирение и, вопреки горькому опыту, надежда на будущее, перечеркнутая трагической насильственной смертью, и все это задолго до того, как бесполая старость героев-любовников заставила бы нас удивиться, отчего мы потратили на них столько душевных сил.

Баллада Джона и Йоко — концептуальная рок-н-ролльная опера, тем более зрелищная и актуальная, что со дня встречи Джона и Йоко и до сей поры на протяжении десятилетий, за чертой гибели, коренной вопрос — кто из них был художником, а кто музой? — по-прежнему не имеет ответа.

Многие художники, тем паче их музы, служат белыми экранами, на которые общество проецирует свои предрассудки и иллюзии, и именно Джон и Йоко — пример самых крайних и пристрастных оценок. Ни одну другую музу не бранили и не презирали столь рьяно, как эту разрушительницу воображаемой связи публики с художником. По правде говоря, ни одной другой музе не было посвящено столько кинокадров, столько страниц, документирующих яростную полемику.

Вполне бесхитростный рассказ о том, как познакомились Джон и Йоко, и тот дошел до нас в разных и ненадежных версиях. Леннонов-ское свидетельство самое очаровательное: он заглянул в галерею хиппи "Индика", где, сказали ему, намечался арт-хэппенинг, действо более заманчивое в 1966-м, чем было бы сегодня. (Позже он сознается, что мечтал попасть не на выставку, а на оргию.) Бродя по залам, он мгновенно

1. Сантерия — возникшая в XVIII в. на Кубе религия рабов-африканцев; botanicas – зд.: знахари (*исп.*); brujas – ведьмы (*исп.*).

оценил юмор произведения — гнилого яблока, которым зрителю предлагалось полюбоваться за две сотни фунтов. Что лестно, в работу Йоко он влюбился, даже не успев познакомиться с автором: "Там была еще одна штука, она-то все и решила — быть мне 'за' или 'против' художницы, — лесенка и закрепленная на потолке картина. Какой-то черный холст, цепочка, на цепочке висит подзорная труба... Я осилил приставную лесенку, заглядываю в подзорную трубу, и там крошечными буковками написано 'да'. В общем, речь шла о чем-то позитивном. Мне стало легко. Это огромное облегчение, если ты поднялся по лесенке и смотришь в подзорную трубу, и та не говорит 'нет', или 'катись к чертям', или еще что-нибудь в этом роде, а говорит 'да'".

Владелец галереи Джон Данбар представил рок-звезду с мировым именем художнице, скромно известной своим участием во "Флюксусе", деятельной группе нью-йоркских художников, находившихся под влиянием дада и Дюшана и ставивших своей целью изучение и пересмотр связи искусства с жизнью, а также разработку более динамичных, менее застывших форм экспрессии. По утверждению Леннона, они никогда друг о друге не слышали и Йоко не знала, кто он такой. "Она что-то слышала лишь о Ринго, кажется, по-японски это значит яблоко".

Возможно, Йоко Оно действительно не ведала, кем был Джон. Во всяком случае, ее невинность либо наивность удобно поставила их с Ленноном в равное положение: два художника, незнакомые с творчеством друг друга — и никакой иерархичности отношений, скажем, битла и битломанки. Еще правдоподобнее выглядит ее заявление на фоне воспоминаний коллеги-художницы Кароли Шниман: "Йоко была среди ведущих участников 'Флюксуса'. И надо признаться, мы все опасались, что этот... рокнроллщик недотягивает до ее уровня".

И все-таки, даже если Йоко о Ленноне и не слыхала, кое-что ей было про него известно. "Джон Данбар вроде как подталкивал ее к Леннону: 'Это нужный клиент, иди поговори с ним или придумай что-нибудь еще...' Джон Данбар настоял на том, чтобы она поздоровалась с миллионером".

По любым меркам, не говоря уж о тех, какими мы склонны оценивать японок, Йоко Оно была женщиной на редкость решительной. Наперекор понятному давлению среды и воспитанию она утвердила себя на художественной стезе, ее лондонская персональная выставка в 1966 году — достижение столь же нерядовое для женщины ее времени, как и писательский успех Лу Андреас-Саломе почти столетием раньше. Фетишизировавшая собственную робость, Йоко обладала необходимыми для "селф-промоушена" светскими навыками и беззастенчивостью. Как ни удивительно, ставший ее мужем Тони Кокс жаждал вкладывать время и энергию в ее успех.

В письме 1965 года к галеристу Ивану Карпу, с которым Йоко договаривалась о выставке, она перечислила тех, кого можно было бы пригласить на открытие: "Почему бы не сделать первый показ строго для художников, чтобы 'очертить круг'? Позовем только избранных мастеров — это пошло, но пошлость бывает занятной. Позовем Боба Раушенберга, Джаспера Джонса и др. И кое-кого из стариков — Макса Эрнста, Марселя Дюшана, Исаму Ногучи — надо не забыть". На что Карп сухо ответил: "Макс Эрнст очень измотан и не захочет приехать. Большинство других знаменитостей друг друга не переносят и Вашей выставке не подмога". Несмотря на искренние усилия, роль пропагандиста собственного твор-

чества не слишком удавалась Йоко. До встречи с Джоном кривая ее достижений, по правде говоря, неудержимо ползла вниз.

Родившаяся в 1933 году в знатной, богатой семье японских банкиров, она училась сначала в Токио, затем (с переездом родителей в Скарсдейл) в колледже Сары Лоренс, который бросила, выйдя замуж за Ичиянаги Тоси, композитора-авангардиста. Муж познакомил ее с Джоном Кейджем, Мерсом Каннингемом[1] и ввел в круг музыкантов — участников акций "Флюксуса". В 1955 году Йоко сочинила "партитуру", в которой, в частности, предлагалось зажигать на сцене спички и смотреть, как они гаснут. Через семь лет они с Тоси вернулись в Японию, и там Йоко испытала нервный срыв, отчасти спровоцированный ощущением творческого тупика. "Весь мир авангарда казался мне буржуазным. Кем я была, кроме как женой Тоси и знакомой Джона Кейджа?"

Из токийского санатория ее вытащил Кокс, нью-йоркский режиссер и актер, который очень верил в нее как в художника и четыре последующих года посвятил продвижению ее работ в Токио, Нью-Йорке и Лондоне. Помог Кокс и экранизировать обе версии ее "Задниц четвертого номера"; в первой — свое обнаженное "ниже спины" демонстрировали десятки актеров, во второй — 365 добровольцев. Фильм получился веселым, поучительным и против ожидания занятным — благодаря бесстрастной фиксации многообразия человеческой анатомии. Но, получившая после запрета в Лондоне общественный резонанс, эта кинолента о нагих волосатых мужских ягодицах не обратилась в деньги. Ко времени знакомства с Ленноном Йоко всерьез бедствовала — знала, что такое безденежье и тараканы, не понаслышке, и никаких реальных надежд спасти от нужды себя, Тони и маленькую Киоко, появившуюся на свет в 1963-м, у нее не оставалось.

Практические или романтические инстинкты Йоко сработали безупречно. Представленная богачу-хиппи — коллекционеру живописи (узнала она в нем битла или нет, не важно), она не стала мешкать. Йоко протянула ему один из своих "билетиков мудрости" — вроде обычных визиток, только *художественных*, несущих отзвук ее "воспитательных картин" с наказом зрителю: "Дай лозе расти. Поливай каждый день", "Подожги сигаретой любое завершенное полотно, когда пожелаешь..."

"Дыши", — гласила карточка, врученная Джону. "Так я и сделал (*вдох*). Это была наша встреча".

Любое ясное указание — цветистое ли, немногословное ли, категоричное или нет — было громадным облегчением для Джона, потратившего предшествующие месяцы на самолечение: он пытался большими дозами лекарственных препаратов уничтожить то, что именовал (на ливерпульский манер для пущей иронии) "моя эго". Что несомненно, ленноновское "эго" оказалось до такой степени истерзано, что битла взволновало (глубже, чем могло бы взволновать большинство из нас, окажись мы на его месте), говорит ли ему работа художницы-концептуалистки "да" или "нет", "катись к чертям" или что бы то ни было еще. "Это ДА меня и остановило".

Как утешительно для раненого эго и для раздраженного эгоцентриста получить какой-нибудь прямой наказ — пусть такой, какой человек получает при рождении (вскоре Леннон потратит немало сил и денег на психотерапевтический курс "возвращения в матку" и подразумеваемое

1. Джон Кейдж (1912–1992) — американский композитор, ученик Арнольда Шёнберга; Мерс Каннингем (р. 1919) — американский танцор и хореограф.

при этом обещание, что жизнь начнется сначала). Джон прочел "арт-директиву" Йоко — и сделал вдох. Между ними пробежала искра — огонек, намекающий на возможность сексуальной близости, уже согревал их, когда они перешли к другому экспонату.

Йоко вспоминает: "Когда в 'Индике' была выставлена моя работа 'Вбей гвоздь', какой-то человек спросил меня, можно ли вбить гвоздь в картину. Я сказала: можно, если он заплатит 5 шиллингов. Платить он не стал, а вместо этого поинтересовался, можно ли вбить воображаемый гвоздь. Это был Джон Леннон. Я подумала: 'Ага, этот парень играет в ту же игру, что и я'". Воспоминание Джона более знаменательно: "Вот когда мы познакомились по-настоящему. Взгляды встретились, она все поняла, и я все понял, и, как говорится во всех наших интервью, остальное — история".

Но в этой современной сказке принцессе предстояло самой сделать первый шаг навстречу стушевавшемуся принцу. Во время нескончаемого "Сатирикона" (по выражению Леннона) битловских гастролей и первый, и последующие шаги давались Джону безболезненно: он и его приятели уже стали живыми алтарями, на которые многочисленные фанаты приносили себя в жертву. Однако во время судьбоносной встречи в "Индике" его уверенность в себе споткнулась о приставную лесенку, карточку, молоток, воображаемый гвоздь. Йоко не из битломанок. Она японская художница. Что-то заставляет Джона колебаться; вдобавок у него ведь жена и сын.

Знакомство с Йоко, по версии Джона, — кисмет: неотвратимый рок, авария космического масштаба. "Представьте, что две машины одной марки сближаются и сейчас столкнутся, лоб в лоб... скорость — сто миль в час, водители резко дают по тормозам, кругом клубы пыли, и в последний миг машины замирают, едва не поцеловавшись бамперами. Вот на что это было похоже с первой минуты, как я ее повстречал".

Согласно независимым друг от друга источникам, автомобиль Йоко (продолжая метафору) мчался навстречу столкновению не в пример резвее и решительней, чем джоновский. В самом деле, ее тогда нередко изображали чуть ли не как сталкера, хотя столь же логично увидеть во всем этом упорство честолюбивой бедной, безвестной тридцатичетырехлетней художницы, которая теряет голову из-за знаменитого смазливого парня, способного решить все ее проблемы. Она забрасывает Джона новыми карточками с указаниями: "Танцуй", "Смотри на огни до рассвета". Он получает от нее экземпляр "Грейпфрута", крохотного сборничка ее наставлений: "Скрывайся, пока все не разойдутся... скрывайся, пока все не умрут".

Она целыми днями караулила у его дома и однажды, после публичной лекции по трансцендентальной медитации, перепугала Джона и Синтию Леннон, запрыгнув в их "роллс-ройс", за рулем которого сидел шофер. Со своей стороны Джон был встревожен, раздражен, польщен, заинтригован и позднее вспоминал, что в 1968 году хотел взять Йоко, на пару с Синтией, в поездку "Битлз" по Индии, куда Йоко продолжала посылать письма с новыми наказами музыканту ("Я облако. Ищи меня в небе"), находившемуся в учении у Махариши Махеша в Ришикеше.

Почти два года кружат Джон и Йоко один подле другого; пока длится этот брачный танец, Джон, среди прочего, дает деньги на выставку Йоко "Полдыхания" в галерее "Лиссон" — инсталляцию из объектов-половинок, таких, как половина кровати, комнаты, ведра и т. п., выкра-

шенных белой краской. "Я сказал ей: 'Слушай, продавай-ка вторую половину в бутылках' (в игру тогда я уже врубился), она попробовала — это тоже еще до свадьбы и прочего, — до сих пор у нас хранятся бутылки с той выставки; для меня эта выставка первая".

Майским вечером 1968-го, когда Синтия Леннон была в отъезде, Джон позвонил и пригласил Йоко к себе.

Хозяин и гостья бодрствовали всю ночь. Если, по словам Форда Мэдокса Форда[1], люди женятся, чтобы не прерывать разговора, то у Йоко и Джона не было иного выхода, кроме брака, чтобы продолжить диалог, начавшийся тем вечером. Рассуждения Йоко на темы от Марселя Дюшана до азиатских притч весьма разнились от милой болтовни Синтии, хорошенькой, покладистой ливерпульской девочки-модницы, которая освоила в художественном колледже специальность гравера-шрифтовика. Джон и Йоко стали слушать записи, которые он делал не как битл — просто дурачась, для себя, не всерьез и не для коммерции. То есть, внушала Йоко, это и было *искусство.*

После полуночи они перешли к совместному творчеству — записали композицию "Unfinished Music № 1: Two Virgins" ("Неоконченная музыка № 1: Два девственника"). На рассвете была любовь. И когда Джон на другой день поднялся с постели, все сомнения по поводу новой подруги-концептуалистки сменились абсолютной уверенностью: он встретил ровню, двойника, любимую, свою половинку, "себя в затяжке".

Нечасто в истории муз встретишь такой простой рецепт и такое ясное определение Искусства: парная импровизация (не прелюдия к совращению, а именно творческая импровизация ночь напролет) художника и музы.

Недавно выпущенный компакт-диск "Two Virgins" ("Два девственника") — замечательный пример правды или по крайней мере нечаянной откровенности, явленной через оформление диска. Первоначальные фотоизображения нагих Джона и Йоко (из-за чего после выхода альбома в ноябре 1968-го поднялся страшный ажиотаж, причем совершенно была забыта музыкальная сторона дела) теперь упрятаны внутрь пластмассовой коробочки с нарочито неброской наклейкой из коричневой оберточной бумаги, сквозь отверстия в которой легко рассмотреть два вполне мирных снимка наших героев — сняты только головы. Вероятно, нынешняя сдержанность Йоко (а также отрезвляющий факт отказа ряда розничных торговцев иметь дело с товаром, пропагандирующим наготу) взяла верх над идеалистическими принципами, некогда побудившими двух любовников настоять на скандальном оформлении, хотя в новые времена и помыслить трудно, чтобы из-за фотографий обнаженного взрослого человека (разве что он известный религиозный деятель) кто-нибудь стал ломать копья. Внутри — два одинаковых, обернутых в бумагу снимка Йоко (малосведущие могут решить, что это и есть *оба* девственника), на которых напечатан текст "Каталога Йоко Оно на 'Рикодиске'". Каталог записей другого девственника — покойного — отсутствует.

На пластинке — свист, "кошачье" соло, стоны, всхлипы, кряхтенье, визг, нарезка из прежних записей, бренчание расстроенной гитары, посторонний шум, обрывки разговора. Результат столь невыразителен,

1. Форд Мэдокс Форд (1873–1939) — английский писатель.

что лишь нарастающее желание и обещание оргазма (то есть воссоздание, до некоторой степени, условий работы авторов над записью) способны заставить меломана прослушать все и под конец осчастливить себя воркующим, резким, как у школьницы, голосом Йоко и ее немудреной песенкой про верную любовь. Только в состоянии бешеной любовной лихорадки можно очароваться этим опусом или углядеть в нем искусство, а уж тем более — надумать тиражировать его и продавать. Неудивительно, что битломанам (и так встревоженным сообщениями в прессе, будто Йоко умножает разлад внутри легендарного квартета) перспективы дальнейшего сотрудничества Оно и Леннона виделись в мрачном свете.

Ретроспектива позволяет оценить не только последствия события, но и то, что происходило одновременно с ним. Недели и месяцы, последовавшие за первой ночью Джона и Йоко, стали для "Битлз" работой над "White Album" ("Белым альбомом"); на многих лучших его песнях, как почти на всем сочиненном Джоном за последние годы, лежит и светлый, и пагубный отпечаток его отношений с Йоко.

С ходом времени становится легче разграничить наше восприятие творчества Джона и отношение к Йоко как публичной фигуре — к ее предполагаемой или реальной роли в распаде "Битлз", к ее бесцеремонному вмешательству в студийные и концертные проекты Леннона, к ее явной заносчивости, карьеризму и эгоцентризму, к упорному желанию быть на виду, ко всему тому, из-за чего ее собственное искусство кажется вычурным, лишенным глубины. Слабейшие работы Джона времен Йоко — те, где их сотворчество максимально, на них — клеймо ее мировоззрения (псевдохудожественная преснятина, отказ признать сложность взросления). Но верно и то, что многие его шедевры обрели жизнь благодаря ее присутствию или отсутствию, цветению или угасанию ее любви, благодаря тому, что ей (или ему, любившему ее) удалось взлелеять и раскрыть природный талант, который сплавлял в единое и неповторимое целое неистовство, искренность, страсть, музыкальный юмор и словотворчество.

После "дефлорации", увековеченной в "Двух девственниках", их роман быстро развивался. Примерно через месяц после той майской ночи Джон и Йоко оказались в Ковентри с первой совместной акцией: перед собором они посадили два желудя, один — у восточной стены, другой — у западной, что символизировало единение культур и надежды двоих влюбленных на мир без вражды. В июле Джон устраивает свою первую персональную выставку в лондонской галерее Роберта Фрезера. Показ был посвящен Йоко, его название "Ты находишься здесь" повторяло фразу на схеме столичного метрополитена, помогающую пассажирам ориентироваться в лабиринте подземки, а экспонатами служили урны для пожертвований: в пользу слепых, инвалидов, в пользу ослов, пернатых и прокаженных. Когда кто-нибудь опускал в прорезь монетку, механический пес лаял, махал хвостом и задирал лапу.

Изгнанный из художественного колледжа рок-н-ролльный стиляга, фанат Чака Берри, поп-звезда становится художником; эта роль должна была заполнить вакуум, образовавшийся вследствие того, что Леннон истерзал себя опиатами, амфетамином и галлюциногенами. О, как терпеливо Йоко показывала ему его лицо в зеркале, открывала то, что таилось в нем всегда, — лицо урожденного сюрреалиста, ливерпульского

Дюшана. Леннону делает честь то, что он прислушался к женщине, — это совсем не тривиально для рок-идола образца 1968 года.

В одночасье бунтарь-студент перерождается в охотника за знаниями. "Я балдею от 'Флюксуса'. Уверен, они делают красивые и важные вещи. Йоко посвятила меня в то, о чем я раньше понятия не имел... Я узнал, что есть другие *великие* работы прошлого и настоящего... В колледже меня только и пичкали что долбаным Ван Гогом и всяким старьем! Никто и слова не сказал про тех, кто жив *сейчас*! О Марселе Дюшане никто никогда не рассказывал — за это я их *презираю*, а Йоко объяснила, кто такой Дюшан и что он сделал... Он раскопал несчастное колесо от велосипеда и сказал: 'Вот вам искусство, суки!'".

Глаза Джона открылись и на то, как по-новому страдать и облагораживать страдание, как выражать боль цивилизованным образом. Это уже не уличный мордобой и отчуждение подростка из неблагополучной семьи, не наркозависимость несчастливого в браке молодого музыканта, не знающего, куда девать деньги и время, а кафкианские борения художника-святого, художника-мученика. "Быть художником не сахар. Сами знаете, каково это — сочинять, это не радость, а *пытка*. Я читал о Ван Гоге, Бетховене, обо всех этих типах... Меня тошнит, когда я выступаю перед идиотами, которые ничего не знают и знать не хотят. Потому что они не способны чувствовать — а я из тех, кто чувствует... Они живут за счет меня и других художников".

А у судьбы между тем (как это часто случается, когда ее искушают) уже припасены невыдуманные беды. Синтия подает на развод — стартует грязный судебный процесс. У Йоко выкидыш после полицейского обыска у них в квартире и ареста их обоих за хранение конопли. Размолвки внутри "Битлз" и их финансовые проблемы становятся все острее; Джон и Пол теряют права на собственные песни, в фильме о записи пластинки "Let It Be" сквозят взаимоотчуждение и подавленность всех участников ансамбля. Теперь Джон и Йоко оба прибегают к героину — чтобы облегчить муки творчества. Леннон оправдывался: дескать, наркотики — ответ на боль, которую им причиняет конфликт с "Битлз". Йоко высказалась без обиняков: "С порошком не так скучно жить".

Однако Джон и Йоко не бросают работу, превращая помехи (настырность репортеров, свою растущую изоляцию) в фотокадры и аккорды, неизменно служа миру, любви, творчеству. Расставшись со своими прежними супругами, они обвенчались. Новые записи, совместные концерты и фильмы, издание "Wedding Album" ("Свадебного альбома"), к которому прилагались копия брачного свидетельства, буклет, постер и снимки, в том числе ломтика свадебного пирога. Начиная с прославленных постельных акций в защиту мира (в Амстердаме, Вене, Монреале), чета принимается дразнить поклонников откровенной сексуальностью; с одной стороны, целомудренные белые пижамы — специально для журналистов, слетевшихся на "постельную забастовку" в предвкушении полового акта; с другой — публикация эротических литографий Джона, где наглядно изображается то, что они не пожелали демонстрировать репортерам.

"Битлз" распались под аккомпанемент голословных обвинений в адрес Йоко и встречных претензий к троим экс-участникам ансамбля из-за грубости в обращении с ней. (На деле присутствие Йоко, кажется, лишь придало Джону смелости сделать то, что уже все равно было неизбежно.) Джон выпустил первый сольный альбом "Plastic Ono Band", где на-

ряду с несколькими мощными и западающими в душу песнями были и другие — в них слышно влияние излюбленной Йоко хрипяще-визжащей манеры пения и попыток Джона протянуть блюзовый мостик между стилем скриминг и рок-н-роллом. Хотя новая пластинка отличалась куда большей непосредственностью и глубиной, чем все былые записи "Битлз", игривые нотки и ирония "White Album" (за исключением одной-двух песен, вроде "Well, Well, Well") исчезли. Тщательно скрываемой усмешки, как в "Happiness is a Warm Gun" и "Glass Onion", уже нет. Теперь есть нарочитая неотделанность "God" и "Mother", двух песен, врезающихся в память; а вместо пародии — нескрываемый пиетет по отношению к Дилану в "Working Class Hero".

По совету Йоко Джон старался избавиться от чудаковатости, метафоричности, от позы защищающегося, чтобы перейти на более глубокий уровень, к большей искренности: "В 'Mother', а затем и по всему альбому я сознательно отсекал всю образность, претензии на поэзию, манию величия... Сказать как есть, обычным языком, зарифмовать, добавить бэк-бит и выразить себя так просто и прямо, как только можно".

Художник сделал творческий поворот, совершил эстетический сдвиг, что вызвало страстные споры — публичные и в частных кругах, "за" и "против" "обОНОвленного" Джона Леннона. Однако еще сильнее, чем музыка (ведь у каждого артиста есть свои неизменные идеи фикс и наваждения), изменился масштаб его честолюбия. Годы миновали с тех пор, как он во всеуслышание объявил, что "Битлз" популярнее Иисуса, но теперь, подогретый своей новой музой, он приходит к мысли, что, быть может, *он* и есть Иисус или, возможно, они с Йоко и есть Иисус и способны одним усилием воли явить нечто вроде второго пришествия: "Мы все ответственны за войну. Мы все должны что-то сделать, не важно что — отрастить волосы, постоять на одной ноге, дать интервью, устроить лежачую забастовку, чтобы изменить положение вещей. Пусть люди знают: все в их руках. Лежачий пикет всем под силу, это так просто. Мы согласны быть вселенскими клоунами, лишь бы докричаться до каждого".

Все это не так уж нелепо и вздорно, если вспомнить, что Джон — типичный представитель эпохи, когда культура молодых — начиная от "детей-цветов", экспериментировавших со свободной любовью, и кончая суровыми маоистами, сорвавшимися с университетской скамьи, чтобы организовать рабочих, — была пропитана верой в то, что социальные преобразования возможны, что мир к этому готов, что радикальные перемены совершаются с помощью любви или революции. Любовь или революция? Насилие или ненасилие? Трудно представить из нашего сегодня страстность, с какой бились над этими вопросами люди совершенно обычные.

Йоко и Джон деятельно поддерживали либерально-радикальные движения; на их счету — кампании в защиту узников Аттики и коренного населения Америки, за вывод американских войск из Вьетнама и освобождение политзаключенных, таких как Майкл Икс и Джон Синклер. Неразборчивость и идеализм, как и прекраснодушная наивность политических деклараций Джона того периода, закрепили за ним место где-то, скажем, между Кеном Кизи и Элдриджем Кливером[1]. На просьбу

1. Кен Кизи (1935–2001) — американский писатель; Элдридж Кливер (1935–1998) — один из лидеров экстремистской организации США "Черные пантеры", возникшей как реакция чернокожих американцев на ку-клукс-клан; автор нашумевшей автобиографии.

сформулировать свою философию музыкант ответил: "Мир, то есть никакого насилия, каждый в своей колее, скажем так. Конечно, внутри каждого из нас скрыто насилие, но его нужно направлять в какое-то русло или что-то в этом роде. Если у меня длинные волосы, мне не нужно, чтобы длинные волосы были у всех. А если мне нужен мир, то это мир для всех. Но я никого к миру не понуждаю. Кое-кому нравится насилие, так пусть они не трогают тех, кто его не терпит. Пусть убивают таких, как они сами, если на то пошло".

Убеждения Йоко кажутся еще более наивными — если таковое возможно, — еще более космичными и фантастичными, не просто эскапистскими, но граничащими с дерзким отказом хоть на минуту задуматься над миропорядком. Как иначе оценить с позиций здравомыслия ее теорию преодоления ужасов фашизма через любовь и секс? "Будь я молодой еврейкой при Гитлере, я бы сблизилась с ним и стала его девушкой. Через десять дней в постели он стал бы думать, как я". На какой это планете "у тех, кто работает, есть в наше время двухнедельный отпуск, даже у секретарш"? И какое разумное основание можно подвести под нижеследующее сногсшибательное объяснение бедности: "Есть черта, дальше которой — мазохизм. Я уверена, из бедности всегда можно выбраться, в какой-то момент решаешь сам — выбираться или нет... К примеру, женщина говорит: 'Голодаю, но шлюхой не стану никогда'. Что ж, значит, лучше она подохнет с голоду, чем выйдет на панель? Из-за того, что у этих людей такие правила, они не способны изменить свою жизнь".

С какой спонтанной художественной силой, причудливой и горькой, память ретуширует и расцвечивает извечно незавершенное полотно прошлого! За тридцать лет, прошедших после того, как она полюбила Джона, Йоко внушила себе, что ее связь с битлом означала откат в творчестве. Вот что сказала она в 1998 году: "До Джона я давала по два концерта и читала по две лекции в месяц. Я была востребована. Я все время могла выражать себя. И вдруг я — жена битла, теперь мое дело — заткнуться. А если сподоблюсь, перебрать дозу и умереть. Я приняла это как вызов: а каково будет работаться в заключении? Ведь это как тюрьма. Странная, диковинная, невидимая тюрьма".

Из этой невидимой тюрьмы Йоко и Джон проводят пресс-конференцию (уж точно первую, приуроченную к выходу книги участницы "Флюксуса"), где объявляют о переиздании "Грейпфрута". Джон не упускает случая изругать британскую критику за невосприимчивость и тупость: "В Англии я — везучий парень, сорвавший кон. Она — везучая японка, окрутившая парня, сорвавшего кон. В Америке в нас обоих видят художников... В Нью-Йорке те самые двадцать-тридцать классных художников, которые понимают, что я делаю, и мыслят, как я. Это просто рай после той жизни".

Вскоре Ленноны переезжают в Америку, где пиком их совместной карьеры был концерт с Фрэнком Заппой в Филмор-Ист во время прежнего турне. "Я отбивал ритм и прикладывался к бутылке, а Йоко пела при помощи своей так называемой голосовой модуляции, для профанов это вопли!" Кроме того, в Нью-Йорке Йоко сподручнее было вести изнурительный бой с Тони Коксом за опеку над Киоко, что отняло массу времени и денег, но не дало результата: Киоко провела почти все детство с Коксом и его второй женой.

Пока супруги устраивались на Манхэттене, Йоко предложили монтировать ее первую большую авторскую выставку в музее искусств Эвер-

сона в Сиракузах (штат Нью-Йорк). Пригласительные билеты на открытие были написаны исчезающими чернилами; вначале прочитывалось "Джон Леннон", дальше — после пробелов — только номер телефона, просьба подтвердить свое присутствие и — фамилия художницы. Дэвид Росс, тогдашний куратор музея, вспоминает: "Перед открытием 9 октября 1971 года больше пяти тысяч человек заночевали под холодным сиракузским дождем, чтобы оказаться в числе первых посетителей. Выставка — подарок Йоко Джону (чье активное участие мы отметили в списке гостей титулом "приглашенный художник") на его тридцать первый день рождения и новая страница их любви. Как ни сентиментально это звучит, здесь не было и намека на избитые трюки шоу-бизнеса. Это был один из первых примеров того, как Йоко превращает нехитрую идею любви в универсальную социальную программу, отражающую ее собственную эстетическую и философскую позицию".

Во всяком случае, никогда прежде тысячи поклонников не осаждали в течение суток (и вряд ли станут осаждать вновь) только что открытую экспозицию "Флюксуса". Йоко, скорее, не понимала причин этой культурной аномалии и, пожалуй, принимала все за чистую монету: наконец-то проявляется заслуженное внимание к ее искусству. Джон, лучше понимавший что к чему, распинался по поводу безвестности, от которой спас жену: "Не думаю, что бедолаге грозит признание, пока она жива... По пальцам одной руки можно сосчитать тех, кто хоть как-то *представляет* себе, что́ она такое, что́ у нее в голове, что́ значит ее труд для этого поганого поколения с его *поганым* идиотизмом... Но вообще ее не примут, она слишком далеко ушла вперед, такое тяжело принять! У нее такая боль, и она выражает себя так, что *другим* больно! Невозможно это принять! Вот почему не признавали Ван Гога, и вот откуда вся эта чертовщина: слишком *правдиво*! Слишком *больно*! Да за это убьют в два счета!"

Недюжинные смекалка и решимость всегда отличали Йоко, а вот и награда за упорство — миллионер, художник-рокер, готовый не только говорить такое, но и стоять на афише вторым номером — "приглашенным художником". Джон на редкость галантен, он согласен играть роль Айка Тернера при Тине, только эта Тина — авангардистка, а значит, для очень многих он предатель своего класса и пола, европеец, завороженный японской колдуньей, выходец из рабочих, обабившийся из-за порочной принцессы-азиатки.

Связь с Джоном стала для Йоко попаданием в "десятку", личной и профессиональной удачей. Тем не менее почти все (кроме очень враждебно настроенных биографов) сходились во мнении, что Йоко Оно и Джон Леннон любили друг друга искренне. Поистине эта пара — хрестоматийный пример любви, просто клинический случай того, что по-французски именуют une folie à deux, так сказать, помешательство вдвоем. Налицо все классические симптомы, в самом гипертрофированном виде — надо помнить, какого масштаба личности наши влюбленные.

Любовь, напомнили нам Джон и Йоко, — это, как ни парадоксально, верное и одновременно кривое зеркало, в котором мы отражаемся такими как есть. Любовь вызывает жажду учиться всему, что знает любимый человек ("я узнал все от нее"), восторг от обретения своей второй половины ("он на сто процентов моя половинка, мой зеркальный образ, как ни странно, в мужском обличье"), нежелание расставаться даже на мгно-

вение: “Я без нее — это невозможно. Нет ничего важнее наших отношений, ничего. Нам в кайф быть все время вместе”.

Джон и Йоко — это ходячая реклама любви преображающей: смотрите — мы уже не мы, а новые, возвышенные создания. Леннон, в разные периоды жизни страдавший из-за своего необузданно-отчаянного нрава, перерождается благодаря Йоко в Рыцаря Мира. Но им дано было и предостеречь других любящих — напомнить об опасностях солипсизма, из-за которого влюбленные теряют ощущение чего бы то ни было, кроме самих себя. (“Все случившееся с нами отчасти наших рук дело. И причина тут, наверное, в полной взаимопоглощенности, незнании того, что творится вокруг и куда мы движемся, знаете, вместо того чтобы смотреть... на дорогу, мы всегда смотрели в глаза друг другу”.) Им обоим была свойственна трогательная слабость влюбленных идеализировать красоту, таланты, помыслы другого. Для Йоко Джон-рисовальщик равен да Винчи и Гойе. Джону, похоже, верилось, что и Йоко гениальна и прекрасно продюсирует его музыку: “У нее музыкальный слух, она может делать рок-н-ролл. Может записывать меня... Рокерами не рождаются. Она знает, когда бас звучит чисто и когда парень сбился с ритма...”

В видеоархиве их концертов и студийных сессий нет и намека на предательство: Леннон никогда не прохаживается насчет возлюбленной в кругу друзей-музыкантов, не подмигивает в камеру, как бы дистанцируясь от ее назойливых трелей и воплей, чего, кстати, много в шоу вроде “Цирк рок-н-ролла” — телезаписи, снимавшейся с участием “Роллинг стоунз”. Но как это ни грустно, есть основания полагать: все же Джон Леннон переоценивал достоинства своей музы.

Три четверти документального фильма “Я хочу правды” (1999) о записи “Imagine” (1971) — Леннон и его группа репетируют песню “How Do You Sleep?” (“Как тебе спится?”), “грязную”, по отзыву автора, обличительную, глумливую песню-посвящение Полу Маккартни. Ситуация почти на грани, с налетом кровосмесительства и клаустрофобии, ведь здесь и другой экс-битл Джордж Харрисон (партия гитары), и Йоко (она не ладит с Маккартни и руководит на равных с Филом Спектором подготовкой альбома на студии в Титтенхерст-парк, имении Джона и Йоко в Эскоте).

Не все сразу входит в свою колею. Джон описывает ритмический ход, этакую икоту в стиле рэгги, которая ему нужна как перебивка, и мало-помалу музыканты забывают о себе, о подоплеке и предыстории, о сведении счетов — обо всем, кроме музыки, и вот наконец заветный джем с блюзовым вокалом а-ля заклинатель змей, с роялем и гитарой, сыплющими блестки озорного стиля “Новый Орлеан”; рождается музыка — не столько отповедь одного рокера другому, сколько свинг, что-то вроде изящно выговоренного проклятия вуду.

Этот эпизод фильма, безусловно, самый волнующий. И вдруг он резко обрывается. Музыка смолкает, на экране Йоко шепчет что-то на ухо Джону.

Д ж о н. Что значит — *слишком свободно*?

Й о к о. Слишком свободно. Они слишком импровизируют.

Энергичный кусок. Потом еще один.

Д ж о н (*обращаясь к ансамблю*). Хватит импровизировать, просто играйте в лад. Играйте строго тему. Просто думайте о том, как это грязно. Грязная песня. Не надо слишком свинговать.

После чего свинг уходит. Здесь каждый — профессионал, и группа выдает вариант, который сам по себе не плох и уж точно лучше того, что в итоге окажется на пластинке (помпезная струнная инструментовка Спектора там почти заглушает рояль). Но и этот вариант далек от первой трансоподобной виртуозной гармонии, которую забраковала Йоко.

Как продюсер фильма она, пожалуй, не придала всему этому значения. "Я хочу правды" сродни многим материалам о Ленноне, опубликованным после его смерти: фильм отдает пропагандой, отцензурированной Йоко — министром информации, который самонадеянно мнит себя министром культуры.

Сквозной, не слишком замаскированный подтекст фильма — это центральная роль Йоко Оно в создании "Imagine". Идет запись мелодично-нежной песенки "O, Yoko!", муза тем временем отчитывает звукорежиссера, затерявшего нужный Джону дубль. Она рассуждает об инструментовке "Oh, My Love" ("О, моя любовь"), и сцена с поющим эту песню Джоном перемежается отрывками интервью его и Йоко на темы любви и секса. (Любовь есть "релаксация", формулирует Йоко, — наверняка не первое слово, которое приходит на ум в связи с Леннонами.) Кадры исполнения Джоном песни "Jealous Guy" ("Ревнивый малый") наложены на изображение мокрого от слез лица Йоко — зрительной подсказки, кого именно ранила ревность певца.

Здесь и кадры их большого рок-видео к "Imagine" (белая комната, партия в шахматы), постановочные перебивки: Джон и Йоко бегут на фоне зеленого английского пейзажа, окликая друг друга, он — в шляпе гаучо и оперной накидке, она — в кожаных обтягивающих брюках, ботинках, берете и с патронташем на груди. Идиллию их совместной жизни подсвечивает секундное появление на экране таких бесспорных столпов движения хиппи, как Энди Уорхол и Майлс Дэвис. Вместивший все это фильм — первый пример того, как на документальном материале (в реальной жизни, реальном времени и очень обстоятельно) сама муза показывает, как она действует и на самом деле вдохновляет или губит художника.

Вернуться вспять по следам, проложенным от свершения к истоку, невозможно — это знает всякий творческий человек. Анализировать или измерять вдохновение так же тщетно, как давать отчет о мистическом состоянии, которое и есть вдохновение.

Но художники не из камня сделаны. И куда проще, уступив расспросам, чуть слукавить: ах да, я помню отчетливо, о чем я думал тогда и чем был движим. Если бы Шекспир раздавал интервью направо и налево, как Леннон, мы знали бы, кем была смуглая леди, что вызвало к жизни тот или иной сонет и с кого из друзей или недругов списан король Лир. В фильме "Я хочу правды" задиристый юнец фанат заявляется к Джону, как видно, желая удостовериться, что кумир пишет песни не о ком-нибудь, а ровно о *нем*. "С чего ты взял, что они о тебе? — недоумевает Джон. — Мы ведь не знакомы. Мои песни обо мне, ну, может, о Йоко, если песня про любовь. Я говорю: у меня сегодня не болит живот, вот и вся моя мысль, и — я люблю тебя, Йоко".

Не раз Джон характеризовал песни альбома "Abbey Road" как шифрованные послания к Йоко о тайной любви. "'She's So Heavy' ('Она так сильна') — про нее... Я просто спел: 'Я хочу тебя, так сильно тебя хочу, она так сильна, я хочу тебя' и дальше в этом духе. На двойном альбоме я

эти стихи упростил". Спустя годы он точно так же объяснял происхождение одной из песен "Double Fantasy": "'Woman' ('Женщина') возникла потому, что средь ясного дня на Бермудах меня вдруг осенило. Я понял, что́ для нас делают женщины. Не в смысле — Йоко для меня, хоть я и шел от своих личных мотивов. Любая истина универсальна". Рождение некоторых других песен он опять-таки связывал с муками разлуки с Йоко, длившейся полтора года.

Для художников, в общем, не редкость платить музам признательностью, но Леннон один из тех немногих, кто корит себя за *неполноту* этого чувства. В связи с "Imagine" он замечает: "Если честно, вот здесь должно стоять 'Леннон — Оно', многое — стихи, идеи — пришло от нее, но я в те дни был тот еще эгоист, тот еще мачо, и я как-то не сподобился отметить ее участие, но взято это прямо из 'Грейпфрута' — ее книжки, там куча всего про 'вообрази это, вообрази то', и сейчас я ей возвращаю долг, давно просроченный"...

Йоко Оно, в полном соответствии со своим временем, предпочитала оставаться художником и боролась за это. И как только отлив ранней безрассудной страсти развеял иллюзию полного слияния в единое целое, в одну личность, Джон и Йоко все больше становились соперниками и конкурентами.

Вполне естественно сочувствовать Йоко, боявшейся потерять творческое лицо, обретенное ценой отчаянных усилий. "Пока он был жив, я всегда старалась сохранять независимость, потому что у него такая мощная энергетика. Другого такого, как он, нет, кстати. Так что, если бы я не стояла за себя, меня бы съели. Когда ко мне обращались 'миссис Леннон', обычно я отвечала: 'Миссис Леннон? Нет уж, спасибо, я — Йоко Оно'". Но сопереживать не значит охотно наблюдать за склокой.

Интервью Джона и Йоко 1971 года — душераздирающее свидетельство тому, что оговорки любящих выдают их соперничество как художников: "Мы с Йоко столкнулись на уровне творчества. Наши 'я' раздавило всмятку. Но если я знаю, что я делаю как художник, мне легче понять, как я реагирую — лицемерю или нет. Ее талант иногда внушает мне трепет. Я думаю: черт, лучше стоять в сторонке, она меня забивает... Когда она хочет сторону А, вот тогда мы деремся. Почему обложки наших альбомов похожи? Да потому, что мне хотелось, чтобы мы были и вместе, и порознь одновременно... Все вокруг готовы умереть, лишь бы мы разошлись, бог знает почему. Может, просто никто не желает другому счастья, ведь счастливых людей нет".

Здесь вступает в разговор Йоко, немного опечаленная: "По-моему, это чудо, что у нас все хорошо. У нас все хорошо, правда, Джон?"

Ответ Джона, вопреки ожиданию, звучит не романтично и не успокаивает: "Просто иногда хочется 'поиметь' лучшего друга. Вот и все. А то, что это женщина, меня больше не смущает. Нас ушибает жизнь и смерть каждый день, так что стоит ли волноваться о том, какого мы пола. Я живу с художником, который вдохновляет меня и помогает работать. А Йоко, знаете, самый знаменитый неизвестный художник. Все знают ее имя, но никто не знает, что́ она делает".

В фильме "Я хочу правды" есть яркая сцена, из которой видно, как эти трения проявлялись в повседневности. Музыканты, работающие над "Imagine", ужинают за длинным столом. Харрисон просит Йоко налить ему чаю — видимо, чайник возле нее. Джон вскидывает голову, при-

осанивается, барабанит пальцем по столу и возвещает: “Битловская женушка подает чай одному из великой четверки... мм, великой тройки”.

Й о к о (*указывая на Джона*). Это *моя* жена.

Д ж о н. Я битловская женушка номер три.

Разговор стремительный, ироничный. Но почему-то приятно, что тебя там нет, — приятно, что тебя нет в студии, где обычный обмен репликами — непозволительная роскошь для музыкантов, когда среди них находится муза Леннона, которая учит их играть.

Сама по себе такая творческая состязательность, жажда быть причисленным к *подлинным* мастерам может превратить близость в минное поле для супружеской четы, пример — Скотт и Зельда Фицджеральд. Но и сверх того Джон и Йоко обременены массой насущнейших дел: покупают и употребляют наркотики, распоряжаются своим состоянием, распутывают деловые проблемы и затевают один за другим судебные процессы, в том числе против Тони Кокса, чтобы добиться опеки над Киоко. В итоге брак дает трещину, это толкает Джона в объятья помощницы Йоко, красотки Мей Пенг, и в гиблый водоворот, где есть и героин, и прочие деформирующие сознание вещества...

Расстояние в континент не поколебало брака Леннонов. Йоко была подобна океанскому валу, Джон — стаду ревущих слонов, и тот, кто вставал у них на пути, рисковал тем, что его собьют с ног и растопчут. Так и случилось с бедной Мей Пенг, юной китаянкой-секретаршей, родившейся в США в рабочей семье, которая конечно же по глупости своей не догадывалась, что финал ее интрижки с Джоном предрешен с самого начала. Как отмечает биограф Леннона, шок Мей Пенг после возвращения Джона к жене был таков, что она заподозрила, будто Йоко заполучила назад зомбированного супруга посредством оккультных сил. Другие, не исключая и самого Леннона, также приписывали подаркам Йоко значение сверхъестественное. “Джон видел в ней ведьму, волшебницу, жрицу, посвященную. Я человек сугубо прагматичный и вроде как реалист. Но теперь я верю в ее способности. Она телепат... Я знаю, она читает мысли” (Эллиот Минц, приятель Леннона).

Бесспорно, муза-ведьма старалась, чтобы ее чары не ослабли. Вступив в тайный сговор с Джоном, Йоко находит идеальный способ воскресить поколебленный было миф о преобразующем жизнь чувстве. В драме — две части. Первая: художник (или как минимум тот, кого *считают* художником) обязан признать, что он не выживет, буквально погибнет без своей музы. “Я из тех, кто, как принято думать, знает все, но это она мой учитель. Она научила меня всему, что знаю. Это тяжелые уроки, иногда я их не выдерживал и потому сорвался. Когда мы были врозь, это *я* был виновен, *я* валял дурака — по клубам и перед журналистами. Не она. Она по-человечески тосковала и любила меня, но *ее* жизнь шла своим чередом. Это *я* вернулся в ее жизнь. А не наоборот”. Вторая часть: к примирению должно было подтолкнуть событие столь же (или не менее) романтично-чувственное, как работа над “Двумя девственниками”. В 1974 году в День благодарения Леннон принял участие в шоу Элтона Джона в Мэдисон-сквер-гарден. Йоко оказалась среди зрителей и после концерта прошла за кулисы. “Кто-то сказал: ‘Сразу видно, эти двое влюблены...’ Мы

в эту секунду как раз увидели друг друга, и знаете, это как в кино, когда время останавливается. Тишина, все молчат, знаете, а мы стоим себе и смотрим друг на друга... Как будто бы мы вновь там, в 'Индике'".

Итак, влюбленные воссоединились, причем неслучайно — тому порукой сама природа. В открытке Джона друзьям говорится о беременности как о совместном опыте: "А как вам такая новость: Джон и Йоко не только снова вместе. Они беременны". Рождение сына Шона (октябрь 1975-го) — улыбка удачи на грани чуда, если учесть возраст Йоко (сорок два) и предыдущие выкидыши.

Вскоре Йоко будто бы объявляет Джону: "Я его носила девять месяцев, дала ему жизнь. Теперь твоя очередь за ним смотреть". Много воды утекло с начала их романа, когда они считали себя собратьями — двумя художниками, "двумя девственниками". Назрела необходимость распределить обязанности более эффективно, для этого супруги (как им верилось) благородно меняются гендерными ролями, не подвергая пересмотру и не пытаясь видоизменить незыблемое деление по половому признаку, из-за чего, как известно, разбилось столько семей. Джон погружается в новую для него деятельность домохозяйки и прилежного отца — надо полагать, при ощутимой помощи штата прислуги. А Йоко храбро постигает тонкости большого бизнеса. "Когда мы решили, что я должна превратиться в бизнесвумен, я сказала себе, что для успеха в этих новых делах мне необходимо перестроить душу. Прежняя позиция — не прикасаться к деньгам — попросту не годилась. Я размышляла над этим. Я рисовала себе образы всего, что имеет в мире материальную ценность: бриллианты, шелка, бархат, произведения искусства, — заставляя себя смотреть на них с любовью, чего никогда не делала раньше".

Превозмогая "вывернутый наизнанку снобизм" и учась "радоваться вещам, которые дают деньги", Йоко не раз оступалась, но вышла победительницей. Она вложила средства в пять квартир в "Дакоте" и в четыре фермы (получив изрядные налоговые льготы) на севере штата Нью-Йорк, в Вермонте и Виргинии; одна из ее коров, голштинка-рекордистка, принесла владелице 265 ооо долларов на аукционе в Сиракузах во время ярмарки штата Нью-Йорк. На исходе семидесятых с учетом недвижимости во Флориде и на Лонг-Айленде состояние супругов перевалило за 150 миллионов — совсем неплохо для ливерпульского повесы и экс-участницы "Флюксуса". "Мы рискнули обойти западню, в которую попадают художники, потому что не хотели мучиться, раз можно иметь деньги и собственность. Как-никак, быть несчастным — слишком дорогая плата за то, чтобы быть художником!"

Плата поистине высокая. Стараясь переделать душу, Йоко, видимо, подзабыла общеизвестную мудрость: в погоне за достатком легко растерять творческие импульсы. Заключая новое "рабочее соглашение", Джон и Йоко как-то не позаботились оговорить особо и отвести каждому время на занятия искусством.

Поначалу этот добровольный или вынужденный профессиональный простой казался благодатью. ("Было здорово... Часто я сидел и думал, что мне это напоминает... Это напоминало меня в пятнадцать лет. Сочинять песни тогда не было обязанностью. Сочинял, если хотел. Все зависело от желания, и для меня не существовал заданный стандарт — мой собственный или кучки критиков и т. д.") Немногочисленные поздние альбомы Джона: "Some Time in New York City", "Mind Games", "Walls

And Bridges", "Rock 'n' Roll" ("Однажды в Нью-Йорк сити", "Игры разума", "Стены и мосты", "Рок-н-ролл") слабы все как один, это сильно разбавленная смесь из песен об униженной любви, ностальгической дани рассветным дням рокабилли и политических гимнов, в которых поклонники и критики уловили стремление музыканта к чему-то подлинному, надежному, четко ориентированному...

Хотя Джон и Йоко перестали работать вместе, состязание между ними продолжалось. То, что оба отошли от искусства, несомненно способствовало появлению какого-то туманного чувства разочарования: живя в изоляции, супруги слишком замкнулись друг на друге и развлекались взаимными подначками, пример тому — разговор по поводу кулинарных талантов Джона:

— Я научился печь хлеб, это просто фантастика. Свою первую булку заснял на полароид.

— По старой доброй традиции, мачо все свои поступки считают историческим событием.

— ...это фантастика. Мачо тут ни при чем. Это был мой первый хлеб. Красивый, вкусный... Я был потрясен, что у меня получилось, что я могу сам себе приготовить все для завтрака.

— Он печет хлеб, и если его не съели — это личное оскорбление. Такое мы уже проходили.

Ко времени, когда они решили снова сесть за работу и вместе записать альбом "Double Fantasy", подобные трения между ними в основном прекратились. Мнение Джона о том, кто достоин "стороны А", изменилось: "Я по-настоящему доволен Йоко. Это заслуженная похвала. Позади долгий путь. С радостью уступаю ей сторону А на этой пластинке, сам я буду записывать Б. Остальное — дело техники". Впрочем, Йоко отзывается об этой работе более сдержанно, указывая на помехи и на так и не преодоленную инерцию: "Мы испытывали парадоксальное чувство — это был какой-то неосознанный саботаж: 'Ну, давай не будем сейчас слушать песню, я очень устал... то есть, я уже слушал твою песню, она вполне, послушаем потом...'" Идя в студию, Йоко думала с тревогой: "Мы ведь оба упрямые и, наверное, станем драться как сумасшедшие из-за ремикса и тому подобного, ведь у каждого свои представления... Джону сто раз следовало взвесить, можем ли мы и в самом деле работать вместе, да?"

Независимо от этих опасений и вопреки пятилетнему простою, воскрешая в памяти те события, Джон сколь возможно точно описывает опыт творческой работы: "Как радостно вдруг стать одержимым; сидеть и ждать, словно медиум, и *оно* приходит среди ночи или тогда, когда ты этого совсем не хочешь, — вот что интересно... И вот я лежу, и вещь приходит сразу вся, знаете, со словами и музыкой, и я думаю: ну что, можно ли сказать 'Это написал я'? Ведь я, черт возьми, не знаю, кто это написал... Тобой словно управляют, ты, не зная как, касаешься рояля, гитары и записываешь нечто тебе данное, то, на что ты себя настроил, как тюнер".

Какая досада, что то, на что Леннон *настроил себя* и чем он был одержим и вдохновлен, — это "Double Fantasy". Этот альбом — всего лишь очередная совместная работа, тщательнее оркестрованная, чем "Two Virgins" — дуэт в свободной форме. Пятьдесят на пятьдесят: то Джон, то Йоко — по очереди. "Мы впервые делаем так. Это диалог, для которого

мы, можно сказать, возродились как Джон и Йоко, а не как Джон из 'Битлз' и Йоко с 'Plastic Ono Band'. Нас просто двое, и мы решили: если пластинку не раскупят, значит, людям не нужно знать про Джона и Йоко – то ли Джон уже не нужен, то ли не нужны Джон и Йоко, то ли нужна одна Йоко или там еще как. Но если мы не нужны, нам тут делать нечего".

Теоретически так и *должно* быть: удачный проект реализован во имя сохранения брака. Гениям случалось творить и под давлением более странных обстоятельств, в условиях менее тепличных. Но неблагополучие вряд ли кому-либо облегчило процесс творчества, и вышеописанной натужной попытке далеко до неосознанно-волевого процесса, когда, по словам Леннона, "нечто само тебе дается".

"Double Fantasy" – сочинение концептуальное, только концепция не работает. Песня Джона, затем песня Йоко, опять Джон, опять Йоко, – мы не успеваем перекинуть мостик и настроиться, ибо нет диалога, гармонии и контрапункта, а слушателю как-то неуютно и неловко, будто присутствуешь при разговоре супругов, перебивающих друг друга....

Записи Йоко на "Double Fantasy" столь чудовищны и фальшивы, что поневоле предпочтешь ее ранние "воющие" композиции – они уж по крайней мере не подделки. Здесь же не просто скверные дисковерсии скверной японской поп-музыки (приметы масскультуры налицо, но слушать это все равно трудно), а еще и расчет – угодить, развлечь и (что важнее) продать. Кажется, сочинитель этих песен разобрал по винтику работы тогдашних поп-звезд ("Blondie", "Talking Heads", Патти Смит), желая докопаться до причин их успеха. Джона, похоже, также не оставил равнодушным коммерческий потенциал новых песен Йоко. "'Kiss Kiss Kiss' есть в чистом виде рок-клаб, и новая волна, и диско – все что угодно. И мы записали специальный диск, а Йоко предложила: 'Давай им покажем то, чего у них нет'. И мы сделали длинную, шестиминутную, дискотечную версию 'Walking on Thin Ice' ('По тонкому льду'), которая скоро выйдет. Есть отдельный микс в стиле диско или рок-клаб, он тоже появится".

В "Kiss Kiss Kiss" муза под стать порносирене. Первое, что слышишь, – зазывное воркование вполголоса, как на кабельном телевидении в рекламе девушек для досуга, особенно восточных красавиц. Кульминация – имитация Йоко оргазма в студии. Вот как рассказывали об этом Джон и Йоко, раскрывая нам (в числе прочего) сексуальную напряженность, скрытую за завесой сексуальной же бравады, отчаянную борьбу за внимание к собственной персоне – все это очень заметно, несмотря на взаимное обожание, переполняющее альбом:

Д ж о н. Расскажи, как ты записывалась в кромешной тьме за этими высоченными ширмами.

Й о к о. Я начала и потом вдруг подняла глаза: весь персонал студии смотрел на меня, и я подумала: "Не смогу". Я сказала: "Ну-ка, погасите свет и поставьте вокруг ширмы". Они принесли ширмы, и тогда у меня получилось.

Д ж о н. А мы все сидели и гадали: "Что она делает?" У нее был оргазм, но там никого не было...

Й о к о. Это называется играть, сам знаешь...

Д ж о н. О, классно, дорогая, здорово, да, Зигги Стардаст!

В о п р о с. Вы смущаетесь в студии, Йоко? Когда делаете нечто такое?

Д ж о н. Извините, что перебил, но там был Джон (то есть я), Джек, Ли, инженер и кто-то еще. Мы все там сидели...

"Kiss Kiss Kiss" — саундтрек, который приглушаешь, словно и вправду смотришь порнофильм. Все же существует вероятность того, что мы вновь не поняли "соль", *посыл*, что это политический жест (право женщины быть услышанной), предвестник ультимативных требований, вскоре озвученных артистками вроде Карен Финли. Йоко так аргументирует присутствие подтекста: "Песенка простая, сама говорит за себя... Основное в ней — женская незащищенность азиатки, которую женщины теперь признают без боязни. Сегодня в порядке вещей не скрывать свою ранимость, вот как здесь: 'Что ж, это ведь женщина...'"

Жаль только, Йоко не разграничивает незащищенность и гейшеподобную покорность, которую обычно преподносят как восточную изюминку. Итог неубедителен; певица заметно перебирает, а между тем получается нечто столь же неприятно-оскорбительное, как лекция о политике и порносаундтрек, сдобренный диско-битом. Такой же недостоверности немало и в песнях Джона. Даже в лучших из них чувствуется движение по второму кругу...

"Double Fantasy" по-своему так же трудна для восприятия, как и "Two Virgins". Впечатление еще тягостнее оттого, что это последний альбом Джона Леннона. Ибо нельзя предугадать, что сделает художник завтра. Одни творцы, раз оступившись, продолжают падение, а другие поднимаются и совершают сказочный рывок вперед. Бесполезно рассуждать о том, что могло бы случиться, и нам уже никогда не узнать, к чему пришел бы Леннон, случись все иначе в ту декабрьскую ночь, когда они с Йоко возвращались домой после записи ее песни "Walking on Thin Ice", впоследствии — удачного видеоклипа и танцевального хита.

Итак, муза Леннона становится вдовой в эпоху великих вдов. Подобно Жаклин Кеннеди и Коретте Кинг, Йоко высится как горделивый, героический символ спокойствия посреди бурь всемирной скорби. Великие вдовы учат нас скорбеть, их не покидает дух их супругов, помогающий при необходимости озвучивать волю покойных. "Когда теперь я что-нибудь делаю, первая мысль: 'А что бы сказал на это Джон?'"

Музы, пережившие своих спутников-художников, вдруг обнаруживают порой, что у них нет иного выбора, кроме как вновь сменить роль: любовница и вдохновительница должна стать хранительницей истории и истины...

Йоко учит нас, как возвысить наше горе, для чего прибегает к расхожему языку: она говорит об исцелении, оспаривая и присваивая себе наше право на личные чувства. Вот выдержка из ее интервью "Нью-Йорк пост": "Теперь, кажется, мы по-прежнему работаем вместе. То абсолютно разрушительное чувство, депрессия, неверие в то, что мы с Джоном делали, прошло. Прошло, потому что каждый год, все время я делала что-то для Джона, для его работы... Я делала это ради Джона, я делала это ради Шона, но делала это и ради себя. Думаю, я заслужила это чувство, потому что это двадцать лет моей работы".

К ее чести, Йоко шла вперед: вела дела, растила сына, представляла интересы покойного мужа — и все это со свойственной ей странноватой, но замечательной решимостью не бросать собственное творчество и завоевать признание личных заслуг в искусстве. Все же есть нечто в приведенном выше высказывании (возможно, фраза о преодоленном неверии), порождающее мрачные предчувствия того, какие формы может принять это искусство.

В двадцатую годовщину убийства Леннона Йоко была нарасхват: персона грата выступала в прессе и документальных телепрограммах с рассказами о ночном бдении паломников в Сентрал-парк на пороге "Дакоты", об истории "Битлз" и о последних годах Леннона. Возможно, это просто совпадение, но в честь Йоко той зимой была устроена большая выставка "Да, Йоко Оно" в Японском обществе Нью-Йорка (с последующим показом в Миннеаполисе, Хьюстоне, Кембридже, Торонто, Сан-Франциско и Северном Майами) и был издан роскошный одноименный художественный альбом, где в дополнение к критико-биографическим эссе прилагался ее новый музыкальный компакт-диск.

Об экспозиции были хорошие отзывы. С хвалебной рецензией выступил Майкл Киммельман ("Нью-Йорк таймс"), а Артур К. Данто ("Нэйшн") писал о Йоко как об "одном из самых оригинальных художников второй половины столетия. Слава сделала ее почти невидимкой. Когда создавались работы, за которые ее ценил и любил муж, только люди, на редкость восприимчивые к авангарду, способны были увидеть в них нечто бóльшее, чем какие-то эфемерные построения. Выставка в Японском обществе позволит осознать всем, у кого довольно терпения и фантазии, что ее достижения близки каждому. Это искусство и вознаграждающее, и взыскательное"...

В программе выставки было много интригующе-завлекательного, особенно клипы и фильмы, например документальные кадры с Оно в "Отрежь кусок" (1965). Вот уж зрелище так зрелище: художница неподвижно стоит на коленях на сцене, а желающим разрешено разрезáть ножницами ее одежду на лоскуты, что все и проделывают весьма проворно, пока кто-то не задевает за лямку бюстгальтера — лишь тут Йоко реагирует, прикрывая рукой грудь. Налицо успешная демонстрация, по словам художницы, "тихого насилия, пропитавшего личность и общество, отчужденности индивида и взаимосвязанности человеческого рода". В шедевре "Ниже спины" увековечена эксцентричная красотка; в "Мухе" обыкновенная муха, взятая сверхкрупным планом, совершает судорожно-гадкое путешествие вдоль нагого женского тела, присаживается на сосок и потирает свои жуткие тонкие лапки, затем исчезает в растительности лобка; тоже необычно — ну просто неотразимо!

Йоко, однако, сама делает все возможное, чтобы зрители заблудились в ее экспозиции, что странно, ибо ее нарциссическую страсть быть у всех на устах не утоляло даже признание тех, кто и в самом деле интересовался ее искусством. Первое, что встречало гостей выставки в Японском обществе, — звуки "Кашля" (1961—1963), непрерывно повторяемой аудиозаписи кашля Оно, сухого, нервного, который преследовал созерцающих "воспитательные картины", словно саундтрек, вклинившийся между ними и всем, развешанным по стенам. Только благодаря нечеловеческим усилиям можно было сосредоточиться, не обращать внимания на кашель, вообще забыть о нем — и разглядывать японскую каллиграфию: буквы-паучки, слагающиеся во фразу: "Просверли две дырки в полотне. Повесь его, где видно небо". Из-за невыносимого саундтрека (Йоко что есть сил, так что кровь леденеет в жилах, имитирует жужжанье) выдержать лицезренье "Мухи" можно лишь две-три минуты, хотя ее образный ряд способен удерживать внимание много дольше...

Многое в творчестве Оно, прямо говоря, раздражает, а раздражение — не лучшая реакция на искусство при любой иерархии ценностей. Повседневность и без того полна противоречий, так нужно ли, чтобы их

множила высокая культура? Тем не менее Оно, похоже, уверена: привлекать к себе внимание со знаком минус значит общаться продуктивно; ее творчество — экстаз, вызванный умением раздражать, а это не то же самое, что беспокойство, дискомфорт, которые заставляют нас задуматься над их причиной.

Редко встретишь такое пассивное и в то же время агрессивное произведение искусства — буквально удар в лицо, — как йоковское "Изумление": лабиринт из прозрачного пластика, где только локатор, как у летучей мыши, может уберечь ваш нос от причудливых изгибов стенок. В день моего посещения выставки дежурной по залу — благообразной, почтенного вида уроженке Ямайки — было поручено стоять снаружи у лабиринта и поддерживать через стенку разговор с теми, кто пробирался к выходу внутри, но люди, вконец растерявшиеся, потерявшие счет ушибам, впали в панику и грозили музею чуть ли не судебными исками.

Если, по формуле Кафки, искусство — это колун, пробивающий скованное льдом море внутри человека, все созданное Оно наводит на мысль, что вода подо льдом холоднее, чем думалось. Ковылять сквозь "Изумление" — все равно что томиться в преисподней, где вечно опаздываешь на секунду и отстаешь от поезда. Громогласно требуя внимания к себе (докучливо-бесцеремонный кашель вынуждает нас забыть о произведении и думать об авторе), Йоко словно пытается говорить в телефонную трубку, откуда доносятся лишь длинные гудки.

А где же во всем этом Джон Леннон? И ему место нашлось, но не сказать, чтобы центральное: случайный вдохновитель творчества художницы, который скрасил лет десять с небольшим ее сорокалетнего пути в искусстве. На выставке были представлены фотографии "лучших рекламных работ Йоко" — ее и Джона антивоенные постеры 1969 года ("Война окончится, если ты захочешь"). В аннотации к работе "Вбей гвоздь" приводится отзыв Леннона о том заряде электричества, который исходил от картины в "Индике". Видеомониторы крутят "Улыбку", их совместный фильм 1968 года: лицо Джона озаряется радостью через 52 минуты; приводятся фрагменты "Лежачих забастовок за мир": супруги в девственно-белом приветствуют журналистов и непринужденно переговариваются...

Знакомство с выставкой и книгой "Да, Йоко Оно" делает явную несправедливость смерти Леннона вдвойне невыносимой. Историю, как известно, пишут оставшиеся в живых, и в случае Джона и Йоко у здравствующего больше возможностей убедить нас в том, что главное значение покойного в том, что он был помощником, спутником и музой выжившего.

Вопреки всему этому Йоко вызывает определенное сочувствие и уважение — восхищает ее упорство и неослабная решимость оставаться художником авангарда, ее многолетняя борьба за право быть творцом. С ходом времени заметнее становится и урон, видимо, нанесенный ею творчеству Леннона (вспомним удручающий эпизод из "Я хочу правды", безжалостные свидетельства "Double Fantasy"), и ее вклад ("Imagine", "Plastic Ono Band"). В конечном счете то, что говорилось о ней широкой публикой, представляется сегодня, как это ни огорчительно, справедливым.

Почти с момента знакомства Джон и Йоко в один голос твердили, что злобная реакция на Йоко многих критиков и поклонников — результат культурной аллергии на ее пол и расу. Джон говорил прямо: "Она женщина, японка, против нее и расовые предрассудки, и женоненавистничест-

во. Все очень просто". Йоко высказывалась в том же ключе, одновременно ясно давая понять, кто есть кто в их союзе в социальном плане: "Мир смотрел на меня как на оппортунистку-азиатку. Всем казалось, что в этом браке он проигравшая сторона, хотя сам он себя видел босяком, мальчишкой из Ливерпуля, а я для него была принцесса, нью-йоркская штучка".

В сущности, такое видение ситуации не было параноидальной фантазией двух шестидесятников. Журнал "Эсквайр" в декабре 1970 года печатает фельетон с шокирующим заголовком "Дикарка фанатка Джона Реннона", Йоко вспоминает конкретные случаи расистских выступлений в прессе: "Нью-йоркская газета в 1974-м ввернула в репортаже примерно такую фразочку: 'Раскосая, трясет грудью – думает, что сексуальна...' А не так давно одна газета в Лондоне помянула 'певунью Йоко Оно с глазами как сливы'. Все время про разрез глаз – то так, то эдак". Недавно, когда на званом обеде я обмолвилась, что пишу о Йоко Оно, экс-участник известной рок-команды восьмидесятых поведал присутствующим историю о том, как "*они*" чуть было не распались из-за интриг японской подружки одного из музыкантов. Стоит заговорить об Оно с художниками, рано или поздно кто-нибудь да сравнит ее с Яои Кусамой[1], с которой у Йоко, по большому счету, нет ничего общего, разве что обе – амбициозные японки. От психлечебницы под Токио, где обитает Кусама, долгий путь до "Дакоты".

То, что для творчества и для публичного образа Йоко Оно характерны по-детски наивные притязания, что в ее самоподаче и многих интервью прочитывается подспудное "Смотрите на меня, на меня – не на него, а на меня", вне сомнения симптоматично. Не знавшая отказа ни в чем, привилегированная наследница коммерческой аристократии, пожалуй, так и должна была держаться. Но это понятная и не такая уж безрассудная реакция на реальное положение дел, на опасность остаться незамеченной, на препоны, чинимые нашей культурой художникам и тем более художницам азиатского происхождения, равно как и на то, что журналистам, как она говорит, было бы спокойнее и проще иметь дело с *миссис Леннон*. Оттого-то не идут из головы ее вопли и визги, и назойливое нытье "Мухи", и постоянная театральщина, что мы сознаем (пусть нехотя, смутно): наша культура отводит Йоко Оно такое место, откуда ей нужно кричать вдвое громче других, просто чтобы ее услышали.

Неслучайно семидесятые – десятилетие, когда супруги Ленноны рискнули перераспределить роли художника и музы и сообща реализовать свой проект, а под конец оступились, поддавшись чувству состязательности и собственничества, – стали временем, когда эти чувства преобладали в самой культуре, а наше внимание стремительно смещалось от внешнего к внутреннему, от лежачей забастовки за мир к обычному крику. В эру, которая, как чашка Петри, культивировала нарциссизм всех мастей, боги сотворили очередную музу по нашему же подобию. Вновь общество избрало и взрастило живую аватару божественного начала, чтобы проецировать на нее свои сокровенные мечты и страхи, свои самые темные инстинкты и самые абстрактные представления о мужчине и женщине, эрос, творчество, мифологию и энергию, свою неутолимую потребность поверять искусством многоликость тревожно-сумасбродной любви.

1. Яои Кусама (р. 1929) – японская художница.

Глеб Шульпяков
Живот архитектора

1

История Византийской империи закончилась в 1453 году с падением Константинополя. Сто лет спустя на семи холмах выросли мечети, ставшие классикой исламского зодчества эпохи расцвета Оттоманской Порты.

Взлет архитектуры был "вертикальным" во всех смыслах слова. И своя логика тут, конечно, имелась. К моменту падения Константинополя Византийская империя существовала в основном "на бумаге". В реальности это был десяток мелких городов на побережье, острова в Мраморном море и — столица. Вот и все, что досталось последнему императору Второго Рима, которого по иронии судьбы звали Константином.

К середине XV века османы владели территориями, прилегающими к Константинополю. Сам город оставался досадной помехой, бельмом на карте, от которого следовало поскорее избавиться. Тем паче что Пророку приписывали высказывание о том, что "славен будет в глазах Аллаха воин, утвердивший ислам в этом городе".

Султан Мехмед был амбициозным юношей. И хорошо знал слова Пророка. В отрочестве ему не слишком везло с военными проектами. Теперь, двадцати одного года от роду, он стал хозяином Османской империи. Империи явно не хватало достойной столицы. Мехмед решил реализовать мечту своего безрадостного отрочества.

Проект назывался "Константинополь".

2

К моменту падения города принципы архитектурного строительства в Османской империи в общих чертах уже сложились. Однако черты эти носили разрозненный, что ли, характер. В древней столице османов — городе Бурса — около 1400 года было закончено строительство знаменитой мечети Улу-джами, покрывавшей молитвенное пространство двадцатью куполами. Эта мечеть подвела итог истории многокупольных мечетей сельджукского типа. Довела этот тип до эстетической кульминации.

Накануне взятия Константинополя столица османов находилась в городе Эдирне, бывшем Адрианополе. Там в середине XV века появилась мечеть Трех балконов, где акцент — на главном из пяти, центральном куполе. Принято считать, что именно эта мечеть стала первым шагом к "освоению" пространства центрального купола. А стало быть, и предтечей шедевров XVI века.

Наконец, в самом Константинополе находилось архитектурное чудо света той эпохи — собор Святой Софии. Собственно, если мы говорим о символическом значении взятия Константинополя, мы имеем в виду еще и эстетический момент. Момент присвоения, а затем и освоения османами главного архитектурного объекта христианского Средневековья.

Таким образом, у нас есть по меньшей мере три составляющие "архитектурного взлета" Османской империи.

Это, во-первых, традиция старого османского зодчества, уходящего корнями в Иран. Это, во-вторых, выгодное в культурном и географическом отношении местоположение Константинополя. И, в-третьих, это большие казенные деньги, без которых невозможно большое строительство.

Что оставалось? Нужен был человек, способный свести все три пункта в единое целое.

Этим человеком стал Синан — придворный архитектор Сулеймана Великолепного, казна которого никогда не пустовала.

3

Точная дата его рождения неизвестна. Дата смерти также оспаривается исследователями. В разговоре о го-

© Г. Шульпяков, 2004

дах его жизни принято считать, что Синан родился около 1498 года, а умер в девяностых годах XVI столетия. И что прожил он около ста лет.

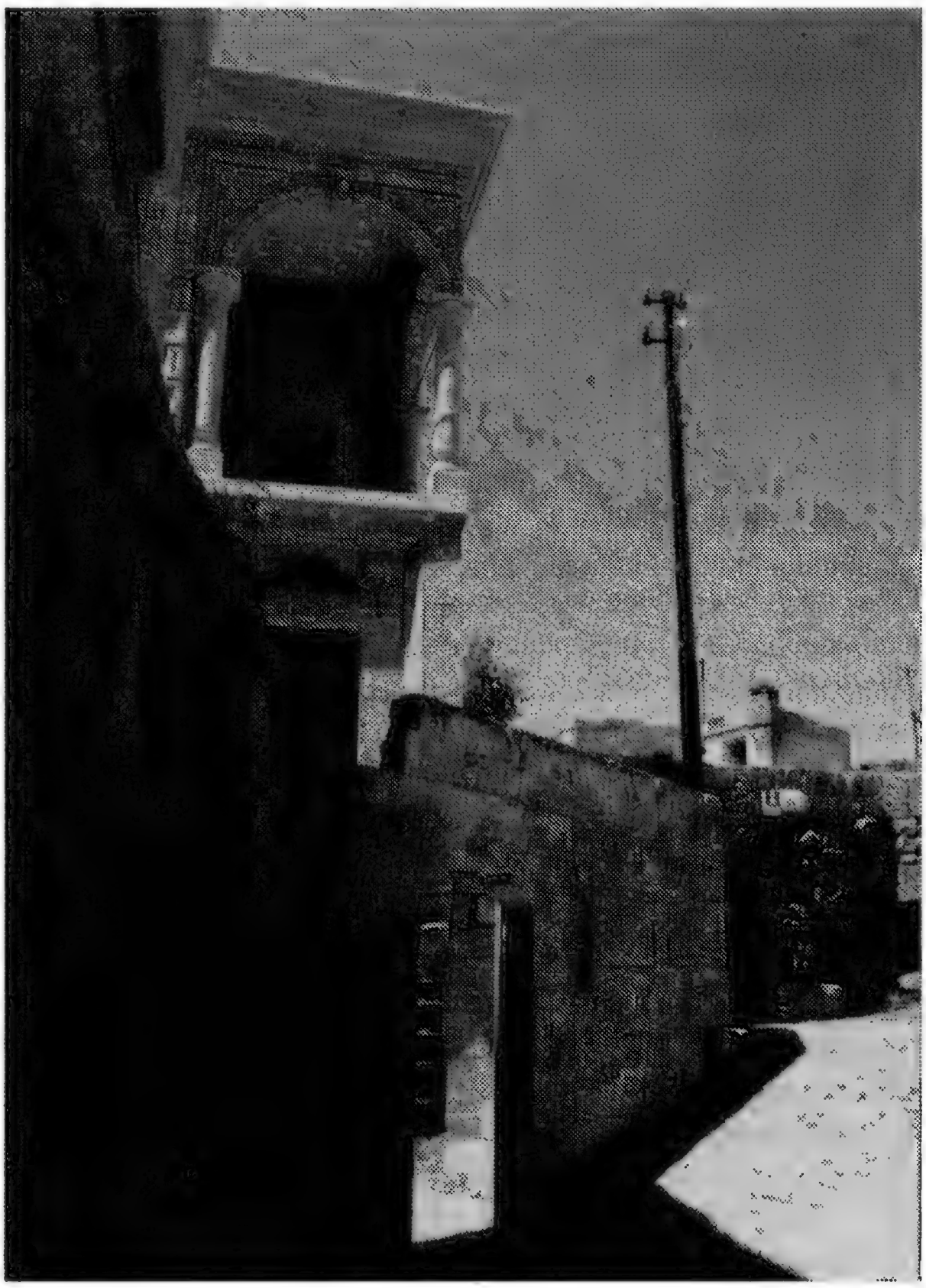
История его жизни – хотя и мало известная в подробностях – есть самая потрясающая иллюстрация судьбы художника в золотую эпоху империи. Именно судьбы, а не жизни, поскольку, повторяю, детали до нас не дошли.

Нам известно, что Синан родился в деревне Агирнас, жители которой были христианами. Это крошечный поселок в двадцати километрах от города Кайсери на Анатолийском плато. Мы знаем, что мальчика крестили Юсуфом, то есть Иосифом, в честь отца, который был, таким образом, плотник. В конце XV века в деревне жили греки, армяне и турки, так что сегодня каждый из них считает Синана "великим сыном греческого/армянского/турецкого народа".

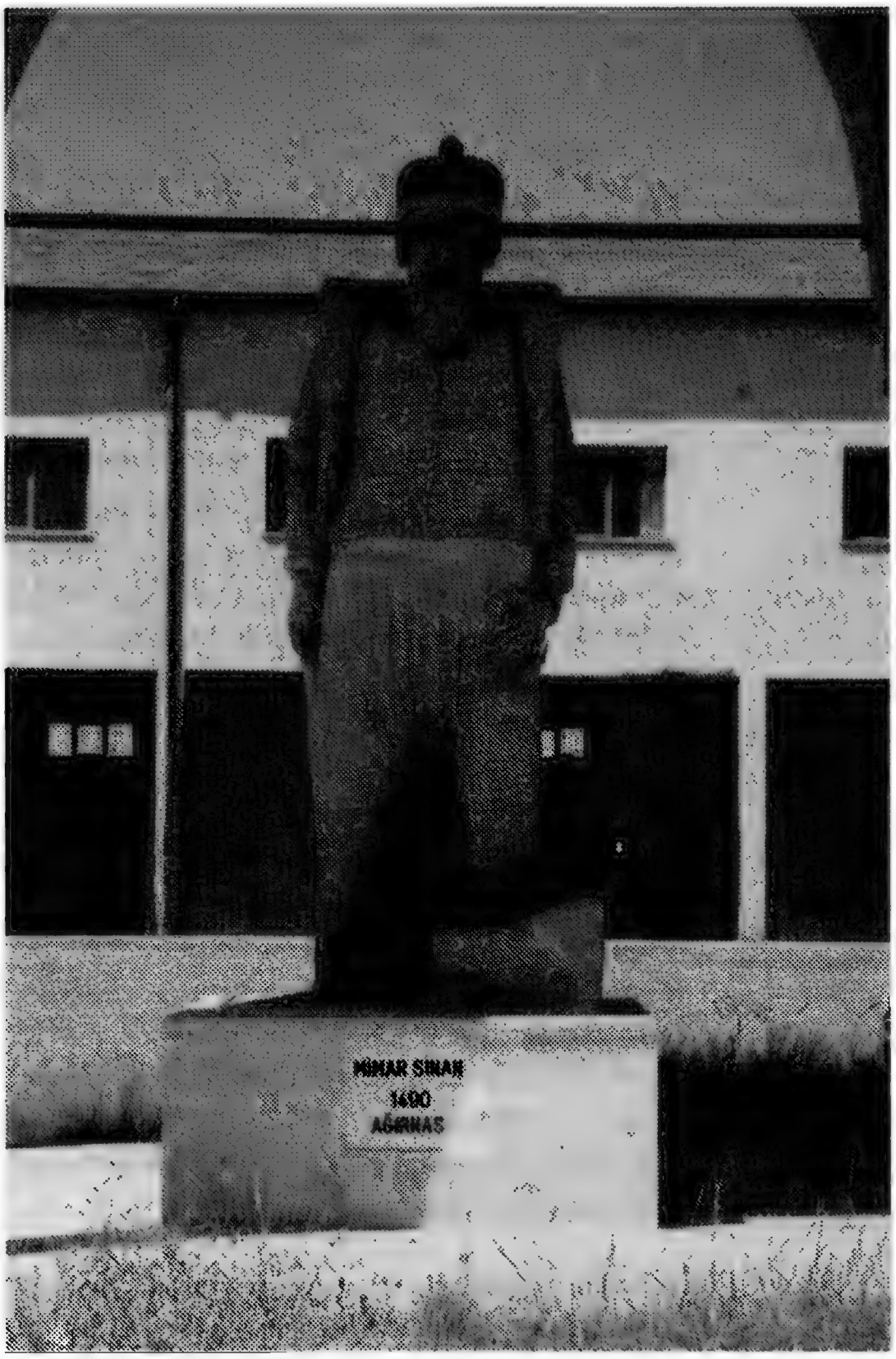
Так оно, в сущности, и есть.

Многочисленные памятники Синану, усердно расставленные по Стамбулу, показывают старца в духе Моисея Микеланджело. Это Синан официальный – породистый и благородный, с чертами лица, что называется, "и нашим и вашим". Однако в деревне, где он родился, стоит другой монумент. О нем мало кто знает, поскольку редкая птица залетает в эту тьмутаракань. Там под отвесными лучами солнца – над катакомбами первых христиан – оторопело застыл коротконогий старик в халате. Халат расстегнут на животе, у старика крупная голова и плоское лицо, черты которого имеют четкое монголоидное выражение.

Можно ли верить этому изображению? Говорят, его реконструировали по костным останкам зодчего, – и нам вольно представить его именно таким. Постаревшим и отупевшим от работы по производству архитектурных шедевров. Уставшим от бесконечных капризов заказчика и придворных склок. От того, что очертания великого города навсегда изъедены великими силуэтами его мечетей. И что перед величием Аллаха они ничего не значат.



Улочка в деревне Агирнас, где родился Синан. Слева музей архитектора. Здание построено в наше время. Фото автора



Памятник Синану на главной площади в деревне Агирнас. Фото автора

4

В исламе частная жизнь неприкосновенна. Это тайна за семью печатями, и никому не придет в голову узнавать ее подробности. Во время разгрома мятежных янычар в 1826 году в Стамбуле погибли все архивы, так что теперь нам недоступен и послужной список Синана.

Все, что мы знаем, находится перед нашими глазами.

И вот мы смотрим — и видим: в архитектуре он, в сущности, не сделал никакой революции. Всю жизнь он работал с общеизвестными формами — парусами, контрфорсами, куполами, аркадами, сферами и полусферами. Секрет его величия был прост и неповторим. Он сумел расположить их в пространстве так, что взгляд не уставал ни на минуту.

Собственно, зрение и пространство — это единственное, что роднит нас с той эпохой. И тогда, и сейчас смотреть на эти здания можно часами.

Поскольку, глядя на эти мечети, мы видим не материю, а пространство.

5

Он оказался в Стамбуле после того, как попал в рекруты. Был такой закон, обязывающий христианские общины на территории империи сдавать лучших юношей в рабство султану.

Говорят, когда янычары пришли в село, он прибавил себе год или два, чтобы попасть в списки. Наверняка семья его отца была многодетной. Скорее всего, жили они небогато. И рабство в Стамбуле было куда перспективней столярного дела в деревне.

Тем паче что лесов в тех краях — раз-два и обчелся.

За этот поворот судьбы он заплатил тремя вещами, не считая свободы. Религией предков (по прибытии в Стамбул все рекруты принимали ислам), собственным именем (из Юсуфа он стал Синаном, что означает "идущий первым") и — крайней плотью.

Что чувствовал он тогда, в первые дни в стамбульских казармах, среди таких же, как и он, обритых наголо парней? Сейчас, пятьсот лет спустя, глупо делать предположения,

и мы никогда не узнаем меру его искренности в новой вере.

Но. Приняв ислам, он понял ислам и нашел в архитектуре потрясающую форму, чтобы выразить это понимание. Глядя на его мечети, сомневаться в этом нет никакой возможности. В сущности, своей работой он доказал главный постулат всякого искусства. Что величие сути, какой бы она ни была, поверяется величием формы, которая его выражает.

С этой точки зрения Синан был стопроцентным художником.

6

Несколько лет Синан провел в военном училище Стамбула, еще несколько лет — в Анатолии, куда кадетов сдавали в аренду богатым купцам, чтобы покрыть расходы на их обучение. Первыми его военными кампаниями были осада Родоса и штурм Белграда. В обоих случаях он отвечал за саперные работы, осадную технику и коммуникации.

Некоторые мосты, которые он выстроил в Восточной Европе, стоят до сих пор.

Наконец, его как "отличника службы" посвятили из кадетов в янычары. Это была элитная гвардия султана, которую формировали из рекрутированных юношей, чаще всего христиан. Занимая привилегированное положение в империи, янычары оставались рабами. Они часто влияли на политику султана, но в любой момент могли лишиться головы. Именно этот двойственный статус и обеспечивал эффективность гвардии.

Церемония посвящения проходила на бывшем византийском ипподроме в июне 1523 года. Скорее всего, на ней был султан Сулейман. Скорее всего, играла военная музыка — ухали огромные барабаны из слоновьей и бычьей кожи, стонали цимбалы, звенели железные треугольники.

На голову новоиспеченным янычарам водружали шапку с длинным белым отрезом войлока, который спадал на спину — в память о том, как дервиш Бекташи несколько веков назад благословил первый призыв "новой гвардии" рукавом своей робы.

Из прочих расхожих легенд вспомним ложку, которая тоже теперь на боку у Синана. Говорят, в алтайские времена у древних тюрков самых преданных рабов отправляли на кухню.

Отсюда и ложка.

7

Идеализм ислама — это мир, понятый через пространство, в узорных дебрях которого человека ведет умная воля.

В благоговейном лицезрении и постижении этого пространства — вся исламская статика.

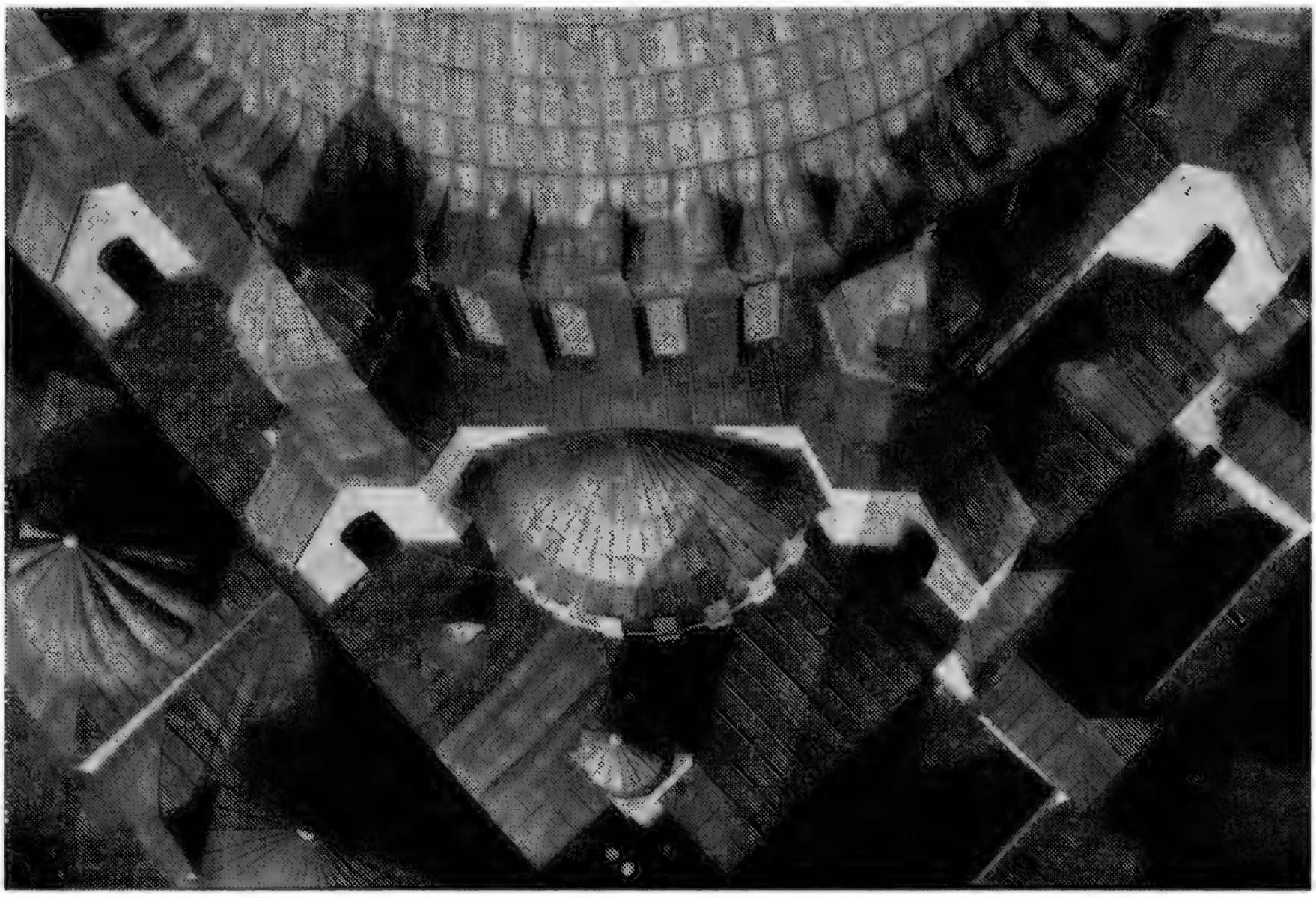
Наоборот бытовая реальность ислама заключается в регулярных свершениях: молитвы, посты, паломничества и подаяния. В этой элементарной, но постоянной практике — прикладная суть ислама, его кинетика. Заповеди ислама, перенесенные в пространство, образуют геометрическую фигуру. Это четырехугольник с акцентированным центром, который означает пятую, и самую важную, заповедь: безоговорочное признание, что "нет бога кроме Аллаха, и Пророк его Мухаммед".

Вариации на тему этой фигуры лежат в основе геометрического орнамента, которым обильно покрывают убранство и утварь мечети.

Синан сделал в архитектуре примерно то же самое. "Остановил" в камне заповеди исламской практики. Выразил идеализм ислама с помощью элементарных архитектурных объемов.

Глядя на его мечети, я вижу, как они "работают", то есть чувствую, как по дугам из камня циркулирует энергия силы тяжести. И как, управляя ее потоками, Синан превращает физику в эстетику. Внешне его мечети фундаментальны и непреложны, как пять заповедей ислама. Просто с них, словно с часов, снята крышка, и видно, как шестеренки беззвучно цепляют друг друга.

Другое дело — изнанка. Один из основных принципов исламской архитектуры — это контраст внешнего и внутреннего. Исламские сооружения интровертны, они прячутся в себя, открываясь только "своим". Глядя на великую мечеть Сулеймание, вспоминаешь хозблоки — та же откровенная функция, но попадая под своды, теряешь дар речи, — открывается космос.



Мечеть Селимие, вид с минарета. Круг, квадрат: апофеоз геометрии. Фото автора

Говоря "космос", я имею в виду "пространство". Это потом, потом в декоративной Голубой мечети купол превращается в свод планетария. Вставая под купол работы Синана, ты попадаешь словно под душ: разумное пространство струится сквозь тебя с высоты. Собственно, в этом проницании, в этом рентгене и заключается отличие от христианских небес, что навсегда удалены от человека. "Материальная часть" исламского космоса хранится в Каабе — это черный камень, сброшенный Аллахом на землю в знак своего присутствия. Идеальное воплощение — под сводами Синана, который взял элементарные геометрические формы и организовал пустоту, наполнил ее смыслом, сделал "пространством" и направил на человека.

8

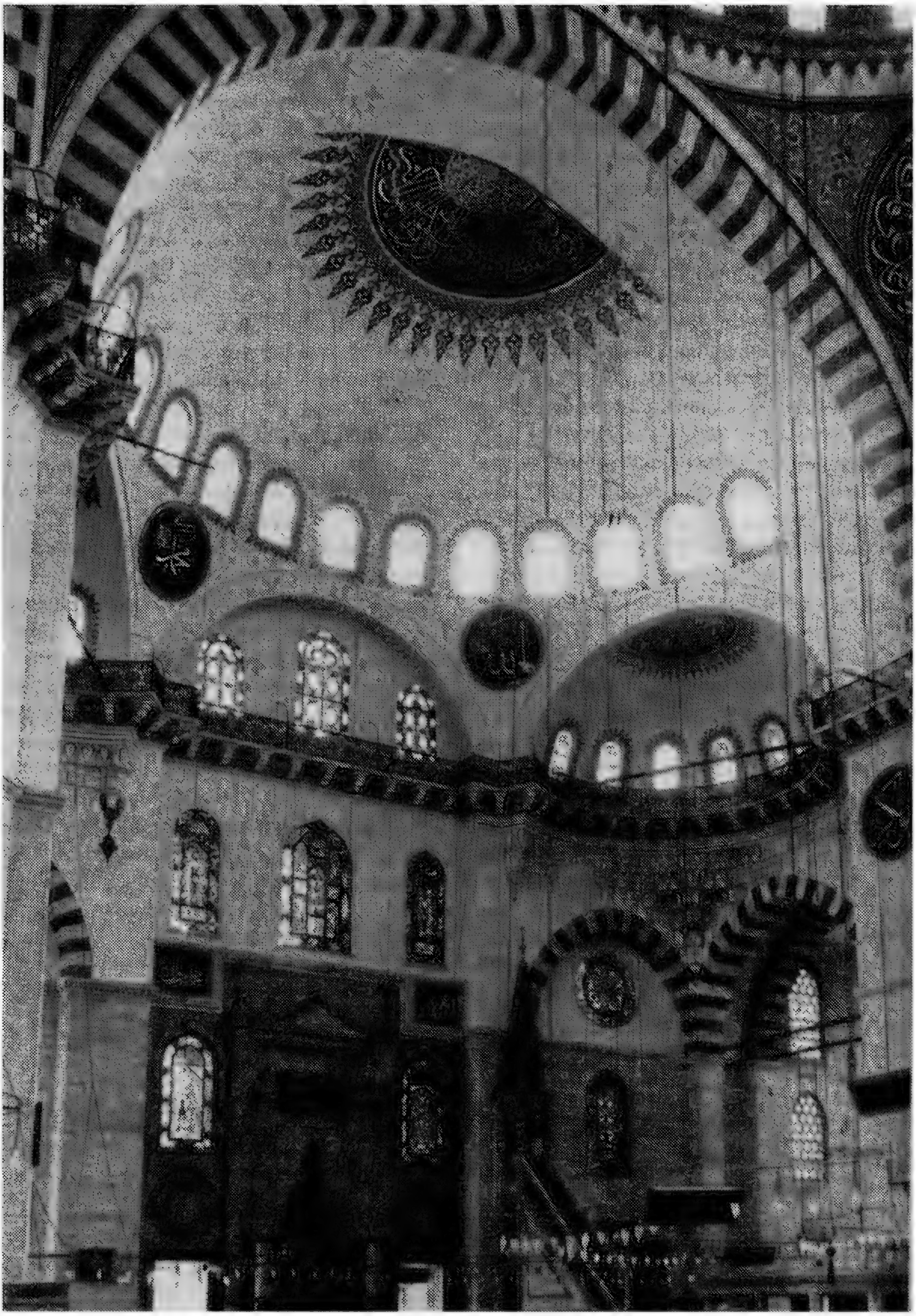
После похода на Багдад 1535 года, когда Синан построил суда и молниеносно переправил артиллерию через озеро Ван, случилось самое загадочное происшествие в судьбе нашего героя. Сорока семи лет от роду он был назначен придворным архитектором и занял одно из самых статусных мест в империи.

Подробности этого назначения мы никогда не узнаем. Вероятно, у Синана были "свои люди" при дворе. Возможно, сам везир Ибрагим, когда-то грек-христианин и раб, а теперь великолепный временщик, хлопотал за Синана в нужный момент — когда прежний архитектор султана по старости "вышел из строя".

Возможно, кто-то другой.

Карьерные перепады вообще вещь довольно незамысловатая. Особенно в Османской Порте, которая странным образом унаследовала от Византийской империи неустойчивость общественных связей, так что карьера часто зависела от стечения бытовых обстоятельств и от вовремя замолвленного слова. Не исключено, что сам султан вдруг вспомнил янычара, который наводил мосты и строил переправы. Возможно, они были знакомы еще по Кафе — Феодосии, — где Сулейман провел юность и где была мечеть, которую долго приписывали Синану. Так или иначе в 1536 году Синан как придворный архитектор получает первый заказ. Заказ поступает от любимой жены Сулеймана, "русской рыжей ведьмы" Роксаны, и в Аксарае рядом с рынком невольниц начинается строительство благотворительного комплекса.

Благотворительный комплекс — это город в городе: мечеть, вокруг которой расположены школа, баня,



Стена киблы в мечети Сулеймание. Посередине михраб, ниша, указывающая направление на Мекку, справа минбар или кафедра имама, сверху южный полукупол

больница и кухня. "Стандартный набор"; таких в профессиональной карьере Синана будет еще очень много.

9

Существуют как минимум два типа классификации творчества Синана. Хронологический и структурный.

Первый хорош для больших монографий, второй — для художественных альбомов. В первом случае речь обычно идет о "жизни и творчестве" в рамках истории золотого века империи. Второй вариант предлагает "архитектурные типы": мечети с центральным куполом, у которых в плане квадрат, шестиугольник или

восьмигранник, или многокупольные мечети сельджукского типа.

Что касается жизни Синана, то с момента его назначения она становится вполне предсказуемой. Это крупные заказы от вельмож и султана, то есть много работы в столице и провинциях. Это, разумеется, немалые заработки. И это свой дом, где Синана ждет вторая жена, ибо "лучше разделить, чем потерять", как рассуждают восточные жены, когда их мужьям нужна юная плоть.

На своем посту Синан пережил двух султанов и умер, как было сказано, в возрасте около ста лет. Все это время он не переставал заниматься рутиной. Проектировал канализацию Стамбула, строил мосты, бани, беседки и павильоны, загородные дачи и городские фонтаны, водопровод и кухни и даже печные трубы на этих самых кухнях.

Большинство из этих бытовых построек, увы, не сохранилось.

Поэтому, говоря о зодчестве Синана, мы будем рассматривать три основных направления. Это, во-первых, огромные пятничные мечети, выстроенные по заказу султанов. Это, во-вторых, небольшие мечети, которые были заказаны Синану министрами и военачальниками, а также ближайшими родственниками султана. И, в-третьих, это светские сооружения: дворцы, хамамы (бани), караван-сараи и мосты.

10

Мечеть Шахзаде Мехмеда Синан называл работой ученика, Сулеймание — подмастерья и только Селимие в Эдирне признавал шедевром мастера.

Так гласит знаменитая легенда, без которой не обходится ни один путеводитель.

С этих мечетей и начнем.

Первый крупный заказ от султана поступил Синану в 1543 году, и пять лет спустя в Стамбуле рядом с акведуком появилась мечеть Шахзаде Мехмеда.

"Шахзаде" означает "принц". Мехмед был старшим и любимым сыном Сулеймана, но принц умер от оспы двадцати одного года от роду, после чего безутешный султан и приказал воздвигнуть мечеть памяти сына.

В ограде принца и похоронили.

Купол мечети имеет 19 метров в диаметре. Высота от пола до макушки 37 метров — по тем временам уже не шутки. Четыре примыкающих полукупола образуют в плане симметричную форму креста.

План этот лапидарный, тесный; с таким не поиграешь. Однако план этот проверенный. Мечети Фатиха (1471) и Баязида (1506), выстроенные в городе до Синана, имели в основе ту же схему.

Собственно, с этой схемой и работал зодчий — как будто закрывая для себя тему симметрии.

Мечеть Шахзаде Мехмеда. Как будто янычар застыл на параде

От Синана в этом сооружении – ритм: полукупола и главки, венчающие контрфорсы, пропорционально относятся к куполу так, что зрителю кажется, будто мечеть "ниспадает" на землю по линиям равнобедренного треугольника. От Синана здесь также боковые галереи по фасадам: европейское приобретение, новый элемент декора, прикрывающий между делом тяжелые контрфорсы. От Синана в этой мечети – любопытное решение апсиды, которую он подсмотрел у Софии. В остальном мечеть замкнута на себе, зарифмована собой, как если бы Синан строго следовал заветам Альберти и сохранял баланс во всем.

Главный вход коронован витиеватой резьбой. Минареты основательны и тоже обильно декорированы каменными вставками. Вся эта бижутерия совершенно несвойственна Синану, который предпочитал "раздевать", а не "наряжать". Однако декоративность в данном случае тоже функциональна. Это попытка восполнить потерю. Это венок от живущих юноше, который умер во цвете (читай, узоре) лет.

Внутри мечети много свободного пространства. Четыре опорных столба не слишком массивны, хотя и стоят особняком, не сливаясь со стенами. На столбах – каннелюры, впоследствии совершенно чуждый Синану элемент. Боковые галереи отсутствуют, поэтому основное "ощущение" мечети – это открытость, незащищенность. Ранимость, если угодно. На этом контрапункте – военной "выправке", "упакованности" фасадов и внутренней прозрачности интерьера – и строится образ Шахзаде Мехмед-джами.

"Джами" с турецкого означает "мечеть".

11

Султан Сулейман любил повторять, что хочет от жизни трех вещей: разрушить Вену, провести в Стамбул водопровод и построить мечеть, равной которой не было бы в мире.

Два из трех обещаний он выполнил.

Комплекс великой мечети Сулеймание, начатый в 1550 году и законченный семь лет спустя, чрезвычайно раскидист и сложен в плане. Это город в городе, гигантский каменный скрэббл, по которому можно блуждать целый день: несколько медресе, больница, приют, кухня, столовая, караван-сарай для гостей, туалеты, фонтаны, поле для игры и отдыха и торговые ряды ремесленников, среди которых особое место выделено кузнецам, поскольку султан Сулейман был по профессии кузнечных дел мастером.

Одной из основных проблем, связанных с большим строительством в Стамбуле, была проблема земли, на которой возводились мечети. По закону Османской империи земля находилась в собственности свободных мусульман и никто, включая султана, не имел права выкупить (не говоря уж отнять) ее без добровольного согласия владельца.

Владельцы редко расставались с хорошей землей, на продажу если что и шло, так это невыгодные участки. Именно поэтому все небольшие мечети Синана, выстроенные по заказу министров, расположены в таких вот "неудачных", "второсортных" местах: на склонах холмов, как мечеть Соколлу Мехмед-паши, или на выселках у стен Феодосия, как мечеть Михримах.

Султанам в этой ситуации было не легче. Купцы султана Селима, сына Сулеймана Великолепного, еле выторговали у богатой мусульманки участок, на котором впоследствии Синан построил для султана великую Селимие. На холме, где предполагали возвести мечеть, старая дама выращивала тюльпаны и никак не желала продавать землю.

Тюльпаны – и все тут.

Со строительством Сулеймание вышло проще. Площадку под фундамент расчищали на месте старого дворцового комплекса, где земля всегда принадлежала султанам. Гарем – единственное, что еще функционировало на этом месте. Говорили, что гарем нарочно сожгла русская ведьма Роксана, чтобы перебраться поближе к султану – в новый дворец Топкапы на берегу Босфора. Гарем находился на склонах Золотого Рога, там остались фрагменты садов, и там же Синан откупил себе кусок земли для собственной могилы.

Забегая вперед, скажем, что могила его сохранилась.

Между Сулеймание и Святой Софией одна миля по городу и тысяча лет во времени. Но все же это вещи одной породы. Обе созданы в эпоху расцвета империй и призваны декларировать мощь и славу государства, величие императора.

Взявшись за мечеть, Синан конечно же держал в уме Софию. Его Сулеймание построена с намеренной оглядкой. Даже план — два полукупола на одной оси, четыре несущих столба, круг в квадрате — демонстративно прежний. Но посмотрите, как идея ислама преображает и превосходит греческие формы! Купол Софии подсвечен невидимыми окнами. Он отделен от храма и плывет над головами, как летающая тарелка. Купол Синана меньше в диаметре (26 метров против 34) и ниже (53 метра против 56) — но человек, входя в мечеть, попадает под его невидимый "колпак". Человек охвачен потоком пространства, которое стремится вниз по раскидистым парусам.

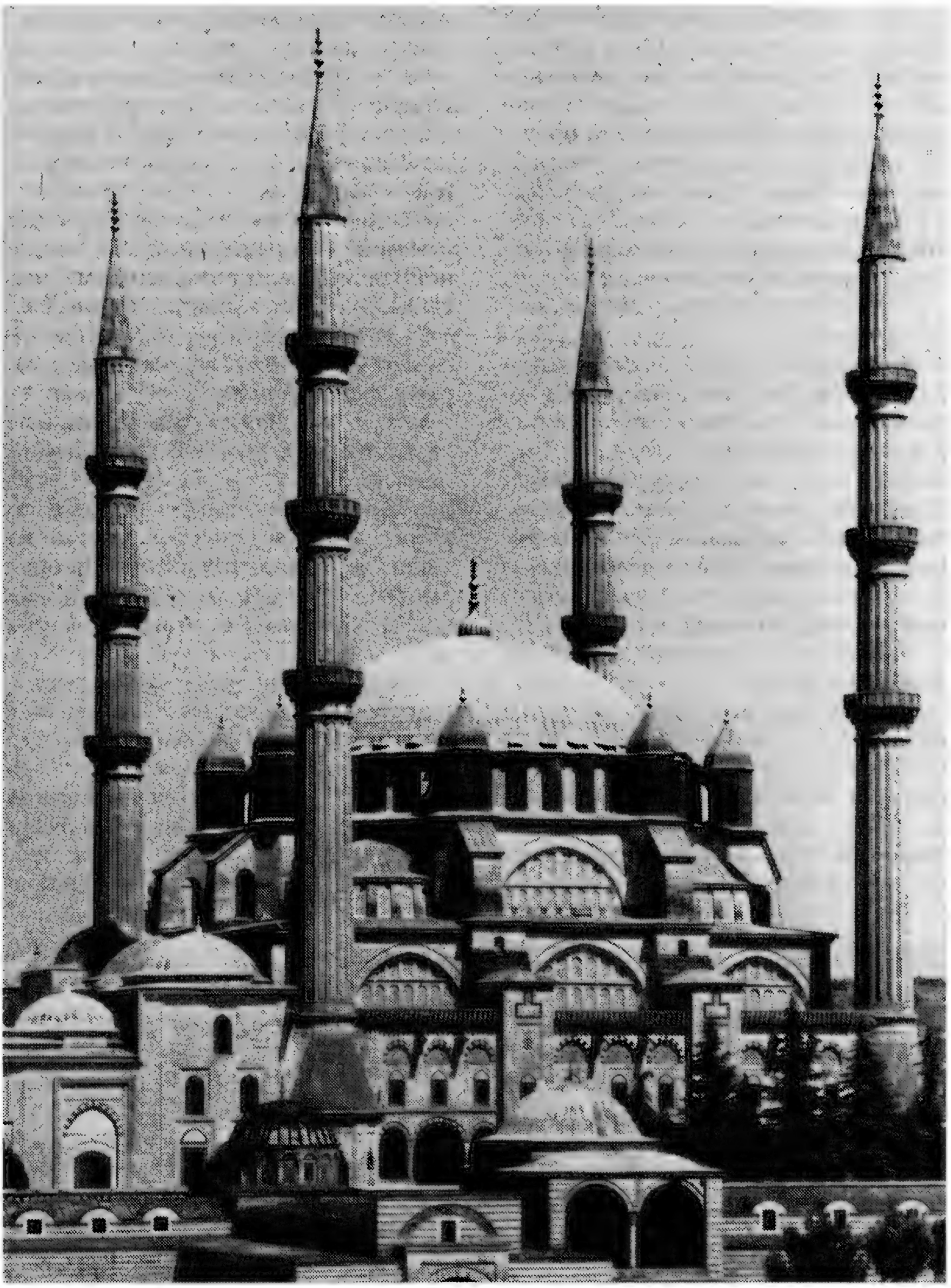
София — это мистерия: галереи, приделы, закутки. Попадая под своды этого храма, человек все так же одинок и тайна его запечатана. Наоборот, Сулеймание — пространство открытости. Божественный свет не подсвечивает, а проницает человека. В Софии чувствуется античность. Человек, созерцая, "постигает эйдосы" во времени. Мечеть Синана "дается" человеку сразу (так Аллах вручает всю жизнь человеку в момент его зачатия). Это эффект одновременности восприятия всего пространства.

Синан говорил, что Сулеймание — это добротная работа, выполненная подмастерьем. Потому что здесь он свое мастерство именно "выдает". Смотрите, говорит он, механика и форма в архитектуре неразрывны, физика подсказывает эстетику, а эстетика не спорит с физикой. Все очень просто: внутреннее есть внешнее и наоборот. Я не сделал ничего особенного. Я просто поместил окружность купола в куб стен и воздвиг таким образом невидимый конус пространства внутри мечети.

Мечеть имеет четыре минарета — Сулейман был четвертым правителем Стамбула, — а балконы в общей сумме дают цифру 10, что означает "десятый сын Османа". Во время открытия зажгли десятки тысяч свечей. При таком освещении даже ночью видна была каллиграфическая надпись на куполе. Она гласила:

"Аллах — свет небес и земли. Его свет — точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло — точно

Великая Сулеймание, парадный портрет высшей власти на земле



Шедевр мировой архитектуры, мечеть Селимие в городе Эдирне. Синан построил ее, когда ему было восемьдесят с лишним лет

жемчужная звезда. Зажигается он от древа благословенного — маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово воспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь.

Свет на свете! Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает!"

12

Если Сулеймание — это портрет власти в лице человека, со всеми регалиями и орденами, то Селимие, наоборот, портрет частного человека, по необходимости облеченного властью.

В этом вся разница.

Сын Сулеймана Селим любил женщин, стихи и музыку, имел прозвище Пьяница и мало интересовался судьбой империи. Собственно, с эпохи его правления принято отсчитывать начало заката Оттоманской Порты. Он родился принцем, но слишком долго ждал престола, что-

бы, дождавшись, отказаться от своих привычек и прихотей. Он и умер не по-императорски: поскользнувшись спьяну в бане, разбил голову о мраморный пол. Эта смерть мало опечалила народ, привыкший к твердой руке Сулеймана. Только поэты, женщины да виноделы Кипра печалились по этому поводу, поскольку остались без высокого покровителя.

Остальная империя вздохнула с облегчением.

Свою мечеть он заказал Синану в Эдирне, городе императора Адриана, который также покровительствовал искусствам. Так что жест был вполне симптоматичным. Закончив строительство в 1575 году, Синан назвал мечеть работой мастера. Действительно, перед нами произведение человека, который слишком хорошо знает приемы своего ремесла.

И по мере возможности ограничивает себя в них.

Купол Селимие лежит на "обнаженном" восьмиграннике с двумя ярусами арок в простенках. Восьмигранник увеличивает число опор, но позволяет сделать их не такими массивными, отодвинуть к стене и расчистить центральное пространство мечети. Посередине Селим приказал сделать фонтан, крытый резной крышей, – большая редкость в мечетях! Предполагалось, что вокруг фонтана будут собираться поэты – и сам Селим, конечно, – и под тихое журчание воды читать друг другу свои мистические стихи. Как там было на самом деле, неизвестно, а вот на одной из колонн еще можно различить высеченный по мрамору цветок.

Это тюльпан. Говорят, его просила изобразить та самая сварливая баба, у которой выкупили под мечеть землю. Это, говорят, было одним из ее условий – увековечить любимый цветок.

Синан согласился, и резчики по камню нанесли рисунок цветка на дальнюю левую колонну. Правда, тюльпан тут изображен бутоном вниз.

Чтобы хоть как-то насолить старухе.

Крошечные – по сравнению с центральным куполом – полукупола почти незаметны снаружи. Они чередуются с простенками, как будто Синан взял макет, через одну поснимал эти самые главки и понял: так будем строить. Зато по фасаду демонстративно выделены восемь контрфор-

Тот самый фонтан в мечети Селимие, вокруг которого собирались поэты, а султан слушал их стихи

сов. Они задают вращательный ритм всему сооружению. Четыре минарета, установленные по углам мечети, сдерживают этот суфийский, в сущности, танец. Минареты почти вдвое выше — "старше" — купола, и купол, величественный и одинокий, как будто находится под их высоким покровительством. Внутри минаретов свиваются не пересекаясь три винтовые лестницы, ведущие на балконы. С балконов открывается вид на голубые поля предместий Эдирне, по которым уходит теперь уже совсем близкий путь в Европу.

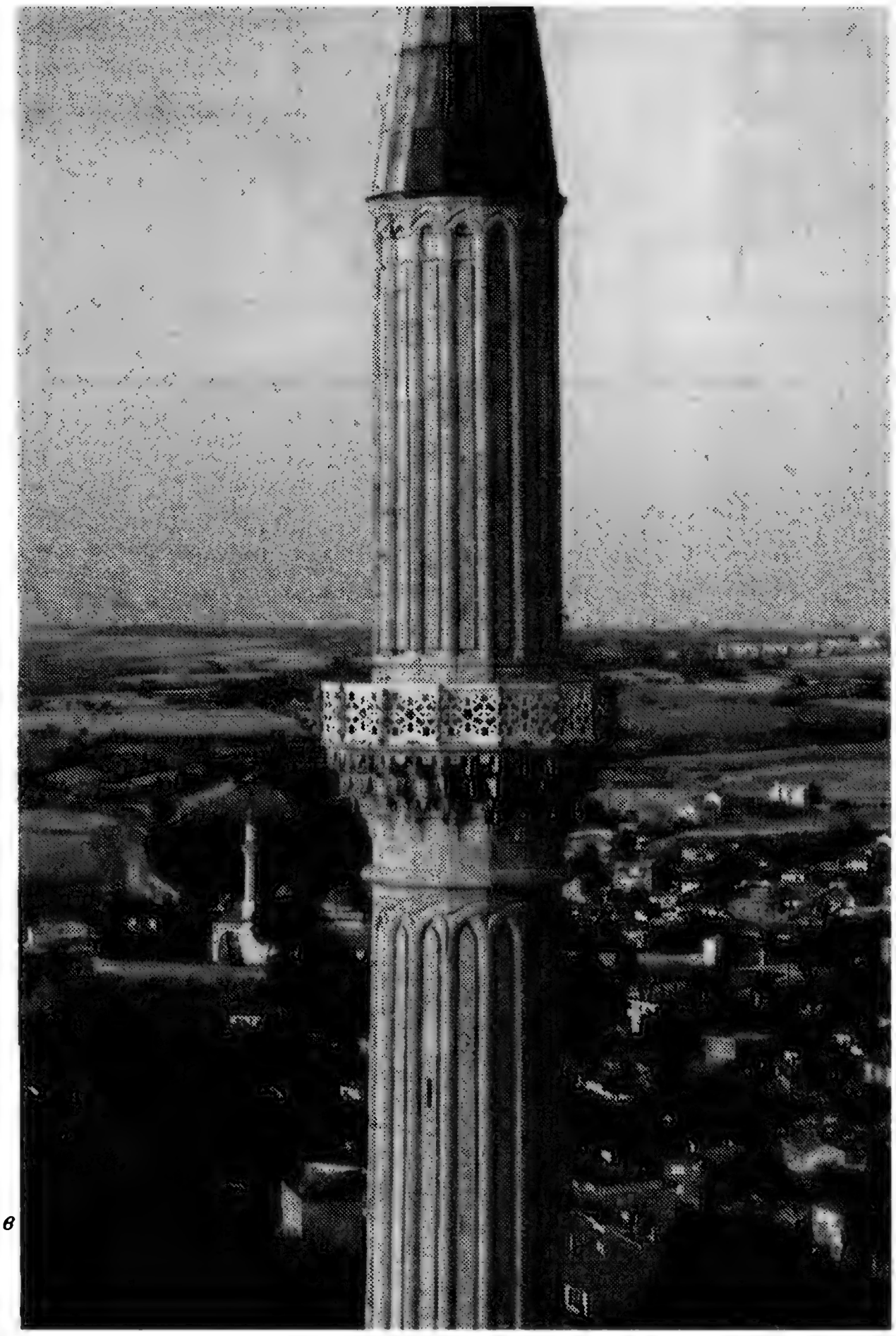
Туда, где частность человека возведена в принцип.

13

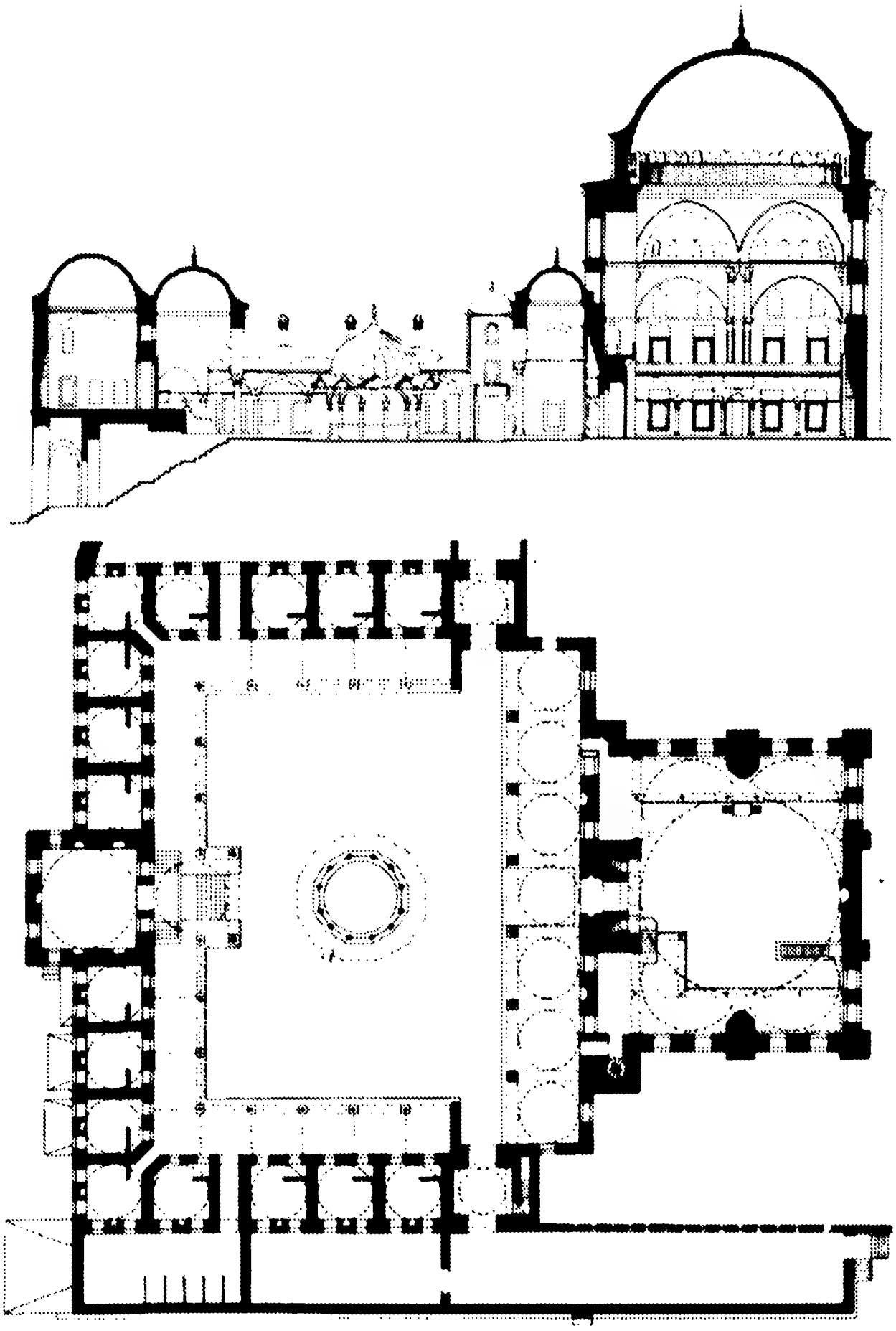
Из мечетей, выстроенных по заказу министров, особо отметим лишь несколько — слишком велико их число и в Стамбуле, и по империи. Как я уже говорил, почти все мечети такого "происхождения" расположены в крайне неудобных местах. Так что почти в каждом случае Синану приходилось вытаскивать себя за волосы: строить на угловых или обуженных участках, на склонах или посреди застройки тесного квартала.

Это, во-первых, мечеть Соколлу Мехмед-паши в районе Кадирга, что за ипподромом. Построенная в 1571—1572 годах, она расположена на углу улицы, которая петляет по холму, что и определяет ее конфигурацию. Во внешней — высокой и глухой, "негостеприимной" — стене Синаном устроена крутая полутемная лестница. Она ведет через арку на залитый солнцем двор, так что эффект неожиданности полный.

Эта мечеть имеет в плане шестиугольник, то есть купол покоится на корпусе шестиугольной формы. Считалось, что шестиугольник — это иде-



Верхушка одного из четырех минаретов мечети Селимие в Эдирне. За горизонтом начинается Европа. Фото автора



Так в разрезе и в плане выглядит мечеть Соколлу Мехмед-паши, построенная Синаном на склоне холма в районе Кадирга

альная, то есть "уравновешенная", "самодостаточная" фигура, повторяющая воду, когда она замерзает и превращается в снежинку. Именно эту форму Синан выбрал для мечети царедворца, который прослыл в империи гибким политиком и стойким человеком.

Все шесть несущих колонн спрятаны в стенах, так что молитвенное пространство остается свободным. Михраб — ниша в стене, указывающая направление на Мекку, — сдержанно украшен изразцами, стены в основном свободны от них. Говорят, над михрабом и над входом в золотых оправах вмонтированы кусочки черного камня из Каабы.

Говорят также, что это враки.

Эта мечеть одна из самых уютных, "домашних" в Стамбуле. Через стену ее двора сквозь резные аркады видно Мраморное море, которое пересекают черные лезвия кипарисов, и кажется, что вы на курорте.

Другая мечеть построена Синаном в 1561 году на деньги Рустема-паши — главного толстосума империи. Это полная противоположность той, первой мечети. Она стоит в самом центре района Тахтакале на кромке Золотого Рога справа от Галатского моста — прямо посреди базара. На первом ее этаже лавки и склады, которые паша сдавал торговцам, и только через незаметную дверь в стене можно подняться по грязной лестнице на второй уровень, где узкий двор-галерея и вход в мечеть.

Эта мечеть имеет в плане восьмиугольник, все восемь колонн также утоплены в стенах. Будучи очень состоятельным человеком, Рустем-паша заставил Синана нашпиговать свою мечеть изразцами мастеров Из-

ника и Кутахьи: от пола до потолка. Так что, попадая вовнутрь, трудно отделаться от ощущения, что ты в магазине.

Или в Музее искусства керамики Османской империи.

Однако самая эффектная мечеть расположена на отшибе — у ворот на Эдирне. Мечеть построена по заказу "женщины, прекрасной, как луна". Ею была принцесса Михримах, жена, а потом вдова Рустема-паши, унаследовавшая все его состояние.

Это самая "эротическая" мечеть Синана. Ее обнаженная "механика" не драпируется полукуполами или главками. Только дворовая галерея украшена множеством сдвоенных куполов с недвусмысленным силуэтом. Голые стены прорезаны десятками окон, через которые мечеть наполняется светом. Четыре массивных опорных столба, вынесенных Синаном наружу, как будто стерегут "наготу" этой мечети. Ее же сопровождает одинокий минарет, элегантный и высокий. В общем, перед нами почти что свадебная пара. Или эротический танец в камне.

Черт его знает, может, и вправду старый Синан влюбился в молодую вдову? И вот так, на века, объяснился в любви? По крайней мере с точки зрения искусства это выглядит убедительно.

Мечети мечетями, но что делать с десятками, сотнями "мелких" шедевров? Со всеми этими дворцами, медресе, караван-сараями, акведуками и мостами, разбросанными по миру от Бахчисарая до Мекки, от Будапешта до Иерусалима? Многие из них были выстроены "заочно", по чертежам "бюро Синана". И, говорят, Синан в глаза не видел добрую сотню "своих" работ. Однако рука его узнаваема даже в этих, "внебрачных детях".

Даже где-нибудь на окраине империи, в Эрзеруме.

Что касается светских построек, то из дворцов до наших дней дошел один лишь дворец Ибрагима, временщика-грека. Он стоит на ипподроме — как раз напротив Голубой мечети, и теперь там замечательный Музей исламского искусства.

Самый знаменитый Синанов хамам Стамбула — это двустворчатые, с одной стороны мужские, с другой женские, бани Роксаны — между Святой Софией и Голубой мечетью. Там нынче респектабельный магазин ковров, и от настоящего турецкого хамама ничего, кроме стен, не осталось.

Зато вот уже пятьсот лет работают бани на территории комплекса Сулеймание. Это, учитывая размах

Мечеть "прекрасной, как луна" принцессы Михримах у стен Феодосия. На горизонте – Мраморное море. Фото автора

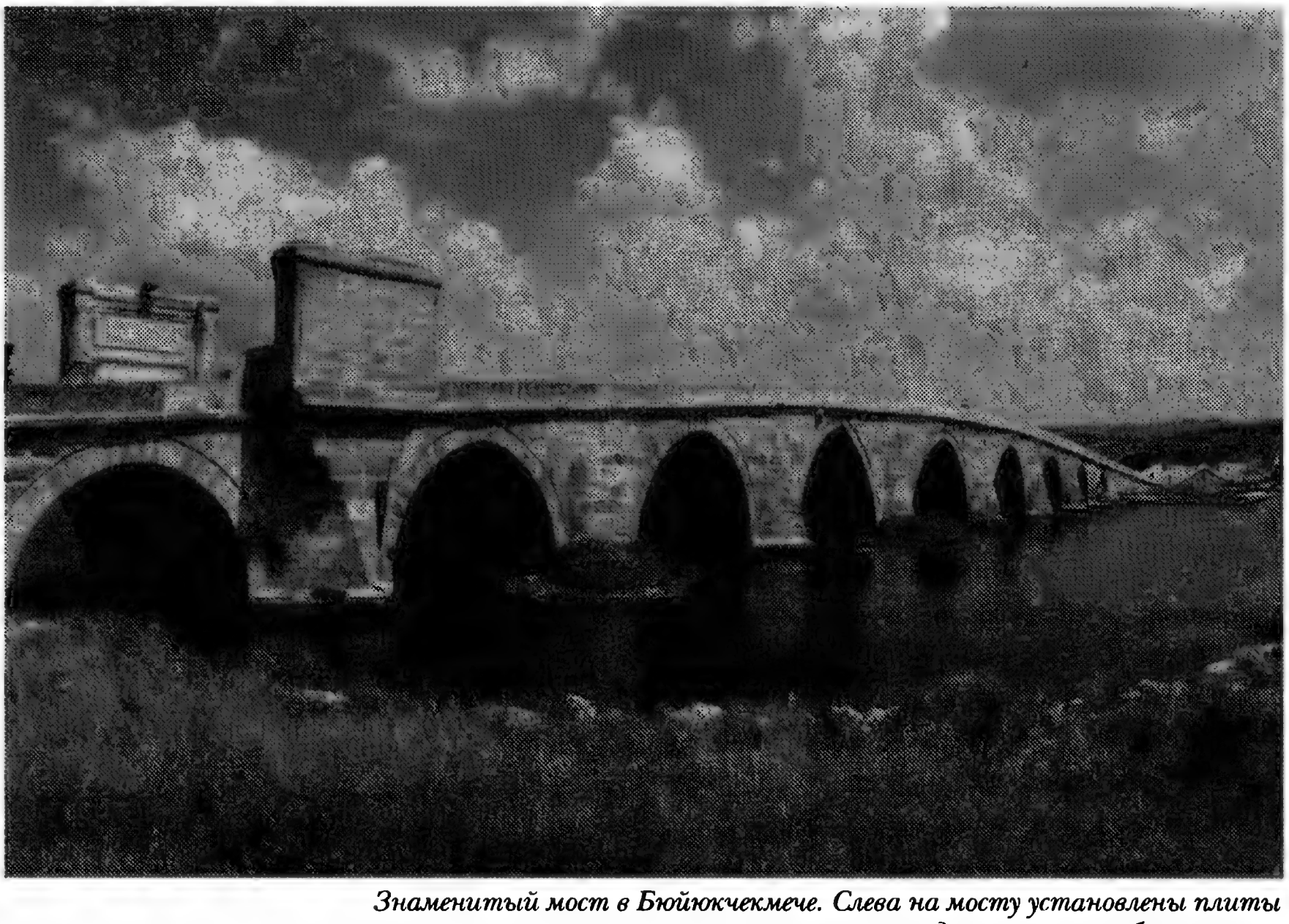
комплекса, большой хамам, единственный недостаток которого — туристы, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому настоящие бани Синана в Стамбуле расположены "на стороне". Мне по душе небольшой уютный хамам при мечети Кылыч Али-паши работы Синана (эта мечеть 1580 года — его поздняя работа, что-то вроде уменьшенной и шаржированной копии собора Софии). Это в Топхане на берегу Босфора рядом с арсеналом. Туда ходят турки из окрестных домов, там почти всегда малолюдно и "атмосферно".

Что касается караван-сарая, то идеальный вариант работы Синана в этом жанре находится в Эдирне. Это караван-сарай, выстроенный по заказу Рустема-паши, где Синан показывает свой "арочный" талант, задавая ритм внутреннего дворика двумя типами аркад с мандалами в простенках и эффектной цезурой на лестнице, которая демонстративно обнажена. Хорош также "торгово-гостиничный" комплекс в Люлебургазе, заказанный Синану Соколлу Мехмед-пашой. Арка, переброшенная через дорогу, решает проблему объединения двух частей этого комплекса.

Теперь — мосты. В исламе образ моста связан с загробной топографией, поэтому и отношение к нему особое. Считается, что именно по хрупкому мостику, переброшенному над геенной огненной, проходят люди, оказавшись на том свете. Само собой, человека, отягченного грехами, такой мост не выдерживает — и он срывается в пропасть, подчиняясь обычным законам физики, которые в исламе действуют даже на том свете.

Главный мост Синана находится в поселке Бюйюкчекмече, это пригород Стамбула по дороге все в ту же Эдирне. Мост переброшен через пойму в устье реки — в том самом широком месте, где река впадает в Мраморное море. Длина моста 636 метров, это был один из самых протяженных мостов в мире на то время. Собственно, перед нами не один мост, а "четыре в одном", причем, если присмотреться, каждый из них имеет разную величину и разное число арок соответственно.

"Европейское" направление на Эдирне было стратегическим, поэтому мосты в этом месте строили и до Синана. Однако мощный паводок, смешиваясь с грязевыми потоками окрестных гор, всякий раз сносил опоры, и мосты приходилось чинить, если не строить заново. Говорят, этот, последний, мост был заказан Синану после того, как Сулейман отправился в те края на соколиную



Знаменитый мост в Бюйюкчекмече. Слева на мосту установлены плиты с памятными надписями на арабском языке.
Фото автора

охоту и чуть было не погиб в шторм на переправе.

Тогда-то дело и поручили придворному архитектору.

Инженерная "мысль моста" гениальна и проста. Как всегда у Синана, функция тут предельно эстетична, а эстетика полностью подчиняется практической задаче. Во-первых, опоры было решено ставить на твердых породах поймы — отсюда не утомительная для глаза разница отдельных частей моста. А во-вторых, соединяли опоры не "горизонтально", в одну линию, а "горбом" — с увеличением высоты моста над аркой и понижением в точке опоры. Экономя таким образом и на материале, и на сопротивлении грязевому потоку.

Представьте себе месиво из воды, камней и вырванных с корнем деревьев, которое катится по долине. Наконец эта лавина "упирается" в мост. Что происходит? Арки моста не успевают "пропускать" воду, и вода поднимается, увеличивая давление на опоры. Но наш мост горбат — и вода, поднявшись на определенную высоту, просто начинает перекатываться через его "впадины". Давление снижается, уровень воды приходит в норму, путь снова свободен, и караваны могут двигаться дальше. Кстати, именно для таких вот, ждущих у моря погоды странников Синан построил на берегу реки караван-сарай. А рядом стоит мечеть, знаменитая тем, что ее "игрушечный" — размером с домик на детской площадке — минарет вырезан из цельного куска мрамора.

Собственно, это единственный минарет в Стамбуле, куда муэдзины еще залезают.

15

Султан Сулейман воспользовался мостом лишь однажды. Это было в 1565 году, когда армия шла в поход на Европу, где сражение за город Зигетвар стало для султана фатальным.

Работы на мосту о ту пору еще не закончились, поэтому не исключено, что великий архитектор и великий император встретились.

Да, так и будем считать: они встретились.

Сулейман был стар и болен, он не ехал в седле, как положено султану во время войны, а лежал на носилках, которые несли янычары. Но ведь и Синан был не мальчик! Ему-то шел седьмой десяток, мог бы и он спокойно посидеть дома, тем паче что в доме молодая жена, при ней бы и сидеть старику и следить за работой из города, но мост, как мы уже говорили, дело особое, тем более мост для султана, без которого гений Синана — кто знает? — пропал бы, наверное, втуне, так что какой уж тут дом — вот он, наш белобородый зодчий, снова на солнцепеке, с резцом и стремянкой, работает по известняку, вырезая на памятной плите слова славы Сулейману Великолепному. Что там написано? "Да будет ему над геенной огненной мост таким же прочным, как этот" — режет по камню раб султана Синан, и султан, привстав на носилках, выглядывает из-за полога и кивает ему головой и улыбается — будем так думать, что улыбается, — а уж потом, потом уплывает на руках янычар дальше, через длинный мост на дорогу в город Эдирне, а оттуда еще дальше, в Европу, ибо Вена еще не взята, а значит, не все дела закончены в жизни, которая скоро, увы, оборвется.

Но вот мост, мост — он-то стоит как и прежде! Когда пыль на дороге садится, а последний пушечный обоз исчезает за холмами, рабочие уходят с моста, и только солнце освещает медальон в правом верхнем углу той самой плиты, и написано на том медальоне, помельче, но все равно видно, смотрите-ка, написано там, что строил сей мост не Синан, великий архитектор империи, жизнь положивший на мечети, силуэты которых навсегда изрезали очертания вечного города, а "Юсуф раб Божий родом из христианской деревни Агирнас, что рядом с городом Кайсери в Анатолии".

И что отныне он — свободен.

Мария Карп
Лондон: вокруг Букера

"ИЛ" открывает новую рубрику, в которой наши корреспонденты, живущие в разных концах света, будут рассказывать, что происходит в культурной жизни той или иной страны, того или иного города. Первое письмо мы получили из Лондона от Марии Карп — переводчицы Вирджинии Вулф, Джорджа Оруэлла, Дилана Томаса и Уистена Хью Одена, возглавляющей отдел художественного вещания Русской службы Би-би-си.

Интерес к литературе в Великобритании вспыхивает осенью. Летом все в разъездах, публика на пляжах наслаждается чтивом в мягких обложках или добросовестно борется с подаренными на прошлое Рождество увесистыми кирпичами в твердых, рецензии писать некому и не о чем — издательства придерживают новые шедевры до сентября, до нового урожая. Осень — это время Букеровской премии: сентябрь — обнародование короткого списка, октябрь — объявление победителя. Но как рождественский ажиотаж начинается с каждым годом все раньше и раньше, так и Букеровское жюри, читающее новые книги до того, как они выйдут массовыми тиражами, теперь для возбуждения интереса публикует еще и длинный список претендентов — примерно в середине августа.

Я живу в Англии двенадцать лет и двенадцать лет удивляюсь сходству Букеровского литературного конкурса со скачками. Букмекерские конторы, принимающие ставки на ту или иную книгу, работают вовсю. Делают прогнозы специалисты. Обсуждаются отчасти литературные достоинства книг, но больше национально-демографический состав претендентов — число женщин, чернокожих, британцев-небританцев... Обязательны скандалы с криками об упущениях "Как это не включили такого-то!", нередки ссоры между членами жюри. Чем больше шуму — тем лучше. Тем больше людей, в растерянности входящих в книжный магазин, купит книгу хотя бы одного из букеровских претендентов. Драгоценное время, потраченное на ее чтение, не уйдет совсем впустую — будет о чем поговорить в гостях. А в октябрьский вечер объявления победителя можно прильнуть к телевизору, еще раз узнать прогнозы экспертов, полюбоваться нарядными знаменитостями, ужинающими за круглыми столами, и вместе с ними с замиранием сердца послушать речь председателя жюри... "Понравилось нам то-то и то-то... хорошо раскрыли темы такой-то и такая-то... на новый виток развития вышла литература в Великобритании и странах Содружества... и... наконец, наконец, наконец... я назову имя победителя. Им стал..." Гром аплодисментов, победитель целуется с женой или матерью и, доставая из кармана бумажку с речью (подготовиться должны все финалисты), проворно пробирается к трибуне. Напряжение спадает. Проигравшие писатели и другие гости возвращаются к прерванному ужину. Телекомментатор еще раз напоминает о размере приза, плывут титры....

Впрочем, то, что британская литературная жизнь принимает форму спортивного состязания, не так и удивительно. Интеллектуалов в Англии традиционно недолюбливают, и

© М. Карп, 2004

философские дебаты по ту сторону Ла-Манша спокон веку вызывают у англичан в лучшем случае насмешки. Зрелище – спортивное или театральное – безусловно ценится здесь выше, чем отвлеченная беседа. А игра – от футбола до викторины на эрудицию – всегда была любимым времяпрепровождением масс. И все это не мешало английской интеллигенции читать и писать книги, а также беседовать на философские темы. Удивляться надо скорее тому, что даже и эти нехитрые литературно-коммерческие Букеровские скачки тоже подверглись охватившему страну в последнее десятилетие процессу, который выразительно называется dumbing down (оглупление, снижение интеллектуального уровня) и проявляется в настойчивом и повсеместном стремлении свести всю культуру к массовой.

В этом году, как на заказ, председателем Букеровского жюри стал бывший оксфордский профессор Джон Кэри, чуть больше десяти лет назад прославившийся книгой "Интеллектуалы и массы. Гордость и предрассудки литературной интеллигенции. 1880–1939". В этой книге профессор Кэри осуждает литературную интеллигенцию конца XIX – начала XX века, то есть таких английских писателей, как Герберт Уэллс, Джордж Гиссинг, Вирджиния Вулф, Томас Стернз Элиот и другие, за презрение к массовой культуре и вообще к народу (нарочно сложно писали, чтоб никто прочесть не мог), которое, на его взгляд, мало чем отличается от гитлеровского (!). Не входя в систему доказательств профессора Кэри, можно было предположить, что если уж он недоволен классиками за их приверженность высокой культуре, то современникам тем более спуску не даст. И действительно, возглавляемое им жюри (а в него, помимо профессора, входили два литератора, один философ и одна альпинистка) явно поставило своей целью бороться с элитарностью.

"Нынешний год, – с удовлетворением отметил Джон Кэри при опубликовании короткого списка, – это год побед над великанами". В этом и впрямь мог убедиться любой, кто захотел бы сверить длинный список претендентов с коротким. Разумеется, к великанам отнесены были те, кто уже прежде удостаивался литературных премий: южноафриканец Джон Кутзее и австралиец Питер Кэри – оба дважды лауреаты Букера (короткий список был опубликован до присуждения Кутзее Нобелевской премии), англичанин Грэм Свифт – единожды лауреат, а также не лауреат, но сын лауреата, да и сам знаменитый современный британский писатель Мартин Эмис. Качество представленных ими в этом году романов особенно не обсуждалось, да оно и не было так важно. Самое главное заключалось в том, что в финал вышли книги читабельные, несложные, а также не слишком профессиональные: для троих из шести финалистов – дебютные. А еще в списке большинство составили женщины – впервые за двадцать лет.

О как заволновались британские критики при виде этого списка: "Какая свежесть! Какая непосредственность! Долой литературных мэтров! Да здравствуют новые литераторы!" Пальму первенства прочили то уроженке Бангладеш Монике Али за роман "Брик-лейн" (что, казалось бы, может быть более модным и политически корректным, чем многокультурный Лондон?), то южноафриканцу Деймону Гэлгуту за роман "Добрый доктор" (вот, тоже про Южную Африку, а все же не этот высокомерный Кутзее). И тем не менее окончательное решение жюри оказалось еще свежее и непосредственнее: премия в пятьдесят тысяч фунтов досталась бывшему наркоману, вору и мошеннику, выступающему под подходящим псевдонимом D. B. C. Pierre, где инициалы D. B. C. означают Dirty But Clean – Грязный Но Чистый.

Не то чтобы члены жюри не знали, что делают, – история Ди Би Си Пьера появилась в газетах за несколько дней до того, как им предстояло принять решение. Питер Финлей – так зовут на самом деле Грязного Но Чистого Пьера – вырос в богатой семье в Мексике, с машинами, шоферами, слугами. После смерти отца пристрастился к наркотикам, потом – к азартным играм, обеднел, стал красть машины, подделывать чеки, торговать чем попало. Затем, обманув приютившего его художника,

продал его дом, а деньги взял себе. С простодушием набедокурившего подростка сорокадвухлетний писатель накануне конкурса обещал исправиться и отдать все деньги — если только он их выиграет — некогда обманутому другу.

Нет, заподозрить членов жюри в том, что они стремились помочь Питеру Финлею расплатиться с долгами, нельзя. Им, скорей всего, правда, понравилась его книга: во-первых — дебют, а во-вторых — сатира на Америку! Действие книги "Вернон Господи Литл" происходит в Техасе, и потому от нее, как выразился один из членов жюри, так и разит томатным соусом к барбекю. Насквозь пропахшая томатом отвратительная Америка, и без того ненавистная всем порядочным европейцам. Герой романа — пятнадцатлетний подросток Вернон Грегори Литл, которого обвиняют в убийстве четырнадцати одноклассников. Мы с самого начала знаем, что Вернон невиновен, но органы правосудия и, главное, падкое на сенсации телевидение, делают все, чтобы осудить мальчика и вынести ему смертный приговор. Ситуация фарсовая — Питер Финлей не зря подвизался и как карикатурист, — но и зловещая. Невиновного героя все время продают, обманывают, облапошивают, используют — причем все: от родной матери до любимой девушки. Надежда на восстановление справедливости заставляет читателя быстрей переворачивать страницы — но, увы! Цинизму и предательству техасцев нет конца, главный злодей, телевизионщик-самозванец, подстраивает все новые и новые козни, а значит, все новые и новые обманы и разочарования поджидают Вернона Литла. Над чем автор издевается долго и подробно — это над так называемым "реальным телевидением" и программами типа "Большой брат" или "За стеклом". В его романе телезрители голосованием решают, кого казнить. Смертельный укол вкалывают и Вернону Литлу, но тут в мечтах он переносится к тому месту, где в день расстрела одноклассников оставил кучу дерьма — только оно (это подтверждают анализы) и является доказательством его невиновности. Если учесть, что первая глава романа называется "Все в дерьме", то такой конец совсем не кажется неожиданным и вполне соответствует авторскому чувству юмора.

Интересно, что создатели телевизионной передачи о Букеровском литературном конкурсе, очевидно, никак не ожидали, что жюри изберет столь неэлитарного победителя, и приняли против элитарности свои меры. Вместо обычных обсуждений романов-финалистов показали "теледневники" членов жюри, которые в течение трех месяцев, сидя в уютных кабинетах, на пляже и на даче, добросовестно отчитывались о количестве прочитанных книг. А заключительное слово победителя оборвали в самом начале, отослав интересующихся этим выступлением к другому телеканалу — предназначенному для интеллигенции и дигитальному, то есть заведомо не всем доступному. Знали бы они заранее, что речь лауреата будет не слишком отличаться от речи пятнадцатилетнего героя его книги!

Уже несколько лет назад британский писатель и политик Джордж Уолден в книге "Новые элиты" заговорил о том, что с помощью средств массовой информации в стране насаждается популизм. Выступать против популизма нелегко, предупреждал Джордж Уолден: кто ж захочет, чтобы его обвиняли в снобизме и высокомерии! Впрочем, книга заканчивалась оптимистически: автор надеется, что уже очень скоро британцы (особенно молодые) осознают, что им морочат голову, и восстанут против стремления "новых элит" ограничить их доступ к культуре. Букеровский конкурс 2003 года свидетельствует, что это время, увы, пока не настало...

Наталья Старосельская

Мост через бездну

Тринадцать лет назад Евгений Арье – ученик Г. А. Товстоногова, очередной режиссер Театра им. Вл. Маяковского – уехал в Израиль с группой молодых артистов, успевших заявить о себе в спектаклях театра, самым ярким из которых был "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Т. Стоппарда. Самым ярким – в смысле их "коллективного явления" на подмостки. Было очевидно, что в недрах академического театра появилась, как это нередко бывало в истории, самостоятельная, сильная группа молодежи, которая способна стать во главе с учителем-мастером отдельным театром. Со своим репертуаром, со своими эстетическими пристрастиями.

Их путь лежал в Землю Обетованную.

Может быть, артистов и режиссера вдохновлял пример другой группы энтузиастов, проделавшей этот путь несколькими десятилетиями раньше и ставшей национальным театром государства Израиль "Габимой"? Но тогда все было иначе – для габимовцев язык предков был если и не родным, то знакомым, они изучали его одновременно с тем, как репетировали свои первые спектакли в Москве, на нем старались общаться. Кроме того, они уехали в Палестину задолго до образования государства Израиль, после триумфальных гастролей по Европе, и, оказавшись на Земле Обетованной, вкусили все тяготы быта и завоевания зрителя. Надо было "привить" искусство театра лишенной театральных традиций стране, куда они так стремились.

У Арье и его артистов все было совсем по-другому, но и в чем-то похоже. Начинать надо было с изучения языка, с привыкания к специфическому климату, с изнурительной необходимости вживания в среду, которая порой выталкивала, отторгала.

Свой театр, поначалу разместившийся в одной маленькой комнатке, они назвали "Гешер" – мост. Уже тогда эти люди верили, что соединят две среды – мощную эмигрантскую и коренную, а затем и две страны – с помощью искусства театра, что, играя спектакли сначала по-русски, потом и на двух языках, привлекут сперва обширную эмигрантскую аудиторию, а затем и собственно израильскую публику. Первый спектакль был, что называется, вывезен в багаже – "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", сценическое повествование о невозможности переиграть судьбу, потому что никогда не даст она второго шанса. "В следующий раз умнее будем", – повторяют главные персонажи, однокашники принца Датского, так и не поняв: другого раза не будет никогда и ни для кого, потому что ничего не делается в жизни по черновикам, она выстраивается сразу набело!..

Не слишком ли многозначительно для начала пути, для заявки о новом театре в новой стране? Нет, скорее, по-еврейски мудро. В духе национальной традиции, религиозные постулаты которой сконцентрированы достаточно сурово и жестко.

Так началось строительство моста.

Кто сказал, что эмиграция – это лишь поступок? Это мучительный, нередко разочаровывающий процесс. Порой он затягивается на деся-

© Н. Старосельская, 2004

тилетия, порой не кончается никогда...

Но они пережили этот процесс и спустя тринадцать лет приехали в Москву не просто долгожданными гостями, но и официальными, полноправными представителями израильской культуры. Их гастрольная поездка готовилась долго и тщательно обеими сторонами и, может быть, особенно важно, что с нашей стороны навстречу "Гешеру" шли мостостроители Российского государственного театрального агентства во главе с генеральным директором Давидом Смелянским, опытным продюсером, точно знающим, что́ нужно для успеха.

Одной ностальгии оказалось бы явно недостаточно — на этом объединяющем чувстве мог бы пройти разве что вечер встречи. Он и состоялся в Еврейском культурном центре на Большой Никитской, где поцелуи были с солоноватым привкусом слез, а молодые артисты "Гешера", родившиеся и выросшие в Израиле, не понимающие ни слова по-русски, безошибочно ощутили атмосферу радости, рождавшуюся из шутливых тостов, воспоминаний, песен... Ощутили — и мгновенно включились в нее.

Для успеха нужны были лучшие спектакли, и театр привез в Москву "Город" по "Одесским рассказам" .и "Закату" И. Бабеля, "Деревушку" по пьесе современного израильского драматурга И. Соболя и "Раба" — инсценировку романа И. Б. Зингера. Первый спектакль был сыгран по-русски, два последних — на иврите.

Сцена из спектакля "Деревушка"

Впечатление было сильным. По многим причинам, главной из которых, пожалуй, стала почти шокирующая мысль: там, на Земле Обетованной, они умудрились каким-то непостижимым образом сохранить и приумножить то, что мы здесь успели за это время почти похоронить, — **русский психологический репертуарный театр**, основное завоевание театральной культуры XX века.

Когда-то давно из Советского Союза, находившегося на пороге развала, уезжали молодые артисты, поверившие в мечту о создании своего театра. На московских гастролях перед нами предстала сильная труппа, опытные мастера, не только сохранившие профессиональную школу, но и научившие своих новых товарищей, выпускников израильской театральной школы, тем тайнам профессии, что отличают именно русского артиста, воспитанного в традициях и в своеобразном этико-эстетическом кодексе репертуарного театра.

И когда сегодня "Гешер" называют лучшим театром Израиля, в это веришь, потому что Евгению Арье и его артистам удалось, заложив принципиально новую традицию, создать театр, органически впитавший то лучшее, что было и есть в русском театре и еврейской культурной среде.

Они построили свой мост!..

В буклете, выпущенном к московским гастролям "Гешера", Д. Смелянский пишет, что "Деревушка" напомнила ему знаменитый товстоноговский спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" Н. Думбадзе. Ученик Товстоногова, Евгений Арье не мог не помнить эту работу своего учителя и внутренне не отдать тому спектаклю дань памяти. Но он не мог не вспомнить и другой спектакль Большого драматического театра, поставленный польским режиссером Э. Аксером, — "Наш городок" Т. Уайлдера. И, видимо, первое же ощущение возникающей стабильности (а это было десять лет назад, через три года после приезда в Израиль) повлекло за собой такое естественное желание "остановиться, оглянуться".

Евгений Арье начал искать пьесу, в которой можно было бы воссоздать совершенно особый мир, сотканный из воспоминаний, как бы ненавязчи-

во перебрасывающих воздушные мостки в настоящее, помогающие осмыслить главное, незыблемое в неспокойном, постоянно меняющемся мире. Он искал, а тем временем в театр была прислана автобиографическая пьеса Иешуа Соболя. Это был подарок судьбы, не слишком щедрой, как известно, на дары.

Герой сценического повествования Йоси (С. Демидов) приходит на кладбище посетить могилы близких. Он остался совсем один, вырос, приобрел опыт, мудрость, но сюда, в пространство памяти, является не стареющий мужчина – подросток, каким он был тогда, когда все были живы, когда все были вместе, когда Палестина не делилась на иудеев и мусульман. Воспоминания приходят одно за другим и оживают на круге подмостков; в них нет ничего событийного, но в них событийно все. И мудрая бабушка (Н. Гошева) с неугасающей папиросой, цитирующая к месту и не к месту Маркса; и старший брат Йоси (А. Вольф), любящий по утрам прикидываться мертвым, чтобы испугать мальчишку; и живущие на равных правах со своими хозяевами, вступающие с ними в диалог надутый самодовольный Индюк (К. Кменко) и веселая козочка Дица (Ш. Гадни); и отец (Л. Каневский), яростно спорящий из-за навоза с торговцем-арабом (В. Халемский), – все это цепочка, которая, скрепляясь звено за звеном, формировала личность человека, мучительно и весело постигающего смысл Бытия.

Что есть тот краткий миг, который зовется Настоящим?

"Куда легче попасть – в завтра или во вчера?"

Пересказывать сюжет этого спектакля – дело неблагодарное. Ну как объяснишь, опишешь в словах ту акварельную нежность, те чистоту и наивность, которыми, словно нитью, скреплены бытовые зарисовки из жизни палестинской деревушки, где место находится всем: и торговцу навозом, и англичанину (Й. Лазарев), увозящему на мотоцикле под томительно-пряные мелодии свою возлюбленную, жену доктора (Р. Хейловски), и русской девушке Соне (С. Демидова), явившейся в этот мирок после того, как фашисты в белорусском местечке уничтожили всю ее семью, мужа-еврея; и итальянцам-военнопленным (В. Портнов и М. Асиновский)?..

Йоси – С. Демидов

Как описать, "музыку разъяв, как труп, на части", токи первой любви Дасси (Э. Бен-Цур) и Ами (А. Вольф), объяснение во время киносеанса, позади экрана, на котором пробегают кадры фильма "Цирк", или неподдельную горечь мальчика после первой в жизни потери – смерти козы, съевшей шелковые чулки матери героя? Эта смерть станет для Йоси главной загадкой на всю жизнь: куда же все-таки легче попасть – в завтра или во вчера? И словно иная оптика возникает не только для героя, но и для зрительного зала: вместо изображения мальчика с огромными глазами на заднике окажется изображение козы, с таким же пристальным любопытством вглядывающейся в нас...

И наступит, наконец, момент, которого так долго ждали, к которому так стремились жители Палестины, – Земля Обетованная станет самостоятельным государством для евреев, из разных точек мира устремленных к этому вожделенному кусочку священной для предков земли. Но это событие обозначит глубокую трещину в их целостном мироощуще-

нии: продавец навоза придет прощаться, а Ами в день свадьбы уйдет на войну и почти сразу погибнет. И снова, как в детстве, младший брат будет трясти его, пытаясь разбудить, и положит на грудь Ами яблоко, и, судорожно вцепившись, будет стараться стащить тело с медленно, но неостановимо поворачивающегося круга...

Так долгожданное историческое событие обернется концом событий сценических. Начнется новая история, и герой окажется в далеком завтра, один на один с самим собою и невысказанным ответом: куда же легче попасть?..

Теперь он это знает...

Традиционная по всем канонам пьеса получила в спектакле театра "Гешер" дополнительный объем и совершенно особую нежность переживания. Евгений Арье и его артисты вложили в атмосферу "Деревушки", в ее глубинный смысл тайнопись собственных судеб и дали эмоциональную возможность зрителю прикоснуться к этой тайнописи, в которой слишком много совпадений, созвучий, ассоциаций. Именно потому и оказался таким сильным эффект спектакля.

Завлит "Гешера" Елена Ласкина рассказала мне, что после премьеры Соболь повез артистов в ту деревушку, где прошло его детство. Никогда прежде ни они, ни Евгений Арье не были в тех краях. Они к тому времени вообще еще плохо знали землю, на которой им предстояло жить. И насколько же были все потрясены, увидев в этой деревушке ту самую траву, чуть напоминающую высохший от солнца ковыль, которая была придумана художником для спектакля в качестве основного элемента сценографии!..

Попасть в прошлое оказалось легко. Пугающе легко...

Совсем иным представляется спектакль "Раб" (инсценировка, постановка и сценография Е. Арье, режиссер Е. Крейндлина). В масштабном, написанном много десятилетий назад историческом полотне Исаака Башевиса Зингера сложно обнаружить драматургическое зерно. Это своего рода философский трактат о твердыне веры, дающей человеку истинную свободу, а собственно романные линии любви, преданности, долга служат для иллюстрации мощи религиозной идеи и идеи еврейского мессианства.

Представить на сценических подмостках историю любви иудея и православной, фактически вычленив ее из мощного религиозно-философского контекста, — идея почти заведомо обреченная. Вероятно, Евгений Арье, приступив к инсценировке романа, ощущал это и сам. Поэтому спектакль "Раб" при многих очень сильных и выразительных его чертах целостным не назовешь. Он провоцирует скорее эмоции, нежели мысли; он порой отталкивает чересчур жирно прочерченной тенденциозностью, не оставляющей некоего необходимого в театре простора для выбора.

"Внешнее" рабство еврея Якова (Саша Демидов раскрывается в этой сложной, почти статичной роли как зрелый мастер) — это плен и необходимость существовать среди чуждого, откровенно враждебного окружения. Но твердыня веры позволяет ему выстоять в самых жестких, страшных условиях. Когда к его соломенному жилищу со всех сторон подступают жители польской деревни и в пылу бессмысленных споров о том, что же есть истина, пытаются убить Якова, он обращает к Богу молитву: "Господи, прошу Тебя, спаси их души!.." И в этот момент "внешнее" рабство завершается, потому что из сознания Якова, уже проникнутого любовью к Ванде (замечательна Евгения Додина, ярко, сильно, смело играющая женщину, чья душа переполнена страстью), вырывается не мысль о возмездии, а призыв к воздаянию. А значит, корни иудаизма проросли в почву православия.

По Зингеру, это знак будущей трагедии.

По Арье — жестокая логика современного бытия, начавшаяся в далеком XVII веке, времени действия романа, и не завершающаяся никогда...

И дальше, там, где в романе Зингера нет вопросов и сомнений, у Арье и "Гешера" именно они, эти вопросы и сомнения, становятся плотью сценического действия.

"Ни к чему нельзя привязываться, чтобы не стать рабом", — говорит

Яков, познавший единственную в жизни любовь только тогда, когда попал в рабство, обернувшееся для него глубоким противоречием между тем, что он проповедовал, и тем, что случилось в его реальной жизни.

Женившись на польке и скрывая ее происхождение от окружающих, он выдает Ванду за глухонемую еврейку Сарру, прекрасно понимая, что рано или поздно истина обнаружится. И в страхе за жизнь любимого Сарра кричит. Наказание не замедляет явиться — Сарра умирает, родив Якову сына, который не может быть признан евреем по закону. От рождения и до смерти сын польской матери и еврейского отца будет изгоем.

Рабом.

Чужих предрассудков и собственного ущербного сознания. Даже на Земле Обетованной, где он будет жить и куда 20 лет спустя захочет Яков перевезти останки Сарры.

Эта тема, столь решительно и жестко акцентированная Евгением Арье, становится своего рода современным продолжением романа Зингера, его интерпретацией с точки зрения новейшей истории, в которой, по словам одной из героинь "Раба", графини Терезы (Н. Войтулевич-Манор), вера является "вопросом сердца, а не ума".

Евгений Арье воссоздает на подмостках огромный черный и пустой мир с маленькой игровой площадкой в центре. Все сосредоточено в людях, в их душах, открытых злу, пустословию, сплетням, жестокости; закрытых для добра, понимания. Поэтому так резко, жирными мазками обозначены характеры. Поэтому так много натурализма в сценах пьяного разгула обитателей польской деревни, графа. Поэтому так плоско-схематичны женщины еврейского местечка, наблюдающие, как колет дрова беременная жена учителя Якова.

Но потому и столь кристально чисты любовные сцены и таким неизбывным, мучительным отчаянием звучат слова Якова над телом умершей жены: "Ты уже там? Ты уже знаешь ответы на все вопросы? Горькое стало сладким?.."

В этой жизни простая польская крестьянка бесконечно задавала вопросы своему ученому мужу; ей было любопытно и важно все, они говорили о добре и зле, о справедливости и разумности, о мироустройстве. Но там мудрее стала она, и теперь немногословный Яков задает свои вопросы, на которые не получает ответа.

Тяжкий и очень горький путь опыта ведет к сладости познания. Именно так, по Зингеру, человек обретает свободу. Не в этом, конечном мире — в бескрайнем, вечном...

Мне трудно судить, насколько глубоко разделяет эту точку зрения Евгений Арье. Его вера — это древний символ моста, соединяющего берега. Когда-то Всеволод Мейерхольд сказал: "У одних вид пропасти рождает мысль о бездне, у других — о мосте". Вот к этим "другим" и имеет счастье принадлежать режиссер Евгений Арье.

Магический круг

Англасахаб. 115 английских, ирландских и американских поэтов / Составление, перевод и комментарии Г. М. Кружкова. Псков, 2002

"Собрания стихов без 'переложений'... — неполны, нецельны, не представляют облик поэта в целом", — писал Вячеслав Иванов издателю своих переводов. Его небезосновательное утверждение помогает объяснить, почему Григорий Кружков имя антологии "Англасахаб", похожее на осмысленное, но заклинание, извлек из названия своих поэтических книг, вписанных в круг: "Ласточка" (1980), "Черепаха" (1990), "Бумеранг" (1998). Круг вполне магический, говорящий о судьбе поэта не только каламбурным намеком, требовал осмысленного завершения. В нем не хватало книги переводов.

Когда-то Кружков написал: "Чудесное со мной не происходит..." Это похоже на "чур меня!" Потому что в его книгах (а значит, и в жизни) только чудесное с ним и происходит. Известно, что окончил он Томский университет. А там хранится библиотека Жуковского, "гения перевода", и ее научное описание было предпринято как раз в те годы, когда Кружков изучал в университете физику. И слава Жуковского началась, как известно, с английского перевода — "Сельского кладбища" Грея.

В "Англасахабе" Кружков отмечает собственное начало — перевод стихотворения Эдгара По "Сон" (1970). Но эта пометка говорит немногое. Переводчик по определению должен быть поэтом без истории, пользуясь цветаевской классификацией. Кружков почти сразу очертил свой переводческо-поэтический круг, все эти десятилетия расширявшийся. Только сейчас увиделись его значительность и новизна. Сравните "Англасахаб" с обширными русскими антологиями английской и американской поэзии начала восьмидесятых[1], и вы обнаружите, насколько он расширил наше представление об англоязычной поэзии, с какой сугубо кружковской стороны показал ее. Тут важно, чему он отдавал предпочтение переводя, как переводил-перелагал, как ухитрялся делать своим чужое.

Может быть, еще и поэтому названия его поэтических книг отзываются в переводимых стихах. Вот "Ласточка" из Суинберна:

Ласточка, милая моя сестрица,
Как твое сердце с весною мирится?

А вот "Черепаха" из Джона Гея:

Как Черепаха был я глуп:
Я думал, что она
В любви своей тверда...

И есть еще черепаха у Эдварда Лира, на которой хочется уплыть:

Будь галерою моей,
Увези меня скорей
В ту страну, где нету горя!

Или "Черепаха, внучка черепахи" Эмиля Виктора Рью.

1. "Английская поэзия в русских переводах (XIV — XIX века)" (М., 1980), "Английская поэзия в русских переводах. XX век" (М., 1984), "Американская поэзия в русских переводах (XIX — XX века)" (М., 1983).

В каких-нибудь, мне не попавшихся на глаза переводах Кружкова, уверен, взлетает и бумеранг его третьей книги стихов. Так же когда-то назвал книгу почти забытый Марк Тарловский, живший в более страшные времена, чем наши, и говоривший о своем бумеранге: "Твой образ, палочка-убийца, / Я принял, ветреница, в дар".

Поэт, занимающийся переводами, только и делает что ищет свое в чужом. В этом занятии есть нечто актерское. Владимир Соколов по другому, сугубо лирическому поводу сокрушался: "Быть единственным, а написать / Совершенно другого поэта".

Переводящий поэт только и делает, что пишет совершенно других поэтов. Кружков, с которым происходит как бы обратное тому, о чем говорил Соколов, нашел в переводах, в этом бесконечном переодевании и смене масок, что-то глубоко органичное для себя. Настолько, что в одном из стихотворений "на полях переводов" задается вопросом: "Кто же я?" —

Или кукушка я
наоборот —
Чадолюбивая —
иль, того пуще,
Тот бедолага,
кого серафим
На перепутии
утром не встретил?

В "Англасахабе" несколько сюжетов. Один из них — игра, поэтическое представление. Это не только излюбленная им поэзия нонсенса. Но и многие другие стихи, начиная с раннего английского Возрождения, где, по определению самого Кружкова, встречается "своего рода постмодернизм", и заканчивая иронией нынешних американских поэтов. Вот эта-то "постмодернистская" (все же в кавычках!) составляющая, ироническая театральность, усиленная еще и тем, что язык перевода поэтов доблейковской эпохи разговорно осовременен, делает их звучание не только живым, но и острозанимательным.

Поэт и начинает свою антологию с пародийной "Книги воробышка Фила", за которой не только "воробышек" Катулла, но и церковная служба... У каждой эпохи свои интересы. Юнг увлекал русских поэтов в пору расцвета духовной оды, Байрон — в романтические десятилетия, По — в Серебряном веке... Наши времена были не всеяднее прочих, но их разъедающее недоверие к высокому, к опошленному пафосу сделало иронию из сатирического средства вполне лирическим.

С особым увлечением и блеском Кружков переводит Эдварда Лира и Льюиса Кэрролла, их предтеч и последователей, выбирая из многовековой английской поэзии то, что помогает выстроить этот сюжет подробней. В нем и звучащие с сакральной мощью, оглядывающиеся на псалмодическую традицию восклицания британского юродивого в "Ликованиях, или Песнях из Бедлама" Кристофера Смарта, и "Новая песня с новыми сравнениями", живущая театральной энергией автора "Оперы нищих" Джона Гея, и пародийная "Баллада" Кэлверли, и другие стихи, которые объединяет только поэтическая раскованность, игровое начало. Этот сюжет в "Англасахаб" перешел из "Книги NONсенса" (2000) Григория Кружкова, где игровое начало выражено резче, связано с фольклором. Английским детским фольклором были увлечены все его литературные предшественники в этом — и Чуковский, и Хармс, и Маршак.

Но "поэзия нонсенса" в интерпретации Кружкова — поэзия нашей постмодернистской эпохи, хотя сам он отнюдь не постмодернист. Здесь Кружков не просто изобретательный переводчик и не только изысканный остроумец, но прежде всего поэт. Многие из его переводов кажутся стихами, написанными по-русски. Вот "Дядя Арли" Лира:

Так он умер, дядя Арли,
С голубым сачком из марли,
Где обрыв над бездной крут;
Там его и закопали
И на камне написали,
Что ему ботинки жали,
Но теперь уже не жмут.

Или "Баллада журналистская" Честертона:

Средь вечных льдов,
где царствует Борей,
И в сумерках саванн, под вой шакала,
На островах тропических морей
Среди скучающего персонала...

Цитировать можно многое, выхватывая из желто-зеленого нарядного тома почти наугад, и всегда будет жаль обрывать цитаты.

Перевод поэмы Кэрролла "Охота на Снарка" демонстрирует не только изощренность и остроумие переводчика, но и его поэтическую смелость в "бореньях с трудностями". Кружков владеет всеми оттенками иронии — от грубоватой насмешки до тончайшей пародийности. Его чувство юмора на страницах "Англасахаба" звучит так изысканно, что никак не противоречит следующему сюжету книги — лирическому. Лирика в антологии связана не только с Йейтсом и Серебряным веком, которым Кружков отдал дань и в других работах, о которых так занимательно писал в "Ностальгии обелисков" (2001). Эта лирика чужда прямой исповедальности. Поэт не желает признаться, что чем-то похож на героя воссозданного им по-русски стихотворения Стиви Смит, героя, который "розыгрыши обожал смертельно":

Его могила не угомонила,
Лежал, чудила, и свое тянул:
Я вам кричал, а вы не понимали —
Я не махал рукою, а тонул...

Всю жизнь
я лишь пытался докричаться
И не махал рукою, а тонул.

Но, видимо, ближе всего Кружкову афористичное замечание Йейтса: "Гражданственный поэт морочит ближних, / Сентиментальный лирик — сам себя, / Искусство же есть видение мира..." Поэтому главное для него в пристальном вглядывании в мир глазами переводимых поэтов. И тут нужна собственная зоркость. Без нее вряд ли его переводы были бы столь живописно-пластичны и он сумел бы сказать о парусах — "паруса вспухали", или о морской ряби — "На спинах волн рисуя тень скелета", или о зойном дне — "В сизых сумерках дня..."

Восхищает и диапазон поэтического дыхания Григория Кружкова, не только одинаково естественного и наполненного энергией в короткой и длинной строке, но и в больших строфических периодах, непростых синтаксически. Его одинаково мастерское владение и сонетом, и свободным стихом.

Как интонационно и ритмически завораживает его балладный "О Капитан, мой Капитан" Уитмена:

О Капитан, мой Капитан,
корабль доплыл до цели,
Шторма и рифы — позади,
мы все преодолели.

А ведь некогда это стихотворение, и очень неплохо, перевел Чуковский!

Третий сюжет книги — филологический — присутствует в двух других как намек на труды и репетиции артиста, оставляемые за кулисами. Следуя ему, Кружков не сосредотачивает внимания на хрестоматийных текстах и на обязательных именах, в антологии нет, например, не только Чосера, с которого принято начинать, или Бернса и Макферсона... Отсутствуют увлекавшие Жуковского Томас Грей и Вальтер Скотт, Роберт Саути и Томас Кемпбелл... Зато довольно подробно представлен XVI век с Генрихом VIII,

Елизаветой I и Марией Стюарт... Автор "Англасахаба" ведет нас по собственным маршрутам, показывая не только классическое, но и малоизвестное, забавное, подмеченное только им. А на известное заставляет взглянуть своими глазами. Помогают этому и его справки об авторах, ненавязчивые объяснения и толкования, выверенные эссе в несколько абзацев, которые разворачиваются в большую портретную галерею. Стремясь вдохнуть новую жизнь в давние стихи, Кружков сохраняет чувство меры, не увлекаясь ни осовременением лексики, ни игрой архаизмами. Вот он переводит сонет Спенсера из цикла "Amoretti", явно навеянный если не XC, то CCXXVII сонетом Петрарки:

Прекрасны, как заря, ее ланиты,
Когда Амура свет на них зажжен;
И локон милый, ветерком развитый,
Когда, как жизнь моя, трепещет он...

Во всем переводе только один славянизм "ланиты", уместно заставляющий вспомнить тютчевское "по младенческим ланитам / Катились капли огневые", дает достаточный и убедительный колорит английского XVI века. Насколько он убедителен и органичен, показывает сравнение с почти неизвестными читателю русскими переводами XVIII века из Петрарки, кстати, видимо, восходящими, как и подражание Спенсера, не к оригиналу, а к французскому переводу. Вот строки перевода Н. А. Львова (1774):

Ее власы тогда приятно развивали,
Зефир, играя, их прекрасно завивал...

А вот перевод И. И. Виноградова, где перекличка с сонетом Спенсера заметней (1792):

Зефиры нежныя ея власы взвевали,
И завивали их из тысячи кудрей;
Нежнейши из очей
блистанья истекали,
Из сих, жалеющих и взгляда уж очей...

Это сравнение показывает чутье переводчика, не имитирующего наш одический век, но использующего его стилистику, чтобы передать соотносимый с ним поэтический век Спенсера.

В переводах Кружкова главенствует не буквалистская, но поэтическая точность. Он переводит именно на сегодняшний русский язык, правда, помнящий и о своем вчерашнем дне. Поэтому Александр Поуп, излюбленный нашим XVIII веком, не выскакивая из своего времени, звучит у него с современной лихостью:

Я видел истинное диво —
Умри от зависти, фантаст! —
Есть женщина: она красива,
Умна, но дружбы не предаст.

Сравнивая иные переводы Кружкова с предшествующими, особенно с теми, что выполнены крупнейшими русскими поэтами, начинаешь яснее видеть и кружковские методы и только ему присущие достоинства. Несмотря на всю осторожность в соблюдении "невидимых переводческих границ", он их в необходимых случаях смело нарушает, поскольку есть стихи, переводимые вновь и вновь.

Сонет Уолтера Рэли "Сыну" когда-то перевел Пастернак. Новый перевод Кружкова и точен, и артистичен, в нем он находит некий эквивалент английскому аллитерационному звучанию "the wood, the weede, the wagg" — "ствол, стебель, сорванец", прорисовывая сюжет с легкостью, которой нет в лирически напряженном косноязычии Пастернака. Но главная, может быть, разница двух переводов — в иронии: у Пастернака мрачноватой и обращенной не только к сыну, но и к самому себе (впервые его перевод опубликован в 1940 г.), а у Кружкова раскованной, не без остроумной нравоучительности — "учти, мой друг". Перевод Кружкова открывает сонет с несколько другой точки зрения, более близкой к

оригиналу, но нисколько не отменяющей пастернаковского перевода. Да и бессмысленно было бы ставить перед собой такую цель. Тот глубинный трагизм, который звучит у Пастернака и который так выразительно выявлен Шостаковичем, написавшим на его перевод сонета Рэли музыку ("Шесть песен для баса на стихи английских поэтов"), подтверждает лишь то, что поэтический перевод — одна из форм существования поэта и лишь затем филологическая работа просветителя. По крайней мере, в русской поэзии.

Филологический сюжет проявился и в композиции книги, где естественному хронологическому принципу подчиняются три раздела, где за собственно английской поэзией представлены англо-ирландские поэты, предваряемые древнеирландской монастырской поэзией. О древнеирландской поэзии мы раньше знали лишь по балладам и преимущественно прозаическим сагам. Монастырская поэзия — другое, здесь Кружков представляет читателю редкостные образцы из предыстории ирландской лирики, начинающейся для нас с Томаса Мура. А его "Ирландские мелодии", широко отзывавшиеся в русской поэзии XIX века, хронологически подводят к излюбленному Кружковым Йейтсу, продолжаются любопытной, но скромной лирикой Джойса и поэзией уже иных поколений.

Кружков по-своему выстраивает ирландскую традицию. В Йейтсе ему слышатся дальние отклики узорчато-наивной монастырской поэзии, в Шеймасе Хини он отыскивает связь с Йейтсом, при всем их различии. Читателю "Англасахаба" эти окликания сквозь века и даже языки передает лишь кружковская интонация, в этом разделе не такая задиристая. И это требует объяснений, в которые Кружков с увлечением пускается, но уже в других сочинениях. Почему в его книге филологической прозы "Ностальгия обелисков" разговор об английской поэзии идет в связи с русской? Да только так и можно что-то объяснить в деле, которым он занят, — в воссоздании одной поэзии не просто другим языком, но и, неизбежно, другой поэзией. А как подготовленный физик-теоретик, Кружков в литературных материях, на тех высотах, где реально ирреальное и наоборот, замечает, что лирические энергии взаимодействуют по законам физики. Поскольку тут действуют фундаментальные законы мироздания, как утверждается в эссе "Квантовая механика и перевод". И об этом он умеет говорить с поэтической заразительностью, расширяя не столько приемы филологического анализа, сколько образный арсенал литературоведческой эссеистики.

Главная фигура в ирландском разделе — Уильям Батлер Йейтс, который представлен выборочно, очерчен резко. Хотя приходится признать, что очарование Йейтса с его живописной экзотикой и прихотливостью непросто дается русскому стиху. Особенно выразительна его "Византия" (стихотворение "Плаванье в Византию", также переведенное Кружковым, в "Англасахаб" не включено), толкнувшая переводчика на небезуспешные поиски родства и пересечений Йейтса и Мандельштама:

Плывет передо мною чья-то тень,
Скорей подобье, чем простая тень,
Ведь может и мертвец распутать свой
Свивальник гробовой;
Ведь может и сухой, сгоревший рот
Прошелестеть в ответ...

Труднее всего в переводе передать характер лиризма, тот тончайший нерв, проявляющийся не только в мелодике стиха, но и в оттенках смысла, несущего эту мелодику. Нам по нескольким строчкам на слух внятна разница романсовости, скажем, у Аполлона Григорьева и Фета, у Блока и Есенина. Но как уловить индивидуальности многих поэтов в переводе одного, даже самого изощ-

ренного? Почти невозможно. Но и здесь, в этой непереводимости априори Кружков находит бреши и добивается многого. Переходя от Йейтса к Хини, он осознанно ищет в них общее, но синтаксис, просодия меняются, становятся резче, слышатся другие звуки: "Корябнул слух и канул прочь / Охрипший этот альт". Следуя за Хини, переводчик не боится "корябнуть слух" почти рискованным "пламя вспышки-блиц, / Что сваривает навсегда..." или "рвущийся натяг печали"...

Конечно, ирландская линия в "Англасахабе" намечена пунктирно, но заключающие этот раздел стихи ирландских поэтов, живущих в США, естественно подводят читателя к американской поэзии. Она представлена в книге еще своевольней, и, может быть, потому, что последние десятилетия усиленно переводилась многими. Здесь есть Фрост, но нет Сэндберга, есть Уилбер и Эшбери, но нет Лоуэлла, нет многих. Так, видимо, складывалось. Потому что в американской поэзии у Кружкова сюжетов и пристрастий меньше. Им впервые по-русски издана книга стихов Уоллеса Стивенса, названная переводчиком "13 способов нарисовать дрозда". Лаконизм и графическая выразительность, внутренняя сосредоточенность переданы с лирическим напором и отточенностью. Кружкову близок этот сопровождаемый мыслью лиризм не нараспашку:

А за последним "нет" приходит "да",
И мир висит на этом волоске,
"Нет" — это ночь,
"да" — это ясный день,
Пускай отвергнутое соскользнет
За водопад заката...

Мир висит на волоске некоей поэтической мысли, которая не прерывается и в ином языке лишь потому, что поэт-переводчик становится не только интерпретатором, но и соратником переводимого поэта. Он начинает раздумывать о его жизни, он пытается хотя бы отчасти ее пережить. Поэтому раздумья о герое переводческого, поневоле романного сюжета превращаются в собственные стихи, и Кружков рисует профиль поэта в своем стихотворении "Уоллес Стивенс, или О назначении поэта на должность вице-президента страховой компании", видя страховую компанию, в которой его поэт занял пост, компанией поэтической:

Вот такая компания. Назовите ее
Компанией страхования жизни —
почему бы и нет?

...Компания славная: Гёте, принцесса
Бадрульбадур
и г-н Стивенс. Гарантии на случай
пожара, войны
и светопреломления.
Ничего страшного нет.
Ибо в каждой крупице инея
, уже навсегда
мыслит глазной хрусталик...

Не только Стивенс представлен в антологии лишь частью переведенного, но и Джойс, чьи два сборника Кружков перевел полностью, и конечно Йейтс, и Лир, и Киплинг, и другие поэты. Составляя книгу, он следовал ее законам, проведя читателя по пяти векам, по двум, по меньшей мере, континентам, по Англии с Шотландией и отчасти с Ирландией, по Америке, очертив пространство и время русским стихом.

И читая "Англасахаб", да и другие его книги, начинаешь ощущать себя не столько в чужих англоязычных краях, сколько в "волшебном краю" стихов, где-то "на берегах реки Увы", "на великом вселенском ветру". Расположен этот вполне романтический край в пограничье, меж двух языковых стихий. Там все время перед поэтом "На меже лежит камень, на нем — коряво — / Буквы: влево поедешь, приедешь вправо". Но куда бы ни отправлялся поэт, его возвращение к самому себе неизбежно. В этом главный смысл очер-

ченного круга, из которого выглянуло занимательное имя — "Англасахаб". Этот магический круг становится и спасительным в разноязыком мире для тех, кто верит в его мистическую силу, то есть для безумцев, поэтов и примкнувших к ним читателям стихов.

Борис Романов

Простые конструкции Меира Шалева

Меир Шалев. *Эсав* / Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман. СПб.: Ретро, 2002

В прошлом году автор "Русского романа" израильский писатель Меир Шалев (р. 1948) впервые побывал в России — стране, откуда в начале XX века перебрались в Землю Обетованную его предки. Поводом для визита стал выход в свет книги "Библия сегодня" (Перевод с английского И. Гуровой. М.: Текст, 2002), в которой Шалев препарирует ветхозаветные сюжеты, попутно иронизируя над классическими комментариями к Танаху (24 книгам Святого писания) средневекового раввина-мудреца Раши. Как могла появиться в Израиле книга, чье название имеет сходство с "Библией для верующих и неверующих" Емельяна Ярославского, ведь любая свободная интерпретация библейских сюжетов обычно вызывает противодействие со стороны приверженцев канона практически в любой точке земного шара? Дело в том, что за последние десять-пятнадцать лет мироощущение израильских интеллектуалов изменилось. Трудно сказать, что повлияло на это в большей степени. Быть может, непрекращающаяся алия — приток переселенцев из разных стран мира, превращающий землю Израиля в нерегулируемый перекресток разных культур. Так или иначе, нынешние израильские писатели, как правило, демонстрируют единство по двум позициям: они не признают веру отцов и стремятся к мирному урегулированию конфликта с палестинцами.

Роман "Эсав" имеет название куда более вызывающее, чем "Библия сегодня". По книге Берешит (Бытие) Эсав (Исав) — внук Авраама и сын Ицхака (Исаака), уступивший Якову (Иакову) свое первородство. Иудей не может назвать своего ребенка Эсавом хотя бы потому, что внуком его был Амалек (Амалик), напавший на евреев при выходе из Египта, так же как христианин не назовет его Иудой. Таким образом, ортодоксальный еврейский читатель изначально видит перед собой закрытую дверь с табличкой "Вход запрещен", а читатель, не обремененный догмами, волен трактовать роман по-своему, в зависимости от своей дотошности, степени литературной подготовленности, вкуса и желания.

Роман Шалева — это прежде всего история одной семьи. Иерусалимец в пятнадцатом поколении Авраам Леви знакомится с крупной светловолосой девушкой из Астраханской губернии Сарой. Она рожает ему детей-близнецов, одному из которых родители дают имя Яков, а второму... конечно не Эсав. В день иерусалимского землетрясения они бегут из города, угнав повозку греческого патриарха, и обустраивают свою жизнь в маленьком поселении: сооружают большую глиняную печь, которая должна положить начало будущей пекарне Авраама Леви. Дети между тем растут — им пора в школу. Вот только хорошо учиться мешает плохое зрение. Скромный достаток семьи приводит к тому, что близорукие близнецы получают одни очки на двоих. Они достаются Якову, отчего тот

становится эмпириком, брат же изучает мир по книгам, хранящимся у странного библиотекаря Ихиэля. Время идет — дети взрослеют, и их дороги все больше расходятся. Это не мешает им полюбить одну и ту же девушку — Лею. Но обладающий первородством Яков знает всю свою жизнь наперед, ибо тот, "кто знает, что для него хорошо, не нуждается в экспериментах". Потому и берет Яков Лею в жены. Как и в Первоисточнике, мать, в отличие от отца, больше любит Якова и проклинает второго сына, который уезжает в Америку и живет там долгие годы вдали от родного очага. Вернувшись на родину пятидесятилетним одиноким человеком, он уже не находит *своего* дома: мать давно умерла, отец состарился и серьезно болен, родной брат стал чужим, а Лея впала в многолетний летаргический сон. Единственный человек, продолжающий связывать его с прошлым, — это дочь Якова и Леи Роми.

Роман Шалева — это роман о любви, которая кажется настоящей только в воспоминаниях, ведь даже реальная любовная связь героя с племянницей становится неизбежной лишь благодаря тому, что Роми напоминает ему и ушедшую мать, и уснувшую возлюбленную. О любви Меир Шалев писать умеет, что оценили в Вероне, присудив писателю премию "Scrivere per amore" ("Писать ради любви").

"Эсав" — это роман о повседневной жизни израильтян, шумной и непредсказуемой в Иерусалиме, тихой и размеренной в небольшом еврейском поселении на севере страны. Впрочем, фантазия автора преображает реальность по своему усмотрению, и она подчас становится похожей на снимки, сделанные в студии иерусалимского фотографа Дадурьяна, рядящего клиентов в одежды разных народов, наделяющего личинами разных людей. Так и появляются в "альбоме" Шалева фотографии австрийской принцессы Рудольфины, британского кавалерийского офицера Артура Спини, киномеханика-итальянца Сальваторе Бенинтенди, странной пары американцев "мистер энд миссис Чарльз Глидден оф Бостон". Самое время отдать должное переводчикам — Рафаилу Нудельману и Алле Фурман, которые превратили причудливое языковое варево из иврита, ладино, идиша, турецкого, английского, арабского, французского, итальянского в лакомое блюдо для русскоязычного читателя и, ко всему прочему, снабдили его двумя рецептами переваривания незнакомых слов — с помощью внутритекстовых пояснений и словаря в конце книги.

Роман Шалева — это своеобразный ребус. Как-то сосед семьи Леви Бринкер случайно откопал на своем винограднике античную мозаику с изображением красивой молодой женщины. Проследивший за соседом Яков разобрал ее, сложил в мешок и подарил Лее. Девочка составляла из разноцветных камней изображения цветов и птиц, а однажды у нее даже получился "один симпатичный парень", но она не могла в точности воссоздать задуманный художником образ. Меир Шалев разъединил, распределив по всему тексту, элементы своей мозаики. Их видно невооруженным глазом. Самые заметные "камни" — из Танаха.

Библейский отец близнецов Исаак в старости ослеп, потому не распознал в Исаве Иакова, облаченного в овечью шкуру. Авраам Леви всю жизнь спит с открытыми глазами, чтобы не допустить обмана. Не потому ли вопрос о первородстве между братьями решается дележом единственных очков? Библейский Исав был охотником и отличался остротой зрения. Герой романа, близорукий, как и его брат, считает, что "нечеткое зрение — самое подходящее зрение для человека культуры", и отнюдь не потому, что пекарю не нужно видеть

дальше конца своей лопаты. Это возможность запечатлять в памяти только то, что ты захочешь.

Для хорошо знакомого с мировой культурой Шалева Танах не может быть единственным источником, и потому в мозаичное панно вставлены "камешки" меньшей величины. Это явные, скрытые, вымышленные цитаты из великих книг, книг известных, малодоступных и несуществующих вообще. Признание автора-героя, что он иногда сам уже не помнит, что цитирует, не мешает нам узнавать Данте, Рабле и Шекспира, Филдинга, Флобера и Анатоля Франса, англоязычного Набокова и Набокова русскоязычного.

Наконец, самые мелкие фрагменты большой мозаики находятся во вставных новеллах, главным образом в первой — "Князь Антон и служанка Зога *(вымышленный рассказ о людях, которых не было)*" — о рождении, путешествии в Иерусалим и смерти австрийского князя Антона. Эти новеллы, в свою очередь, также являются пазлами, включающими в себя помимо вышеназванного отсылки к еще одному "первоисточнику" — самому тексту "Эсава".

Никому так и не откроется, как на самом деле зовут героя-повествователя. Меир Шалев умышленно оставляет несколько "теорем Ферма", ибо только автору-конструктору дозволено знать, как в точности выглядит составленная им мозаика. Читателю вряд ли суждено сложить из разноцветных камней изображение прекрасной женщины, но, как когда-то у Леи, наверняка получится хотя бы один "симпатичный парень". Если читатель любит головоломки.

Если же нет, можно просто читать в свое удовольствие, даже не пытаясь вступать в игру, особенно если поверить автору, утверждающему, что "все эти истории проще, чем они выглядят".

Дмитрий Дмитриев

Гимн повествователю

Умберто Эко. *Баудолино* / Перевод с итальянского и послесловие Елены Костюкович. СПб.: Симпозиум, 2003

Как к нему ни относись, Умберто Эко — один из наиболее успешных романистов современности: его романы вызывают живейший интерес и становятся мировыми бестселлерами *до* того, как по ним снимается фильм (или если даже — о ужас! — не снимается вовсе). При этом он умудряется придерживаться тактики, прямо противоположной той, что кормит подавляющее большинство его собратьев по золотому перу.

Вместо того чтобы выпускать каждый год по книжке в 5—6 авторских листов, не давая почтеннейшей публике про себя забыть, он публикует раз в пять лет по неподъемной томине в 25—30 листов. При этом переносит действие в какую-нибудь отдаленную малоизвестную эпоху, делает главной сюжетной пружиной что-то непроходимо академическое (второй том "Поэтики" Аристотеля, масонско-розенкрейцерские бредни, тонкости географии и медицины XVII века). И в довершение нашпиговывает свои книги учеными и историческими подробностями в таких лошадиных дозах, что длинные цитаты по-латыни и эпиграфы из Каббалы (без перевода!) на их фоне кажутся совершенно обоснованными и естественными.

Но эта тактика вполне себя оправдывает. Применительно к Эко, во всяком случае. Публика его не только не забывает, но и ждет с нетерпением, о чем свидетельствуют предварительные заказы на каждый новый роман, а критикам и литературоведам хватает материала для анализа и дискуссий на пять лет — как раз до появления следующего Opus Magnum.

Вышедшей в 2000 году "Баудолино" не нарушает уже сложившихся правил игры Эко с читателями. Это его четвертый роман за 20 лет писательской карьеры. В итальянском тексте 520 страниц, и в ноябре–декабре 2000 года он успел выдержать по меньшей мере три издания (я пользуюсь третьим, декабрьским). Действие романа начинается в 1155 году, когда Фридрих Барбаросса встречает в лесах Пьемонта тринадцатилетнего крестьянского паренька Баудолино, одаренного двумя редкими талантами: схватывать на лету любой новый язык и убедительно рассказывать любую небылицу, а заканчивается в 1204 году в захваченном крестоносцами Константинополе – Баудолино спасает от верной смерти византийского хрониста Никиту Хониата, чтобы рассказать ему свою историю. Точнее, чтобы Никита сделал настоящую, писаную историю-*книгу* из разрозненных фактов истории-*жизни* Баудолино, которые тот ему рассказывает, покуда догорает в благоуханном дыму шафрана и корицы разграбленный крестоносцами Царьград...

В этой книге (в этой истории) нашлось место для всего – для хроники бесконечных войн Фридриха Барбароссы с вольнолюбивыми итальянскими коммунами, для сочного (и подробного, в духе "Школы анналов") описания крестьянского, городского и школярского быта XII века. Для богословских диспутов и святого Грааля, для ересиологии и картографии, для лингвистических кунштюков, постмодернистских подмигиваний и прямых заимствований (сюжетной канвы "Шести Наполеонов" Конан Дойла), для куртуазных провансальских песен и вагантских латинских куплетцев, для поддельных документов и фальшивых реликвий, для гашишных видений и для царства Пресвитера Иоанна.

Именно поискам этого полумифического восточного христианского правителя посвящена вся жизнь Баудолино – и, соответственно, описание его приключений. Причем ищет он его не просто так, для удовлетворения неуемного любопытства, а чтобы подтвердить права своего благодетеля Фридриха, императора Священной Римской империи, на светское владычество в Италии: ведь могущественный Пресвитер сосредоточил в собственных руках и духовную, и светскую власть целого царства.

Перевалив через Константинополь (центр мира в романе и середина – в повествовании) и углубившись в далекие восточные страны, Баудолино словно попадает в край "молочных рек с кисельными берегами", где воплощаются мечты и фантазии средневекового книжника. На читателя вываливаются все красоты бестиариев – от самых известных, вроде псиглавцев-кинокефалов и одноногов-исхиаподов, великанов и пигмеев, до каменной реки, за которой скрылись потерянные колена Израилевы, и "Абхазии" – страны вечных сумерек, жители которой переговариваются свистом. Эти правдоподобные описания можно было бы счесть (помимо того, чем они являются – проявлением бездонной эрудиции Эко) еще одним следствием убедительности фантазии Баудолино (который сам начинает верить в видения, придуманные по холодному расчету, и в подлинность чужих писем, им же сочиненных) – но именно из этих блужданий по зыбкому Востоку Баудолино привозит единственный во всем романе предмет, чья реальность не вызывает сомнений у читателя, потому что он существует и известен нам до сих пор – под именем Туринской плащаницы.

Баудолино – приемный сын императора Фридриха, министериал его администрации, но точнее всего будет назвать его политтехнологом XII века со всеми его атрибутами и приемами. Анализ

подложного письма от Пресвитера Иоанна к византийскому василевсу, который он проводит со своими друзьями, чтобы определить его происхождение, мало чем отличается от анализа предвыборным штабом злостного "черного пиара", распространенного конкурирующей партией.

Но есть одно существенное отличие. Эко любит повторять в своих лекциях и статьях, что средневековый кафедральный собор с его витражами, статуями и фресками выполнял роль постоянно идущей просветительской телепередачи — с той лишь разницей, что тогдашние "телепродюсеры" были большей частью людьми образованными, нравственными и искренне желающими добра своим зрителям. Так же и Баудолино: он направляет и подправляет реальность, но не ради мышьей беготни выборов-перевыборов, а ради создания единой объединенной (под властью Фридриха, естественно) Европы.

И достигает в этом "подправлении реальности" подлинной виртуозности. Оказывается, с удовольствием узнает подкованный читатель, именно Баудолино создает религиозный культ вокруг Шарлеманя (Карла Великого) и "обретает" мощи Волхвов-Царей — все ради того, чтобы доказать права Фридриха одновременно на светскую и духовную власть во всей Европе. Кроме того, ради достижения той же благой цели именно Баудолино добивается от Фридриха провозглашения независимости Болонского университета (того самого, к которому принадлежит сам Эко).

Но мало того: Баудолино — настоящий художник, и он зачастую творит реальность просто из любви к искусству, от избытка творческих сил. Поэтому с легкой руки Эко именно он оказывается подлинным закулисным создателем не только Священной Римской империи, но и большей части дошедших до нас текстов того периода: переписки Абеляра и Элоизы, стишков "короля вагантов" Архипииты Кёльнского и даже фигурирующего у Рабле каталога библиотеки Сен-Викторского аббатства, в котором перечисляются такие кладези премудрости, как "Ars honeste petandi" и "De castramentandis crinibus", сиречь трактаты "О благопристойном ветров пускании" и "О постое гарнизонов в волосах". При этом, разумеется, ни о Абеляре, ни о Архипиите, ни уж тем более о Рабле в романе впрямую не упоминается: догадывайся сам, подкованный читатель.

Вообще, "оказывается" — очень важное слово в романе. Оказывается, птицы Рух служат для переброски "на задание" ассасинов. Оказывается, именно Баудолино "обрел" долгочаемую чашу Грааля и после многолетних странствий самолично спрятал ее в надежном месте, где она, по всей вероятности, пребывает и поныне. Оказывается, наконец, что Фридрих Барбаросса вовсе не погиб по нелепой случайности, купаясь в реке, — он был убит. Но кем и почему — становится ясно, как и положено, только в самом конце толстой книги, когда история-жизнь Баудолино и история-повествование "Баудолино" сойдутся на миг воедино, чтобы снова навсегда разойтись.

Таким образом, можно констатировать, что "Баудолино" — не только самый "личный" (Баудолино участвует в закладке пьемонтской Александрии, родного города Эко), но и самый игровой, развлекательный — в лучшем смысле слова! — из опубликованных на данный момент романов Эко.

Но, разумеется, для него было бы слишком просто всего лишь играть с читателем в энциклопедические поддавки. Ведь Умберто Эко — не только успешный беллетрист, но еще и авторитетный лингвист и семиотик.

Это накладывает явный отпечаток на беседы Баудолино с Никитой Хониатом:

— Кое-что кое-где случается и на широких просторах, где не все говорят по-гречески. Где в одной из стран, чтобы выразить согласие, произносят: ок.

— Ок?

— Ок.

— Удивительно. Продолжай же.

Рискнем сформулировать: основная тема Баудолино и "Баудолино" — возникновение, развитие и смешение современных европейских народов и их языков. Эко перемешивает средневековую бюрократическую и ученую латынь, греческую церемониальную и богослужебную терминологию, германизмы, историзмы, диалектизмы, подбирает самые невероятные, невыговариваемые (особенно для итальянца) названия и имена — Гавагай, Ардзруни, Пндапетцим. Подданные Пресвитера — жители Пндапетцима — изъясняются, в частности, на воляпюке (*настоящем* воляпюке, созданном немецким пастором Шлейером) и приветствуют друг друга лилипутским восклицанием "Гекина дегюль!".

Эко сам всячески провоцирует игры с языком на разных уровнях:

"Там прежде обитали римляне, римляне римские, те, которые говорили на латыни, а не те римляне, которыми называете себя вы, говоря при этом по-гречески, в то время как мы вас зовем ромеи, или же greculi... полагаю, ты не обиделся".

Русскому читателю не очень понятно, почему византийца Никиту Хониата может обидеть словечко "грéкули". Но по-итальянски оно звучит примерно как "гречата" или "гречонки" — и это только одна из неисчислимых сложностей, которые приходится преодолевать переводчикам "Баудолино" на все языки.

Сложность поставленной задачи, помноженная на ее объем, в данном случае действительно вызывает ужас почти мистический. Елена Костюкович в своем послесловии с оправданной гордостью перечисляет множество книг, которые ей пришлось переворошить при переводе *одной* этой книги, — от хроники исторического Никиты Хониата и "Алексиады" Анны Комнины до основных куртуазных романов и "Романа-истории о Святом Граале" Робера де Борона (прототипа еще одного из героев романа). И это не говоря о множестве интервью самого Эко о "Баудолино" и массы статей, позволяющих понять то или иное непроходимо темное место, иное имя или реалию.

В "Баудолино" нет острого противопоставления латинизированного и народного языка, как в "Имени Розы", барочной пышности "Острова накануне" или нагромождения эзотерической терминологии "Маятника Фуко". По-итальянски повествование ведется очень ровным "современным", даже разговорным языком. Разве что с некоторыми стилистическими и интонационными цитатами из подходящей по теме итальянской классики XX века — "Невидимых городов" Кальвино, "Татарской пустыни" Буццати и т. д.

Наибольший интерес и наибольшую сложность в переводческом смысле представляет собой первая глава, в которой тринадцатилетний Баудолино впервые в жизни берется за перо. В этой главе, неслучайно набранной курсивом, Умберто Эко, словно по контрасту с последующими тридцатью девятью, предается лингвистической игре — фантазирует, как бы выглядела письменная речь носителя одного из бесчисленных говоров (а именно — фраскетского, родного и для самого Эко) итальянского языка XII века. Эта речь не отделилась еще толком от латыни и не прошла через фильтры тосканских дольчестильновистов, а кроме того, в ней мешаются немецкие слова, которые Баудолино так и выписывает готическими буквами.

Елена Костюкович не без иронии пишет в послесловии, что о

языке этой главы и о работе над ней разноязычных переводчиков уже прочитано немало докладов и написано немало статей. И действительно: мало где с такой наглядностью проступает известное правило, что в художественном переводе окончательных решений не бывает.

Нам остается только порадоваться тому, как быстро Баудолино добрался до русского читателя. Потому что "Баудолино" — наглядное свидетельство тому, что и в году MMIII AD "традиционный" роман с приключениями, чудесами и любовными интригами никуда не делся и прекрасно себя чувствует. Своим новым объемистым произведением Умберто Эко с максимально возможной для себя откровенностью и безыскусностью пропел гимн Повествованию и Повествователям с большой буквы. Недвусмысленно намекнув в конце, что и сам он — из их числа.

Михаил Визель

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Эмис М. *Сталин. Иосиф Грозный* / Пер. с англ. С. Головой, А. Голова. — М.: Эксмо, 2003. — 416 с. 5100 экз. (п)

Отец Мартина Эмиса Кингсли Эмис был не только известным писателем, но еще и известным коммунистом, он прославлял Сталина в родной Англии до тех пор, пока не прозрел. Теперь сын кается за отца и пишет книгу о преступлениях Сталина. Неправда, что одна смерть — это трагедия, а миллион смертей — это статистика. Миллион смертей — это миллион трагедий. Эмис написал книгу интересную и честную. На фоне нынешних попыток оправдать Сталина и сталинизм любой антисталинский голос ценен. Тем более голос отличного английского прозаика. Такой бы книге — да хороший перевод.

Кутзее Дж. М. *В ожидании варваров*: Романы / Пер. с англ. А. Михалева, И. Архангельской, Ю. Жуковой. — Спб.: Амфора, 2003. — 463 с. 7000 экз. (п)

Не успели вручить южноафриканцу Дж. М. Кутзее Нобелевскую премию, как уже выходит книга с пометкой "Нобелевская премия 2003". Конъюнктура? Не только. Кутзее заслуживает такой расторопности. Из романа в роман он рассказывает историю изгоя. Старый судья, которого за связь с девушкой из приграничного племени объявили шпионом ("В ожидании варваров"), слабоумный человек без документов, который странствует по разоренной войной стране ("Жизнь и время Михаэла К.")... Должно быть, социальная направленность тоже отчасти повлияла на решение Нобелевского комитета. Хотя Кутзее умеет еще и отлично сочинять истории.

Хаггинз Д. *Чмоки*: Роман / Пер. с англ. О. Исаевой. — Екатеринбург: У-Фактория, 2003. — 304 с. (Нуар). 5000 экз. (п)

Новая "черная" серия издательства "У-Фактория". В его планах — издать всю классику жанра. Среди первых романов — ироническая история про человека по имени Стив, которого выжил с работы его партнер Алан. Стив не только обиделся на Алана, но и еще подозревает подлеца в убийстве. Увы, Стиву никто не верит, тем более что от огорчений он слегка свихнулся. Стив ищет улики, охотится на Алана, а Алан — на Стива, в ход идут клюшки для гольфа и бритвы. В финале — садо-мазохистская сцена со счастливым исходом.

Гаспаров М. *Экспериментальные переводы*. — Спб.: Гиперион, 2003. — 352 с. 3000 экз. (п)

Переводы стихов — от античности до второй половины XX века. Экспериментальные — потому что переводчик намеренно не соблюдает размеров подлинника. Ямбы, хореи и амфибрахии переведены свободным стихом без рифм. И вдобавок стихи сильно сокращены. Причем на полях указана пропорция: сколько было и сколько стало. У другого переводчика все это превратилось бы в кошмар и хулиганство. У Гаспарова получаются стихи, действующие не менее сильно, чем оригиналы, и позволяющие взглянуть на традицию с нетрадиционной стороны.

Мартелл Я. *Жизнь Пи*: Роман / Пер. с англ. И. Алчеева, А. Блейз. – М.: София, 2003. – 352 с. 5000 экз. (п)

Мальчик по имени Писин Молитор Патель (Патель – фамилия, а Писином Молитором его назвали в честь парижского бассейна) плыл через Тихий океан на корабле, перевозящем животных из одного зоопарка в другой. После кораблекрушения в шлюпку попали двое: мальчик и огромный бенгальский тигр Ричард Паркер. Книгу стоит прочитать уже ради роскошных описаний тигра, но сюжет романа еще более непредсказуем, чем любой хищник. Традиционную историю про кораблекрушение Мартелл выворачивает наизнанку и превращает приключенческий роман в философский. В Англии ему за это дали Букеровскую премию.

Перес-Реверте А. *Тень орла*: Повесть / Пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Эксмо, 2003. – 128 с. 20000 экз. (п)

Война 1812 года глазами испанских солдат, служивших в армии Наполеона. Французов они ненавидят и мечтают перебежать на сторону русских, но у них это никак не получается. В результате испанцы совершают подвиги поневоле. Этот трагикомический исторический анекдот рассказан – и переведен – с блеском и остроумием. В повествовании мы найдем: генерала Фритюра и полковника Нивдугу, перевал Пёсья-Гибель, испанский Сильноболитский полк и безвинно погибшую от рук французских извергов юную испанку Манолиту Лахудру...

Кинсела С. *Тайный мир шопоголика*: Роман / Пер. с англ. А. Корчагиной. – М.: Фантом Пресс, 2003. – 416 с. – (PHANTIKI). 7000 экз. (п)

Роман про женщину, одержимую страстью покупать. Бекки Блумвуд не может спокойно пройти мимо витрины модного магазина, если там написано "Распродажа". Впрочем, если не написано, тоже. Она покупает и покупает, она влезла в долги... При том что сама работает в финансовом журнале "Удачные сбережения". Смешно. И близко каждому, кого хоть раз мучил вопрос: купить или не купить?

Эшноз Ж. *Высокие блондинки*: Роман / Пер. с фр. И. Волевич. – М.: Иностранка, 2003. – 223 с. 5000 экз. (п)

Тонкая пародия на остросюжетные романы. Туповатые частные детективы охотятся за высокой блондинкой, которая по непонятным причинам скрывается, легко меняя дома и страны. Защищая свое право на одиночество, она способна пойти даже на убийство... Единственное существо, которое она терпит рядом, – карлик Бельяр ростом в тридцать сантиметров. И это еще не самая абсурдная деталь в комическом повествовании. Легкая и приятная книга.

Бенаквиста Т. *Укусы рассвета*: Роман / Пер. с фр. И. Волевич. М.: FreeFly, 2003. – 272 с. – (Французская линия). 8000 экз. (п)

Роман из жизни профессиональных халявщиков. У главного героя нет ни дома, ни определенных занятий, каждый вечер он "выходит на охоту". Он там, где бесплатно кормят и наливают спиртное. Нет такой закрытой вечеринки, куда он не проберется. Но история о другом, это лишь фон, на котором разворачивается детектив. Надо найти ночного странника, похожего на вампира. Бенаквиста смешал в одном котле пародию на светскую хронику, детектив и социальную драму, но надо отдать ему должное: вкус у блюда получился недурной.

Испания

Уравнения Вагенсберга

Одним из древнейших крылатых выражений, дошедших до нашего времени, было знаменитое изречение Гиппократа о том, что жизнь коротка, искусство долговечно, случай шаток, опыт обманчив, суждение затруднительно. К числу нынешних последователей Гиппократа принадлежит и испанец Хорхе Вагенсберг, физик, директор Барселонского музея науки, недавно выпустивший сборник афоризмов под названием "Если природа — это ответ, то каков же был вопрос?" (издательство "Тускетс"). В прологе автор признается, что полюбил лаконизм до такой степени, что стал скептически относиться к тем идеям, которые нельзя изложить одной фразой. Насколько овладел этим искусством сам Хорхе Вагенсберг, можно судить, например, по таким его высказываниям: "Существование — факт не слишком вероятный" или "Способов существовать гораздо меньше, чем способов не существовать". Надо заметить, остроумные высказывания появлялись по-разному: одни рождались экспромтом, другие — после долгих раздумий. Так, добираясь однажды на такси из Буэнос-Айреса в Ла-Плату, он услышал по радио сообщение о смерти гарвардского биолога-эволюциониста Стивена Джея Гулда. "Больше всего я восхищаюсь теми людьми, с которыми диаметрально расхожусь во взглядах", — подумал тогда Хорхе Вагенсберг, скорбя о кончине бывшего научного противника.

А вот какие мысли навеяла на него теория Чарльза Дарвина: "Естественный отбор — на руку объекту отбора, а искусственный — на руку производителю отбора". И далее: "При искусственном отборе сначала надо подумать, а потом отбирать; при естественном же все обстоит с точностью наоборот".

Афоризмы Вагенсберга — это не просто шутки или удачные формулировки. Они скорее похожи на математические уравнения. "Да, их можно читать по одному, попарно, через одно или через два", — говорит сам "математик". Но, пожалуй, лучше всего их осваивать как систему. Ведь если каждый афоризм — это уравнение, то вся книга — не что иное, как система уравнений. И награда пытливому уму, который сумеет решить ее, обещает быть высокой.

Мексика

Книги в мексиканском метро

С начала этого года почти два миллиона пассажиров метро в Мехико получили возможность читать во время поездок книги мексиканских писателей, бесплатно взятые напрокат на специальных стендах, установленных на станциях. Таким образом городские власти рассчитывают повысить культурный уровень жителей столицы, каждый из которых по статистике в среднем прочитывает по полкниги за год. Пока стенды с книгами — как правило, это легкие и занятные повествования на темы городской жизни — установлены на 175 станциях. При выходе пассажиры, не успевшие дочитать книгу до конца, могут оставить ее себе до следующей поездки. Кроме того, власти планируют раз в два месяца проводить в метро короткие встречи с писателями и читательские конференции. Сумеют ли они таким образом

Вагон мексиканского метро

повысить престиж чтения, покажет время.

Пуэрто-Рико

Живопись на сковородках

Что можно делать со старой сковородкой? Готовить на ней еду? Банально. Использовать как музыкальный инструмент? Уже не ново. У кубинского художника Вильямса Кармоны, который с тринадцати лет проживает в Пуэрто-Рико, свои соображения на этот счет — он предлагает взглянуть на кухонную утварь как на предмет искусства.

В галерее "Виота де Сан-Хуан" в Пуэрто-Рико недавно состоялась выставка под названием "Жареные истории", на которой были представлены восемнадцать так называемых "картин-скульптур", выполненных Кармоной на поверхности сковородок.

Сама идея соединить быт и эстетику возникла у художника уже давно. Первая выставка Вильямса Кармоны называлась "Лекарства будущего" и представляла собой собрание полотен, изображающих расписанные сковородки. Следующим шагом стал рисунок на самих сковородках. Художник писал свои "истории" акрилом и маслом. Его излюбленные сюжеты: семейные сцены, повседневная жизнь, даже политические события. Среди представленных на выставке работ одна из наиболее интересных посвящена мексиканкой художнице Фриде Кало: торс женщины с головой в виде сковородки.

Так что не выбрасывайте старые сковородки: на них при наличии фантазии можно еще и неплохо заработать. По крайней мере, кухонные шедевры Кармоны оцениваются знатоками и коллекционерами дорого: от восьми до восемнадцати тысяч долларов. А в 2004 году кубинец планирует издать альбом "Жареные истории".

США

Театральные портреты великого мистика

Среди современников Эдгар По пользовался репутацией человека распутного и безнравственного, авантюриста, пьяницы и наркомана. Легенды и мифы настолько сильно исказили его биографию, что некоторые эпизоды жизни писателя до сих пор окутаны тайной. Известно, что он рано потерял родителей и воспитывался как приемный сын семьей торговцев. Затем был пансион с нудной зубрежкой, служба в американской армии, изнурительная работа в газетах. А еще трагическая любовь к тринадцатилетней кузине Вирджинии, которая скончалась от чахотки через два года после свадьбы. И ранняя смерть при обстоятельствах, которые так и остались невыясненными до конца.

Судьба Эдгара По привлекает внимание уже не одно поколение театральных режиссеров, которые снова и снова стремятся разгадать тайну жизни и смерти автора "Ворона" и "Убийства на улице Морг".

Режиссер Билл Рейхблум в мистической медитации, поставленной по стихам, новеллам, письмам и запискам писателя, попытался проникнуть во внутренний мир американского классика и передать его мироощущение. Для Рейхблума Эдгар По-Прометей XIX века, стремящийся постичь метафизическую суть бытия, обрести Бога и самому подняться до уровня божества. В спектакле много сложных образов, символизирующих духовные искания писателя: огненный круг из горящих свечей, процессии богомольцев, которые открывают и завершают действие, колесо, которое герой — по аналогии с Иисусом Христом — несет на спине в одной из сцен.

Другую попытку изобразить в сценической форме экзистенциальные поиски Эдгара По предприняли режиссеры Пол Дей Клеменс и Рон Маджид. В их моноспектакле "Как-то в полночь" дух поэта возвращается в этот мир, чтобы развеять мифы о себе. По мнению исполнителя Джона Остина, суть творчества Эдгара По в исследовании глубин человеческой психики, в изображении жизни в ее подлинном виде.

Несоответствие между мифом и реальной биографией писателя вдохновило Элизабет Адлер, режиссера и художественного руководителя студии "Адлер данцтеатр", на постановку музыкальной пьесы по мотивам лирики По. Главные герои спектакля — писатель и пять женщин, оставивших след в его жизни. По замечанию Адлер, трагедия По в первую очередь связана с постоянным чувством неудовлетворенности, которую писатель ощущал как в творческом плане, так и во взаимоотношениях с людьми.

Плодотворность противоречий

Магазинчик "От книги к книге" Эмиля Брами в Париже примечателен тем, что в нем хранится, вероятно, крупнейшее в мире собрание книг и автографов Селина. Сюда нередко наведываются французские и иностранные литературоведы, которые разыскивают оригинальные издания и редчайшие материалы, связанные с именем одного из самых противоречивых писателей XX века. Хозяин магазина увлекся коллекционированием еще в юности: "Я открыл для себя Селина в семнадцать лет, а два года спустя, в 1969-м, приобрел первые документы. Тогда письмо писателя стоило триста франков, а сегодня его цена подскочила до двух тысяч евро".

Эмиль Брами познакомился с дочерью Селина, разыскал его монмартрских друзей, бельгийскую любовницу, соседей по Медону. И все это время вел записи, которые недавно были опубликованы: 430-страничный том "Селин", вышедший в издательстве "Экритюр", займет свое место рядом с исследованиями таких авторов, как Франсуа Жибо, Фредерик Виту и Филипп Альмер.

Впрочем, в данном случае речь идет не столько о биографии в традиционном ее понимании, сколько о биографическом очерке. Автор рассказывает о своем герое, используя обратную хронологию, продвигаясь от смерти к рождению; при этом он старается не навязывать читателям собственные выводы и предпочитает давать слово тем, кто знал Селина лично.

Эмиль Брами не строит никаких иллюзий относительно характера и взглядов Селина: "Многие его поклонники хотели бы, чтобы Селин-человек соответствовал уровню Селина-художника. Что касается меня, то я бы не включил его в число моих знакомых. Но в нем есть некое безумство, он из тех, кто распаляется на бумаге, и, начав писать, уже не может остановиться".

По материалам информационного агентства "Франс пресс", газет "Мюраль" [Аргентина], "Паис" [Испания], журналов "Американ театр" [США], "Лир" [Франция].

Авторы номера

Бора Чосич
Бора Ћосић
[р. 1932]. Сербский писатель, прозаик, эссеист, в настоящее время проживает в Берлине. Лауреат многих югославских и международных литературных премий.

Автор цикла "семейных" романов *Роль моей семьи в мировой революции* [*Улога моје породице у светској револуцији*, 1967; рус. перев. 2000], *За что боролись* [*Зашто смо се борили*, 1972; рус. перев. 2000], *Загребский анализ* [*Загребачка анализа*, 1991], а также повести *Таможенная декларация* [*Царинска декларација*, 2000], ряда философско-сатирических эссе и др.
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Наставники* [*Тутори*. Београд, НОЛИТ, 1982].

Андрей Георгиевич Битов
[р. 1937]. Прозаик, эссеист. Вице-президент Международного ПЕН-клуба. Лауреат Государственной премии Российской Федерации [1992, 1996].

Автор сборников рассказов *Большой шар* [1963], *Аптекарский остров* [1968], повестей *Образ жизни* [1972], *Человек в пейзаже* [1988]; романов *Пушкинский дом* [1978], *Улетающий Монахов* [1990], *Оглашенные* [1995], книг *Империя в четырех измерениях* [1996]; *Неизбежность ненаписанного* [1998], *Путешествие из России* [2003] и др.

Орхан Памук
Orhan Pamuk
[р. 1952]. Турецкий писатель, лауреат Национальной премии, премии *Европейское открытие* [1991] и Дублинской литературной премии [2003].

Автор романов *Джевдет-бей и его сыновья* [*Cevdet Bey ve oğullari*, 1979], *Новая жизнь* [*Yeni hayat*, 1994) и др. В *ИЛ* опубликованы его романы *Черная книга* [*Kara kitap*, 1999, № 6] и *Меня зовут Красный* [*Benim adim Kirmizi*, 2001, № 9].
Перевод выполнен по изданию *Beyaz kale* [Istanbul, Iletişim, 1994].

Глеб Юрьевич Шульпяков
[р. 1971]. Поэт, переводчик, эссеист.

Автор книги стихотворений *Щелчок* [2001], книги эссе и литературных очерков *Персона Grappa* [2002]. Составитель и переводчик книг У. Х. Одена *Чтение и Письмо* [1998] и *Уистен Оден. Застольные беседы с Аланом Ансеном* [2003]. В его переводе публиковались стихи современных британских поэтов К. Смита, С. Хилл, Д. Константайна и др. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Р. Хасса [1999, № 6] и Т. Хьюза [2000, № 6].

Жак Рубо
Jacques Roubaud
[р. 1932]. Французский поэт, писатель и эссеист. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников стихов *Вечернее путешествие* [*Voyage de soir*, 1952], *Эпсилон* [*Epsilon*, 1967], *Тридцать один в кубе* [*Trente et un au cube*, 1973], *Что-то черное* [*Quelque chose noir*, 1986], *Параллельные миры по Льюису* [*La Pluralité des mondes de Lewis*, 1991], а также романов *Прекрасная Гортензия* [*La Belle Hortense*, 1985], *Похищение Гортензии* [*L'Enlèvement d'Hortense*, 1987], *Большой лондонский пожар* [*Le grand incendie de Londres*, 1989], *Виток* [*La Boucle*, 1993]. В *ИЛ* публиковались его стихи [1979, № 8 и 1999, № 8].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le coeur des humains.* [Paris, Gallimard, 1999].

Клаудио Магрис
Claudio Magris
[р. 1939]. Итальянский писатель, филолог-германист, лауреат многих литературных премий.

Автор книг по истории литературы и культуры, сборников эссе *Габсбургский миф в современной австрийской литературе* [*Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna*, 1963], *Кольцо Клариссы* [*L'anello di Clarisse*, 1984], *Микрокосмы* [*Microcosmi*, 1997] и др., а также романа *За морем* [*Un oltro mare*, 1991] и др.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Danubio* [Milano, Garzanti, 1986].

Франсин Проуз
Francine Prose
Американская писательница.

Автор романов *Охотники и собирательницы* [*Hunters and Gatherers*, 1995], *Мечты снежного человека* [*Bigfoot Dreams*, 1997], *Простые люди* [*Primitive People*, 2001]; сборника рассказов *Экскурсия по аду* [*Guided Tours of Hell*, 1997]. В *ИЛ* опубликован ее роман *Голубой ангел* [*Blue Angel*, 2002, № 11—12].
Публикуемые главы из книги *Жизнь муз. Девять женщин и те, кого они вдохновляли* печатаются по изданию *The Lives of the Muses. Nine Women & the Artists They Inspired.* [New York, Harper Collins Publishers, 2002].

Мария Поэлевна Карп
Переводчик стихов и прозы с английского и немецкого языков. Живет в Лондоне, работает на Русской службе Би-би-си. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В ее переводе публиковались стихи У. Х. Одена, Д. Томаса, Э. Дженнингс, поэма Н. Ленау *Дон Жуан*, повесть Джорджа Оруэлла *Скотское хозяйство* [2001], роман Вирджинии Вулф *Комната Джейкоба* [*ИЛ*, 1991, № 9] и др.

Наталья Давидовна Старосельская
Литературный и театральный критик.

Автор монографии *Роман И. А. Гончарова "Обрыв"* [1984] и ряда статей по русской и зарубежной литературе.
Ее статьи неоднократно печатались в *ИЛ*.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор статей, обзоров, рецензий, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга назавтра* [Радио России].

Переводчики

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Боры Чосича *Роль моей семьи в мировой революции* и *За что боролись*, а также роман Момо Капора *Подходящий день для смерти*.

Вера Борисовна Феонова
[1940—2003] Переводчик с турецкого.

В ее переводе изданы романы *Король футбола* А. Несина, *Во власти моря* Т. Дурсуна, а также рассказы С. Али, О. Акбала, Б. Йылдыза и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны романы О. Памука *Черная книга* [1999, № 6] и *Меня зовут Красный* [2001, № 9].

Алина Иосифовна Попова
Переводчик с французского и английского языков.

В ее переводе опубликованы эссе П. Валери, рассказы Д. Буланже, Э. Ионеско, А. Мишо [*ИЛ*, 2000, № 8], романы Н. Мишель, Ж.-Ф. Туссена, стихи П. Реверди [*ИЛ*, 1999, № 12], А. Бретона, Р. Десноса, Б. Пере [*ИЛ*, 2002, № 5].

Сергей Нещеретов [Сергей Евгеньевич Зенкевич]
[р. 1972]. Поэт, переводчик, литературный критик.

Автор сборника стихов *Хронический имажинист* [1996]. Публиковал переводы с английского и французского, в т. ч. произведений С. Крейна, Г. Х. Манро, Э. Паунда, англо-американских поэтов-имажистов, А. Азимова и др. Как переводчик участвовал в *Антологии имажизма*. В *ИЛ* напечатан его перевод эссе О. Хаксли [2004, № 1].

В формлении обложки
использован фрагмент
миниатюры из турецкой
рукописной книги второй
половины XVII века.

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок
обращаться в отдел
распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru.

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 24.02.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 488.
Тираж 8 600 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Уважаемые читатели!

Ждем от вас ответы на вопросы
нашей анкеты, напечатанной
в № 12 за 2003 год.
У вас есть время до 31 марта с. г.
Не забудьте про чайнворд.
Если вам удастся его решить, вы
становитесь участником розыгрыша
книг и бесплатных подписок
на наш журнал.

---

[4] 2004

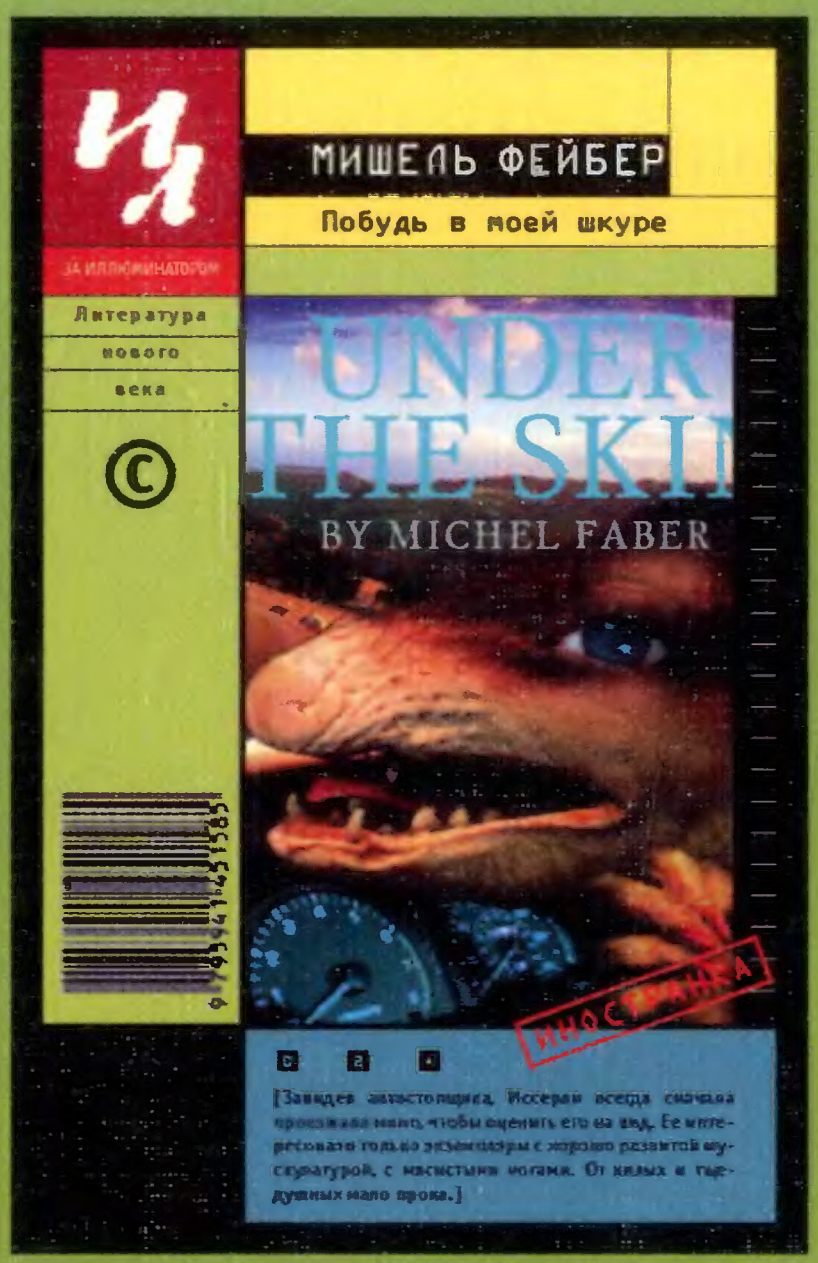
РОМАН ФИЛИПА РОТА "ЛЮДСКОЕ КЛЕЙМО" / СТИХИ ЛУИЗЫ ГЛИК И АЛАНА ДАГЕНА / ПОВЕСТИ ДЖИМА ГАРРИСОНА "ГЕЙ, НА ЗАПАД!" И "Я ЗАБЫЛ ПОЕХАТЬ В ИСПАНИЮ" / РАССКАЗЫ МАЙКЛА ЧЕЙБОНА И БЕНА МАРКУСА / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА ТЕДА КОНОВЕРА "НОВИЧОК, ИЛИ КАК Я ОХРАНЯЛ 'СИНГ-СИНГ'" / ЭССЕ ПАТРИЦИИ ХЭМПЛ И АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА / "ДВЕ ВЫСТАВКИ" АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

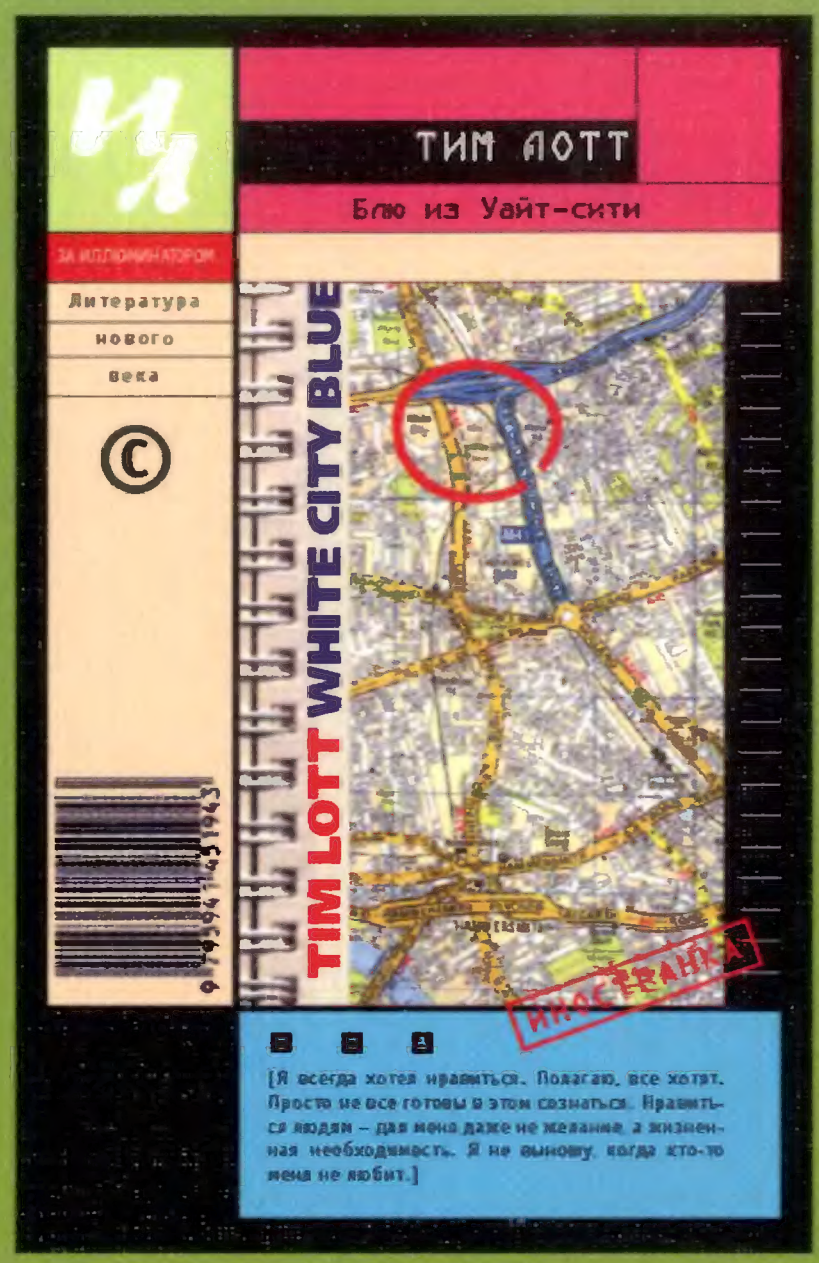
ИНДЕКС 70394

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века





По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №3, 1-288